НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

Неувядаемый цвет

книга воспоминаний

Том 1

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошли воспоминания старейшего русского переводчика Николая Любимова (1912–1992), известного переводами Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей. Эти воспоминания – о детстве и ранней юности, проведенных в уездном городке Калужской губернии. Мир дореволюционной российской провинции, ее культура, ее люди – учителя, духовенство, крестьяне – описываются автором с любовью и горячей признательностью, живыми и точными художественными штрихами.

Вторая часть воспоминаний – о Москве конца 20-х–начала 30-х годов, о встречах с великими актерами В. Качаловым, Ю. Юрьевым, писателями Т. Л. Щепкикой-Куперник, Л. Гроссманом, В. Полонским, Э. Багрицким и другими, о все более сгущающейся общественной атмосфере сталинской эпохи.

Издательство предполагает продолжить публикацию мемуаров Н. Любимова.

- Николай Любимов
  - ○
  - ○ Часть первая
    - ■ Даль и ширь
    - ■ Ближние
    - ■ Свет присносущный
      - ■ 1
      - ■ 2
    - ■ Родники
    - ■ В саду
    - ■ Окна на улицу
      - ■ 1
      - ■ 2
      - ■ 3
      - ■ 4
      - ■ 5
  - ○ Часть вторая
    - ■ Москва
    - ■ В доме ермоловой
    - ■ В гостях
    - ■ Ветер с юга
  - ○ Несовременник
    - ■ 1
    - ■ 2

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87

- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110

Николай Любимов
Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том I

МОИМ ДЕТЯМ – ЛЁЛЕ И БОРЕ

…хорошо с Богом начать дело,
и с Богом кончить его…

Епифаний Премудрый,
Житие преподобного Сергия Радонежского

Издание осуществлено при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G-E C GAD.

Часть первая

Воспоминание, минувшего зарница.
Блеснет и озарит пройденный нами путь,
И прожитые дни и выбывшие лица —
Все тени милые – теснятся в нашу грудью.

Вяземский

…в холод долгий наших поздних дней
В нас действует любовь отцов и матерей.

Случевский

Даль и ширь

Древний городок на горе.

Странное у него имя, необычное для городов средней полосы России: Перемышль.

Сохранилось предание, будто князь, прибывший сюда из Галиции и основавший его, окрестил его в честь Перемышля, откуда он явился, – так любил князь родовое свое гнездо и так хотелось ему, чтобы хоть привычное сочетание звуков напоминало ему о былом.

Объясняли и по-другому, нимало не заботясь о правдоподобии: будто местные князья Воротынские вознамерились на этом месте дать бой татарве, но потом перемыслили.

В XIV веке городок уже существовал. И чего только ни пришлось ему изведать! Не знал он лишь «труса», а потоп, хотя в малой мере, но испытал, не избежал ни глада, ни огня, ни меча, ни нашествия иноплеменников и междуусобныя брани[1], претерпевал разорение татарское, разорение литовское, разорение колхозное, разорение ежовское, видывал войска Лжедимитрия II, и войска пана Сапеги, и войска пана Лисовского, и полчища Гитлера, и армию освободителей, чинившую над жителями суд скорый, да неправый и уж никак не милостивый, выгорал от пожаров, вымирал от холеры – словом, чашу горя, сужденную едва ли не всем российским градам и весям, испил до глубокого дна.

Губернский город Калуга – в двадцати семи верстах. От Калуги до Перемышля бледно-желтой лентой змеится шоссе и вливается в главную улицу Перемышля – Калужскую. Почти прямо от Козельской улицы идет большак на Козельск, уныло однообразный, как все российские большаки. По Козельскому большаку езживали и хаживали богомольцы в знакомую нам по «Братьям Карамазовым» Оптину пустынь, основанную, как гласит предание, разбойником Оптой, одним из многих русских людей, руководствовавшихся правилом: «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься», – и в Шамординскую женскую обитель, куда удалилась от мира сестра Льва Толстого, Мария Николаевна. Мой учитель математики Петр Михайлович Лебедев жил в доме на углу Калужской и Козельской улиц, где когда-то была гостиница, а в этой гостинице проездом к сестре останавливался Лев Николаевич.

Кто держит, бывало, путь из Калуги в Перемышль, тому дважды пересекает дорогу Ока: первый раз – под самой Калугой, а

затем – в двух верстах от Перемышля. Под Калугой, едва река после вешнего половодья входила в берега, наводили деревянный мост на лодках, а разводили уже перед самым рекоставом. Под Перемышлем с весны до зимы ходил паром.

Как сойдешь с парома на перемышльский берег, справа будет Горское озеро (по имени деревни Горки), не видное идущим и едущим по шоссе – таким густым ивняком заросли его берега. Под самым Перемышлем, но уже слева, еще одно озеро – Бездонное. Так звалось оно в старину, но затем его стали называть скромнее – Городским. Отделенное от Городского озера узеньким перешейком, возникает еще одно озеро – Резванское, впоследствии перекрещенное в Хохловское – в честь деревни Хохловки, с этой стороны почти вплотную подступающей к Перемышлю. А разбросанных по лугу узких, но глубоких «котелков» и не счесть. Когда-то Ока несла свои воды под Перемышлем, но на старости лет отступила, оставив озера на глубоких местах своего старого русла, своей «старицы», и отхлынув к другой крутой горе, на которой раскинулись две деревни – Мехово и Вороново. Между озерами и рекой – ширь поемных лугов: Клевера, Заозерья, Гусятника и Лугового. За рекой синеют леса, перелески, жмутся одна к другой серые избы сел и деревень. В трех верстах от Перемышля в Оку впадает Жиздра. Ока своенравна и коварна. Что ни год, гибнут в ее как бы внезапно разверзающихся ямах неискушенные пловцы, но на вид она приветлива, улыбчива, ласкова: полная противоположность Жиздре, зажатой здесь берегами и – кажется, именно оттого – такой сердитой и мрачной; кажется, именно от бессильно завистливой ярости, что негде ей развернуться, что нет у нее такого приволья, как у Оки, крутит она свои беспрестанные водовороты.

При дружной весне большие и малые воды образуют великую реку. В 1908 году часть Перемышля превратилась в Венецию. Старая фотография запечатлела один из таких «венецианских» видов: по Калужской улице плывет лодка.

Самая старинная часть города, откуда и зачался он, – Завершье, там, где стоял до 1973 года рухнувший вследствие «искусной» реставрации собор XVI века во имя Успения Божьей Матери. От более молодой части города, от «посада», «старый острог», «старое городище», как именуется Завершье в перемышльских писцовых книгах, отделено «верхом» – Пушкарским рвом, тянущимся во всю ширину Перемышля, выходящим в поле и подступающим к деревне Хохловке. На склонах этого рва, в давно прошедшие времена – лесистых, жили в землянках пушкари – охрана крепости. В гололедицу этот ров

для завершных жителей был сущим наказанием. Почтенная учительница Раиса Ивановна Георгиевская съезжала с горы на портфеле, набитом тетрадями учеников.

От Успенского собора некогда вел к Бездонному озеру подземный ход – должно быть, для подноса воды на случай осады крепости – колодца-то ведь в крепости не было. Неподалеку от собора, на высоком берегу Резванского озера стоял Никольский монастырь, от которого время долго щадило всего одну церковь. В этой церкви похоронена была прабабка Петра Великого, Нарышкина, Бог весть какими судьбами очутившаяся в Перемышле. Гробница в уже давно (с 30-х годов) не действовавшей церкви сохранялась, однако, до 1944 года. Немецкими варварами к тому времени в Перемышле уже и не пахло (их выбили в декабре 1941 года), но некий советский Ксеркс, по-видимому желая отомстить церкви за то, что в период оккупации жители привели ее в порядок и в ней, если бы не приход освободителей, должно было начаться богослужение, повелел взорвать преступную древность, и красивая церковь, а вместе с ней и гробница взлетели на воздух, засыпав щебнем могилы похороненных в церковной ограде. Бесовская страсть к разрушению, пренебрежение к предкам и к своей же собственной истории – это одна из многих стихий, что сшибаются в неблагополучной, мятущейся русской душе.

С течением времени «крепость» Завершье превратилась в окраину, а город, собственно город, разросся по эту, ближайшую к Калуге, сторону рва: тут и все лавки, и все присутственные места, и церковно-приходское училище, и высшее начальное училище, и больница, и аптека провизора по фамилии Царский, и городской сад на высоком берегу озера (как его называли перемышляне – «бульвар»), в 1911 году возникший по почину местной интеллигенции, и летний театр в этом саду, и клуб, и женская прогимназия, которую построил на свои средства купец, городской староста Яков Михайлович Химин (его вдову Надежду Александровну после революции лишили «в знак благодарности» избирательных прав), и три церкви: самая старинная в этой части города, вся какая-то веселая, радостная, розовая с синими куполками, Рождественская (в просторечии – Георгиевская), издалека видная идущим и едущим из Калуги, Духо-Сошественская (в просторечии – Никитская), стоящая на площади, в начале городского сада, и Покровская (в просторечии – Фроловская).

Туда взглянешь – озера, заливные луга, и в самой дальней дали – там, где земля сливается с небом, как представляется детскому взгляду, – леса и деревни. Сюда взглянешь – даль не

луговая, а полевая, пересеченная лесистым овражком, Заячьим верхом. За ним – Городской лес, непонятно для каких целей вырубленный в первые же годы революции. Прямо посмотришь – все поля и поля, Оки не видно, виден только белою птицей присевший на том берегу Лютиков монастырь (древний камень его стен пошел в тридцатых годах на силосную башню).

Вслушиваясь в грустный, невнятный, но неотступный зов певучих, плывучих далей, среди всей этой задумчивой» тихоструйной, самобытной захолустной прелести, в этом малом уютном мирке, в этом уездном городе, отнюдь не дремотном, жившем жизнью не торопливою, не напряженною, но тем глубже вбиравшей в себя все впечатления, то хоронившемся за сугробами выше крыш, то овеваемом нежащим, смутно волнующим, смутно тревожащим, что-то обещающим, с весеннего разлива дующим ветром, то засыпаемом черемуховым, сиреневым, вишневым и яблоневым цветом, полнившемся то ароматом цветущего моря лугов, то винным запахом злато-багряного листопада, то задорным журчаньем первых ручьев, то деловитым, важным и добродушным гуденьем майских жуков, то весельем говорливых квакуш, то самозабвенною соловьиною песнью, то щемяще-прощальньш журавлиным курлыканьем, в городке, осененном крылами пяти церквей с их реявшим в воздухе вечерним и утренним звоном, звуковые волны которого сливались с волнами голубого и синего света, и провел я первые свои семнадцать лет.

Москва, 1962–1975

Ближние

Отцы наши жили, любили,
И матери вас воспитали!

Случевский

Грусть и память стоят у порога
И по комнатам тихо ведут.

Константин Аксаков

1

Обоих дедов своих я знаю по карточкам и по воспоминаниям родных. Да и отца, в сущности, тоже.

Дед мой с отцовской стороны, Михаил Ермиевич Любимов, родом из Мещовского уезда Калужской губернии, был сельским, или, как говаривали встарь, народным учителем в Западном крае, в Кобринском уезде Гродненской губернии, и получал восемнадцать рублей жалованья. По случаю вступления в законный брак с девицею Анной Троицкой, на каковой брак он, как тогда полагалось, испрашивал дозволения у директора народных училищ, тот же директор распорядился выдать ему пособие в размере тридцати шести рублей, и от попечителя Виленского учебного округа он получил тринадцать рублей пятьдесят копеек.

На восемнадцать рублей мой дед с женой и шестью детьми (еще двое умерли в младенческом возрасте) жил скромно, но безбедно. Квартира, отопление и освещение ему полагались бесплатные. Выручала не только дешевизна, но и хозяйственность жены, державшей корову, разводившей кур, уток, гусей, выкармливавшей к Рождеству поросенка, вместе с детьми сажавшей в огороде всякую овощь.

В Западном крае мой дед прослужил двадцать два года, потом заболел горловой чахоткой, потерял голос и вернулся с семьей на родину, в село Барятино Мещовского уезда. Родился он в 1847 году, умер в 1893 году.

На первых порах вдову о детьми поддерживали добрые люди

– помещики и крестьяне. Семья помещика помогала деньгами, брала ребят погостить, звала на елку. Одна барятинская крестьянка-бобылиха сажала на сиротскую долю картошку на своем наделе, кто-то из крестьян дал моей бабушке на время корову и ничего с нее не взял. Старший сын Николай, после революции занявший пост директора подмосковной Щелковской текстильной фабрики, начал свою карьеру волостным писарем в Барятине. Дочки, Дуня и Аня, шили на деревенских девушек. Старшая дочь, Юния, а потом и Евдокия окончили в Москве акушерские курсы, Анна выдержала экзамен при Калужском епархиальном училище на звание народной учительницы и устроилась в Людинове Жиздринского уезда Калужской губернии. Предводитель дворянства Жиздринского уезда Булгаков устроил младшую дочь, Софью, на казенный счет в Жиздринскую прогимназию, а моего отца, окончившего Мещовское городское училище, взял счетоводом на свой чугунолитейный завод в деревню Глинны Дудинской волости Козельского уезда.

В том, что я существую на свете, повинен Перемышль. Здесь, в городской больнице, получила место акушерки («повивальной бабки») Евдокия Михайловна и поселилась вместе с матерью и братом Михаилом Михайловичем, будущим моим отцом. Михаил Михайлович вступил в должность секретаря Перемышльской землеустроительной комиссии. Самая старшая и самая младшая из сестер устроились тоже в Перемышльском уезде: Юния Михайловна – акушеркой на медицинском пункте в селе Пятницком, Софья Михайловна – в школе села Козлова. Юня, Аня и Соня приезжали на каникулы и на время отпуска в Перемышль. Здесь-то и познакомился мой отец у кого-то на именинах с моей матерью, Еленой Михайловной Кормилицыной, проводившей несколько лет подряд в Перемышле свой летний отдых.

Поженились они в 1911 году. Мать была уверена, что у нее родится дочь, и она уже дала ей имя – Маргарита, но ожидания ее не оправдались: вместо дочери Маргариты 20 (7) ноября 1912 года у нее в Москве, куда она ездила рожать (Евдокия Михайловна боялась принимать у своей), родился сын, и сына решено было назвать Николаем.

Отец сводил с ума перемышльских барышень по большей части нехотя. До встречи с моей матерью нет-нет да и налетал на него ветерок. Погудит в ушах, упадет и затихнет. Единственной его любовью была моя мать. Он подарил ей составленную Якубовичем-Мельшиным антологию «Русская муза». В ней он подчеркивал свои любимые стихотворения или же те, что отвечали мыслям его и настроениям. Несколькими чертами подчеркнул он стихотворение Зинаиды Гиппиус;

Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь – одна.

И строки из стихотворения Владимира Соловьева «Бедный друг! истомил тебя путь…»:

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови,
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Я всматриваюсь в карточки моего отца – их у меня сохранилось много. Вот он сидит в саду, сложив руки на коленях, и улыбается. Сейчас видно затейника, весельчака. Но это один такой снимок. А здесь он – совсем еще юнец, здесь – тридцатилетний мужчина вдвоем с моей матерью. Но и на лице юноши, и на лице мужчины с волнами темных волос, разбегающимися над чистым, высоким лбом, с большими, затаившими кручину глазами, лежит тень обреченности. Про таких, как мой отец, говорят: «Не жилец он на белом свете».

По рассказам родных, был он, как и моя мать, вспыльчив, но отходчив. Дуться подолгу не умел. Фырк, фырк – и выкипел. Он делал добро без промедлений, без отлагательств, не понимал, как можно оставаться безучастным при виде горя, как можно пройти мимо нужды.

В Перемышле, еще холостой, он только что сшил себе сапоги. Жалованьишко у него было небольшое, и на сапоги он долго откладывал понемножку. Поздняя осень. Отец сидит, одетый, на лавочке. По улице идет босиком выгнанный со службы за пьянство чиновник Никольский. Отец стаскивает с себя сапоги и отдает Никольскому.

При сем присутствовавшие мать и сестра даже и не пытались отговаривать его. Только уж когда Никольский ушел, они мягко попеняли «Минечке» за безрассудство: ведь все равно же Никольский пропьет сапоги!

– Ну и пусть пропьет, – ответил отец, – а я не могу видеть его синие от холода ноги.

Отец был страстный книгочей. После него остался большой шкаф, набитый книгами, которые он покупал на медные гроши. Удивительно, как мало было хлама в библиотеке у этого провинциала, бывшего в Москве счетом несколько раз и в глаза

не видевшего Петербурга. Обнаружил я после в его книжном шкафу Лассаля, Бебеля, Степняка-Кравчинского – дань кратковременного и не глубокого увлечения «революционными идеями»: оно проступило у моего отца и прошло, как корьевая сыпь. Основной фонд его библиотеки составляли русские классики и кое-кто из современников» которых прилагала «Нива».

Отец с наслаждением играл на сцене, играл, говорят, для непрофессионала хорошо, в особенности – ярко комические роли. Однако истинной властительницей его души была музыка. Он выучился играть на гармонии» на балалайке, на гитаре, на арфе. Он выучился владеть своим удивительного тембра лирическим тенором, доводившим слушателей до восторженных слез или до слез грусти-тоски, – выучился без посторонней помощи: брать уроки пения в Мещовске, в Плохине или в Дудине ему было не у кого и не на что. Начиная с моей матери, влюбившейся сперва в его голос, несмотря на то, что она, тогда еще – москвичка, была постоянной посетительницей концертов Собинова, Смирнова, итальянцев, и кончая перемышльским предводителем дворянства Николаем Вивиановичем Оливом, постоянно ездившим за границу, слышавшим иностранных, петербургских и московских знаменитостей, – все сходились на том, что у Михаила Михайловича – неотразимого обаяния голос. Пел он в церквах. Пел у себя дома» Пел у знакомых, охотнее всего – в доме музыкально одаренного священника Николая Ниловича Панова. Пел, катаясь на лодке по озеру. Служил украшением любительских концертов, светских и духовных. Пел народные песни. Пед арии из опер: «Невольно к этим грустным берегам…», «Расцветали в поле цветики…». Пел «Хотел бы в единое слово…» и другие романсы своего обожаемого Чайковского. Пел тот романс, который Книппер в роли Анны Мар из «Одиноких» Гауптмана пела вместо революционной песни, указанной автором, но запрещенной царской цензурой: «Замучен тяжелой неволей…» – и который подчеркивал лейтмотив гауптмановской драмы:

Я один, а кругом все чужие.
……
Там, под черной сосной,
Над шумящей волной
Друга спать навсегда положили.

Часто исполнял он на вечерах «Волна шумит, волна бушует…». Тогда «Волна» считалась романсом безвестным. И только в 1969 году, после того как «Библиотека поэта» выпустила

собрание стихотворений Мятлева, я узнал, что этот романс под названием «Рыбак» написан создателем Курдюковой, имя же композитора затерялось; в комментарии сказано: «Положено на музыку, встречается в песенниках». Пел отец отрывок из «Рыцаря на час»: «Повидайся со мною, родимая!». Пел «Слушай» Гольц-Миллера (музыка Сокальского):

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна»».
Черней этой ночи встает из тумана
Видением мрачным тюрьма.
Кругом часовые шагают лениво;
В ночной тишине, то и знай,
Как стон, раздается протяжно, тоскливо:
– Слу-шай!

Пел он романс на слова Фета «Чем тоске, я не знаю, помочь…», кончающийся:

Знать, в последний встречаю весну
И тебя на земле уж не встречу.

И с особенным чувством он пел:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Это был любимый романс его отца и, как он узнал потом, любимый романс отца моей матери – пример, лишний раз показывающий, что искусству дана власть объединять людей, в самой разной доле рожденных. Это и мое любимое стихотворение.

Отец в детстве болел скарлатиной. Скарлатина дала осложнение на почки. С осложнением как будто бы справились. Но однажды, уже молодым человеком, он поехал на велосипеде в лес за ландышами, с устатку прилег на еще по-весеннему влажную землю и уснул.

После этой поездки гнездившаяся в нем и до времени не дававшая о себе знать болезнь медленно, но неуклонно повела его к могиле.

Умирал отец от туберкулеза почек в полном сознании, понимая, что умирает. По собственному желанию исповедался и причастился. Простился с моей матерью и при своих родных все говорил о том, что моя мать внесла в его жизнь счастье, что ему теперь легко умирать. Просил своих родных помнить, что она скрасила ему годы его угасания, – помнить и любить ее. Просил своего непосредственного начальника, непременного члена землеустроительной комиссии Константина Люцианович Новицкого, когда тот пришел навестить его, назначить на освобождающееся место секретаря землеустроительной комиссии его помощника, Сережу Никифорова, хорошего работника, который недавно обзавелся семьей и у которого каждый грош был на счету. Новицкий обещал и потом сдержал свое слово.

Перед самой кончиной отец сказал:

– А вот и папа! Я его сразу узнал.

Это были его последние слова.

Умер он 21 октября (нового стиля) 1914 года, в 3 часа утра 33-х лет от роду.

Похороны отца были многолюдны. Хоронил его весь Перемышль и подгородные крестьяне. На кладбище говорили речи представители разных сословий: уездный предводитель дворянства, председатель землеустроительной комиссии, аристократ до мозга костей Николай Вивианович Олив, разночинец, казначей, общественный деятель Василий Евдокимович Меньшов и отпевавший отца священник Панов.

Что о моем отце сберегла мне память?

Всего несколько мгновений: я бегу, гремя связкой ключей, из столовой через детскую в спальню, где не только ночью, но и утром, и днем, и вечером лежит папа, бегу и приговариваю:

– Няня едет! Няня едет!

Няня уезжала на несколько дней в Лихвин. Я воображаю, что я – лошадка, на которой возвращается няня, а ключи – бубенчики.

Отец улыбается.

Мне не надоедает повторять игру в лошадку, у отца хватает терпения улыбаться.

Вот и все…

В раннем-раннем детстве мне помнились и другие мгновенья, но с годами облик отца уплывал от меня все дальше и дальше, расплывался и наконец слился с бледно-голубым маревом прошедшего, растаял в нем, растворился.

Но какую-то часть его существа я в себе ношу – это я сознаю, это я ощущаю и плотью и духом. Только мне трудно определить, где граница, отделяющая владения отца в моем внутреннем мире от владений матери, – до того созвучны были души этих случайно

(да нет же, совсем не случайно!) встретившихся людей, людей как бы с противоположных концов земного шара, в чем-то несущественном, мелком, очень-очень далеких и лишь постепенно, день за днем, сближавшихся, в самом же главном – друг другу необходимых, родных.

2

Мать моего отца, Анна Яковлевна Любимова, урожденная Троицкая, была, как и ее муж, дочерью псаломщика. Родители ее умерли рано, и она, круглая сирота, воспитывалась в восемнадцати верстах от Калуги, в селе Муромцеве, у дяди, брата матери, священника о. Александра Лихачева. В Муромцеве моя бабушка в 1872 году вышла замуж за Михаила Ермиевича Любимова, обвенчалась с ним в Муромцевской церкви и уехала в Гродненскую губернию.

Бабушку я помню хорошо – она скончалась в 1925 году, когда мне было двенадцать лет.

Черты характера бабушки унаследовали дочь Дуня и сын Миша: она была вспыльчива, в пылу могла наговорить лишнего, но обид не затаивала, зла не помнила и никому зла не делала. Любила, чтобы вокруг нее кипело веселье. По рассказам, она была женщина властная. Старшей ее дочери Юнии предлагали руку и сердце молодые люди, которых Юня, девушка с оригинальным, как ни странно – еврейским типом лица, дарила своей благосклонностью. Бабушка становилась ей поперек дороги: будто бы женихи не приходились ей по сердцу, а вернее всего, ей просто не хотелось, чтобы ее любимица стала отрезанным ломтем.

Я помню бабушку уже в такие годы, когда у них в доме главенствовала Дуня. Бабушка поняла, что царствование ее кончилось, и уже не вмешивалась в действия и распоряжения дочери, на которой держался дом и которая превратила этот дом в полную чашу.

В молодости бабушка работала не покладая рук. И потом, когда в этом уже не было необходимости и она могла позволить себе отдых, она, пока не ослепла, все хлопотала по хозяйству. Как-то раз мой отец без предупреждения снял ее в тот момент, когда она, по-деревенски повязавшись платком, кормила кур и цыплят. Соленье огурцов и грибов, моченье яблок, квашенье капусты, варка варенья – все эти обязанности она добровольно возложила на себя, хотя Любимовы уже держали прислугу. Целый строй банок с вареньем разных сортов высился у нее на верхней

полке буфета. Как-то к ним приехала знакомая помещица Марья Людвиговна Дитрих, а бабушка с тетей Дуней были приглашены к кому-то в гости. Извинившись перед Марьей Людвиговной, они попросили ее похозяйничать самой, указав, где что у них хранится. На одной из банок с вареньем Марья Людвиговна обнаружила бабушкины малограмотные каракули: «Про хороших гостей». Марья Людвиговна стала в тупик: к какой категории причислила бы ее Анна Яковлевна?..

Исполнительность и хозяйственность – это было у дочерей Анны Яковлевны и наследственное, и благоприобретенное. Такими они на свет родились, и так – в трудолюбии – воспитала их мать. Дело свое они делали с редкой даже по тем временам добросовестностью, с неутомимой дотошностью. И так же аккуратны, порядливы были они и в домашнем быту. Евдокия Михайловна шила матери, себе и сестрам платья, кофты, юбки, моему отцу и мне – рубашки, Софья Михайловна искусно вышивала.

Самым тяжким горем, какое привелось испытать бабушке, была смерть моего отца. В 18-м году она ослепла. Слепоту переносила безропотно. Тогда они с Евдокией Михайловной жили уже не в Перемышле, а в Новинской больнице Малоярославецкого уезда. Зимой она ограничивала себя пределами дома. Летом, постукивая палочкой, выходила в садик при доме и садилась под березкой, которую она же и посадила. Жалела, что не видит близких, не видит, как я расту, какой я стал, но довольствовалась тем, что жадно вслушивалась в звук знакомых голосов. До самой смерти просила дочерей и меня, чтобы мы ей читали вслух, но только непременно таких писателей, которых она считала хорошими. В числе хороших значились у нее Бичер-Стоу, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Виктор Гюго, Гончаров, Лев Толстой, Шпильгаген, Чехов, Гусев-Оренбургский. Ей прочли почти всего Чехова вместе с шестью томами его писем, изданными Марией Павловной, и переписка Чехова доставила ей не меньше радости, чем его повести и рассказы. Гусева она ценила как бытописателя и знатока ее среды – среды сельского духовенства. Моя попытка приобщить бабушку к советской литературе окончилась неудачно. Когда я прочел ей что-то, напечатанное в «Красной ниве», она мне сказала:

– Ты мне эту пустоту больше не читай.

Бабушка верила в Бога, потому что не могла не верить, как живое дерево не может не ветвиться и не зеленеть, как хлеба не могут не колоситься и не наливаться. Она не представляла себе жизни вне веры и эту свою по-простонародному цельную веру передала в духовное наследство детям. От Новинской больницы

до ближайшей церкви было пять верст. Богослужений она была лишена, но она ежедневно и подолгу молилась вслух. Зимой молилась в спальне, когда все расходились по делам. Летом – в садике, куда она выходила на молитву в пять часов утра.

Я не припомню, чтобы кто-нибудь не из духовных лиц молился вслух с такой силой убежденности, как моя бабушка. В ее молитве не слышалось ни восторга, ни умиления, ни самоумаления. То была ежедневная просьба послушной и любящей дочери к Отцу Небесному, ежедневная хвала мудрой Его благости.

Начинала она свое обращение к Богу с троекратного:

– Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой!

А затем тянулась вереница имен дорогих ей людей, о здравии и спасении которых молила она Вседержителя:

– …девицы Юнии, девицы Евдокии, девицы Анны, девицы Софии, рабы Елены, младенца Николая, раба Николая и рабы Елисаветы с чадами, девицы Лидии, девицы Наталии, рабы Параскевы (Параскева – это их прислуги, вернее – друг их дома, крестьянка Перемышльского уезда Параша Тишкина).

Молитвословие перемежалось славословием.

Притаившись в спальне или в саду – так, чтобы ничем не выдать своего присутствия, – я слушал, как бабушка читает наизусть молитвы, слушал и запоминал.

Впервые с ее голоса запомнил я молитву, которую потом слышал в исполнении народном, в исполнении разных хоров, слышал, как она в обиходном напеве, в напеве киевском, как она звучит у Архангельского, у Рахманинова:

– Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся» Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклони́мся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Бабушка читала это так же просто, как просто произносила имена поминавшихся ею за здравие и за упокой, внося в чтение лишь певучую мерность стиха.

Когда я вспоминаю бабушку, молившуюся с безыскусственностью человека, для которого бытие милосердного Бога столь же непреложно и несомненно, как несомненен запах жасмина, растущего поодаль, как несомненен шелест березовых листьев над ней или щебет ласточек, гнездившихся под крышей ее дома, над самым крылечком, я отдаю себе ясный отчет, что

бабушкины молитвы – один из источников моей религиозности.

Бабушка была духом сильна и бодра. Она ни на что не жаловалась. Плакала, только когда перед осенью из Новинки разлетались летние гости. Навзрыд плакала при расставании с нами летом 24-го года. Все обнимала нас с мамой, гладила, целовала и обливалась слезами. Лошади давно уже были поданы, а бабушка не могла оторваться от «Нелички», как она называла мою мать, произнося ее уменьшительное имя не через «э», а через «е», не могла оторваться от меня.

– Золотая ты моя головочка, – причитывала она.

Бабушка не говорила, почему ей так уж горько расставаться с нами именно в этом году, да и ничто как будто не предвещало близкого ее конца – все такой же крепкой, как осеннее яблоко, выглядела она, – но все мы что-то предощущали, все понимали ее без слов.

27 февраля 25-го года она скончалась.

Завещала бабушка похоронить ее рядом с «Минечкой». Две дочери, жившие тогда с ней, Дуня и Аня, исполнили ее волю. Наняли две подводы и перевезли гроб с ее телом за восемьдесят верст, в Перемышль.

Отпевал бабушку бывший ее духовник, пользовавшийся особым ее уважением, о. Иоанн Песоченский.

Тогда еще в провинции духовенству и певчим разрешалось провожать покойника по усыпанной можжевельником дороге в последний путь – от храма до кладбища.

Хотя бабушка уехала из Перемышля в 16-м году, многие помнили ее. И похоронная процессия поминутно останавливалась: из домов выходили старожилы и просили о. Иоанна помолиться «о упокоении новопреставленной рабы Божией Анны».

Похоронили бабушку в одной ограде с ее сыном. Теперь от их могильных холмиков и следа не осталось. Сохранились лишь кусты сирени, посаженные моей матерью в 1916 году.

3

Все четыре сестры моего отца так и остались незамужними. Старшая, Юния, не вышла из материнской воли – совет или даже просьба «мамуси» были для нее законом. У Евдокии судьба сложилась несчастливо. Анна, в молодости – дикарка, не стремилась к замужеству. Младшая, Софья, долго учительствовала в глухих деревнях, а когда перебралась в город, время ее ушло.

Как и мои родители, я больше всех любил тетю Дуню и тетю Аню. Когда я только-только начал говорить, я почему-то назвал тетю Дуню «Гынга». Так это имя к ней в семье и пристало: Гынга и Гынга… Тетя Аня была сама кротость, и при ней я шалил безвозбранно. А вот Гынги побаивался, хотя она меня пальцем ни разу не тронула и резкого слова мне не сказала. В ее голосе я улавливал нотки – по всей вероятности, бабушкиной – властности, которая так необходима медику.

Из всех четырех сестер Гынга и Аня отличались наибольшей отзывчивостью, наибольшим гостеприимством и хлебосольством. Все у них делалось точно в сказке, как бы само собой. И так же незаметно проявляли они заботу о людях. И Гынга и Аня обладали особым талантом – талантом ненавязчивой заботы, которым наделена была и моя мать.

Животных они любили, пожалуй, не меньше, чем людей. В бабушкин «Месяцеслов» на 1862 год они вписывали наиболее важные события их жизни, преимущественно – печальные: тогда-то скончалась их мать, двоюродный брат, старший брат Коля, племянник, одна невестка, другая… На одной из вклеенных страниц я прочел запись: «1947 г. 26 мая нового стиля умер наш дорогой друг Нурочка. В 4 часа дня». Это был песик, проживший у них 17 лет.

В перемышльской больнице у Евдокии Михайловны вышла неприятность с врачом. Ей пришлось уйти со службы, и некоторое время она занималась частной практикой. Содержать на случайный заработок мать и себя оказалось нелегко, и Евдокия Михайловна стала приискивать себе место. Ей предложили место акушерки в только что отстроенной Новинской больнице. Это была лебединая песня Калужского губернского земства. Стоит больница на опушке леса, на границе трех бывших уездов, по-нынешнему – районов: Калужского, Малоярославецкого и Тарусского. Прежде шутили, что здесь петухи сразу на три уезда поют. До ближайшей деревни Болотни не меньше версты, до торгового села Недельного – пять верст. В больничный двор кое-когда забегали волки. Между тем оборудована была больница по последнему слову тогдашней техники: там были и водопровод, и канализация, которые городу Перемышлю и во сне не снились. Да что там Перемышль! В Калуге проведенной водой и канализацией пользовались немногие избранники судьбы, жившие в центре города.

Евдокия Михайловна согласилась забраться в эту глушь. Ей предоставили двухкомнатную квартиру с громадными, чуть не во всю стену, окнами, заливавшими комнаты светом. Квартира акушерки сообщалась с родильным отделением ванной комнатой.

Больные и посетители проходили в родильное отделение через боковую дверь в левом крыле здания. Квартира, дрова и керосин – бесплатные. Дрова пилили, кололи и приносили дворники. В кухне стояла не русская печь, а плита. Из коридора дверь вела во двор.

Евдокию Михайловну соблазнило еще то, что в родильном отделении она будет полновластной хозяйкой. Трудно одной, да зато – сама большая, сама меньшая, ни дрязг, ни перекоров.

К больнице с одной стороны вплотную подступал лесок, но на больничном дворе – ни деревца, ни кустика. Евдокия Михайловна насадила садик у своего корпуса и развела два огорода: один – дальний – отвела под картошку и под огурцы, а в другом летом возвышалась светло-зеленая стена подпертого палками гороха, росли бобы, фасоль, лук, чеснок, репа, редька, свекла, морковь, укроп, в малиннике мог скрыться взрослый человек. Заквохтали куры, в сарае захрюкал Васька. Вскапывать огороды и выкапывать картошку помогала больничная прислуга. Все прочие садовые и огородные работы выполняли Гынга, Прасковья и переехавшая к Гынге в 20-м году из Людинова Аня. Летом Аня ходила по ягоды – лесные поляны были красным-красны от земляники. Потом начиналась грибная эпопея. Одних толстоногих боровиков, еще влажных от холодной осенней росы, с травинками, прилипшими к шляпкам, Аня приносила из ближнего орешника по сотне в день. В комнатах тепло пахло уютом. К домовитому этому запаху, начиная с весны, примешивалось свежее благоуханье садовых и полевых цветов: сирени, жасмина, ночной фиалки, стоявших в кувшинах на подоконниках. От обилия света комнатные цветы в горшках и кадках – фикусы, аспарагусы, пальмы, гортензии, фуксии, бегонии, филодендроны, пандануса – достигали тропических размеров.

А каким старосветским, разнообразным изобилием отличались новинские трапезы, являвшие собой сочетание русской, малороссийской и белорусской кухни!

К раннему утреннему чаю пеклись пироги то с той, то с другой начинкой, пышки, мои любимые крендельки. Янтарно желтело на столе сливочное масло, купленное на хуторе у хохла или у латыша. За обедом на первое – щи, борщ, окрошка из своего кваса, суп с клецками; на второе – зразы, налистники, колдуны, грибы в сметане, бараний бок с кашей, гречневая каша со шкварками, куриные котлеты, картофельные котлеты с грибным соусом, вареники, запеканка, лапшевник, крупеник. К вечернему чаю – сладкие пироги: «Наполеон», «Екатерина». За ужином – студень, селедка, колбасы собственного изготовления, белое с розоватинкой сало, солонина, окорок, вареная картошка, соленые

и мариноваяные огурцы. В запахе ржаного хлеба собственной выпечки как бы сливались воедино все запахи среднерусской сытой деревни.

И когда это мои тетки все успевали?

Аничка учительствовала в Новосельской двухкомплектной школе, вела два класса. В течение учебного года ежедневно отшагивала до Нового села и обратно две версты с лишком.

А Гынга ведала своим родильным отделением так, что слава о ней гремела далеко окрест.

Приедешь, бывало, в Малоярославец и в чаянии подводы шатаешься по базару.

– Вы не из Недельного?

– Недалеко оттуда. А вам что?

– Не подвезете?

– Нет. Самим тесно. А вам куда ехать-то: в самое Недельно?

– Дальше, в Новинскую больницу.

– А к кому там?

– К Евдокии Михайловне. Я ее племянник.

– К Евдокей Михалне? Стал быть, вы ее племенник? Так бы и сказали! Садитесь. Вот только лошадь покормим и поедем. Нам хоть от Недельна вбок, ну мы вас до самой больницы довезем. Евдокей Михалну да не уважить?..

Евдокия Михайловна прослужила в Новинской больнице с 1916 по 1950 год, и за все эти годы ни одна роженица не отдала Богу душу в Новинской больнице. А между тем Евдокия Михайловна часто шла на немалый риск.

Старик-доктор, руководивший ею в Москве на акушерских курсах, говорил ей:

– Присматривайся, как я делаю операции. Неизвестно, в каких условиях придется тебе работать. Смотри, помогай мне и учись.

Потом Евдокия Михайловна поминала старика добром.

В Новинке она поневоле превращалась из акушерки в хирурга.

Привозят роженицу. Роды патологические. Что прикажете делать? Отправлять в Малоярославец? А до Малоярославца тридцать верст, и дорогу, видно, сам черт прокладывал роду христианскому на погибель. Вон лежит колесо, немного отъедешь – целый передок от телеги торчит. Дорога до Калуги еще невылазней: там, в Андреевском лесу, и жарким летом вода в колдобинах так и стоит, а весною и осенью воды – лошади по брюхо. Новинская больница годами существует без доктора: в такую глушь мало кому охота зарываться. И вот Евдокия Михайловна, призвав Бога в помощь и помолясь Заступнице

Усердной, Матери Господа Вышнего[2], приступает к операции… Ассистирует Прасковья Первая, Тишкина, или Прасковья Вторая, Садова… Жизнь матери спасена. Спасена и жизнь ребенка… Сегодня – поворот, послезавтра – наложение щипцов.

Бабушка только, бывало, охает:

– Опять первородящая… Опять узкотазая… О Господи! Замучают они тебя, Авдоня…

Другой акушерки в Новинской больнице не полагалось по штату, и Евдокия Михайловна несколько лет подряд не получала отпуска. Редко когда удавалось приманить заработком акушерку на месяц, чтобы дать ей отдохнуть. Сон у Евдокии Михайловны был тоньше осенней паутины. Она засыпала с мыслью, что вот-вот ее разбудит громкий шепот сиделки:

– Евдокия Михайловна! Привезли!

А помимо ежедневных – утром и вечером – осмотров рожениц, купанья ребят и прочего, надо помочь на приеме, в аптеке.

И все-таки Гынга находила время вооружиться наушниками и послушать радио, попеть под гитару русские и украинские песни, и почитать, и сыграть Мерчуткину в чеховском «Юбилее», и устроить елку для детей сиделок и дворников. В молодости это была миловидная пухленькая живоглазка, веселым выражением лица и порывистостью движений похожая на Михаила Михайловича. И такая же она была незлобивая горячка и такая же выдумщица и шутница, как и он. Только отец мой год от году грустнел, а с Гынгиной жизнерадостностью ничего не могла поделать даже душевная ее недоля.

В годы перемышльской молодости Дуня полюбила некоего Вячеслава. Оба не представляли себе, что их дороги когда-нибудь разойдутся. Скрепя сердце согласилась отдать Дуню за Вячеслава бабушка. Но у Вячеслава чесались руки поднять «на царя, на господ» дубинушку, и его сослали. Из ссылки он бежал в Москву. По дороге, переодетый, несколько часов тайно провел у Любимовых. В Москве товарищи раздобыли ему фальшивый паспорт. По этому паспорту он поступил на службу в издательство энциклопедического словаря «Гранат» и под носом у московского генерал-губернатора преблагополучно прожил до самой революции. В Москве он женился. Весть об этом дошла до Евдокии Михайловны.

Летом 31-го года, на утренней заре, в новинскую квартиру Евдокии Михайловны раздался стук. Евдокия Михайловна, проснувшись, решила, что привезли больную и по ошибке стучат не в родильное отделение, а к ней. Отворила дверь. Перед ней стоял Вячеслав. Обоим было тогда за пятьдесят.

Вячеслав прожил в Новинке неделю. Он уверял Евдокию Михайловну, что сам себе исковеркал жизнь. Не о такой революции мечтал он в юности; жена – чужой ему человек. Он долго терпел ради дочери – и вдруг почувствовал, что больше не может, и его потянуло к Дуне, которую он не переставал любить все годы разлуки.

Старая любовь не ржавеет. Евдокия Михайловна и Вячеслав решили поселиться в Перемышле. Вячеслав сделал первый шаг: не выписавшись из Москвы, устроился на работу в правление перемышльского колхоза. Затем он должен был съездить в Москву и развестись.

Сестры боялись за Дуню: на старости лет – и такая ломка! И стоит ли этот человек, чтобы из-за него ломать жизнь?..

Кроткая Аничка ощетинилась, Вячеслава возненавидела.

– Но ведь он, наверное, человек интересный по внутреннему содержанию? – допытывалась у нее моя мать.

– Ах, Нелличка, ничего в нем интересного никогда не было! Хамлет! Ни красы, ни радости. Теперь хамством никого не удивишь, а когда мы молоды были, невежа казался оригиналом. Этот тип явился с новогодним визитом к жене председателя земской управы и развалился у нее на диване с ногами. Ах, как смело! Ах, как оригинально! Про него так тогда говорили, как будто он бомбу в губернатора бросил. Вот вам и вся его интересность.

Слушая рассказ о фрондерстве *Вячеслава,* я впервые понял, что гончаровский Марк Волохов – вовсе не «карикатура» и не «клевета», как принято было о нем писать и думать в «левых» кругах, что это живой человек, списанный не умевшим лгать Гончаровым прямо с натуры, и что пеняли на гончаровское зеркало те, кто в нем себя узнавал.

В Перемышле я познакомился с Вячеславом. Он был поразительно похож на Дон-Кихота: долговязый, костлявый, с длинными прямыми усами. Одного только недоставало лицу Вячеслава для полного сходства: донкихотской одухотворенности.

Евдокия Михайловна получила от жены Вячеслава оскорбительное письмо – письмо разъяренной мещанки. Вячеслав приехал в Новинку и предложил Евдокии Михайловне «свободную любовь». Она отказалась. Он уехал. Из Москвы от него пришло письмо, заканчивавшееся цитатой из «Братьев Карамазовых»: «Зачем живет такой человек!».

В 32-м году Евдокия Михайловна провела летний месячный отпуск в Перемышле. Вячеслав все еще там работал, но они не встретились. Уезжая из Перемышля, Евдокия Михайловна увидела из окна автобуса, увозившего ее в Калугу, Вячеслава. Он

стоял на краю мостовой и» когда автобус приблизился, поклонился Евдокии Михайловне до самой земли.

Как только, поздним вечером, Евдокия Михайловна села в вагон, перед ней выросла фигура Вячеслава. Он проводил ее от Калуги до Малоярославца и всю дорогу умолял не покидать его.

Оба сошли в Малоярославце. Он остался ждать поезда из Москвы, Евдокия Михайловна уехала на ожидавшей ее подводе в Новинку.

Больше они не виделись.

4

Крестным отцом моей бабушки с материнской стороны был Александр Второй. Крестным отцом старшей сестры моей матери, Аси, ее старшего брата Коли и моей матери был великий князь Николай Николаевич-старший, отец Николая Николаевича-младшего, верховного главнокомандующего русской армией в начале первой мировой войны, – того самого Николая Николаевича, которого Бунин описал в «Жизни Арсеньева» дважды: везущим из Ливадии через Орел тело крестного отца моей матери и лежащим в гробу в своей приморско-альпийской вилле.

Знак особого благоволения царя-освободителя объяснялся тем, что моя прабабушка, урожденная графиня Гендрикова (родоначальник Гендриковых женился на сестре Екатерины I; графское достоинство они получили от Елизаветы Петровны), была фрейлиной его матери – императрицы Александры Федоровны. Портрет одного из предков фрейлины написал Антропов. Дальняя родственница моей матери, графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, фрейлина последней русской императрицы Александры Федоровны, добровольно разделила участь царской семьи. Ее упоминает в своем дневнике Николай II («Настенька Гендрикова»).

О ней существует предание:

Графиню Гендрикову перед расстрелом (в августе 18-го года) допрашивали: добровольно ли она последовала за Романовыми в изгнание. Она ответила утвердительно. «Ну, раз вы так преданы им, скажите нам: если бы мы вас теперь отпустили, вы бы опять вернулись к ним и опять продолжали бы служить им?» «Да, до последнего дня моей жизни», – ответила графиня.

Мой прадед, статский генерал Николай Аркадьевич Болдарев, многих орденов кавалер, красивый, представительный старик, каким он выглядит на карточках, пользовался особым

расположением Николая Николаевича-старшего. Великий князь нередко посещал его усадьбу и охотился в его лесах. Прадед мой был охотник заядлый. О его псовой охоте был издан объемистый том.

Николай Аркадьевич боготворил свою красавицу жену. Когда она умерла, он велел написать на ее памятнике четверостишие собственного сочинения:

Ты ангелом была,
Когда со мной венчалась,
Жизнь свято провела
И ангелом скончалась.

По рассказам моей матери, Николай Аркадьевич был изрядный балагур. Дворянская галломания не испортила его русский язык с примесью ядреного просторечия, для вкуса пересыпанного аттической солью, и с крестьянским выговором. Пристрастие к аттической соли однажды подвело моего прадеда.

В один прекрасный день он объезжал с именитыми гостями свои леса и дорогой повествовал о недавней неудачной охоте. На козлах рядом с кучером примостился его нянька, его сиделка, его неразлучный друг, его ходячий адрес-календарь камердинер Петр.

– Тут стоял такой-то, а вон там стоял такой-то, – рассказывал Николай Аркадьевич, и вдруг лицо его выразило глубочайшее презрение: – А тут стояла какая-то жопа. Петька! Кто здесь стоял?

– Здесь вы стояли, ваше превосходительство, – браво отрапортовал Петька.

Дочь Болдарева, моя бабушка Александра Николаевна, вышла замуж за гораздо менее знатного, далекого от высшего света, служилого дворянина Михаила Николаевича Кормилицына. Первая его более или менее крупная должность – директор народных училищ в Рязани (в Рязанской губернии у него было небольшое имение). Последний его пост – вологодский губернатор. Там в 1883 году родилась его младшая дочь Елена.

В Вологде мой дед служил мерилом порядочности. Вологжане говорили: «Честен, как Кормилицын». Он был человек выдержанный, корректный и с подчиненными и с просителями, но однажды вытолкал в шею из своего кабинета, где, по воспоминаниям матери, ревностный этот служака работал и днями и ночами, купца, осмелившегося явиться к нему с крупной взяткой. Он брал к себе в дом на Рождество и на Пасху девочек-приютянок. Приютянки играли с губернаторскими дочками, обучали их песням и романсам. Один из этих романсов

запомнился моей матери, и она мне его пела:

Там далеко, за горами,
Нина с Лизой молодой,
В алых лентах и с цветами,
Шли путем рука с рукой.
……..
Гром ударил над горою:
Нина пала на утес,
И кипящею волною
Водопад ее унес.

Только в 36-м году из книги «Песни русских поэтов», выпущенной в «Библиотеке поэта» Иваном Никаноровичем Розановым, я узнал, что сей романс принадлежит Василию Львовичу Пушкину. Вряд ли создатель «Опасного соседа» предугадывал, что его романс в конце века все еще будут распевать вологжанки.

Перед большими праздниками дед посылал своих детей в тюрьму с подарками для арестантов.

Моя мать помнила, что у них в доме останавливался объезжавший север России родной брат Александра Третьего, великий князь Владимир Александрович. Много лет спустя я прочитал матери стихи Случевского.

– Постой! Постой! – сказала мать. – Какой же это Случевский? Ты не знаешь, как его имя и отчество?

– Константин Константинович.

– Ну, значит, это он и останавливался у нас в Вологде с великим князем! Я до сих пор понятия не имела, что он поэт. Я была уверена, что это петербургский сановник. Держался он необыкновенно просто – это вся наша семья отметила, – был ласков с детьми…

И точно: Случевский находился тогда в свите великого князя. Свое путешествие он подробно описал в нескольких книгах. Во много раз ценнее другое: из этой поездки возник цикл его стихотворений «Мурманские отголоски», где мы находим такие взблески случевской мысли и случевской вольности словообращения:

Будто в люльке нас качает.
Ветер свеж. Ни дать ни взять
Море песню сочиняет —
Слов не может подобрать.

Не помочь ли? Жалко стало!
Сколько чудных голосов!
Дискантов немножко мало,
Но зато не счесть басов.

Но какое содержанье,
Смысл какой словам придать?
Море – странное созданье,
Может слов и не признать.

Диких волн седые орды
Тонкой мысли не поймут,
Хватят вдруг во все аккорды
И над смыслом верх возьмут.

Как, конечно, далек был Случевский от мысли, что сын младшей дочки его вологодского хозяина «в совершенных летах» станет дышать его стихами, что они – и поэт, и читатель – будут смотреть единым взором на мир видимый и на мир внутренний! И на жизнь вечную тоже. И предощущать ее так же:

…….

Ночь. Вдали земля туманная,
Мать всех в мире матерей,
Мне в былом обетованная
И очаг души моей!

Полунощница усталая,
Без меня несешься ты,
Вся больная, захудалая,
В стогнах вечной немоты…

А путям твоим и следу нет!
Но, кому бессмертным стать,
На тебе родиться следует,
На тебе и умирать!

……..

Я отпетый, я отчитанный,
Молча вслед тебе смотрю,
И в трудах, в скорбях воспитанный,
Смерть пройдя, – благодарю…

(Из цикла «Загробные песни»)

…Дед вынужден был оставить службу по болезни. Его показывали Захарьину[3]» но Захарьин ничего поделать не смсг; дед мой умер от рака желудка.

Бабушка, обосновавшись в Москве, жила не по средствам. Держала много прислуги. Швыряла деньги направо и налево. Постоянно ездила на бега и скачки. Играла в тотализатор. Промотала два именьица: и свое родовое, и мужнино. Спасти бабушку от разорения не помогли даже связи с высокопоставленными лицами. А к ней заезжал, когда бывал в Москве, Константин Петрович Победоносцев. У нас долго хранилась запечатленная в двух видах фотографом его обезьяноподобная физиономия с сердечными надписями бабушке – потом, страха ради, мы эти его карточки предали сожжению. В свойстве с бабушкой был министр юстиции Николай Валерьянович Муравьев, тот самый, который в 1881 году обвинял убийц Александра Второго. Наезжая из Москвы в Петербург, бабушка брала свою младшую дочь Нелли к Муравьевым. Моя мать съеживалась от холодной чопорности, царившей в семье министра. Дети Муравьева воспитывались за границей, в России находились под присмотром чужеземных гувернеров и гувернанток, и когда они пытались говорить на языке, который мог считаться их родным только формально, то это был не язык, а волапюк.

У моей матери тоже была гувернантка-француженка, она свободно болтала по-французски, но у нее была и нянечка Даша, и она рассказывала ей русские народные сказки, убаюкивала ее русскими песнями, сыпала присловьями, прибаутками и поговорками, называла иные вещи и некоторые части тела, не прибегая к изящным эвфемизмам, а первыми подругами моей матери были вологодские сиротки-приютянки, говорившие на живописном, древлезвучном северном наречии, – вот почему беспомощное языкотворчество Муравьева-фиса действовало на мою мать так, как если бы он начал скрести ногтем по стеклу.

Кроме нескольких фамильных драгоценностей, мебели и изящных безделушек, Александра Николаевна ничего не оставила детям.

Она была убеждена, что девочки должны уметь изъясняться по-французски и что домашнего образования для них вполне достаточно. Старшие сестры моей матери именно такое образование и получили. Моя мать настояла на том, чтобы ее отдали в гимназию. Она окончила хорошую частную гимназию

Арсеньевой, где учились Книппер и Гиацинтова. Обезображенное надстройкой и перестройкой левого крыла здание гимназии и по сей день стоит на Пречистенке. Чуть дальше, на противоположной стороне, находилась частная мужская гимназия Поливанова, где учились Андрей Белый, Бухарин, Илья Эренбург. Андрей Белый вспоминает о ней в «На рубеже двух столетий». Эренбург в «Книге для взрослых» упоминает, что он и его товарищи ухаживали за арсеньевскими гимназистками.

Гимназия Арсеньевой давала право на преподавание иностранных языков. Заработок моей матери был обеспечен.

Впоследствии, умирая, бабушка хвалила Нелли за настойчивость и раскаивалась и сокрушалась, что не дала образования Саше. Старшие дочери вышли к тому времени замуж. Судьба Саши, непристроенной и оставшейся без дороги, страшила бабушку.

Бабушка, так же как и ее муж, скончалась безвременно. Она не береглась смолоду; находясь в «интересном положении», немилосердно затягивалась в корсеты и до упаду танцевала на балах. Умерла она от «женского» рака.

При всем своем светском легкомыслии, это была истинно верующая женщина, хотя и не сильная ни в богословии, ни в церковнославянском языке. Как-то, придя от великопостной службы, за которой полагается петь: «Господи Сил, с нами буди!» – она умиленно проговорила:

– Как прекрасно сегодня пели: «Господи! Что с нами будет?».

Перед смертью она очень мучилась, но наотрез отказалась от болеутоляющих средств. Она говорила, что это испытание послано ей Богом и она должна найти в себе силы перенести его?..

Трех старших маминых сестер – Асю, Соню и Лилю – я никогда не видел. Тетю Сашу знал и любил сызмала. До революции она приезжала к нам со своим мужем, Борисом Васильевичем Эрфуртом, и привозила мне уйму игрушек. В 17-м году переселилась в Перемышль. В 21-м году разошлась с мужем, перебралась к нам, и с той поры я уже не представляю себе нашего домика, всего уклада нашей жизни без тети Саши, курящей дешевые папиросы, всегда чем-то занятой, стряпающей, варящей во дворе варенье в тазу на жаровне, выпиливающей лобзиком и выжигающей рамочки для портретов, что-то чинящей, что-то штопающей под мое чтение вслух, просящей всеми нами избалованную трехшерстную кошку, прогуливающуюся по обеденному столу: «Брысь отсюда, пожалуйста». После матери и няни я всего сильнее был привязан к тете Саше.

Родители ее мужа расстались вскоре после свадьбы, и Бориса

Васильевича воспитывала тетка, московская мещанка, жившая в доме у богачей Тороповых на Малой Никитской и ухаживавшая за невменяемой хозяйкой дома, к тому времени овдовевшей. Торопова не представляла опасности для окружающих. Она была, что называется, тихая сумасшедшая. Сидела у себя в комнате и на зловещий мотив напевала только две строки:

Едут государи,
Едут повара…

У Тороповой было двое детей: Иван и еще малолетняя Юля. Боря Эрфурт жил с теткой у Тороповых и подружился с Юлей. Иван Васильевич, учившийся с Андреем Белым в поливановской гимназии (Белый вспоминает о нем в «На рубеже двух столетий»), легендарный силач и громила, член Союза русского народа, подозревался в убийстве депутата Государственной думы Герценштейна и берлинского корреспондента «Русских ведомостей» Иоллоса. Он не выносил евреев и велосипедистов. И тех и других бил, судился, приговаривался к уплате штрафа за прикосновение к чужой личности и, уплачивая штраф, всякий раз говорил потерпевшему:

– За то, чтобы набить тебе твою поганую морду, я бы и сотенной не пожалел.

Когда Борис Васильевич повзрослел, Ваничка Торопов стал таскать его на собрания Союза русского народа. Борис Васильевич вспоминал об этих собраниях с гадливым ужасом.

– Страшная публика! – говорил он. – Такие личики – не дай Бог на большой дороге встретиться. И когда их – надо им отдать справедливость – могучий хор гремел о том, что долг повелевает им поднять упавшее знамя

Царя Александра Второго,
Залитое кровью святой, —

мне, монархисту, это казалось кощунством.

Ваничка Торопов издал сборник чувствительных стишков.

Лирическая настроенность его души не помешала ему засадить в сумасшедший дом родную сестру Юлию только для того, чтобы заграбастать все родительское наследство.

Борис Васильевич поднял против него дело, добился того, что Юлию Васильевну выпустили из сумасшедшего дома и утвердили в правах наследия. Юлия Васильевна, и прежде любившая товарища своих детских игр, после того как он ее вызволил из

желтого дома, души в нем не чаяла. Во время мировой войны она боялась, что Бориса Васильевича с его немецкой фамилией могут выпроводить из Москвы, и решила купить в Перемышле два дома на свое имя с тем, чтобы поселить в них Бориса Васильевича с тетей Сашей, воспитавшую его тетку и самой поселиться с ними.

У Ивана Васильевича не было оснований засаживать сестру в дом для умалишенных, но у нее еще в молодости появились первые признаки наследственной душевной болезни. С годами спокойной жизни признаки эти исчезли. Юлия Васильевна потеряла все свое состояние. Она помешалась на том, что умрет с голоду. Щедрая от природы, теперь она тряслась над каждой коркой. Однажды Борис Васильевич увидел, что Юля ест песок. Тут уж волей-неволей пришлось увезти ее в Калужскую психиатрическую больницу. В 18-м году она умерла. В том же году большевики расстреляли ее брата.

5

Моя мать получила место классной дамы в Екатерининском институте для благородных девиц, помещавшемся на Екатерининской площади, где теперь Центральный Дом Советской Армии. Здесь она встретилась кое с кем из своих гимназических учителей: Львом Михайловичем Лопатиным, одним из наиболее видных деятелей московского Религиозно-философского общества» географом Сергеем Григорьевичем Григорьевым, будущим профессором Московского университета. Здесь она познакомилась с Петром Семеновичем Коганом, будущим президентом Государственной академии художественных наук. Начальница Ольга Александровна Краевская сумела заманить в институт цвет московской педагогики. Ее любили и преподаватели, и классные дамы, и ученицы. Не сумела она угодить только начальству. Против нее сплели интригу, будто она разводит в институте «крамолу», и ей пришлось подать прошение об уходе. В знак протеста из института ушли лучшие силы, ушли демонстративно, устроив Краевской прощальный обед в ресторане, о чем подробно сообщалось в газетах. Однако многие, покинувшие институт из-за Краевской, заранее заготовили себе позиции, а некоторые, преподававшие в разных местах, вполне могли обойтись и без Екатерининского института. Моя мать вылетела оттуда очертя голову, не задумываясь над тем, как же она будет жить дальше. Совершена вопиющая несправедливость по отношению к человеку, которого она глубоко уважает, значит, надо на деле

показать, что она всецело на его стороне, а там что Бог даст.

Такту моей матери мог бы позавидовать иной дипломат. Но если сердце что-то внушало ей и подсказывало, то его веления всегда брали верх над тактом и благоразумием.

По счастью, одна из ее сослуживиц и сама устроилась, и ей подыскала место. Матери предложили давать уроки французского языка сыну единственной дочери Ермоловой – Маргариты Николаевны, урожденной Шубинской, и московского врача Василия Яковлевича Зеленина. Очень скоро преподавательница французского языка стала в доме Зелениных своим человеком. Ее попросили подготовить Колю в гимназию, потом – наблюдать за тем, как он занимается. Когда же надобность в этом отпала, Василий Яковлевич устроил мою мать одной из своих помощниц в городскую управу, где он ведал лечебными учреждениями Москвы. Мать сняла комнату на одной площадке с Зелениными и все свободное время проводила у них, летом каждую субботу ездила к ним на дачу. Маргарита Николаевна и Василий Яковлевич были людьми на удивление разными. Моя мать любила их каждого по-своему, они платили ей тем же. Коля привязался к ней всем своим детским сердцем, которому не хватало родительской ласки. Ермолова, часто навещавшая дочь, тоже преисполнилась симпатии к Колиной наставнице. Особенно ее радовало, что моя мать верующая. Она просила ее брать с собою Колю в церковь, вместе говеть. Уже будучи студентом-медиком, Николай Васильевич говорил моей матери, что своей религиозностью он обязан, главным образом, ей, потом – бабушке.

«Зеленинский» период жизни моей матери был самым интересным, самым богатым разнообразными впечатлениями. Уже одно знакомство с Ермоловой чего стоило! Изредка навещал Маргариту Николаевну ее отец, адвокат Николай Петрович Шубинский, обладавший даром незначительнейшее происшествие претворять в увлекательную новеллу. К Зелениным приезжал после спектакля Качалов. У Зелениных бывала совсем еще юная Варя Рыжова. У Зелениных появлялись светила московской медицины и юридического мира. В доме у других знакомых моя мать встречала Шаляпина, Горького, Леонида Андреева, Имя Ермоловой распахивало перед Маргаритой Николаевной и перед ней двери всех московских театров, концертных зал, Охотничьего клуба, Литературно-художественного кружка. У нее почти не оставалось свободных вечеров: то премьера в Малом, то премьера в Художественном, то опера у Зимина, то премьера у Незлобина с Рощиной-Инсаровой, то опера в Большом, то премьера у Корта с Блюменталь-Тамариной, то концерт Шаляпина, то концерт

Собинова, то концерт Смирнова, то концерт Вяльцевой, то концерт Плевицкой, то концерт Вари Паниной, то вечер поэтов.

Встреча с секретарем перемышльской уездной землеустроительной комиссии сожгла все московские корабли. Моя мать знала, что ее любимый человек болен неизлечимо, что ему осталось несколько лет жизни. Это только укрепило ее в решении связать судьбу с Перемышлем.

Меньшинство знатной ее родни возмущал мезальянс. Большинство недоумевало, как можно менять Москву – да какую Москву! – на уездную дыру. И в самом деле, в Перемышле было много лучей света, да и само по себе это царство совсем не было темным, а все же разговоры там частенько вертелись вокруг цен на базаре, сообщались животрепещущие новости: у кого отелилась корова, у кого пропал поросенок, вспыхивали ссоры из-за выеденного яйца, разражались штормы в блюдце воды: перемышльская городская управа рассорилась с перемышльским театральным обществом только из-за того, что сынка члена управы обошли ролью. И, наконец, все мамины родственники и друзья были в ужасе, что она выходит замуж за человека, приговоренного медициной к скорой смерти.

Единственно, кто понимал мою мать до конца, это Маргарита Николаевна. Спустя пятнадцать лет она писала мне, что моя мать – героиня Достоевского. Но и у нее, и у Василия Яковлевича, когда они провожали мою мать на Брянском (ныне – Киевском) вокзале, было такое чувство, словно они хоронят ее заживо.

Мать предлагала отцу жить вместе с его родными, но он воспротивился:

– Если ты хочешь, чтобы у тебя с моей матерью и сестрами были прекрасные отношения, то давай жить порознь. А видеться можем хоть каждый день, – сказал он.

Так, по его слову, и вышло.

Мать с отцом сняли на Калужской улице домик с садом. Галерея с чуланчиком, передняя, столовая, она же гостиная, комната, которая стала потом моей детской и где вместе со мной поселилась старушка-няня, спальня родителей, кабинетик отца окном во двор, темная «проходная» комната, кухня, сени, двор, сад…

Обставили квартиру для уездного города более чем прилично. Первой ценительницей жилья молодых оказалась бабушкина прислуга Авдотья. Оглядев, что, как и где расставлено и развешано, она прибежала с докладом к бабушке и Евдокии Михайловне. Особенно ее поразила «дыхальная» (то есть, в переводе с ее языка, мягкая) мебель и размеры «продовольствия», как она почему-то называла нужник.

Образовался круг знакомых. Отец и мать много читали вслух, что явствует из их переписки с родными. Своими руками разбили в саду цветник. Затем появился я. Жизнь была полна и могла бы быть счастлива… Но болезнь отца вытягивала из него все соки. На последней фотографии щеки у него точно высосаны… Один анализ хуже другого. Калужские врачи – а Калуга тогда славилась своими врачами – говорят матери правду… У отца нет сил ходить на службу. Нет сил передвигаться по комнатам. И уже трудно лежать. Плоть все немощнее и немощнее, но разум ясен и дух бодр. Прощание – и христианская кончина, мирная, почти безболезненная…[4]

А в сердце у матери до последнего мига трепетала надежда на чудо. И когда конец наступил, взрыв неизведанного ею до того дня отчаяния потряс всю ее душу.

Ее утешали. Ей говорили о Боге.

– Да что мне ваш Бог? – кричала она в исступлении. – Если б Он был, разве Он отнял бы у меня Мишу?

К ней подносили меня.

– Унесите его! – кричала она. – Я не хочу его видеть. Разве он заменит мне Мишу?..

Бога скоро вернул ей – и уже навсегда – о. Николай Панов; вернул беседами с ней наедине, свободными от «мудрования», но зато полными той благодатной, той человеколюбивой, той тихой веры, что движет горами и повелевает ветрам.

А меня, единственного своего сына, на которого она в минуту нестерпимой душевной боли не бросила даже беглого взгляда, она полюбила такой любовью, для которой язык человеческий еще не придумал слов.

Москва, октябрь 1970

Свет присносущный

…да воссияет и нам грешным
свет Твой присносущный…

Тропарь празднику Преображения Господня

1

Раз в несколько лет, в июле, в августе, а то и ранней осенью, по желанию верующих перемышлян из села Явленного, расположенного неподалеку от Калуги, привозили к нам на неделю икону Калужской Божьей Матери, почитавшуюся и доныне почитающуюся чудотворной. Для горожан и жителей окрестных деревень это было «велие торжество», как говаривал настоятель перемыпллльского собора о. Владимир Будилин.

Икону еще на моей памяти (последний раз – осенью 1928 года) привозили в карете, и одна эта карета мгновенно вырывала меня из моей привычной уездной повседневности. Вместо телег и саней, вместо изредка попадавшихся мне на глаза тарантасов и шарабанов – вдруг пахнущая стариной, точно из сказки, из книги вымахнувшая карета!

Встречать икону перемышляне, и стар, и млад, выходили к Оке. Как только карета выезжала с парома на перемышльский берег, икону выносили из кареты, карета с сопровождавшим «икону священником или псаломщиком следовала в Перемышль, а икону, то и дело сменяясь, около двух верст несли на руках верующие. Женщины и некоторые мужчины становились на середине шоссе и сгибались в поклоне, так, чтобы икону пронесли над ними.

На самом высоком месте шоссе, неподалеку от реки, икону ожидало духовенство, сверкая на солнце серебром и золотом риз, стихарей и хоругвей.

Вот о. Владимир Будилин, весь как есть серебристый и серебрящийся На солнце; серебристая голова, серебристая борода, серебристое облачение. Он среднего роста, с высоким умным лбом, с маленькими, умными, прячущимися за очками глазками, в которых, когда он обнаружит слабое место у своего оппонента или найдет очередную несуразность в газете,

вспыхивает насмешливый огонек. У о. Владимира тихий голос, он шамкает, но к древнему соборному сумраку так идет слетающий с его уст молитвенный шелест слов акафиста Пресвятой Богородице: «О веепетая Мати!»[5]. Мысль его остра, неожиданна и своеобычна, но он до крайности не красноречив, пересыпает свою речь бесконечными «то», «того», так что слушаешь его всегда с напряжением, однако напряжение неизменно окупается тем, что выносишь из беседы с ним. Он любит физический труд – я видел однажды, как он метал копну, выказывая чисто крестьянскую сноровку, хотя он был потомственный «колокольный дворянин». Этот митрофорный протоиерей, епархиальный благочинный, был сыном псаломщика из села Подкопаева Мещовского уезда Калужской губернии. По бедности родителей, живших на краю села в хатке-развалюхе, и благодаря своим выдающимся способностям, Владимир Александрович учился на казенный счет в калужской семинарии и для того, чтобы побывать дома на каникулах, избирал, подобно гоголевским бурсакам, единственный доступный ему в то время образ пешего хождения. Затем, также на казенный счет, был принят в Московскую духовную академию, а по окончании ее назначен настоятелем перемышльского Успенского собора. Он входил в Совет Перемышльского благотворительного Алекеандро-Невского братства. На собранные братством пожертвования, на выручку от устраивавшихся им спектаклей и концертов в Перемышле была открыта библиотека. Устраивало братство и так называемые «народные чтения» с волшебным фонарем. Братство выдавало пособия бедным. Братство выстроило бедняку Музыкину домик на месте его лачужки. На основе сохранившихся в соборе сказаний о. Владимир писал историю нашего края. Послал одну из своих исторических работ в московское издательство. Ему ответили, что рукопись принята к изданию и передана в типографию. Но тут грянула революция, издательство ликвидировали, и книга так и не вышла. Он хорошо знает литературу, высоко ценит Достоевского – с таким ударением произносит он эту фамилию – и как писателя, и как мыслителя, утверждает, что ни один церковный писатель не сделал столько для православия, сколько Достоевский; о Толстом говорит с беззлобной скорбью, что он своей проповедью причинил много вреда, особенно – молодежи. О. Владимир от доски до доски прочитывает газеты, даже «Экономическую жизнь», в курсе всех политических событий – внутренних и международных. Некоторое время спустя после смерти Ленина кто-то из моих родных задал о. Владимиру вопрос: кого он считает сейчас самыми крупными фигурами в большевистской партии.

О. Владимир ответил:

– Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и Сталина.

А ведь тогда еще фамилия Сталина для провинциалов, да и для многих столичных жителей, была пустым звуком.

Незадолго до смерти, когда о. Владимиру было уже не под силу читать самому, он просил сына, Григория Владимировича, читать ему вслух свежий номер газеты или хотя бы пересказывать наиболее существенное. И еще накануне своей кончины он вел беседу с Григорием Владимировичем о церкви в государстве. Он настолько хорошо знал и помнил математику, что к нему до самой его предсмертной болезни обращались за помощью ученики старших классов средней школы. Он дипломатичен, осторожен, деликатен, тактичен. С годами гонение на религию усиливается, и он, духовник моей матери, наш добрый знакомый, почетный и всегда желанный гость у нас в доме, при встрече на улице делает вид, что нас не замечает, а то как бы не скомпрометировать. Он навещает нас все реже и реже, невзирая на уговоры моей матери, а если и приходит, то непременно в сумерки, с которыми сливается его серая ряса. Он целительно ласков с детьми. Когда он посещал меня во время моих частых и иногда серьезных болезней, мне сразу становилось легче. В 1928 году, после того как он исповедал и причастил меня на дому, в моем опасном заболевании начался благодетельный перелом.

Выйдешь иногда спозаранку – смотришь: о. Владимир пробирается с кошелкой. Ну, значит, навещать кого-нибудь из бедняков – в больнице или дома, побаловать болящего пирожками, испеченными Надеждой Петровной, яблочками или сочными сладкими желтыми сливами из своего садика. Спросишь:

– Куда это вы, Владимир Александрович?

Замнется:

– Это я… то… того… одного человечка проведать…

Когда его хоронили, бывший священник села Корекозева, о. Илья Миронов, вернувшийся к тому времени из мест отдаленных, вспоминал, что если б не посылки о. Владимира – а о. Владимир тогда уже не служил и находился на иждивении сына, – он, одинокий, не выдержал бы голодухи в изгнании.

О. Владимир долгое время жил со своим старшим, любимым, сыном – учителем. В 1927 году на выборах в правление местного кооператива наш тогдашний «предводитель дворянства», секретарь комитета партии, Лёвчуков заявил в моем присутствии Григорию Владимировичу отвод только на том основании, что товарищ Будилин живет-де вместе с отцом-попом. Тогда простой

перемышльский мещанин, Александр Иванович Ветров, человек непогрешимой порядочности, встал и сказал:

– Позвольте – за! Такого незаменимого работника, как Будилин, в нашей кооперации не было и не будет.

Все-таки Григорию Владимировичу пришлось выехать из отцовского домика. Прошло еще три года, собор закрыли, а о. Владимира с женой по случаю того, что наш район был объявлен районом сплошной коллективизации, зимою выгнали на улицу. Старик долго ходил по городу – на дома в дом, просил, чтобы пустили его с Надеждой Петровной на квартиру. И никто из тех самых горожан, которые так недавно оказывали ему все знаки уважения, страха ради на квартиру его не пустил. Пришлось старику со старухой перебраться в Калугу, и там кто-то им сдал конуру. А моей матери долго потом снился сон: ночь, сумасшедшая вьюга, о. Владимир стучится то в одно окно, то в другое – никто не отзывается. И, однако, с о. Владимиром все кончилось сравнительно идиллически: у него был и кров над головой, и кусок хлеба, а впоследствии он снова переехал в Перемышль и тихо скончал свои дни перед самой ежовщинон, не дожив до ареста своего любимого сына. А для многих и многих священнослужителей сон моей матери оборачивался безысходной явью, и иные замерзали с женой и малыми детьми в поле или в лесу.

Перевожу взгляд с о. Владимира на о. Иоанна Песоченского, священника Никитской церкви. Он высокого роста, у него осанка проповедника, всегда чуть откинутая голова, вдохновенное лицо. Он тоже ума палата. В молодости и даже в среднем возрасте он, говорят, пил жестоким запоем, но впоследствии титаническим усилием воли победил этот роковой для многих духовных лиц недуг, и на моей памяти он уже был трезвенником. Служит он как будто несколько театрально, однако надо вчувствоваться в его интонации, и тогда поймешь, что театральность эта не благоприобретенная, не выработанная, не нарочитая, а органическая. Иначе он служить не может. В отличие от о. Владимира о. Иоанн прекрасный проповедник и прекрасный рассказчик. Где бы и о чем бы он ни говорил: с амвона – о смысле Духова дня или за чайным столом – о перипетиях русско-японской войны, его, бывало, заслушаешься. Небо явило к нему великую милость: он скончался в 1927 году, весной, до сплошной коллективизации, до сплошного закрытия храмов и до ареста двух своих сыновей.

А вот священник Фроловской церкви о. Николай Бриллиантов, немудрящий, обремененный огромной семьей, поневоле уделяющий много времени и внимания заботам о хлебе

насущном. Если ему надо поскорее на сенокос или на уборку картофеля, он проборматывает службу или требу, как брат Жан из «Гаргантюа и Пантагрюэля». Но если ему торопиться некуда, как благолепно, с каким неподдельным чувством он служит! Кажется, это о нем сказал Некрасов в «Русских женщинах»:

> …голос священника скорбью звучал.

О. Николай часто служил панихиды по моему отцу, я у меня до сих пор в ушах его воистину скорбный, западающий в душу голос:

> Во блаженном успении вечный поган и да-а-аждь
> Господа, усопшему рабу твоему Михаилу

О. Николай анекдотически вспыльчив – и в силу характера, и от досаждающей ему мысли: как прокормить жену и детей – мал мала меньше? И вот он в замызганной рясе яростно торгуется с бабой на базаре из-за липшей копейки («Дорого, матушка, дорого!»), и вот в Великий Четверг, к вящему соблазну прихожан, из алтаря слышится его голос:

– Заповедь новую даю вам… не дуй в кадило, болван!

Из песни слова не выкинешь. Из человеческой жизни единой черточки не смажешь. Но вот поди ж ты! Стойкостью о. Николай отличался подвижнической. Когда революция разразилась, дети его были еще малы, а двое младших родились уже после революции. Новая жизнь первое время била не непосредственно по о. Николаю, а по его детям, что́ ему, строгому, но чадолюбивому отцу, было, конечно, еще больнее. Уже в годы НЭПа его детям, как детям «лишенца», не было доступа в средние специальные учебные заведения, не говоря уже о высших. Иные успели проскочить в какой-нибудь педагогический или сельскохозяйственный техникум, иные учились по подложным документам. И вот дойдет Петя до последнего курса, и вдруг – вон, на все четыре стороны. Еще через год откуда-то вышибают Катю. А в 1930 году из шестого класса средней школы исключили Аню только за то, что она отказалась принять участие в «добровольной» подписке на «Заем индустриализации». Уже перед самой войной, весной 41-го года, его сын Коля в очередной анкете на вопрос о социальном происхождении ответил «сын культ, служ.», в страусовой своей наивности надеясь, что отдел кадров расшифрует его ответ так, что отец Н. Н. Бриллиантова служил в каком-нибудь культурно-просветительном учреждении.

Кстати о Коле Бриллиантове и о «поповской жадности», о которой антирелигиозники прожужжали нам уши. Коля сызмала хорошо знал, что такое нужда, что такое хлеб пополам со жмыхом, что такое непосильные налоги, знал цену каждой копейке. У Коли была хозяйственная сметка, он был разумно расчетлив, на все руки мастер. Всю войну 41–45 годов он провоевал, был в Германии, оставался некоторое время после войны в Кенигсберге, а приехав, сказал матери, у которой за это время немцы разбомбили домишко и у которой не осталось ни кола ни двора: «Мамочка! Ты уж на меня не сердись! Я ничего из Германии не привез. У меня и мое-то добро украли». А «жадная» попадья ему в ответ: «Я бы тогда рассердилась на тебя, Коля, если бы ты хоть что-нибудь привез из Германии».

О. Николаю снять бы священнический сан и тем сильно облегчить участь детей, но это был, при всех его слабостях, настоящий, преданный церкви священник. В 1929 году закрыли храм, в котором он прослужил с 1918 года. Даже сквозь природную смуглоту его восточного скуластого лица видно было, что он почернел от горя. Служить ему было негде, но он и тут не снял сана. А в 1937 году его, старого, больного, неслужащего священника, дальше своего сада никуда не ходившего, схватили нарком-внудельские молодцы. На нарах какой тюрьмы испустил он дух – Ты, Господи, веси…

Вот соборный дьякон Михаил Федорович Даньшин, которого мой отец прозвал за могутность Дьяконом Ахиллой[6]. Этот самый Ахилла, с носом, похожим на клубнику «Викторию», был шутник и, как все настоящие острословы, шутил с каменным лицом. Однажды, до революции, он пришел поздравить мою бабушку с каким-то большим праздником, но посидел недолго.

– Куда же вы, Михаил Федорович? – пыталась удержать его моя бабушка.

– Не могу, Анна Яковлевна! Прямо от вас к Субботину (уездный член окружного суда). Это такая гадина – надо пойти поздравить.

Даньшин был многодетен, и эта его многодетность тоже являлась для него поводом к шутке. Когда моя тетка, придя к нему утром и остолбенев при виде детворы, валявшейся и на кроватях, и на сенниках, разложенных на полу, и на полатях, спросила: «Сколько же их у вас?» – дьякон ответил:

– Двенадцать спят, а двенадцать только-только проснулись.

На досуге из любви к искусству Даньшин занимался фотографией, что тогда было редкостью, недурно рисовал (кое у кого еще сохранились его перемышльские пейзажи), преподавал рисование в высшем начальном училище. После революции

власти от него потребовали: или – или. Он предпочел остаться дьяконом. А когда он скончался (в 1923 году), хоронить его было не на что. Он умер на Троицын день, а на Духов день, за обедней, после того как о. Иоанн Песоченский обратился к молящимся с просьбой, пошли с тарелочкой собирать усопшему Ахилле на гроб.

А вот второй соборный дьякон – худощавый, с добродушнейшим выражением лица, Михаил Николаевич Святополков. Этот воды не замутит, мухи не обидит. В 1925 году он расстригся – задавили налоги. Первое время после снятия сана он, уже в дешевеньком кургузом пиджачишке и брючках, при встрече с моей матерью здоровался робко, боясь, что Елена Михайловна не ответит ему на поклон. Но церкви все же не бросил: поступил в другой храм регентом хора.

После краткого молебна прямо на шоссе икону Царицы Небесной несут в Успенский собор. За иконой – все духовенство. За духовенством – огромный для уездного города хор. В 23-м году таким хором управлял заведующий уездным отделом народного образования, беспартийный Владимир Петрович Попов. Поют певчие из всех пяти церквей, около ста мужчин и женщин:

Не имамы иныя помощи,
Не имамы иныя надежды,
Разве Тебе, Владычице, —
Ты нам помози;
На Тебе надеемся
И Тобою хвалимся.
Твои бо есмы рабы,
Да не постыдимся.

А в небесной вышине поют-заливаются птицы. А с лугов тянет медом. А навстречу – из города – ликующий трезвон колоколов.

И в течение недели весь город живет этим событием. Будничные заботы отступают – «о Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». Мы все принаряжаемся и внешне и внутренне. Подобревшие, прояснившиеся лица – вот что связывается в моей памяти с приездами дорогой гостьи. И из-за одного этого стоило сохранить древний обычай.

Икону переносят из храма в храм, в каждом храме в честь нее служат всенощную и литургию. На другой день после прибытия иконы, по окончании поздней обедни, ее несут из собора на площадь. Здесь – под окнами исполкома – служится торжественный молебен, а затем – крестный ход вокруг всего города, мимо лесов, лугов, полей и гор; и во время крестного хода

священники, сменяя друг друга, читают акафист Иисусу Сладчайшему. Днем икону носят по домам верующих горожан и крестьян ближайших деревень, молятся в полях о ниспослании урожая.

И пока в пестром мраке самого-самого первосонья вдруг не вырисуются невиданные лица, незнакомые здания, дороги в осиянные нездешним светом миры, и вслед за тем ты, сморенный здоровой усталостью, не канешь камушком в бестревожную глубь детского сна, и в первые мгновенья после того, как рассеется сонный туман, слух твой наполняют огнестойкие слова молитвы, ежедневно повторяемые за молебнами, и пленительный в своей однозвучности напев:

Спаси от бед
Рабы Твоя, Богородице,
Яко вси по Бозе
К Тебе прибегаем,
Яко нерушимей стене
И предстательству.

Особенно памятно мне пребывание у нас иконы Калужской Божьей Матери в 1925 году – памятно прежде всего потому, что для моей матери-учительницы, содержавшей на свое более чем скромное жалованье меня, ученика шестого класса, свою сестру» получавшую двенадцать рублей пенсий, и самое себя» отнюдь не исключалась возможность, что за хождение на встречу иконы или за участие в крестном ходе ее выгонят из школы с волчьим билетом.

Мать не утаила от меня своих опасений. И оба мы на «семейном совете» (тетя Саша в ту пору гостила в Москве) пришли к заключению, что лишить себя этой радости мы не можем, что бы с нами потом ни случилось. Мама вспомнила слова из песнопения, мимо которых до этого ее мысль скользила безучастно, но которые вдруг приобрели для нее насущный и ободряющий смысл:

Твои бо есмы рабы.
Да не постыдимся.

Забегая вперед, скажу, что все кончилось для моей матери и тем паче для меня вполне благополучно. Были мы с ней на всех решительно службах. Но местный антирелигиозник Бычевский, редкозубый, с мышиными бегающими глазками на чахоточном

лице и тонкими – в ниточку – поджатыми злыми губами, сыпавший слова четкой скороговоркой, словно из пулемета строчил (к слову молвить – поп-расстрига, женатый на дочери священника, от какового брака у него был единственный сын – жалкий и тихий, со всеми приветливый идиотик), – этот самый уездного масштаба философ с семинарским образованием ограничился тем, что на очередной «лекции» в клубе выразил сожаление, что по случаю привоза иконы особое религиозное рвение проявили некоторые учительницы (имен он не назвал) и что голосом приезжавшего из Калуги протодьякона Песоченского (однофамильца нашего священника) увлекся даже местный комсомол в полном составе, с секретарем во главе.

А еще потому эта летняя неделя 1925 года так неизгладимо врезалась в мою детскую память, что на сей раз перемышляне для вящей торжественности задумали пригласить калужского протодьякона Песоченского. Я слышал мамины рассказы о Шаляпине, об итальянцах, но все же до приезда Песоченского не представлял себе, что человек может обладать голосом такой безграничной мощи и такой одухотворенной красоты, что человеческий голос может брать в плен целые города.

Сын сельского священника, родом из Зимниц Жиздринского уезда, Песоченский одно время служил псаломщиком в одном из сельских храмов Калужской губернии и постепенно дошел до протодьякона калужского кафедрального собора, а в 1897 году был награжден архидьяконским орарем.

Песоченский был человек непокорный, свободолюбивый, неколебимо верующий, но ни в малой мере не святоша и не ханжа. Ничего ханжеского не было ни в облике его, ни в повадке, ни в речи. На своем веку я много общался с духовенством и могу засвидетельствовать, что истинным представителям православия, при этом не только лучшим из них, ханжество и лицемерие чуждо. А лучшие из них строги к себе, всепонимающи и милосердны к другим. Это отражается в их взгляде: сосредоточенный, ушедший внутрь и оттого кажущийся суровым, он мгновенно светлеет и теплеет, как только на кого-нибудь обращается.

До революции Песоченский выказал себя либералом, не ладил с губернатором Ченыкаевым, власти посматривали на него косо. Косились на него и новые власти. В самом начале 20-х годов правительство особенно активно поддерживало отколовшихся от православия «обновленцев», надеясь их грязными и хилыми руками взорвать православную (так называемую «тихоновскую») церковь изнутри. Осенью 1923 года мать взяла меня на уездный съезд Советов. Съезд происходил в школьном здании. Часть

помещения была отгорожена для делегатов и для президиума. Остальную часть отвели для публики. Послушать, что говорят, мог кто угодно. Среди публики – о. Владимир Будилин. Съезд приехал проводить член Калужского губкома РКП Иосиф Иванович Рещиков.

В докладе на съезде он с циничной, марксистско-ленинской откровенностью заявил:

– Для нас, коммунистов, конечно, безразлично, что «обновленцы», что «тихоновцы», и те и другие – опиум для народа, но мы поддерживаем обновленцев, потому что они сеют рознь среди церковников и помогают нам бороться с церковью вообще.

Однажды Песоченского вызвал к себе один из калужских сатрапов и задал ему вопрос:

– Почему вы отказываетесь служить с епископом Владимиром? (Это был «красный» архиерей.)

– Я с мерзавцами не служу, – возгласил своим громоносным басом Песоченский.

– Как вы можете так говорить? – обиделся сатрап за своего протеже.

– Ну, с подлецами, если хотите, – поправился Песоченский и тут же, не пожалев красок, расписал Владимира, строившего свою карьеру на изветах и доносах.

Так Песоченский и не стал служить с «мерзавцами» и «подлецами». А когда, в 1925 году, он приехал к нам в Перемышль, то отказался служить с «красным» попом, сопровождавшим икону Калужской Божьей Матери. «Обновленцы» и «живцы», которых так прозвал народ, потому что они объявляли себя сторонниками некоей «живой церкви», хотя Лютеров среди них на поверку не оказалось, а вот проходимцев, самозванцев, стяжателей, вымогателей, доносителей, мелких политиканов, интриганов, фанфаронов хоть пруд пруди; при прямом попустительстве властей забирали себе во всех городах лучшие храмы и святыни, чтобы получать как можно больше дохода. Отказался Петр Андреевич Песоченский служить с «красным» попом публично, на городской площади, перед началом молебна, напомнив ему, что он с таким условием и ехал в Перемышль, чтобы тот в богослужениях участия не принимал.

– Вы же дали нам слово, – поддержал своего однофамильца о. Иоанн.

«Красному» попу пришлось снять облачение и удалиться.

Я слушал Песоченского, когда ему было за шестьдесят. С виду он был неказист: росту чуть выше среднего, со светло-русыми прямыми волосами, с птичьим носом, испещренным багрово-

синими переплетениями жилок. Но во время богослужения он внезапно хорошел. Вскоре мне пришлось увидеть другого калужского протодьякона Малинина – высокого, стройного, среброкудрого, голубоглазого красавца с профилем древнего римлянина. Когда Малинин ходил по храму со свечой, казалось, он ступает по упругой волне. Каждое его движение было исполнено царственного величия. И все же он не производил того впечатления, какое оставлял невзрачный Песоченский. Песоченский брал не только силой голоса, но и силой своего молитвенного духа. И я, двенадцатилетний мальчуган, всю неделю простаивал две долгие службы – литургию с молебном и всенощную с акафистом – и не замечал усталости до того мгновенья, когда ложился спать. Это была моя первая влюбленность в человека искусства. Я много раз потом слышал, как поют за всенощной величание Богородице. Слышал, как гремели в Киевском Владимирском соборе архангельские трубы двух протодьяконов. Но все звучащие в моем внутреннем слухе голоса покрывает голос Песоченского, воспевающий, славословящий Матерь Божью от всей своей простой и светлой души:

…честнейшую херувим и…

Едва уловимая пауза, и вслед за тем по всему храму разливается голос Песоченского, и какая в нем преданная любовь к Заступнице Усердной!

…сла-а-вне-е-ейшу-ую без сра-авне-е-ния…

И вот, разлившись, казалось без удержу, голос Песоченского на последнем слове входит в берега и замирает на густой, строгой, чуть-чуть грустной ноте, словно жаль ему, что величание кончилось:

… се-ра-а-фим…

Летний погожий вечер. Всенощная в Никитской церкви. После чтения Евангелия Песоченский всходит на амвон и начинает длинный речитативный возглас:

Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое…

Все окна и двери храма – настежь, и в них вливается звон колокола, лучшего во всей нашей округе. Звонарю давно бы уж пора утихомириться, а он разошелся вовсю, колокольная медь гудит победно, неукротимо, но Песоченского это нимало не смущает: точно соревнуясь с нею, он с каждым словом усиливает звучание голоса, и вот колокол звонит теперь словно где-то вдали, а весь храм, до последнего, самого темного и укромного уголка, вытеснив колокольный звон, наполняет нечеловечески мощный голос Песоченского:

> Молим Тя, многомилостиве Господи:
> услышш нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас!..

Это была как бы молитва от всех нас и за всех нас, это была *мировая молитва,* как выразился о коленопреклоненных молитвах, читаемых за вечерней в Троицын день, художник Левитан, душа которого была всегда раскрыта для красоты[7].

Перемышляне потом говорили:

– А помните, как никитский колокол спасовал перед Песоченским?

Давно нет в живых Песоченского, обезображена Никитская церковь, разбит ее полнозвучный колокол, а голос протодьякона звучит в моих ушах так, словно я слышал его вчера…

Мы с моей матерью встретились с Петром Андреевичем Песоченским в первый и последний раз у наших знакомых, у которых он остановился. За чашкой чая он предавался лесковским воспоминаниям. Случайно кто-то заговорил о покойном перемышльском священнике Николае Ниловиче Панове – маленький, я называл его, первого священника в моей жизни, «дядей с длинными волосиками». «Дядя с длинными волосиками» отличался музыкальностью: играл на скрипке, участвовал в домашних светских концертах, устраивал духовные концерты в пользу Александро-Невского братства, у него были свои сочинения для церковного хора. Он умер в 1914 году, в рождественский сочельник, стоя на коленях перед образом Всепетой Матери. Оставил он по себе долгую память, главным образом тем, что не только никогда ничего не брал с бедняков, но – по примеру своего покровителя Николая Угодника – тайно помогал им: то незаметно сунет что-нибудь в окно, то войдет в дом, когда никого нет, и положит на стол. И вот оказалось, что это товарищ Песоченского по Калужской семинарии. Песоченский неожиданно встал, поклонился своим собеседникам и, поблагодарив их за то, что они поминают добром «Нилыча», воскликнул:

– Малограмотный, академии не кончил, а душа-то какая была!..

Перед тем как нам распрощаться, кто-то из местных церковных деятелей пришел сказать Песоченскому, что двух подвод найти не удалось и что придется ему ехать в Калугу с тем самым «обновленцем», с которым он отказался служить. Петр Андреевич усмехнулся:

– Ну что ж, ничего не поделаешь, авось не заражусь «обновленческой» хворью!

Мы с моей матерью отправились по хозяйственным делам и, уже возвращаясь домой, смотрим: у постоялого двора пролетка, а в пролетке Песоченский и «живец». Заметив нас, Песоченский заговорщицки подмигнул и, показав глазами на соседа, с мальчишеским задором скорчил такую уморительную физиономию, что мы с матерью чуть не упали от хохота.

Последние годы жизни Песоченского были горестны. В Калуге его задушили налогами. Людиновские рабочие пригласили его в свою церковь. Потом закрыли церковь и в Людинове. Петр Андреевич снова перебрался в Калугу и там умер в бедности, 23 августа 1933 года, 69 лет от роду.

2

…в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово – это
Бог.

Гумилев

В моей детской душе незаметно откладывались впечатления: от людей, в меру своих сил делавших святое дело, друг на друга совсем не похожих, резко своеобразных, впечатления от радовавших взор обрядов, от порой размягчавших душу, порой высоко-высоко возносивших ее напевов, – откладывались и до времени дремали. Но то была дремота зерен, брошенных в землю. Пришла пора – зерна дали ростки. Тот огонек, что затеплили во мне мои родные, не только учившие меня молиться и осенять себя крестным знамением, не только напевавшие мне церковные песнопения, не только рассказывавшие мне Священную историю, но и наглядно показывавшие, как надо жить по-Божьи, открывавшие моим глазам очарованье добра, согревал меня в студеную пору душевных и всяких иных невзгод. Тот же огонек не раз выводил меня на дорогу из дебрей, отводил от провалов и

круч. Тот же огонек поддерживал во мне надежду на избавление, когда я, беспомощный и безоружный, стоял лицом к лицу с Голиафом советского государства. И тот же огонек не дал мне погрузиться в безумие от всего, что уже бессильно было вобрать в себя зрение, от всего, что уже отказывался улавливать слух. Религия, так же как всякое подлинное искусство, облекает всечеловеческое в ярко национальный убор. Через религию я сильнее, нежели через что-либо другое, ощущаю связь с предками – теми, что отстаивали свою веру, отстояли ее, внукам и правнукам заповедали отстаивать ее и впредь, теми, которые доказали на деле, что вера неупразднима, как жизнь. Эта связь времен – самая прочная, и ей не распасться до скончания века.

Я знаю церковнославянский язык неизмеримо хуже русского, а люблю ничуть не меньше. Он такой же родной мой язык, как и русский. Погруженный в его поэзию с малолетства, я с одинаковым обожанием вслушиваюсь в его звучание, то нежное, как краски Андрея Рублева, то жесткое, как письмо Феофана Грека новгородской поры. Все эти аще, а́може, иже, еже, коему́ждо, та́сожде, до́ндеже, иде́же, сице, елицы, обаче, наипаче, обо́нпол, вельми, всуе, вы́ну, горе́, до́лу, днесь, егда, внегда, зане́, зело́, присно, одесную, ошую, токмо, убо; все эти многозвонные существительные и прилагательные: богоглаголивый (о пророке), благоугодивший, приснорадостная и всепразднственная память святителя Николая (стихира из службы Николаю Угоднику), Светодавче (обращение к Христу); все эти продлинновенно-суровые глагольные окончания: «Согрешихом, беззако́новахом, непри́вдовахом пред Тобою, ниже́ соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам» (из Великого канона); падежные окончания: «Упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея»; формы управления: «Возвеселится праведник о Господе и уповает на Него», – все это для моего слово– и звуколюбивого слуха – музыка небесных сфер. Такая же точно музыка, как синонимические вариации – отличительная особенность церковнославянского языка – и повторы. Елисавет, увидев пришедшую к ней Мариам, «возопи гласом велиим и рече»[8]. Или из пасхальных стихир о встрече ангела с женами-мироносицами: «И той, провещав им, сице глаголаше…». Такая же точно музыка, как изобилующие в Священном писании и богослужебных книгах метафоры, сравнения, оксюмороны и повышающие интонационный строй инверсии: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облеко́стеся»; или из Великой ектеньи на вечерне в Троицын день: «О преклоняющих сердца пред Господом и колена»; «О еже прияти коленопреклонения наши, яко фимиам пред Ним»; или из молитвы преподобным Антонию, Феодосию и прочим

чудотворцам печерским: «…от темных мест пещерных в земли Российстей славно просиявший и сию многими светозарными ангелонравного вашего жития звездами онебесившии…»; или – обращение к Богородице: «Радуйся, Невесто Неневестная».

В 1956 году иеромонах Почаевской лавры о. Северьян, как видно – украинец: и по выговору, и по обличью, – как видно – без большого богословского и общего образования человек, водил экскурсию по монастырю. К этой экскурсии примкнул и я. Кто-то из группы задал иеромонаху вопрос – без всякой подковырки, а из законного любопытства: почему, мол, церковь совершает богослужения не на русском или – в пределах Украины – не на украинском языке, а на затруднительном для понимания церковнославянском? На это ему о. Северьян ответил так: во-первых-де, мы служим не для случайно забредших в храм, с тем чтобы поглазеть и уйти, а для тех, кто храм посещает постоянно и к церковнославянскому языку приобык, а во-вторых, как, мол, вы переведете на русский или же на украинский язык церковнославянские выражения и обороты речи, не уронив их в будничный прах с той высоты, на каковой они красуются и блистают?

– Попробуйте, – сказал он, – перевести на украинский язык: «Радуйся, Невесто Неневестная…». Ну-ка, что у вас получится? «Регочи, невисто незасватана»?..

Я вдруг представил себе, что среди экскурсантов стоит и слушает о. Северьяна Пушкин. Я не сомневаюсь, что он с присущей ему пылкостью, потрясенный природным чувством стилевой иерархии, которое выказал о. Северьян, бросился бы к нему на шею и поцеловал в обе щеки.

Узорчатую нарядность, старославянскую вязь, не только графическую, но и словесную, оттеняет в богослужениях, в местах, полных особой скорби или особого значения, евангельская сжатость выражения, евангельская точность сравнений, как бы выкроенных по строжайшей мерке.

Вспомним конец Иуды Искариотского, не вынесшего душевных мук, – конец, описанный евангелистом Матфеем: «Тогда видев Иуда, предавый Его, яко осудиша Его, раскаявся, возврати тридесять сребреники архиереем и старцем, глаголя: “Сохших, предав кровь неповинную”… И поверг сребреники в церкви, отыде; и шед, удавися». Или отречение апостола Петра, которое предрек ему Учитель на Тайной Вечери: «…не возгласит алектор, дондеже отве́ржешися Мене трищи». И вот исполнились слова Учителя. Петр во дворе архиерея Каиафы от страха начал «ротитися и клятися», что не знает Иисуса. «И абие петел возгласи. И помяну Петр глагол Иисусов, реченный ему, яко

прежде даже петел не возгласит, три краты отве́ржешися Мене. И исшед вон, плакася горько».

Или свидание Христа с апостолом Фомой, не желавшим верить, что Христос воскрес, до той поры, пока он не коснется ран от гвоздей на теле Его. И вот – пришел Иисус к Своим ученикам и сказал им: «Мир вам!» «Потом глагола Фоме: "…Принеси (протяни) руку твою и вложи в ребра Моя. И не буди неверен, но верен". И отвеща Фома и рече Ему: "Господь мой и Бог мой!"»

Или эти слова Спасителя на Тайной Вечери: «Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетеся и возрыдаете вы, а мир возрадуется; вы же печальни будете, но печаль ваша в радость будет. Жена (женщина) егда раждает, скорбь и́мать… Егда же родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же печаль и́мате убо ныне; паки же узрю́» вы, и возрадуется сердце ваше, и радости вашея никтоже во́змет от вас. И в той день Мене не воспросите ничесоже».

При чтении и слушании Евангелия мне часто приходила мысль: даже если взглянуть на эту книгу только как на произведение словесной живописи, то нельзя не признать, что создатели его – великие писатели, и притом реалисты, познавшие искусство светотени и значение художественной подробности. Надо быть уже Шекспиром или Сервантесом, чтобы не побояться ни моления о чаше, ни возгласа Христа на кресте: «Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?», ни отречения Петра. Надо быть уже Шекспиром или Сервантесом, чтобы упомянуть о том, что воины не поняли Христа, воззвавшего к Богу Отцу: «Или́, Или́!», и решили, что он призывает Илью-пророка.

А поэзия акафистов с их непреложными законами архитектоники, с их непременными единоначатиями в икосах, с их ритмико-синтаксическими повторами, с их неназойливыми краезвучиями!.. Ну вот хотя бы – наугад – икос 12 из акафиста Иисусу Сладчайшему, который во время крестного хода вокруг нашего города, медленно ступая по жаркой пыли, так напевно-молитвенно и с такой простотой задушевности читал серебристый старик о. Владимир Будилин:

«…Иисусе, Царю предвечный, помилуй мя: Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя… Иисусе, одежда светлая, украси мя; Иисусе, бисере честны́й, осияй мя… Иисусе, свете святый, облистай мя; Иисусе, болезни душевныя и телесныя избави мя».

А вот – строки акафиста одному из святых, с наибольшей яркостью «в земли Российстей» просиявших, – преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму Саровскому:

«Радуйся, преславное верных величание! Радуйся, претихое скорбным утешение… Радуйся, Христа со ангелы телесными

очима лицезревый; радуйся, в бренном телеси райскую сладость предвкусивый… Радуйся, воды многоцелебныя кладезю неисчерпаемый; радуйся, яко вся концы земли нашея любовию Твоею объял еси. Радуйся, вся козни диавольские победивый; радуйся, звери дивия кротостью Твоею покоривый».

Я люблю весь православный богослужебный чин. Я не могу удержать холод восторга, пробегающий по моему телу, когда я слышу исполняемый хором великий прокимен: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса, творяй, творяй, творяй чудеса!» Счастливы те, что хоть раз в жизни испытали умягчение сердца при возгласе за всенощной в честь Той, кого живописали Рафаэль, Сурбаран и Мурильо, древнерусские великие иконописцы и художники позднего русского церковноживописного Возрождения: Васнецов, Нестеров и Врубель; Той, «Присноблаженной и Пренепорочной», Той, «в молитвах неусыпающей»[9], которую воспели гении звука, составившие афонский и киево-печерский распевы, которую воспели Чайковский и Рахманинов; Той, которой в боговидческих стихах молился Лермонтов и которой посвятил заключительные строки рассказа «Богиня разума» Бунин – одни из самых прекрасных строк, какие когда-либо писала рука человеческая, – при возгласе: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!». Счастливы те, что проникались утешительным убеждением при возгласе дьякона за всенощной: «Над всеми людьми Бог наш». Счастливы те, что мысленным взором прозревали свечение новой жизни, наставшей на земле по Рождестве Христове, при возгласе священника за всенощной, обращенном к Светодавцу: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» – тот самый свет, что сквозит в каждой строчке стихотворения Бориса Пастернака «Рождественская звезда». Когда я слышу взятый из Псалтири прокимен, предвозвещающий апостольский подвиг распространения христианского учения: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их» (Псалтирь, 18, 5), – я вижу «телесныма очима», как постепенно один народ за другим, прислушиваясь к благовестникам истины Христовой, совлекает с себя ветхого Адама и облекается в ризы добротолюбия и правдоискательства.

Когда еще духовенству не возбранялось служить панихиды на кладбищах, я чутким слухом вслушивался в слова священника, струившиеся на фоне ровного шума сосны, объятиями простиравшей свои ветви над могилами моего отца, бабушки, няни. Потом эти же слова произносила над могилами вслух моя мать. Теперь я шепчу их над могилой матери на калужском кладбище с обезображенным храмом. И всякий раз у меня

возникает такое чувство, будто Кто-то незримый протягивает мне, тонущему, руку – и вытаскивает на берег, и здесь, на берегу, снова – и уже навсегда – воздух, небо, простор: «…Благий Человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един кромѣ греха, правда Твоя – правда вовеки, и слово Твое – истина»[10]. Проникшись рыдально-успокоительными напевами заупокойных служб, я ощущаю связь между мною и моими усопшими родственниками и друзьями, всеми моими близкими по крови и духу. В суете мирской эта связь еле зрима, подобно чуть тлеющему огоньку, подобно цветку, не видному из-за густо разросшегося бурьяна, и вот она восстанавливается, и вот она принимает отчетливые очертания, и, уже не тревожась за усопших, с умиротворенным сознанием неизбежности грядущей безоблачно радостной встречи с ними, я выслушиваю конец заупокойной службы: «Воскресай из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и Богоносных отец наших и всех святых, души от нас преставльшихся раб Своих в селениях праведных учинит, в недрех Авраама упокоит и с праведными сопричтёт, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец».

Да, все мне дорого в нашем богослужении: и величальное» и просительное, и печальное, и ликующее. Как возвышают мой дух тимпаны многолетия с их многосложной витийственностью: «Великому господину и отцу нашему святейшему патриарху Московскому и всея Руси и Святотроицкая Сергиевы Лавры священноархимандриту (имярек) подаждь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение и сохрани его на многая лета!..»

Я, мысленно преклоняющий колена перед чудотворцами художественного слова, писаного и произносимого с подмостков, перед чудотворцами кисти и резца, перед зодчими, музыкантами и певцами, больше всего на свете люблю искусство духовного пения – мудрые звуки церковных и монастырских напевов и распевов. Сила воздействия молитвенных звуков на человеческую душу не поддается измерению. И то сказать: ведь церковному пению мы обязаны отчасти нашей православной верой. Послы, которых князь Владимир направил к грекам, дабы они испытали, достойно ли греки поклоняются Божеству, возвратились потрясенные великолепием богослужения и, в частности, как выражается в своей «Истории…» Карамзин, «сладостным пением клироса».

Я имею честь принадлежать к московскому братству любителей церковного пения, куда входят бухгалтеры, банщики,

ученые, переплетчики, канцеляристы, дворники, швейцары из ресторанов, писатели, рабочие, художники, актеры, домашние хозяйки. Членам этого нигде не зарегистрированного братства дорого не только содержание, но и форма церковных служб. Эти люди, шапочно друг с другом знакомые, называющие друг друга по имени-отчеству, знают, в каком храме на этой неделе «престол» и будет ли там служить архиерей, в каком храме появился молодой дьякон со свежим голосом, когда хор Матвеева в храме на Ордынке поет литургию Чайковского, а когда всенощную Рахманинова; они понимают и чувствуют «руку» дирижера и в ее крепости, и в ее слабости.

Я люблю будничные, скромные, тихие службы, с женским хориком на левом клиросе, малочисленным, но не сбивающимся «на девятый глас».

Покинув юнцом провинциальную глушь ради столичной высше-учебной премудрости, я восчувствовал проникновенную торжественность архиерейских служб со множеством сослужащего духовенства, с радостно-благолепным в самой своей суетливости мельканием иподиаконов, держащих трикирии, дикирии и рипиды, с величавым выходом владыки, держащего в руках крест и дикирий и призывающего вечного Владыку обратить свой попечительный взор на тесную толпу молящихся: «Прѝзри с небеси, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и́, его же насади десница Твоя…»

Я люблю не только самые церковные службы – *я* упиваюсь звуками, составляющими их наименования: полу́нощница, вечерня, повечерие, всенощное бдение, светлая заутреня. Я люблю не только церковное облачение, но и звуки, из которых сотканы наименования его частей: камилавка, митра, ряса, епитрахиль, фелонь, стихарь, орарь, по́ручи. Я люблю златокованые названия отдельных частей богослужения и отдельных песнопений… Ектенья, лития, паримии, шестопсалмие, кафизмы, канон, догматик, малое и великое славословие, тропари, кондаки, икосы, ирмосы, антифоны, названия богослужебных книг: окто́их, часослов, постная и цветная триодь – каждое из этих слов по-своему ласкает мой слух.

А сколько беззаветного упования, какая нетленная любовь в названиях изображений, икон Невесты Неневестной: Неопалимая Купина́, Неувядаемый Цвет, Умиление, Взыскание погибших, Нечаянная Радость, Споручница грешных, Утоли моя печали, Всех скорбящих Радость…

А эти лики, глядящие на меня с икон то со строгим, то с любовным, но с неизменно всепрощающим пониманием!..

А эти голубые потоки света, вливающиеся в окна храмов за

утренней службой!.. Я люблю и тебя, «свете тихий» вечерней зари, озлащающий иконостас.

Я люблю храмы разного обличья: и улетающие ввысь черниговские соборы и прочно стоящие на Божьей земле, как бы утверждающие на Руси христианство храмы псковские, чем-то напоминающие мне просфоры. Я с детства люблю и самые просфоры, вкусные в своем пресном безвкусии.

Я люблю не только храмы – моему слуху отрадны наименования их частей: паперть, притвор, ризница, корабль, алтарь, солея, амвон, клирос, купол.

Я люблю не только дрожащие иссиня-оранжево-золотистыми пирамидками свечи – я люблю эти нестершиеся, не заржавевшие слова: свещник, паникадило.

Я люблю колокольный звон: и утренний, и – еще глубже – вечерний, на который отзывается молитвенным трепетом вся моя иссохшая, закостеневшая и пропыленная душа.

Я люблю молитву не только наедине с Богом, но и молитву соборную – люблю, чтобы меня со всех сторон обступал и теснил народ, особливо – землепашцы и московский фабрично-заводской люд, много потрудившийся, чтобы отстоять московские храмы от нечисти и погани, те усачи и бородачи, которые в 30-х годах ставили свою корявую безграмотную подпись под ходатайством о том, чтобы власти не закрывали их родной приходский, с детства любимый ими храм, которых за это гнали с работы и лишали куска хлеба, но которые шли на это, ибо «мы – не христопродавцы, а Бог даст день, даст и пищу».

Я люблю гул шагов, наполняющий еще пустой храм. Я люблю звяканье кадила и смолистое, сизое благоуханье ладана, распространяемое вместе с кадильным звяканьем, столь же небудничное и столь же таинственное, как и все, что связано с церковным миром.

Я чту каждый молитвенный вздох, вырывающийся из верующей груди, чту каждую слезу надежды, скорби и душевного веселия, льющегося из боголюбивых очей. Ни скрежещущий скрип лестницы, которую сторож моей уездной приходской церкви приставлял, бывало, в самый торжественный момент всенощной, чтобы зажечь свечи на паникадиле, ни пресловутая дьячковская гугнивость и столь же пресловутые перебранки старух, за свою долгую советскую жизнь до исступления настоявшихся в очередях, никогда не способны были поколебать и не колеблют во мне ныне праздничного настроения, овладевающего мною в церквах.

Я верю в конечное «соединение всех»[11], о котором православная церковь молится во время каждого богослужения. Я

верю в конечное братское объединение всех вероисповеданий. Но истинное искусство едино в своем конечном устремлении и вместе с тем многолико и многообразно, так, сдается мне, и живительная влага молитвы может быть разлита по разноцветным сосудам. Как ни хорошо, как ни отрадно мне в самых дорогих и милых гостях, а дома все-таки лучше. В православной церкви я у себя дома. В ней я чувствую себя не только нравственно, но и телесно укрытым от врагов видимых и невидимых. Здесь, как в отчем доме, душе моей уготованы тепло, свет и уют – «и верится, и плачется, и так легко, легко!..».

Москва 1960 – Переделкино, канун Успения 1966

Родники

Взойди, звезда воспоминанья;
Года, пережитые вновь…

Андрей Белый

Ранним вечером я часто засыпал под шелест страниц: это мать проверяла тетради учеников. Я уже знал, что она преподает в высшем начальном училище французский и немецкий языки. Давала она и частные уроки. И из-за стеньг до меня доносилось вытверженное наизусть:

– Ah, j 'ai vu, j ’ai vu, —
Me dit l’hirondelle,
– Ah,j’ai vu,j’ai vu! —
– Oiseau, qu’as tu vu?
– J’ai vu les enfants
Parcourir les champs,
J’ai vu tout verdir,
J’ai vu tout fleurir[12].

Или:

Ich frage die Maus:
– Wo ist dein Haus?[13]

А то – начало Лафонтеновой басни «Ворона и Лисица»;

Maitre Carbeau, sue un arbre perché,
Tenait en son bee un fromage.

– Не Carbeau, а Corbeau, – поправляла мать, и в голосе ее улавливалась нотка усталого раздражения.

Я знал маминых сослуживцев: некоторых только по именам, а некоторых и в лицо. В «царские дни» мать по обязанности классной наставницы водила своих подопечных к поздней обедне в собор. Я любил «царские дни», и мне запомнилось это название,

оттого что мать тогда уходила из дому позже, а возвращалась раньше обычного.

Октябрь 1917 года перевернул вверх дном даже строго размеренную, педантически упорядоченную школьную жизнь. Именно порядок-то прежде всего и полетел к черту. Планета «Русская школа» сошла с орбиты. Уроки, малые и большая перемены – все смялось, сбилось, спуталось, перемешалось. Мужское высшее начальное училище и женская гимназия слились в Единую трудовую школу. Ученики распевали на мотив «Марсельезы» кем-то наспех сочиненный гимн:

Вперед за свободную школу,
За Единую школу труда!

Расписание перестало быть регулятором школьного механизма. Разладился весь механизм. Часы школы то стремглав летели вперед, то надолго останавливались и замирали. Почти все уроки являли собою уроки рисования, лепки – образцы ученического искусства живописи и ваяния потом экспонировались на выставке каких-либо рукомесел, – но преимущественно уроки пения, главным образом – самодеятельные, стихийные, а математики, физики, географы зачастую присутствовали лишь в качестве безмолвных свидетелей при том, как «Вперед за свободную…» по произволу певцов сменялось с не меньшей силой ударявшим по барабанным перепонкам: «Смело, товарищи, в ногу…», а революционные песни уступали место хороводной: «Со вьюном хожу, со вьюном хожу… (Вьюном служил носовой платок.) Я не знаю, куда вьюн положить… Положу я вьюн на правое плечо…»

Учить не учили, но на вошедших в каждогодний обиход предосенних, зимних и предлетних двух-, а то и трехдневных учительских конференциях лились потоки красноречия: это представители Унаробраза, Губнаробраза и прибывшие из Москвы методические светила рассуждали о том, как надо учить по-новому, о необходимости срочной замены парт столами и скамейками и о прочих столь же насущных нововведениях. Впоследствии одни новшества заменялись другими, сама жизнь заставляла многое новое заменять старым, давным-давно проверенным на опыте, но вот поди ж ты: учительские конференции оказались живучими, как бурьян. Нужды нет, что аудитория уже много лет не слушает докладчиков и напоминает огромный шмелиный рой. Нужды нет, что конференции выродились в нудную пустопорожнюю формальность, – канитель тянется по сей день. Начальство не представляет себе, как можно

приступить к занятиям в новом учебном году без конференции, равно как оно не представляет себе 1 мая или 7 ноября без людских стад на улицах. Одна игра – не потеха. О нет! Для иных потешной может быть только одна какая-нибудь игра. Боже упаси заменить ее новой или хотя бы отменить, потому что она давным-давно осточертела. В нас ухитряются уживаться Стенька Разин и преющий в охабне допетровский боярин. Нам могли бы позавидовать Аттила и царский сановник из самых ярых охранителей и рутинеров. Мы являем собой противоестественное сочетание безудержного и безоглядного вверхтормашества, страсти к беспрерывному шиворот-навыворотy – от сельского хозяйства и школьных программ и до названий улиц и городов, – с неподвижностью лежачих камней.

Вокруг слабовольного Народного комиссара по просвещению Луначарского тучами болотно-лесной мошкары тотчас начали виться выдававшие себя за реформаторов и новаторов прожектеры вроде Блонского, до Октябрьской революции известного своими религиозными воззрениями, а после поспешившего объявить себя материалистом, – одного из тех оборотней и перевертней, одного из тех мыльных пузырей, что вздувались после переворота и довольно скоро лопались, – в первом издании Большой Советской Энциклопедии о нем хоть и холодно, но говорится, а во втором издании автору «Трудовой школы» и «Педологии» места уже не нашлось.

В своей пространной речи на уездной учительской конференции о принципах Единой трудовой школы кто-то из калужских последователей Блонского не коснулся преподавания иностранных языков. В перерыве моя мать обратилась к нему за разъяснениями.

– О, для преподавателей иностранных языков в Единой трудовой школе открывается широчайшее поле деятельности! – живо откликнулся советский Песталоцци. – Предположим, вам предстоит дать урок немецкого языка, а перед вами в этом же классе давал урок преподаватель физики. Вы входите в класс и прислушиваетесь. Учащиеся оживлены, у них блестят глаза, они все еще переговариваются. Вы спрашиваете, что́ их так занимает. Оказывается, их увлек опыт, который им только что показал преподаватель физики. Вот вы и подхватите эту тему и начните говорить с учащимися о том, что их интересует, по-немецки. Так! между вами и учащимися сразу установится живая связь, а ваш урок явится естественным продолжением предыдущего.

– Да, но как же я буду говорить по-немецки о явлениях» изучаемых физикой, с теми учениками, которые еще «Guten Tag» не умеют как следует произнести? – робко возразила моя мать.

«Блонскист», сделав вид, что его вызывают по делу, ретировался.

Школу разваливала не только революция. Школу разваливали ее спутники: холод и голод. Зимой учителя и ученики снимали в школе только головные уборы. Учителя превратились в хлебодаров. Установились дежурства: дежурные учителя резали, взвешивали и раздавали ученикам хлеб, раздавали «фунтики» с сахарным песком. Когда уж тут заниматься? Да ведь и не всегда удается побороть унизительное, но такое настойчивое желание ощутить языком и небом вкус пищи. Учитель рассказывает о тропической флоре и фауне, а сам думает, как бы растянуть кусок хлеба со жмыхом до завтрашнего утра и что у него осталось чуть-чуть чаю-суррогату, а там придется перейти на кипяток. Но если трудно заставлять себя забывать о голоде учителям, то что же спрашивать с учеников? К ученью глухо не только сытое, но и голодное ученическое брюхо. Какая уж тут наука! Кому пойдут на ум склонения и спряжения, когда в животе петухи поют?

Чтобы получить право на кусок хлеба, на пакетик («фунтик») сахарного песку и на обед, состоявший из одного блюда (иногда это был жидкий кулеш, иногда кулеш с кусочком или всего лишь с запахом селедки – такое блюдо казалось нам особенно лакомым, иногда «сладкий суп», то есть попросту компот), – чтобы иметь право на все эти яства, я пошел в школу рано: осенью 19-го года, когда мне еще не было семи лет, я поступил в первый класс «Единой трудовой».

Пока я учился в младших классах, школа претерпевала многоразличные изменения и неоднократно переименовывалась, подобно тому как менялись и наименования самой преподавательской профессии. Слово «учитель» шибало в нос реформаторам чем-то старорежимным. И вот учителей перекрестили в «шкрабов» (школьных работников) – свирепствовавшая тогда эпидемия условных сокращений коснулась и учителей. Впрочем, «шкрабы» были вскорости заменены более благозвучными и не допускавшими иного толкования «просвещенцами». Школа подразделялась на первую и вторую «ступени», соответствовавшие начальной и средней школе, вторая «ступень» – на первый и второй «концентры». «Концентр» не так-то просто было выговорить натощак учителям, а каково приходилось ученикам и родителям, по преимуществу – писцам, мастеровым, огородникам, бывшим приказчикам и купцам! Ничего, ничего! Пусть ломают языки, пусть выворачивают скулы! И не беда, что слово бессмысленное, лишь бы оно было ново и лишь бы это было не русское слово!

Интернационализм – так интернационализм, черт побери! «Пальнем-ка пулей в Святую Русь», а заодно изрешетим и русский язык. Над «концентрами» возвели надстройку: «Перемышльский педагогический техникум». Справедливость требует заметить, что наблюдалось и обратное явление: производилась замена варваризмов русскими словами, но это для того, чтобы ничто не напоминало о царской школе. Так, во главе школы стояли теперь не директора, а «заведующие», «завшколами». Глава техникума в официальных бумагах и речах именовался «завперпедтех».

Но как ни старались, замазав старое название, выводить новое на черной вывеске, висевшей на двухэтажном белом полукруглом здании бывшего высшего начального училища, золотые курсивные буквы, из которых слагались эти слова, долго еще проступали с предательским и вещим упорством. В конце концов проступила и взяла верх над смутой тяга молодежи к знанию (тогда предпочитали говорить «молодежь» в стремлении переиначить все, вплоть до ударений, обезьянничая с инородцев, – по крайней мере, в Перемышль завез это ударение председатель Калужского губернского исполнительного комитета, Губисполкома, латыш Витолин), а эта тяга вызвала к жизни порядок, а порядок потребовал подчинения правилам, подчинения учащихся учащим. Осенью 20-го года в учительскую явилась депутация от учащихся старших классов, возглавляемая детьми крестьян, с просьбой к учителям заниматься по-прежнему, потому что они, учащиеся, не хотят войти в жизнь никчемными неучами, и помочь им хоть сколько-нибудь наверстать упущенное. Учителя взыграли духом. И мало-помалу школьная жизнь начала входить в колею. Из окон школьного здания уже не гремело маршеобразное: «Смело, товарищи, в ногу…», учителя выдавали хлеб и сахар после уроков. Стрекозы, пропев два учебных года подряд, добровольно преображались в муравьев, зима их будущего устрашающе глянула им в глаза.

Все на свете разлаживается легко и быстро, а налаживается со скрипом и с надсадкой. Не по мановению волшебного жезла налаживалась и школьная жизнь в Перемышле. С особой неохотой садились за книгу ученики средних классов: у этих все еще кружилась голова от всечасных резвостей и веселостей.

Однажды в учительскую вошел бывший инспектор высшего начального училища, бывший председатель педагогического совета женской гимназии (в 1912 году перемышльская прогимназия была переименована в гимназию), бывший член епархиального и уездного училища совета, преподаватель математики Александр Михайлович Белов и с присущей ему вескостью объявил:

– Богданов – ненормальный.

Все подняли на него изумленные глаза. Юра Богданов, люто голодая, как, пожалуй, никто другой из учеников, показывал отличные успехи по всем предметам, даже когда грохот ломки школы раздавался на весь город. Чем же он мог теперь не угодить Александру Михайловичу?

– А как же? – продолжал тот. – Задачи дома решает, на уроках – весь внимание, постоянно поднимает руку, что ни спросишь – знает, вызовешь к доске – докажет любую теорему, да еще, представьте себе, и по алгебре, и по геометрии идет дальше и просит объяснить непонятное. Нет, нет, он, положительно, ненормальный, – безапелляционно заключил Александр Михайлович.

Лень, уж конечно, прежде нас родилась, и на первых порах Октябрьская революция сделала все для того, чтобы лень одержала в школе полную победу над любомудрием, трудолюбием и прилежанием, но ведь и то сказать: голод – не тетка. А город все еще голодал. Телесные, душевные и умственные силы иссякали у взрослых, у подростков и у малышей. Тот же Юра Богданов целый год не ходил в школу из-за головных болей.

И все-таки на месте сумасшедшего дома возникло нечто, медленно принимавшее очертания школы.

Младших классов распад не коснулся. Я учился почти так же, как учились мои предки и как еще не одно поколение училось после меня: у нас были уроки чтения, письма, арифметики, рисования и пения. Все по часам, все по звонку: и уроки, и перемены. Кстати, на уроках пения мы под скрипку, на которой с не меньшим усердием, чем аккомпанируя на сцене городского театра хору учеников, исполнявшему гимн «Единой трудовой», пиликал учитель пения, он же церковный регент, Константин Лаврентьевич Соколов, получивший у своих сограждан за круглоту и приземистость прозвище Картошка, пели не революционные гимны, а нечто более соответствовавшее нашему нежному возрасту:

«Я не ваш», – ответил зайка.
«Я не ваш», – ответил зайка.
«Я не ваш», – ответил зайка.
Прыг – и убежал!

Или:

Елочка, елочка,

Как мы тебя любим!

А уже в четвертом классе мы проникновенно исполняли чувствительный романс:

У зари, у зореньки
Много ясных звезд,
А у темной ноченьки
Им и счету нет.

Горят на небе звездочки,
Пламенно горят,
Они сердцу бедному
Что-то говорят…

Говорят о радостях,
О минувших днях,
Говорят о горестях,
Жизнь разбивших в прах.

…….

Полно же вам, звездочки
Милые, сиять,
Полно вам прошедшее
Мне напоминать!

Пока я допер до «второй ступени», то есть до пятого класса, техникум раскассировали. Образовалась школа-девятилетка (в те времена полная средняя школа состояла из девяти классов). Для нашего поколения анархия в школе ничего заманчивого не представляла. Нам она рисовалась чем-то вроде довременного хаоса. Мы не мыслили себе школы без дисциплины, но только у нас установилась дисциплина не испод-палочная, а сознательная, основанная не на одном уважении, но и на любви учащихся уже не к «шкрабам» и не к «просвещенцам», а – снова – к учителям.

Понятно, мы проказничали и шалили. Да и что за детство без проказ и без шалостей? Но шалости наши были почти всегда невинного свойства, да и шалили-то мы преимущественно не в школе, а после уроков, по дороге домой – накопившаяся энергия требовала разрядки. Мы кричали нарочито тревожными голосами вдогонку проехавшему мимо нас крестьянину: «Дядь, дядь! Глянька! У тебя ось в колесе!». Или совсем уже отчаянными голосами:

«Тетка, тетка, стой! Что ж у тебя лошадь-то кверху спиной едет?» Проезжие чаще всего попадались на удочку: озабоченно осматривали колесо, бросали испуганный взгляд на сивку, но зато потом, когда до их сознания доходил глумливый смысл наших предостережений, обдавали нас, как из ведра, мощной струею не очень, впрочем, забористой брани. Зимой школьники любили вспрыгнуть на сани за спиной у хозяина и незаметно для него прокатиться, а потом так же незаметно и безнаказанно спрыгнуть. Когда мы проходили мимо дома купца Ивана Степановича Борисова, который еще до революции провел для шику звонок, нас подмывало изо всех сил дернуть ручку над крыльцом. Вечером, возвращаясь домой из школьной библиотеки (книги нам выдавали в вечерние часы), мы иногда позволяли себе застучать в окно и завопить: «Юдины! Юдины! Пожар! Пожар!» Когда же вышеназванные Юдины выбегали за калитку, то ни языков пламени, ни клубов дыма не обнаруживали, а только слышали стремительно удалявшийся в густой вечерней уездной темноте, с которой не под силу было справиться за версту один от другого расставленным, подслеповатым фонарям, веселый топот мальчишечьих ног. То был верх нашего коллективного озорства. Я пишу: «мы», «наш», – но это не точно. В проказах я не участвовал – «ноблесс облизывала», положение «сына учительницы» обязывало, – я бывал лишь восхищенным их зрителем! Да и как было не посмеяться над приключениями пятиклассника Сережи Буренко́ва? Идем мы из школы втроем: он, Петя Гришечкин и я. Сережа, он же Серга́, по дороге взял у сапожника из починки свои сапоги и не налюбуется на них. Подходим к мосту через овраг. По горе с синеватыми проплешинами льда летят на санках и на «кобылках» в овраг малыши. Хорошенький, голубоглазый, розовощекий бутуз Коля Мысин только что с довольным видом влез на гору после стремительного спуска на санках и, поставив санки в сторонке, пресерьезно объявляет, резко отделяя один слог от другого, точно подражая ходу поезда:

– А те-перь я на шо-пе по-е-ту.

И незамедлительно осуществляет свое намерение.

За мостом, возле Георгиевской церкви, на горе, стоит парень лет восемнадцати, Алешка Иванов по прозвищу Зыка. Он позволил себе заслуженный отдых: только что накачал из глубокого, так называемого «больничного» колодца (колодец находился посреди больничного двора) два ведра воды, втащил их на гору и поставил наземь. Теперь уже дорога пойдет до моста под гору, и до дому Алешке оставалось два шага – он живет по ту сторону моста, на краю оврага.

Поздоровались.

– Алеш! Погляди, какие у меня сапоги! – начинает разговор Сережа. – Они – волшебные. Что ни захочу – все исделают.

– Волшебные? – Зыка скептически усмехается. – Ну вот пусть они исделают так, чтобы мои ведра пролились.

– Чтобы твои ведра пролились? – с готовностью переспрашивает Сережа. – Это, брат, в два счета.

Сережа, обладавший недюжинной физической силой, что́ он немного спустя и доказал, ибо, изверившись в пользе наук и убедившись в ограниченности сферы человеческого познания, поступил в подручные к кузнецу, о чем он давно уже страстно мечтал, и в кузнице, куда он прежде частенько сбегал с уроков, не посрамил Землю Русскую, – с размаху ударяет носками сапог по ведрам. Ведра падают. Зыка оторопело смотрит на растекающиеся, черные на снегу потоки воды. Сережа, из боязни правой и, быть может, кровавой мести, давай Бог ноги!

Приезжавшая на летний отдых москвичка-пенсионерка, старомодно одевавшаяся и причесывавшаяся, однажды вышла из дому в сад, как раз когда шестиклассник Женя Новиков, низкорослый не по летам, с большими черносливными глазами, которые как-то особенно строго глядели на его бледном, с тонкими чертами, лице и в которых где-то глубоко-глубоко прятался плутовской блеск, уже занес было ногу на перекладину забора. Его внимание, по всей вероятности, привлекала росшая неподалеку груша – «тонковетка». Груши поспели; тряхни легонько дерево, и они дождем посыплются наземь. Набил карманы, прыг через забор – и был таков. Хозяйки дома, две сестры, на ту пору куда-то отлучились. А тут нелегкая принесла дачницу. Этого досадного обстоятельства установивший надзор за сестрами их сосед Женя, по-видимому, не предусмотрел. Он долго следил взглядом за дамой – она явно не собиралась покидать «тень задумчивого сада«» (Надсон). Женя не выдержал. Он понимал всю безнадежность своего положения, понимал, что задуманный им налет сорван, но не выразить своего возмущения виновнице срыва – это было выше его сил.

– Что это вы здесь, мадам, прогуливаетесь? – обратился к ней Женя.

Дама молча продолжала идти по дорожке.

– А нельзя ли вас, мадам, по роже смазать? – еще более изысканно, вежливым тоном, в котором, однако, слышалось холодное бешенство, после паузы снова обратился к дачнице Женя и соскочил с забора.

Дама после рассказывала об этой мимолетной встрече со смехом. Она сочувствовала Жене и отдавала дань его светской манере обращения.

«Второступенцы» ходили друг к Другу на именины, танцевали вальс па-д'эспань, краковяк, польку-кокетку под аккомпанемент садившегося за пианино, если у хозяев был инструмент, или игравшего на собственной гармонии моего одноклассника Бори Соколова по прозванию Богыс Палыч, которое он заслужил своим грассированием, но в котором своеобразно выражалось нами и уважение к свойствам его хорошей души; водили хороводы и пели:

Ах ты, зимушка-зима!
Зима лютая была,
Закурила, замела
Все дорожки и пути,
Все дорожки и пути —
Нельзя к милому пройти,
Я дорожки размету —
Сама к милому пройду.
Сте́лю, сте́лю, постелю́
Постель пуховую.
Кого, верная, люблю,
Того расцелую.

С этими словами девочка, ходившая внутри хоровода, едва касалась губами щеки своего избранника или клала ему руку на плечо и становилась на его место в круг, и теперь уже он ходил внутри круга, и песню пели от его имени:

Сам я к миленькой пройду…

Другая песня кратчайшим путем вела к желанной цели:

У попа на крыше
Завелися мыши.
Один мыш околел,
Целоваться всем велел.

Пели хоровые песни.
Пели частушки:

Один Коля дрова колет,
А другой дрова кладет.
Один Коля Нюру любит,

А другого зло берет.

Подобные увеселения доставляли удовольствие даже старшеклассникам.

В перерыве между играми и танцами пили чай с пирогами и с вареньем. (То были уже годы НЭПа.) Вплоть до окончания школы ни на одном сборище, включая выпускной вечер, никто из нас не понюхал не только водки, но и вина.

Уже в пятом классе мальчики начинали ухаживать за девочками. Вспыхивали и гасли увлечения, тянулись романы. Да и что за отрочество и за юность без увлечений и романов? Но все это не выходило за рамки строгой платоники.

Само собой разумеется, не все ученики любили всех учителей. Иные из неуспевавших предпочитали объяснять постигавшие их неудачи не своею ленью или скудоумием, а мнимою несправедливостью учителей. Одна ученица сетовала:

– Георгий Авксентьич уж так меня гонял, так гонял, спрашивал о том, чего во всей физике нет. Я ему все-таки отвечала, а он мне поставил «неуд.». (То есть, двойку.)

Кое-кто пускал слушок и даже доносил в городскую партийную или комсомольскую организацию, что имярек потому поставил ему «неуд.», что он, мол, «бедняцкий элемент». В прениях по отчетному докладу заведующего клубом на образцовую и неутомимую руководительницу любительской труппы, учительницу Софью Иосифовну Меньшову накинулась обиженная бездарь, которой Софья Иосифовна не давала ролей. Единственное обвинение: засилье в труппе интеллигенции.

– К Софье Иосифовне ходят на репетиции всё в брюках да в галстуках!

– А вы что же, хотите, чтобы ко мне без брюк приходили? – спросила поклонника античной простоты в одежде Софья Иосифовна.

Не надо забывать, что в годы НЭПа отношение правящих кругов к интеллигенции не отличалось благожелательностью. Оно еще ухудшилось по сравнению с годами военного коммунизма, когда было не до нее, когда прямой наводкой били по «буржуям», помещикам и «царским слугам» от министров до исправников и городовых. Теперь имели хождение презрительные клички: «гнилая интеллигенция», «интеллегузия», «Интелягушка».

На интеллигенцию науськивали всякую шушеру, и эта шушера то здесь, то там приходила в такое неистовство, что время от времени приходилось кричать ей: «Тубо!» Появился даже особый термин: «спецеедство», что означало – травля

специалистов.

Однажды я из-за пустяков повздорил с моей одноклассницей. Желая как можно больнее меня уязвить, она бросила с издевочкой в голосе:

– Интеллигенция!

Чего-чего, но важничанья и чванства («я-де» мол, сын учительницы») во мне не было. Ни с кем из детей интеллигенции я в школе не сближался. Я не любил дочерей перемышльского врача, не любил сына перемышльского дьякона; я дружил с крестьянскими детьми и с детьми городского простонародья.

Но тут меня задело за живое, – Да, я интеллигент и горжусь этим, – отрезал я.

На дружбу или, как тогда выражались, «якшанье» партийцев и комсомольцев не только с «чуждым элементом», но и с беспартийной интеллигенцией смотрели косо, а иной раз вычищали «якшавшихся» из партии и из комсомола. Вычистили по этой причине одну партийку и в Перемышле. У меня на именинах был мой товарищ, сын местного парикмахера, активный комсомолец Коля Рубисов, Вечеринка кончилась рано, и Коля успел попасть на танцы в клубе. Комсомолец по прозвищу Яшка – Свиная Хряшка, в каковом прозвище, точно в зеркале, отразилась Яшкина наружность, встретил его такими словами:

– Ты что же это, отсек (Рубисов был ответственным секретарем школьной комсомольской организации, или, как тогда говорили, «ячейки»), – по меньшевистским именинам ходишь?

Термин «меньшевистские» Свиная Хряшка употребил по абсолютному своему невежеству, ибо ни моя мать, ни покойный отец, ни сестра матери тетя Саша близко ни к одной партии не подходили: для Яшки было все едино – что интеллигент, что меньшевик. Рубисов ответил ему решительно:

– Хожу и буду ходить, а ты мне не указ. Пошел к чертям! Когда учителя приглашали на вечеринки своих партийных коллег – преподавателей обществоведения, те благодарили, но предпочитали не являться: одни – из боязни быть обвиненными в якшании, другие – потому что не желали якшаться» Я помню только одного партийца, который бесстрашно посещал своих беспартийных сослуживцев, – Ивана Семеновича Осипова, но его скоро убрали: он преподавал у нас всего один год.

Так вот, на этой настороженной неприязни к интеллигенции, в какой тогда не случайно воспитывались партийцы и комсомольцы и которую спустя несколько лет духовным отцам Сталина и его присным, выработавшим многоступенчатый план борьбы с интеллигенцией на несколько лет вперед, без малейших

усилий удалось превратить в гонение, выразившееся сначала в установке рогаток, на которые натыкались державшие экзамены в вузы дети интеллигентов, в изгнании за границу ученых-идеалистов и в судебной и внесудебной расправе над сотрудниками Союзмяса, Союзрыбы, Союзконсерва, Союзплодовоща и Народного Комиссариата Торговли (Наркомторга), над инженерами (достаточно вспомнить «Шахтинский процесс», процесс Рамзина, Ларичева, Федотова и других), над экономистами (достаточно вспомнить «процесс Союзного бюро меньшевиков»), над «аграрниками» (достаточно вспомнить арест так потом и сгинувших профессоров Чаянова и Кондратьева), а затем, при Ежове, переросшей в смазь вселенскую, – на этой подозрительности, пока еще безуспешно, играли иные оболтусы и лоботрясы. Жертвы доносов отделывались кратковременными неприятностями, а зачастую дело обходилось и вовсе без неприятностей. Да и случаи-то эти были тогда единичны, как единичны были случаи хулиганства учащихся. Исключенных из школ я мог бы пересчитать по пальцам. Редко оставляли на третий год – нужны были сверхуважительные причины – и уж, конечно, не оставляли на четвертый. Исключались те, что охальничали с девочками, непристойно ругались при них, те, что дерзили учителям. Эта худая трава мигом выпалывалась из поля вон. Сегодня поступила жалоба, сегодня же наряжали следствие, и, если факты подтверждались, в тот же или, в крайности, на другой день созывался внеочередной школьный совет, а наутро исключенному объявляли приговор, и тот покидал перемышльскую школу навек.

Учителя не цеплялись за старину-матушку единственно потому, что они к ней привыкли, как привыкают к разношенной обуви. Вводится новая система оценок? Ну что ж. В конце концов не все ли равно: «5», или «в. у.» (весьма удовлетворительно), «4», или «уд.» (удовлетворительно; на тогдашнем школярском жаргоне – «удочка»), «3», или «е. у.» (едва удовлетворительно), «двойка», или «неуд.»? Вот только совещания, на которых учителя проставляли четвертные или годовые отметки, со стороны можно было принять за хоровую декламацию Хлебникова:

– «Еу», «вэу», – выпевали учителя.

Наша школа с каждым годом все заметнее окреетьянивалась, и учителя этому радовались. Окреетьянивалась школа с мудрым отбором. Прежде чем отдать своего мальчонку в городскую школу, отец обыкновенно советовался с его учителем:

– Василий Миколаич! Как скажешь: стоит мово Ванькю в градскую школу отдать? Ведь до города далёко – придется его на квартеру ставить, обужа, одежа, а достатки у нас, сам знаешь,

невелики. Неш подождать, пока старшую дочку замуж пристрою?

– Отдавай, отдавай, – уверенно говорил Василий Николаевич, – из твоего Вани толк будет. Отдавай – не пожалеешь.

Благословение сельского учителя – это еще далеко не все. Осенью в перемышльскую школу нахлынет белоголовая волна из разных сел и деревень, ближних и дальних, и вот тут-то и решится судьба Вани, Коли, Пети, Никиты, Нюры, Груши и Маши, Весной они, выдержав экзамены, окончили свою сельскую четырехклассную школу. А теперь им для поступления в пятый класс городской школы надлежит уже в этой школе выдержать экзамены, или, как тогда говорили, «испытания», по основным предметам. Невыдержавшие шли «по крестьянству». Выдержавшие и поступившие составляли цвет нашей школы. Учителя не могли ими нахвалиться:

– Ах, деревенские ребята! Какая прелесть! Куда нашему перемышльскому дубью хотя бы против корекозевских «пузатиков»! (Так в шутку называли ребят из села Корекозева.)

Тому разумному преобразованию, какое внесла в школу новая жизнь, – я имею в виду «самоуправление учащихся» – учителя не только не противились – это новшество они приветствовали, этому новшеству они, сколько могли, содействовали. Самоуправление учащихся, претворявшееся в жизнь под тактичным руководством педагогов, не расшатывало, а укрепляло дисциплину. Провинившийся, пожалуй, с еще большей неохотой плелся на бюро старостата, где его должны были прочистить с песком товарищи, чем даже на «исповедь» к заведующему. В иных случаях бюро старостата проявляло излишнюю жестокость, и школьному совету приходилось отменять его суровые приговоры.

В семье у моего одноклассника стряслась беда. Его старший брат, выродок, связался с уголовниками, заделался главарем бандитской шайки и как раз в тот год, когда мой товарищ оканчивал школу, был пойман, судим и расстрелян. Мы знали, что для нашего товарища это большое горе: что там ни говори, родной брат… Мы были с ним особенно ласковы, но о брате не заговаривали. И только один наш одноклассник, злобный карлик с изрядной величины носом, за что он и получил соответствующую кличку (издали увидев, что он идет в школу, младшеклассники выстраивались у школьного крыльца шпалерами, и он проходил мимо них, но только вместо «Здравия желаем, ваше высокоблагородие», ребята дружно приветствовали его: «Дубовый Нос – Осиновые Пятки!»), – этот злобный карлик, поссорившись с братом расстрелянного, посмеялся над его

несчастьем. Бюро старостата, приняв во внимание, что Дубовый Нос не первый раз оскорбляет товарищей и бьет их по больному месту, вынесло постановление исключить его из школы. Общее собрание учащихся второй ступени единогласно одобрило решение бюро. Школьный совет, куда входили и представители от родителей, и представители исполкома, комитета партии, комитета комсомола и Совета профессиональных союзов, отменил решение собрания учащихся на том основании, что исключать из школы ученика перед выпускными экзаменами за оскорбление словом – это слишком строгая мера наказания. Нам пришлось ограничиться тем, что наш староста от имени всего класса объявил Дубовому Носу бойкот, и мы начали здороваться и разговаривать с изгоем лишь несколько лет спустя, когда съехались в Перемышль на каникулы.

Я был несменяемым председателем охватывавшей учеников средней школы культурно-просветительной комиссии, что отмечено у меня в аттестате. Комиссия делилась на четыре секции: литературную, драматическую, хоровую и секцию самодеятельности. На занятиях литературной секции мы под руководством преподавательницы литературы Софьи Иосифовны Меньшовой читали и разбирали произведения, которые значились в программе внеклассного чтения или почему-либо вызывали у нас повышенный интерес. Круг чтения был разнообразен: от «Воскресения» Льва Толстого до «Дневника Кости Рябцева» Огнева и «Исанки» Вересаева, по поводу которых устраивались диспуты. Драматический кружок ставил спектакли и в школе, и в городском театре. Неизменным режиссером их была Софья Иосифовна. Ей сорежиссировал кто-нибудь из учеников старших классов. Сценами из «Бориса Годунова», «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган» мы отмечали день памяти Пушкина, постановкой «От ней все качества» – столетний толстовский юбилей, сценами из «Горя от ума» – столетие со дня гибели Грибоедова (на грибоедовском вечере я делал доклад о творчестве драматурга и играл Репетилова). Хоровым кружком руководил преподаватель литературы в младших классах Владимир Федорович Большаков. Благодаря Владимиру Федоровичу мы в стенах школы слушали концерты, на которых наши товарищи и подруги исполняли хоровые песни, дуэты (вплоть до «Уж вечер, облаков померкнули края…» и «Мой миленький дружок…») и соло. Всю эту работу, отнимавшую у педагогов много времени и сил, они выполняли с подъемом, с неугасимым «огоньком» и, разумеется, безвозмездно.

Как же нам было не любить своих учителей? Ведь мы видели, ведь мы чувствовали, что их жизнь – в школе, их жизнь – в нас. И

подавляющее большинство учеников в обиду их не давало. Свою любовь мы доказывали им на деле.

Мне вспомнились лица товарищей милых…

Весной 28-го года из Калуги в Перемышль нагрянула комиссия проверять нашу школу. Комиссия была, мягко выражаясь» слишком мало компетентна, чтобы судить о квалификации педагогов и о глубине познаний учащихся. Да академические наши успехи ее и не интересовали. Прибыв в Перемышль, члены комиссии занялись опросом плохих, «обиженных» учеников и учениц на предмет выявления политических ошибок, допускаемых учителями. На общем собрании учащихся второй ступени и на школьном совете (куда прежде допускались старосты старших классов) они перешли в открытое наступление. Лише других наскакивал на учителей представитель Калужского губернского комитета комсомола по фамилии Архаров – фамилии, точно определявшей моральный и культурный уровень, равно как и тактические и полемические приемы комиссии. Учителям предъявлялись обвинения, основанные на вздорных доносах. Так, члены комиссии утверждали, будто Софья Иосифовна нам внушала, что крепостное право в России пало благодаря «Запискам охотника». Я был на этом уроке. Софья Иосифовна развивала ту простую и неоспоримую мысль, что «Записки охотника», в гораздо большей степени, чем «Антон Горемыка» и «Деревня» Григоровича, возбуждали общественное мнение против крепостного права.

Учителя отбивались с искусством испанских героев «плаща и шпаги«». Но особую ярость и неутомимость в бою обнаружили заступавшиеся за них ученики, в частности – ученик выпускного класса Петя Гришечкин. Они всыпали комиссии, что называется, «по первое число». Они доказали, что в обвинительных речах нет ни слова правды; все – поклеп, все – напраслина. Они опутали господам ревизорам карты. Ревизоры надеялись на поддержку учащихся, а малочисленные доносчики прикусили языки: одно дело – нашептывать в темных углах, и совсем другое – выступать с открытым забралом. А вот заступников, притом заступников башковитых и за словом в карман не лезших, оказалось немало. Наскок комиссии был отбит. Но в конце лета она тиснула в губернской газете «Коммуна«» клеветой о нашей школе. Заведующий, Петр Михайлович Лебедев, ответил в редакцию, разбив авторов клеветона по всем пунктам. Редакция, следуя традициям советской прессы, ответа не напечатала, а Губоно (то есть Губернский отдел народного образования – так теперь

назывался бывший Губнаробраз), куда Петр Михайлович послал копию ответа, оставил кляузу комиссии без последствий.

Мне вспомнились лица товарищей милых…

Если к нам поздно вечером раздавался тихий стук в окно, мы знали, что это мой одноклассник и приятель Сема Левашкевич, живший через несколько домов от нас, по дороге домой с закрытого комсомольского собрания хочет к нам забежать и уведомить, не затевает ли какая-нибудь Свиная Хряшка каверзу против учителей.

Мне вспомнились лица товарищей милых…

Весной 29-го года мои одноклассники и приятели Иван Миронов и Леонид Линьков отказались выполнить поручение бюро городской комсомольской ячейки: ходить в пасхальную ночь по «церквам и выслеживать учителей. Это были не шкурники, не приспособленцы, не карьеристы, а убежденные комсомольцы. Идти на разрыв с комсомолом им было нелегко, потому что они верили в благодетельную неизбежность коммунизма, а коли так, – рассуждали они, – то их место в первых рядах борцов за коммунизм, то есть – в комсомоле. И все же они заявили, что, мол, «извините – подвиньтесь»: шпионами они не были и никогда не будут и уж во всяком случае наотрез отказываются следить за учителями, которые ничего, кроме хорошего, им не сделали. Оба положили комсомольские билеты на стол. Выход из комсомола помешал им поступить в высшее учебное заведение. Летом того же года они на сплошных «вэу» выдержали экзамены на физико-математический факультет тогдашнего 2-го МГУ (Второго Московского государственного университета, ныне – Московского педагогического института имени Ленина), а немного погодя получили по почте извещение, что они не приняты «за отсутствием мест». И это несмотря на то, что многие тогда могли бы позавидовать их «социальному происхождению». Ваня Миронов был сын крестьянина-середняка из села Корекозева Перемышльского уезда, а Леня Линьков – сын сельского учителя и сельской учительницы, которые уже несколько десятилетий подряд благоуспешно сеяли «знанья на ниву народную…». Попали они в вузы лишь несколько лет спустя.

Во время «торжественной части» выпускного вечера моего класса я выступил от имени всех моих товарищей и подруг с благодарственной речью, обращенной к учителям. Бывший

«завперпедтех», наш классный руководитель, преподававший у нас физику, химию и естествознание, Георгий Авксентьевич Траубенберг не мог присутствовать на вечере. Он прислал со мной приветствие, которое я же и огласил: «Великолепному, неповторимому девятому классу мой сердечный привет. Г. Траубенберг». А потом – игры и танцы до зари! Чтобы как-то выразить педагогам свою восторженную признательность, мы без конца их качали; учительниц качали с комфортом – на стуле.

Уже спустя несколько дней по окончании школы мать застала меня в слезах.

– Ты что?

– Школу жалко… – ответил я.

Почти все наши учителя долго, как рыбы об лед, бились в нужде. В годы военного коммунизма они получали смехотворное жалованье – маминого месячного жалованья хватало ровно на коробку спичек. Их «паек» состоял из куска чего-то, отдаленно напоминавшего хлеб, и из микроскопического количества сахарного песку. Донашивали чиненое и перечиненное старье. Крутили из «Коммуны» «собачьи ножки», курили махорку, в просторечии «махру». Некоторых выручали собственные сады и огороды, иных, как, например, мою мать и меня, сад и огород, которые мы снимали вместе с домиком. Выручало еще вот что: учителям наряду с прочими гражданами отводились участки земли под картошку, свеклу, капусту. Не обделяли учителей и лугами, независимо от того, держали они скотину или нет. Землю нам обрабатывали крестьяне Маловы и́сполу, а луг – уже при НЭПе – за деньги. Честность Меловых была вне подозрений. Мы никогда их не учитывали и не проверяли, при сборе и дележе урожая редко когда присутствовали: сколько привезут – столько и ладно. Они нам и капусту рубили сечками. Мы ходили только подбирать картошку, чтобы дело быстрее шло, да и какое же это веселое занятие!

Федор Дмитриевич Малов, голубоглазый, скуластый, с лицом коричневого цвета, ближе к глазам отливавшего розовым, с темными усами, которые двумя полуконцами огибали рот, с небольшими проплешинами надо лбом, не лез в праведники, в церковь ходил только по большим праздникам, но несокрушимо верил в то, что «над всеми людьми Бог ваш»:

– Бог – старый хозяин, – часто говорил он.

Федор Малов был на все руки мастер. Он и печки перекладывал, и валенки валял. Погоду предсказывал лучше всякого метеоролога.

– Надо, как ни мога́, с сеном управиться нонче.

– А что? Завтра как бы дождя не было?

– Свободная вещь.

«Свободная вещь«» и «ясный факт«» – это были два его излюбленных выражения.

С сеном он успевал «управиться» до вечера, а на другой день первое, что мы видели, пробудившись, – это заплаканные окна.

Федор Дмитриевич Малов никогда не резал животных. Уходил из дому, если звали соседа зарезать курицу или теленка. По свидетельству его жены, Натальюшки, такой же голубоглазой, как и он, «Хведор» даже «черным словом» не ругался. Не пил. Я несколько раз видел его захмелевшим в Перемышле во время коллективизации: он пил с тоски по лошадям, которых у него взяли в колхоз, – по Костюшке и Орлику. И горевал он не столько из-за того, что подарил лошадей чужому дяде, сколько из-за того, что теперь его лошадей будут бить, а он на них только замахивался кнутиком, вовремя не накормят, вовремя не напоят. И еще пил Федор Дмитриевич с тоски по прежнему укладу крестьянской жизни:

– Мужиков больше в России не будет. Исделают из нас изо всех даже и не рабочих, а батраков на государство. Ясный факт!

Моя мать про него говорила:

– Федор Дмитриевич – аристократ духа. Я многих интеллигентов с ним рядом не поставлю, не говоря уже о мещанах.

В трудных случаях жизни мы обращались к нему, и он нас всегда выручал.

Он с Наталью̀шкой частенько приходил к нам в гости, благо жили они в подгородной деревне Хохловке. При НЭПе моя мать старалась как можно лучше их угостить. Они с особым удовольствием пили чай; в деревне тогда пили чай только по большим праздникам. Наконец Наталью̀шка переворачивала чашку вверх дном, клала на донышко огрызок сахару и говорила:

– Сыти, сыти покель некуды. Благодарность!

Это означало конец чаепитию.

Федор Дмитриевич и Наталью̀шка так и остались одними из самых верных, надежных и любимых наших друзей. Мне не надо было учиться выполнять некрасовский завет: учиться мужика уважать. Глядя на Маловых и других наших приятелей из крестьян, я просто не мог не уважать их. Мое народничество, свободное от партийных шор и пут, выросло из дружбы с теми «калуцкими мужуками», среди которых я рос, чья жизнь была у меня на виду…

…В конце зимы моя мать продавала почти все сено – у нас были две козы, а на них сена шло немного. Продажа сена помогала матери обернуться, кое-как заштопать прорехи в

бюджете, уплатить первоочередные долги.

В годы НЭПа на смену одним трудностям пришли другие. В лавках и на базарах всего вдоволь, и все дешево, но только не для учителя: учителям все еще платят гроши, да и выплату грошей задерживают по месяцам и этим еще больше запутывают и расстраивают их дела. Учителя и их дети наголодались, малышей хочется изредка чем-нибудь и побаловать, и учителя должают нэпманам и кооперации, отпускающим товар «на книжку», должают за квартиру, занимают у более состоятельных граждан, занимают друг у друга, как в паутине, увязают в долгах.

Октябрьская революция ужаснула учителей. Ужаснула вовсе не тем, что им пришлось взяться за черную работу. Революция ужаснула мою мать не тем, что она, привыкшая возиться только в саду, теперь почти все делала по дому сама. Она ужаснула Траубенберга вовсе не тем, что он теперь собственноручно колол дрова. Революция ужаснула учителей безалаберщиной в школе. Ужаснула неразберихой во всех городских учреждениях: учреждения размножались «почкованием», они росли, как грибы после дождя, но только грибы эти были червивые: внутри советских учреждений сразу завелись черви бюрократизма и бумажной волокиты. Революция ужаснула учителей невиданным размахом воровства там, где можно было поживиться съестным, – от Упродкома до детского дома. Революция ужаснула их голодом. Революция ужаснула их вечерней темнотой в нетопленых квартирах, где «коптилки» или «моргаски» освещали лишь кружок на столе. Революция ужаснула их, привыкших к провинциальному жилищному простору, «уплотнением»: учреждений развелось столько, что власти скучивали по несколько семейств в один домик. При НЭПе их финансы еще долго пели романсы. Их удручали ни с чем не сообразные действия и распоряжения начальства, как непосредственного, так и более высокого. Их удручала невежественность новых хозяев жизни, вроде заведующего отделом здравоохранения Бурыкина, который на одном из заседаний утверждал, что наибольшую опасность представляют больные-хроники, ибо они суть главные очаги и распространители заразных болезней. Бурыкин был тем, по крайней мере, хорош, что, в отличие от большинства своих соратников, особенной деятельности не развивал. Он целыми днями сидел за канцелярским столом, углубившись в бумаги. Кто бы и с чем бы к нему ни обратился, он, с глубокомысленным видом подняв голову от бумаг, отвечал всегда одно и то же:

– Этот вопрос еще не предрешен.

До революции начальство вменяло учителям в обязанность помимо преподавания водить школьников по царским дням в

собор и раз в год говеть – они и на это поваркивали. Теперь они были обязаны являться на нескончаемые митинги, «демонстрации», собрания, торжественные заседания и внимать «орателям», не умевшим связать по-русски два слова. В 23-м году секретарь Укома партии Елагин на площади с трибуны провозгласил – Товарищи! Траурный митинг в честь убийства Воровского считаю открытым.

В том же году политический руководитель летних учительских курсов, мозг нашего перемышльского комитета партии, негрообразный Павел Иванович Кухтинов в течение месяца обучал учителей политграмоте. Он мнил себя всесторонне образованным человеком и любил разъяснять слова, которые, как ему казалось, могут быть непонятны аудитории

– Это уже была настоящая сти́хия, – рассказывал он о русской революции 1905 года и тут же не преминул пояснить. – А что такое сти́хия? Сти́хия – это восстание рабочих и крестьян.

В том же году, осенью, заведующий «общим» отделом исполкома Фома Николаевич Зайцев, делясь своими впечатлениями от московской сельскохозяйственной выставки, долго склонял, «кабе́ль», «кабеля́», «кабелю́». Можно было подумать, что он побывал не на сельскохозяйственной, а на собачьей выставке. Но он рассказывал о последних достижениях советской электротехники. Один из вождей местного комсомола, Владимир Успенский, оглашая на траурном заседании заключение врачей о болезни Ленина, неукоснительно произносил? «атрериоскле́роз». Другой комсомольский вождь, Александр Четвериков, делая доклад на учительской конференции, многократно употребил словосочетание: «партия Векепе́бе». Один из перемышльских деятелей, Кододочкин, подобно многим другим «комиссарам», любил иностранные слова, но и у него охота до них была смертная, а участь горькая. Он произносил их на свой лад, и вместо «парадокс» у него получался «прадакос». И, конечно, не только Колодочкин, но решительно все власть имущие «константировали» тот или иной факт. Выступая на собраниях, Колодочкин терял всякое представление о времени. Осенний дождь и зубная боль тем и несносны, что ты не знаешь, когда они пройдут. Главным образом по той же причине были нестерпимы и рацеи товарища Колодочкина. Остервенелые слушатели в знак того, что их терпение иссякло, начинали кашлять«» сначала порознь, потом хором; густо басовое прокашливанье сливалось с теноровым перханьем: «Кха! «Кхе!». Колодочкина это не смущало. Он делал публике вежливое замечание:

– Товарищи! Ежели у кого такая болесть, что харкать, так

прошу выйтить в калидор.

И ехал дальше.

Мы точно знали, что, открывая митинг на площади 7 ноября, оратор начнет свою речь со слов:

– Товарищи! Столько-то лет прошло с тех пор, как рабочие и крестьяне свергли иго ярма помещиков и капиталистов.

Менялись ораторы, в словесной формуле проставлялась новая цифра, но сама формула пребывала до тошноты неизменной, и неизменным оставался напоминавший жужжанье осенней мухи тон.

Тетя Саша, служившая в Унаробразе, сняла себе на память копию с одного документа. Это было заявление некоего Фролова, заведующего внешкольным подотделом Наробраза (этому отделу были подчинены библиотеки и клубы), в котором заведующий доводил до сведения высшего начальства, что для «изложения благих мыслей на письменную почву без посторонних толчков» ему необходимо столько то фунтов керосину. Председатель Уисполкома Васильев уведомлял население, какие у Советской власти дальнейшие «планты́ и виды́». Он же на заявление одного из своих ближайших помощников наложил пространную резолюцию. Смысл ее сводился к тому, что есть люди, не умеющие работать без палки. «И вот такая палка, – заключил Васильев свою резолюцию, – требуется на спину тов. Макаричева». Васильеву нельзя было отказать в изобретательности – он пытался разнообразить меры воодушевления. В другой резолюции он кому-то прописал «шейный пластырь». Излюбленным словесным повтором непосредственного начальника учителей, заведующего Унаробразом Василия Вавилыча Розанова, была анафора. Каждую свою речь, каждое выступление он начинал так: «Утета (вот это)… таперьчи (теперь)…», а потом уже развивал свою мысль, почти после каждого слова вставляя» «и так и далее» и «знычит». Несчастный «завперпедтех», Георгий Авксентьевич, накануне делового свидания с ним страдальчески морщился.

– Опять завтра переть в исполком к Розанову, черт бы его побрал! Опять смотреть на его сковородообразную лакейскую морду и выслушивать «утета», «таперьчи», «и так и далее», «и так и далее», «знычит», «знычит», «знычит»! Какая тоска! Боже мой, какая тоска!

Все это было бы смешно – и большей частью учителя добродушно посмеивались над перемышльскими Демосфенами, – когда бы не было так грустно ведь это же были не курьезы, не словесные раритеты – это была опостылевшая повседневность. За купцом Гаврилой Дмитричем Долбишевым знали его слабость к

иностранным словам и называли его за глаза «Метформоза», но он не был начальством» никто не заставлял его слушать, его пристрастие служило поводом для смеха – и только. А тут изволь, служи под начальством у «прадакосов», выслушивай их упражнения в ораторском искусстве, выметайся из школьного здания, потому что «прадакосы» рассудили, что здесь лучше устроить зимний театр, а школу – эка важность! – можно и «уплотнить». Вавилыча в конце концов убрали с поста заведующего Унаробразом. На пленуме исполкома Петр Михайлович Лебедев открыл по Вавилычу ураганный огонь. Вавилыч не нашелся, что ему ответить в заключительном слове.

– Гы! – жалко усмехнулся он. – Уж товарищ Лебедев, знычит, и выступил! Как дубиной меня огрел!

Розанова убрали» но чего это стоило! Сколько душевных сил было расточено в непрерывных стычках с Розановыми, имя им легион! Сколь» ко энергии ушло не на дело, а на словопрения, на отстаивание так называемой «сетки» – на отстаивание более или менее полных нагрузок для учителей, чтобы случайно спаявшийся драгоценный учительский коллектив не распался, на отстаивание школы, потому что кому-то из властей предержащих вспало на ум упразднить в Перемышле девятилетку и оставить только семь классов! При НЭПе учителя не были уверены в завтрашнем дне. При военном коммунизме заставляли работать хочешь – не хочешь. При НЭПе везде шли «сокращения штатов». В школах воздвигалось гонение то на «язычников», то на преподавателей рисования и пения. А вдруг сократят? И что тогда делать? Бросать насиженное гнездо? Переселяться на «новые земли»? А что ожидает их там?

И все же разлад учителей с эпохой (я имею в виду не учителей-обывателей, исполнительных, но преимущественно интересовавшихся, сколько у них в наступающем учебном году будет часов; я имею в виду тех, кто оглядывался по сторонам и смотрел далеко вперед) – этот разлад вызывался не безобразиями, творившимися в Перемышле, – вольные или невольные издевательства над перемышльской интеллигенцией лишь усиливали этот разлад.

Я сызмала присутствовал при разговорах взрослых. Меня оберегали только от обсуждения альковных тайн» ставших достоянием всего города. Я был общителен, но не болтлив. Я умел держать язык за зубами. Старшие в этом удостоверились и, не стесняясь моим присутствием, беседовали на разные темы» Вот почему настроения тех учителей, которые постоянно бывали у нас в доме» открылись мне в первые же годы революции.

Разруха в стране; игра на низменных инстинктах («грабьте

награбленное!»); накладывавшиеся на «недорезанных буржуев» контрибуции, часть которых застревала в карманах комиссарских «галифе»; обыски у буржуазии, превращавшиеся в ночной разбой; «красный террор», в частности – убийство в Екатеринбурге царской семьи» возмутившее даже тех, кто ненавидел монархию; глумление над религией; преследование за религиозные убеждения; планомерное осуществление задуманного еще Козьмой Прутковым проекта «введения единомыслия в России»; гонение на инакомыслящих в политике, философии, истории, литературе; с утра до ночи липким туманом обступавшая ложь» ядом которой были пропитаны газеты от передовиц до корреспонденции с мест; сочетание искусительной лжи прислужников Сатаны с изворотами пойманных жуликов; закрытие доступа сначала в высшие, а потом и в средние специальные учебные заведения детям «лишенцев»» то есть лишенных Советской властью избирательных прав (детям торговцев, крестьян» пользовавшихся наемным трудом, детям духовенства и т. д.), иначе – детям «чуждых, вредных, нетрудовых элементов»; крайне ограниченный в течение долгого времени доступ в вузы для детей служащих (бухгалтеров, канцеляристов и т. д.; дети «специалистов», в том числе учителей, в 29-м году были – по крайней мере, на бумаге – приравнены к детям рабочих и крестьян-бедняков); расстрелы без суда невинных людей в 27-м, 29-м и 30-м году; отход от провозглашенной Лениным новой экономической политики» обрекавший страну при относительно слабой развитости государственной торговли где на полуголодное» а где и на голодное существование; насильственная коллективизация, разорившая крестьян, с которыми провинциальная интеллигенция была связана тысячью нитей и которые не дали ей при военном коммунизме помереть с голоду; бесчеловечная «ликвидация кулачества как класса и ликвидация новой буржуазии»; процессы мнимых «вредителей» – вот что вызывало незатухающий гнев учителей, в свое время чаявших улучшений во всех областях жизни, мечтавших и о революции в России, но не о такой кровавой» не о такой опустошительной» не о такой безмозглой и не о такой тлетворной.

Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за моря море
шаг миллионный печатай!

(В. Маяковский. «Левый марш»)

Да, но ведь известно» – рассуждали учителя, – что за морем телушка – полушка» да рубль перевоз! «Перевозчикам» Россия уже уплатила бешеные деньги» а солнечного края все нет как нет»,

Почти все учителя были в глубине душ и умов непримиримы к новому строю во имя Справедливости, во имя Свободы, во имя Добра, во имя Любви к ближнему, во имя Красоты. Но они считали себя слугами не Советской власти, а слугами народа, которому они еще в юности присягнули на верность. И они продолжали служить ему верой и правдой. Они полагали, что народ – в беде, а бросать кого-либо в беде – подло. Как ни одолевали заботы Софью Иосифовну, содержавшую мать, тетку и школьницу-дочь, как по временам ни травили ее перемышльские сановники за самоотверженную культурно-просветительную работу в полном и глубоком значении этих слов – не только среди школьников, но и среди населения в целом, – она, дав пять, а то и шесть уроков и наскоро пообедав, дробным, спорым шагом, в своей неизменной зеленой куртке с опушенным мехом стоячим воротником и зеленой шляпенке, возвращалась в школу: нынче репетиция, завтра ей нужно еще раз прослушать, как ученицы и ученики читают стихи, которые они собираются декламировать на праздничном (ноябрьском или майском) вечере, послезавтра надо начинать читать шестому классу «Детство» Горького, потому что в программе-то оно значится, а во всем городе есть только один экземпляр этой книги, после-послезавтра заседание редколлегии школьного журнала, а Софья Иосифовна – и член редколлегии, и один из авторов. (Мы выпускали и стенную рукописную газету, и рукописный журнал.) Софья Иосифовна знала повадки своих учеников, знала их лексикон и со смехом говорила мне:

– Я спешу на репетицию, а вы смотрите из окна второго этажа и оповещаете: «Вон сыпет Софио́!»; «Вон летит на всех парах!»

Сведения у нее были точные.

Георгий Авксентьевич Траубенберг мог, сидя у нас за чаем, прицельным огнем своего остроумия бить по новой жизни, но это не мешало ему, невзирая на то, что больные ноги плохо его слушались, даже в гололедицу ковылять вечером в школу: нужно приготовиться к завтрашним опытам по физике и химии, нужно показать ученикам опыт, требующий полной темноты; в школе его уже ждут «ассистенты», как называл он своих помощников из учеников старших классов, любителей физики и химии. Моя мать посылала проклятия извергам рода человеческого, у которых

поднялась рука на мальчика, наследника Алешу, но она предоставила у себя в квартире убежище во время антибольшевистского крестьянского восстания председателю Перемышльского уисполкома Васильеву и, рискуя собой и своим пятилетним сыном, спасла ему жизнь. Учителя так же щедро делились своими знаниями с учениками при враждебном им строе, как бы делились они и при любом другом. И никакой «агитации» они не вели, своего отношения к большевизму при учениках не выражали. Для этого они были нравственно слишком чистоплотны. Они находятся на жалованье у Советской власти; власть, какая бы она ни была, доверяет им воспитание и образование детей и юношества, а они не привыкли обманывать чье-либо доверие. В школе беспартийные учителя были безукоризненно лояльны по отношению к новой власти. Учителям нередко предъявляли тогда обвинение в «аполитичности». Если только это можно назвать обвинением, то оно было справедливо: учителя никакой политики, ни просоветской, ни антисоветской, среди учеников не проводили. Моя мать была верующая, религиозная женщина. Она постоянно ходила в церковь. Соблюдала обряды. Исповедовалась и причащалась нередко в один день с некоторыми из своих учеников. По ее просьбе священники служили панихиды на могилах наших родных, пока это не воспрещалось властью. Священник, идя по нашему приходу на Рождество и на Пасху, на престольные праздники, неукоснительно заходил и к нам, славил Христа, служил молебен. К нам в дом приносили икону Калужской Божьей Матери, когда ее привозили в Перемышль. У нас в гостях был тихоновский епископ, преосвященный Иерофей: родом из крестьян деревни Погореловка Перемышльского уезда, он приезжал навестить старуху-мать; в Перемышле останавливался у о. Владимира Будилина, и тот привел его к нам[14]. Моя мать входила в совет приходской церкви и совет Собора и оказывала духовенству большую нравственную поддержку. Однако, поскольку в советской школе обществоведы и комсомол воспитывали учеников в атеистическом духе, моя мать никого и никогда не пыталась «обращать». Софья Иосифовна, ближе всех учителей подходившая к современности, старавшаяся найти среди плевел зерна, так же тщательно и безошибочно вскрывала идею автора, разбирая произведение советского писателя или горьковскую «Мать», как вскрывала руссоизм «Казаков». Она обличала фамусовскую Москву и темное царство Большовых и Подхалюзиных, Кабаних и Диких в согласии с авторами и не кривя душой, ибо взгляды Грибоедова и Островского были и ее кровными убеждениями. Но она не «подкоммунивала». Служить

просвещению она была рада, прислуживаться перед начальством ей было тошно.

«Не хочешь иметь дело с Советской властью – уйди из школы и тогда проповедуй все, что тебе угодно. Дома, с родными и друзьями, ругай ее на чем свет стоит, а учеников не настраивай. Наше дело – давать им знания, воспитывать из них порядочных людей, трудолюбивых членов общества, а как сложатся их политические воззрения – это будет зависеть от широты их умственного кругозора и от того, насколько чутка их совесть».

Так рассуждала моя мать. Так рассуждали ее сослуживцы, ближайшие ее друзья. Так рассуждали калужские ее друзья и коллеги. Так рассуждали, в применении к своим профессиям, перемышльские и калужские врачи, калужские адвокаты. И я им всем благодарен, в частности, за то, что они говорили при мне свободно. Это мне помогло, когда я в 30-м году от корки до корки читал отчет о суде над обвинявшимися во вредительстве инженерами, понять, что все это – «липа». Я мог головой ручаться, что русская несоветская интеллигенция ни на какой вид вредительства не способна. До поры до времени она была способна на любое *открытое* выступление против незваных гостей, и впрямь оказавшихся стократ хуже татар, – вплоть до саботажа, вплоть до террора, вплоть до вооруженной борьбы в рядах Белой армии, вплоть до разрыва с отчизной, вплоть до взывания о помощи к иностранным державам, вплоть до призывов к Крестовому походу (Куприн). Теперь оставшаяся на родине интеллигенция отказалась от борьбы. Но на то она и интеллигенция, чтобы мыслить критически, а не глотать, что ей запихнут в рот. Однако теперь она и критиковала новые порядки в стране строго келейно, а не с амвона. Ну, а русский интеллигент и вредительство – это нечто еще более «несовместное», чем гений и злодейство.

Когда дочь Александра Константиновича Воронского, большевика-подпольщика, ленинского ставленника, уже в то время отставленного от редактирования журнала «Красная новь», спросила его: «Рамзин и другие – правда, вредители?», – он ей ответил:

– Это суд не над преступниками, а над несчастными людьми. (Слышал от Галины Александровны.)

Воронский был уже тогда умудрен опытом: в 28-м году заместитель председателя ОГПУ Агранов сфабриковал «дело Воронского», и только в последнюю минуту Орджоникидзе добился для него замены концлагеря недолгой высылкой в Липецк. Я, беспартийный юнец, у которого кожа еще не задубела от непогод, думал точно так же, как и Воронений, которому были

доступны многие тайны ленинско-сталинского двора, думал, ибо знал русскую, сложившуюся до революции интеллигенцию и был убежден, что вредительство противно ее разуму, совести, душе, естеству.

…Между перемышльскими учителями пробегали черные кошки и котята. Пробегут – и нет их. Иной раз пошумят в учительской, но это как летний дождь: хлынул – и прошел.

Учителя часто ходили друг к другу запросто, без зова, «на огонек». Бывали друг у друга на Рождество и на Пасху. При НЭПе возродился обычай праздновать именины. На именины созывались все сослуживцы. У нас в доме поить гостей водкой не полагалось. «На всю братию и на вся христианы»[15] выставлялась бутылка какого-нибудь «спотыкачу». Это, как сказал бы Василий Кирилыч Тредиаковский, «трезвое пианство» лишь бодрило дух к оживленной беседе, хотя беседа и без того текла свободно, то искрясь разноголосым весельем, то наполняя комнату шумом споров, то устремляясь вдаль по ровному руслу, то выгибаясь излучинами. В других домах подавался на стол и графинчик с водкой. Меня коллеги моей матери рано начали приглашать вместе с ней на вечеринки, и я ни разу не видел учителя, упившегося до скотского состояния. Кто-то, пропустив три-четыре рюмки, становился еще находчивее и остроумнее, кто-то, напротив, погружался в безмолвную меланхолию, кто-то шел домой не весьма уверенной и твердой походкой, но никто не выписывал мыслете и не держался за землю. Тогда в винопийстве большинство еще не «находило вкуса». Ну, а кроме того, учителя не считали возможным ронять свое достоинство. В пьяном виде попасться на глаза ученикам или родителям – это могло разве что присниться в дурном сне, подобном сну героя поэмы А. К. Толстого «Сон Попова» – статского советника Тита Евсеевича Попова.

Чем же занимались учителя во внеурочное время помимо подготовки к урокам и опытам, проверки письменных работ, чтений школьникам вслух, репетиций и спевок? Лебедев читал для населения лекции по астрономии. Преподаватель физкультуры и военного дела Григорий Владимирович Будилин проводил вечерние строевые занятия перед праздничными демонстрациями. Он же заведовал и зимним я летним театром, приглашал из Калуги гастролеров – артистов, музыкантов и певцов, гримировал участников любительских спектаклей, ежесубботне в театре делал для желающих обзоры событий за рубежом и внутри страны, ибо выписка газет тогда была многим, в том числе моей матери, не по карману; он же был членом правления местного кооператива.

Учителя много читали. Кое у кого были собственные библиотеки. До революции отпускались средства для пополнения библиотеки высшего начального училища и гимназии произведениями, входившими в программу по литературе. Но учителям хотелось новинок. И они в складчину выписывали сборники «Знания», альманахи «Шиповник». После того как прибывшая из столицы книга обходила крут, она поступала в школьную библиотеку. Я находил в библиотеке средней школы и сборник стихотворений Федора Сологуба, и сборник его рассказов «Истлевающие личины», и его роман «Мелкий бес», и «.Символизм» Андрея Белого, и первое, «сиринское», издание его «Петербурга», и «Златолиру» Игоря Северянина в издании «Гриф». До революции в городе была еще одна библиотека, основанная на средства перемышльского благотворительного общества – «Александро-Невского братства». После революции она получила название «Центральной» и гигантски разрослась: все, что уцелело после разграбления усадеб перемышльских помещиков, стеклось в Центральную библиотеку. И в этом захолустном книгохранилище вы могли обнаружить и гротовского Державина, и 24-томного Мережковского в издании Сытина. С начала НЭПа Центральная библиотека начала выписывать еженедельную «Красную ниву», ежемесячную «Красную новь». На ее полках появились сборники стихов Маяковского, вплоть до редкого, отпечатанного на желтоватой бумаге папиросной тонкости, «Все сочиненное Владимиром Маяковским» (1919 год), двухтомный «Песнослов» Клюева, томики Есенина с березкой на обложке, книги Неверова, Сейфуллиной, Пантелеймона Романова, «В тупике» Вересаева, «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина», «Барсуки» Леонида Леонова, «Города и годы» Федина, «Сестры» Алексея Толстого. В 30-м году «на базе сплошной коллективизации» вместе с кулачеством ликвидировали и не менее зловредные, по мнению строгих судей из калужского Губоно, книги: из библиотеки были выброшены не только Мережковский, не только коллективный футуристический сборник «Дохлая луна» и «Громокипящий кубок» Игоря Северянина, не только Есенин, но и Тютчев и Фет.

Как учителя проводили каникулы? На зимние каникулы и в конце летних (занятия у нас начинались 15 сентября: это была уступка крестьянам, нуждавшимся в помощи детей при уборке урожая) отправлялись в Москву – главным образом, чтобы походить по театрам. За одеждой и обувью тогда в Москву не таскались – чего нельзя было достать в Перемышле, покупали в Калуге. Рыбная ловля и хождение по грибы совмещались с участием в спектаклях и концертах.

Первый класс, куда я поступил осенью 19-го года, вела Софья Семеновна Макшеева. Она стала учительницей от нужды и с горя. Ее муж, Владимир Николаевич Макшеев, помещик Перемышльского уезда, отказался от своей доли имения в пользу сестры. Много лет служил он в Польше комиссаром по крестьянским делам, выслужил большую пенсию и поселился в Перемышле, во флигельке у сестры, которая к тому времени продала имение и выстроила себе в городе дом с мезонином и флигель. Единственная дочь Макшеевых, Сонячка, училась в Москве, на историко-филологическом факультете Высших женских курсов. Перед самой революцией она заболела чахоткой. Курсы пришлось оставить. Помню ее, обложенную подушками, золотистоволосую, с точно кистью наведенными рдяными кружками на щеках. «Какая же она больная? – подумал я. – Больные бывают бледные». Начавшаяся голодуха ускорила кончину Сонички: весной 19-го года, во время разлива, она умерла.

Софья Семеновна заходила к нам, мы встречались с ней на улице, на кладбище, в окрестностях города, и я ни разу не видел у нее ни одной слезинки. Она улыбалась своими большими глазами, лучившимися на ее некрасивом, желтом, высохшем до пергаментной сухости лице с чересчур крупными чертами, шутила, но даже я, мальчуган, чувствовал, что в сердце у нее залегла тихая неизбывная скорбь. Она не носила траура. Идешь, бывало, межою и видишь, как над колосьями ржи словно вьется большой мотылек. Это – белая косынка Софьи Семеновны, это она в белом платье бродит одна по полям. Вечерами она ходила в гости – правда, только к близким знакомым, – была разговорчива. Но когда кто-нибудь неосторожно дотрагивался до ее раны, она вздрагивала. «Не надо!..» – просила она. Ей хотелось быть наедине со своим горем, и она никого не подпускала к нему. Горе не отдалило ее ни от Бога, ни от церкви. Войдя в церковноприходской совет храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, она перед самой Пасхой 20-го года возродила распавшийся было хор. По просьбе Софьи Семеновны управлять хором взялся служивший в Наробразе, а впоследствии заведовавший им Владимир Петрович Попов. Прежде он пел тенором в том же хоре и помогал регентам. На просторе его талант раскрылся и развернулся, в хор влились лучшие голоса, и светлый праздник показался прихожанам еще светлее. А для меня с этим хором связаны одни из самых неколебимых и самых прекрасных воспоминаний моего детства, да не только детства, но и всей моей жизни.

Теперь, когда я вызываю в воображении мои первые шажки в

школе, я отдаю себе отчет, что Софья Семеновна была учителем-дилетантом. Уроки Софьи Семеновны, вероятно, не выдержали бы методической критики. Но она приучила нас не бояться школы, она помогла нам создать помимо круга домашних интересов круг интересов школьных. Нас тянуло в школу, потому что нам было там уютно и весело, мы пропускали уроки нехотя.

Я не помню, чтобы Софья Семеновна рассердилась на кого-нибудь из нас за плохой ответ, за невыученный урок. А шалить мы у нее не шалили. Шалил на переменах только Петя Гришечкин, потому что баловником он на свет родился. И он был любимцем Софьи Семеновны. Если к ней поступала жалоба, что кто-то из ее учеников нечаянно разбил в соседнем доме окно или умышленно залепил снежком в прохожего, она спрашивала:

– Кто это сделал?

И всякий раз поднимался Петя и, глядя Софье Семеновне прямо в глаза, своим хрипловатым голосом отвечал:

– Это я, Софья Семеновна.

За правдивость Софья Семеновна прощала Пете все его «подвиги».

А проучились мы у Софьи Семеновны всего один учебный год. Осенью 20-го года она слегла и уже не встала. Своим близким друзьям, в том числе – моей матери, Софья Семеновна призналась, что, окончательно удостоверившись в призрачности своих надежд на выздоровление Сонички, она решила от нее заразиться – и добилась своего: ровно два года спустя после смерти дочери, весной 21-го года, как и дочь – в половодье, она умерла от чахотки. Как хоронили Софью Семеновну – не помню. Помню только блуждающий, пустой взгляд Владимира Николаевича. Помню, что он все делал не так, как требовалось по обряду. Помню, что при выносе он стоял на самом ходу, пока его не попросили посторониться, беспомощно держал в левой руке свою измятую шляпу пирожком, а в правой – табуретку, не зная, куда ее девать.

После смерти Софьи Семеновны Владимир Николаевич несколько лет прожил бобылем в Перемышле. Почти все воскресные вечера проводил у нас. Когда он рассказывал о Польше, я превращался в слух. Запомнилось мне, что он, разбирая земельную тяжбу Генрика Сенкевича с крестьянами, стал на сторону крестьян, и пану Сенкевичу, по словам Владимира Николаевича – сутяге и жмоту, пришлось-таки отдать «хлопам» незаконно присвоенную им землю.

Одно время Владимир Николаевич служил в исполкоме, потом его сократили. Пенсия была у него уже не прежняя: он получал всего-навсего двенадцать рублей, на каковую сумму и

при НЭПе и даже в уездном городе не очень-то можно было разъехаться. Его настойчиво звала к себе в Полтаву племянница. Наконец Владимир Николаевич решился покинуть родные места и в 26-м году уехал из Перемышля. Переписывался он с нами почти до самой смерти, а умер в 33-м году от голода, которым Сталин, под метелочку вычистив в «колгоспах» хлеб, покарал Украину за то, что она посмела не выполнить план хлебозаготовок…

Юра Богданов отзывался о Белове так: «Математика и Александр Михайлович – это верх совершенства». Я не учился у Александра Михайловича – он уехал из Перемышля до того, как я перешел во «вторую ступень», но бывать у нас он начал, еще когда существовало высшее начальное училище и он являлся непосредственным начальником моей матери. Он дал ей немало добрых советов на первых порах ее провинциальной педагогической деятельности в мужском учебном заведении, где поддерживать дисциплину было куда труднее, нежели в московском институте «для благородных девиц».

Александр Михайлович был выше среднего роста, осанистый, представительный. Глядя на него, никто бы не подумал, что он – из купеческого сословия. Каштановый, с проседью, бобрик и аккуратно подстриженная борода подчеркивали строгую правильность черт, и строгость эту еще усиливали очки в золотой оправе. В его манере держать себя, в его походке не чувствовалось ничего выработанного, деланного. Ходил он – вернее, выступал – чинно, заложив руки за спину. Говорил с внушительной неторопливостью. Я представлял себе, что вот так же спокойно и веско объясняет он ученикам на уроках. Математика воспитала в нем стройность мышления. По словам тех, кто у него учился, его уроки походили на чертежи. Он был непогрешим в исполнении своих обязанностей и требовал такой же исправности от подчиненных. Вернее, он ничего не требовал. Он не прибегал к проборкам, головомойкам, взбучкам и распеканциям. Он не корчил из себя начальства. Он только подавал пример. И учителя просто не представляли себе, как можно опоздать на урок, хотя они отлично знали, что, кроме удивленного взгляда, Александр Михайлович никаких других мер к опоздавшему не применит. Знали и ученики, что у Александра Михайловича «не забалуешься», – старшие братья внушали это младшим. И когда от революционного взрыва порядок в школе взлетел на воздух, то никто из учителей так болезненно не переживал катаклизма, как Александр Михайлович. Его не так удручали голод, холод и то, что, отказавшись возглавить «Единую трудовую», он вынужден был оставить свою просторную, светлую, с не по-уездному

большими окнами, квартиру при школе и снять на двоих комнатушку в Завершье, откуда до школы путь был не легкий и не такой уже близкий, как удручал хаос на месте им сотворенного разумного мира. Он был воплощенная честность и в самом простом, и в самом высоком смысле этого слова И он с ужасом глядел не только на развал, не только на бестолочь, но и на порожденные голодовкой плутовство и пройдошество. Заведующий Уездным продовольственным комитетом (Упродкомом) Иванков хапал почем зря, жрал в три горла и равнодушно смотрел своими косыми глазами («Бог шельму метит», – говорили про него перемышляне), как бедствуют врачи, учителя, канцелярские служащие с семьями. И Белов, дивясь прозорливости Алексея Константиновича Толстого, вспоминал его строки:

У приказных ворот собирался народ
Густо;
Говорит в простоте, что в его животе
Пусто!
«Дурачье! – сказал дьяк, – из вас должен быть всяк
В теле;
Еще в Думе вчера мы с трудом осетра
Съели!»

Еще больше угнетало Александра Михайловича то, что инстинкт самосохранения толкал на неблаговидные поступки иных его коллег, что некоторые из них научились урывать лишний кусок хлеба за счет ближнего. Ему претило подлаживанье к начальству, его тошнило от проныр и хапуг.

Один из перемышльских священников, Петр Александрович Лихачев, тотчас после Октябрьской революции подстригся (но не расстригся), сменил рясу на партикулярное платье и поступил сперва в Наробраз, потом в «Единую трудовую». Он ухитрился не снять сана, как на него ни наседали, он все увиливал и изворачивался. На одной из первых учительских конференций он с пафосом перебежчика громил интеллигенцию, как не громили ее самые ярые большевики. Вскоре после него взял слово Александр Михайлович и с присущим ему внешним спокойствием начал так:

– Священник Лихачев утверждает…

После этого выступления громовержец стал бочком пробираться к выходу.

Надо заметить, что Лихачеву то и дело наступали на любимую мозоль. Как-то по поручению матери я, еще

дошкольник, зашел к тете Саше в Наробраз. В той же комнате, где и она, сидел Лихачев.

– Поздоровайся, Коля, – сказала тетка, – это Петр Александрович Лихачев.

Лихачев приятно осклабился и протянул мне руку.

– А я вас знаю, – заявил я.

– Откуда же ты меня знаешь? – выразил удивление Лихачев.

– Я помню вас, когда вы были священником во Фроловской церкви, – без всякой задней мысли, звонким детским голосом ответил я.

Лихачева перекосило.

Отравленные интеллигентской щепетильностью, учителя, дежурные по раздаче хлеба, лишний хлеб, оставшийся после раздачи потому, что не все ученики являлись, между собой не делили, хотя каждый ломтик порадовал бы их детей, малость подкрепил бы их самих. Учителя запирали этот хлеб, а на другой день ученики получали крохотные довески. Как-то дежурили моя мать, Александр Михайлович и Лихачев. По окончании раздачи Лихачев взял краюху оставшегося хлеба, не торопясь завернул ее в газету и сунул ее себе под мышку.

– А это что за хлеб? – спросил Белов.

– Ржаной, Александр Михайлович! – озорно сверкнув глазами и тряхнув головой, отвечал Лихачев.

– А-а, вот теперь я понимаю, – с видом полного удовлетворения закончил разговор Александр Михайлович.

Еще одна, последняя черта из жизни Лихачева: при НЭПе он счел для себя выгодным снова надеть рясу, но и тут выбрал путь наиболее безопасный: стал «обновленцем», «красным попом».

Как и моя мать, Александр Михайлович был непрактичен, беззащитен в звериной борьбе за существование. И его тянуло к моей матери отвести душу.

– У меня такое чувство, – сидя у нас вечерком за стаканом морковного чаю, говорил он, не повышая голоса, не ускоряя темпа речи и не жестикулируя, но с холодным отчаянием в глазах, – будто я потерпел кораблекрушение и очутился в открытом море, а ко мне со всех сторон подплывают акулы…

Александр Михайлович был холостяк. Он жил со своей старушкой матерью. В 18-м году мать умерла от «испанки». С ним поселилась его младшая сестра, Елизавета Михайловна. Она только что окончила в Москве учебное заведение, выпускавшее специалистов по дошкольному воспитанию, и взяла бразды правления в открывшемся перемышльском детском саду.

Старожилы помнили, что Александр Михайлович одно время ухаживал за учительницей Анной Николаевной Брейтфус. Анна

Николаевна была натура скрытная, замкнутая, и все-таки постороннему глазу было заметно, что и она неравнодушна к Александру Михайловичу. Но почему-то дело расклеилось. И вот, когда они оба были уже немолоды, чувство и у того и у другого вспыхнуло с новой силой. Друзья Александра Михайловича и Анны Николаевны мечтали о том, чтобы эти два одиноких существа соединились.

Но тут вмешалась взбалмошная старая дева Елизавета Михайловна. Непохожие друг на друга внешне, брат и сестра были не дружны. Александр Михайлович придерживался порядка во всем. В мыслях и настроениях Елизаветы Михайловны безраздельно царил ералаш. До революции кто-то спросил Александра Михайловича, правда ли, что Елизавета Михайловна либерального направления. Александр Михайлович с полным основанием ответил: «Она бестолкового направления». Александр Михайлович рассуждал, точно теорему доказывал. Елизавета Михайловна перескакивала с предмета на предмет. Александр Михайлович говорил размеренно. Елизавета Михайловна лотошила. У Александра Михайловича был от природы хорошо поставленный бас. Елизавета Михайловна гнусавила. Александр Михайлович был, что называется, «интересным мужчиной», корректным, подтянутым чистюлей. Елизавета Михайловна была обрубковата, коротконога, с короткими руками, с широкими, короткопалыми, по-рабочему грубыми кистями. На ее мужеподобном толстоносом лице болталось пенсне с длинным черным шнурком. В любое время года от нее несло потом.

Пока Александр Михайлович не думал о перемене своей судьбы, Елизавета Михайловна жаловалась своим знакомым на его невыносимый будто бы характер, говорила, что жизнь с ним – не жизнь, а каторга. Как только Александр Михайлович порешил устроить свою судьбу иначе, Елизавета Михайловна объявила ему, что живет на свете только ради него, что если он женится, то ее жизнь потеряет смысл и она утопится. Ей удалось запугать Александра Михайловича. Она, как на аркане, потянула его к родным, в приволжское торговое село Лысково, откуда они были родом. Не дав ему проститься не только с Анной Николаевной, но и с друзьями, она увезла его из Перемышля ранним осенним утром.

С моей матерью Александр Михайлович переписывался до конца жизни. Все его письма были полны тоски по Перемышлю – по его духовной родине. На Волге он снова попал в купеческую среду, от которой давным-давно, еще мальчиком, оторвался. «В Перемышле чужие люди были мне как родные, а здесь меня окружают люди, родные по крови, но они мне чужие по духу», –

писал он. В другом письме, вспоминая своих друзей, он приводил строчку из «Евгения Онегина»: «Иных уж нет, а те далече». Так, в духовном одиночестве, докоротал он свои унылые дни…

С пятого класса у нас начиналась предметная система.

Моя мать давно уже была моей учительницей. Она играла со мной во французское лото, и я шутя выучился болтать по-французски. Потом она стала регулярно заниматься со мной французским, арифметикой, потому что этот предмет давался мне трудно, и законом Божьим, потому что в советской школе его не преподавали. Теперь у меня появилась возможность наблюдать, что собой представляет моя мать не как домашняя, а как школьная учительница.

Иностранные языки – не первая скрипка в школьной программе. Но моя мать добивалась того, что иностранные языки для иных становились одним из любимых предметов. Дисциплина на ее уроках была идеальная, хотя я не помню такого случая, чтобы она кого-нибудь выгнала из класса или хотя бы повысила голос. Терпением она обладала неистощимым. Даже кряжистые дубы начинали у нее с грехом пополам изъясняться по-французски и по-немецки и получали заслуженную «удочку» – так она с ними возилась. Особенно лихой бедой было для нее начало. На одном из первых уроков немецкого языка в пятом классе мама, указывая на стену, спросила тихого, добродушного верзилу, под потолок ростом, Егоришу, как все его звали, Мысина, старшего брата того самого Коли, который чередовал катанье на санках с катаньем на собственной мягкой части:

– Was ist das?

– Кажись, die Wand, – после тягостного раздумья ответил Егориша.

Другой закоренелый двоечник, Витя Дёшин, изо всех сил старался получить «удочку» по-немецки, но все, бедняга, путал «в» с «фау». Читал он по слогам, каким-то утробным голосом и, к великому удовольствию всего класса, выговаривал так:

– Дас Цим-мер дэс Ва-тэрс…

Моя мать не подозревала, что один из ее приемов воспитывает во мне переводчика. Она говорила отличным русским языком, сочетая литературность с озорной сочностью и дерзкой свежестью просторечия. Живым русским языком переводила она тексты, предлагавшиеся в учебниках, таким же языком приучала переводить и нас, все время действуя методом сравнения, методом оттенения. Она была врагом того, что много лет спустя будет мне особенно ненавистно в художественном переводе.

– «Я имею хорошие отметки по всем предметам», – бойко

переводит ученица.

Моя мать прерывает ее:

– Кабанова! Ведь вы же не скажете своим родителям: «Я имею хорошие отметки по всем предметам». Как вы им сообщите это приятное известие? Подумайте!

– «У меня хорошие отметки по всем предметам».

– Ну вот, так и надо было перевести.

Уже на первых уроках моя мать, в сущности, учила нас переводу художественно точному.

«Quelle date sommes-nous aujourd'hui?»

Моя мать добивалась, чтобы ученик понял, что в данном случае «date» по-русски означает не «дату», а «число»; далее, она добивалась, чтобы ученик правильно расставлял слова, правильно интонировал фразу:

– Какое у нас сегодня число?

На простейших примерах моя мать доказывала, что буквальный перевод – не только перевод тяжеловесный, неуклюжий, корявый, дубовый, ранящий наше эстетическое чувство – это бы еще полбеды, – что буквальный перевод сплошь да рядом искажает смысл.

– «Ces enfants travaillent trop».

– «Эти дети работают слишком», – не задумываясь, переводит Груша Замулаева.

Моя мать останавливает ее и объясняет, почему по-французски здесь стоит слово «ces», почему по-французски без него тут нельзя обойтись, а почему при переводе на русский язык в данном случае это слово оказывается лишним, и его не только можно, но и должно опустить. Да, глагол «travailler» означает прежде всего «работать, трудиться». Но нет ли в русском языке значения, более подходящего именно к данному случаю? Конечно, есть. Какой же это глагол?

– Заниматься! – отвечает сразу несколько голосов.

При переводе легчайшей, обиходной фразы моя мать заставляла ребят призадуматься над одной из основных проблем художественного перевода – проблемой слова в контексте, проблемой многогранности слова, проблемой синонимики. И, наконец, моя мать объясняла ребятам, если только они сами не догадывались, что по-русски нельзя сказать: «Дети занимаются слишком», – что по-русски после «слишком» требуется еще какое-нибудь слово – «много», «усердно» и т. д. Моя мать приучала нас при переводе французской или немецкой идиомы подыскивать соответствующую ей русскую. Она показывала на примерах, к чему приводит буквальный перевод идиоматики.

– «Il a le coeur gros». Если мы переведем это выражение слово

в слово: «У него толстое (или жирное) сердце», – можно будет подумать, что речь идет о болезни сердца. Но и болезнь называется иначе: «ожирение сердца». А здесь о чем идет речь?

– О настроении.

– Правильно. Значит, как лучше это перевести?

– Ему тяжело!

– Ему грустно!

– У него на сердце тяжесть!

Исподволь моя мать подводила нас к положению, что как для перевода «Wer reitet so spät»[16],так и для перевода «Ich frage die Maus»», – в разной, понятно, степени – требуется *творческий* подход, что переводить – это значит не «перепирать», как выразился Тургенев в применении к переводам Кетчера из Шекспира, а *перевыражать*. Не только мы, но и моя мать не сумела бы привести наши наблюдения в стройную систему теории перевода (да и существует ли, впрочем, такая теория?), но на практике мы – ее воспитанники – были антибуквалистами.

Чего же достигала этим моя мать?

Для ответа на этот вопрос воспользуюсь еще одной русской поговоркой: она убивала двух зайцев. Во-первых, она оказывала немаловажную услугу преподавателю русского языка: мы и на уроках французского и немецкого языков приучались облекать свою мысль в литературную форму. Перевод литературный обостряет чувство родного языка, перевод буквальный притупляет его. Но это еще только один «заяц». При творческом подходе к переводу учащиеся гораздо лучше улавливают и схватывают тонкости изучаемого ими иностранного языка, глубже проникают в его суть, в «esprit de la langue»[17], как часто говорила на уроках моя мать. На фоне родного языка резче выступают особенности языка чужого.

Я останавливаюсь – и останавливаюсь подробно – только на одном из приемов моей матери потому, что этот прием пошел мне потом «на потребу».

Моя мать была учительницей по призванию. Она любила почти всех учеников, по-своему любила даже оболдуев и остолопов – ей нравилось высекать из этих кремней искры. Она жила интересами школы. Непорядки в школе она переживала как непорядки в собственном доме. И все-таки ее нравственное влияние на учеников, ее содействие их общему развитию было важнее того, что она давала им на уроках. Связующим звеном между нею и учениками служил я. Ко мне постоянно приходили товарищи – и «просто так», и для коллективного чтения изучаемых произведений, имевшихся в крайне ограниченном количестве экземпляров. Так, например, я прочел вслух моим

приятелям «Ткачей» Гауптмана, «Обломова». Мать беседовала с моими товарищами о литературе, рассказывала им о своих московских театральных и музыкальных впечатлениях. Она создавала им атмосферу радушной простоты. Ребята не боялись ходить в дом к учительнице. Они только конфузились, когда моя мать угощала их. Ей всякий раз стоило труда перебороть их деликатность. Но она добивалась своего и хоть чем-нибудь да подкармливала их. Особенно заботилась она о крестьянских детях: они жили в городе у чужих людей, и побаловать их было некому.

В 50-х годах, когда моя мать доживала свою жизнь в Калуге, она получала от своих бывших учеников письма. Они сохранились. Привожу отрывки.

Дорогая Елена Михайловна!

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и желаем Вам доброго здоровья и благополучия в жизни.

Нет возможности в письме выразить то чувство глубокой благодарности, которое наполняет наши сердца за все, что Вы своим трудом и теплым вниманием сделали для нас.

Ваша абсолютная честность, истинно христианское человеколюбие и мужество, с которым Вы переносили тяжелые удары судьбы, служат для нас светлым примером всего лучшего, что может иметь человек.

Ваши ученики:

И. Миронов, Л. Линьков, Н. Рубисов, П. Гришечкин, С. Левашкевич.

Из письма Семы Левашкевича:

Дорогая Елена Михайловна!

……

Прошли долгие годы, но все свежо в моей памяти: и дом с крылечком, где так приятно проходили дни и вечера моего детства, дом, где вечерами мы собирались у самоварчика, и Ваш всегда интересный, а порой веселый и забавный разговор, и лица тех дорогих людей, которых уж нет с нами.

Могу ли я забыть Вас, когда Вы меня, нищего ребенка, волею жестокой судьбы занесенного в Перемышль[18], приблизили к своему дому, к своему сыну и сделали из меня человека? Тем, что я честный человек, я обязан только Вам.

……

Крепко целую Вас.

Ваш *Семен.* 17 марта 1959 года

Из письма Семена Левашкевича ко мне от 13 февраля 1978 года: «Да, счастливые были эти тяжелые годы детства. Был голод, тяжелая нужда, постоянная тревога за братьев, которые сражались на фронтах гражданской войны, было страстное желание учиться, с жадностью тянулись к знаниям, к настоящей культуре. В эти тяжелые годы легко можно было попасть на преступный путь. Но нам и в голову никогда не приходило украсть что-либо, нахулиганить или нагрубить старшим. Этим мы во многом обязаны нашим учителям и особенно твоей маме. Она мужественно прошла свой тернистый путь, не уронив достоинства и чести».

В пятом классе я стал изучать историю. Историю преподавала у нас перемышлянка, окончившая в Москве Высшие женские курсы, бывшая начальница перемышльской гимназии, в которую с течением лет переросла наша прогимназия, Надежда Васильевна Лебедева, жена преподавателя математики Петра Михайловича Лебедева, который после того, как техникум у нас прикрыли, стал заведующим школой-девятилеткой. (Тогда еще заведовать школами разрешалось и беспартийным; к концу 20-х годов беспартийных «завов» начали постепенно замещать партийцами.)

В пятом классе мы проходили древнюю историю. Народный комиссариат по просвещению (Наркомпрос) приказал изучать ее по учебнику Виппера. Сие пособие было написано как будто нарочно для того, чтобы раз навсегда отбить у тех несчастных, кто будет им пользоваться, всякую охоту углубляться в историю. На совесть бездарный ученый муж ухитрился один из самых увлекательных предметов покрыть пыльными волокнами скуки. Еще и сейчас, когда я слышу фамилию «Виппер», у меня зеленеет в глазах.

Те, что вроде меня обожали историю, взвыли. Мы обратились к Надежде Васильевне с мольбой: нельзя ли чем-нибудь заменить опостылевшего нам Виппера? Надежда Васильевна, в глубине души разделяя наше отвращение к этой мертвечине, пошла нам навстречу. «Зубрилы» довольствовались Виппером. А «бунтарям» Надежда Васильевна предложила записывать ее рассказы и дополнять их чтением художественных произведений на сюжеты, почерпнутые из древней истории.

Надежда Васильевна была наделена даром лектора. Ей бы надо было преподавать в высшей школе. Но у нас в классе подобрались ребята начитанные, развитые, и мы слушали Надежду Васильевну «носом и ушами» и успевали записывать самое главное. А чтобы история представала перед нами вживе, мы обращались к художественной литературе. Доходим до Юлия Цезаря – Надежда Васильевна предлагает нам прочесть трагедию

Шекспира. Юлий Цезарь, Брут, Марк Антоний, Кассий, римская толпа, водоворот страстей, столкновение характеров, воль и умов – все это мы видели теперь как бы воочию. Доходим до Юлиана-отступника – Надежда Васильевна советует нам прочесть дилогию Ибсена «Кесарь и Галилеянин». Надежда Васильевна открыла нам доступ к своей библиотеке, кое-что мы выуживали из школьной и Центральной библиотек. Но вот «Спартак» Джованьоли в пересказе для школьников оказался в единственном экземпляре. Всю книгу Надежда Васильевна с пояснениями трудных мест прочла нам во внеурочное время.

Уроков истории нам не хватало. Мы тратили перемену на то, чтобы проводить Надежду Васильевну до другого школьного здания и дорогой как можно больше у нее выспросить. Но эта страница нашей школьной жизни неожиданно быстро перевернулась.

В шестом классе Надежда Васильевна уже познакомила нас с программой, и вдруг новость: история отменяется; вместо нее мы будем проходить «обществоведение», или, как потом стали называть его ребята, «обще́ство», «общество́». Преподавать новый предмет будет приехавший из Калуги питомец Советскопартийной школы («Совпартшколы»), которая горками блинов напекала преподавателей «общественно-политических дисциплин».

Обществоведы у нас почему-то долго не задерживались. Познания их не отличались ни широтой, ни глубиной. Один из них, Семен Алексеевич Стрельцов, корчил из себя оратора и любил для пущей вескости скандировать слова.

– Вот это и есть, товарищи, финансовый ко-пе-тал – заключил он свою тираду.

Итог этой реформы оказался для нас плачевен. Нам преподнесли винегрет из экономики нашего уезда (мы ходили по базарам и ярмаркам и для чего-то записывали цены на товары), политической экономии, обрывков из русской истории, которую нам показывали в кривом зеркале «Рурской истории в самом сжатом очерке» Покровского, истории революционного движения на Западе, истории революционного движения в России (начиная с декабристов) и истории Всесоюзной коммунистической партии, кончая разгромом троцкистов.

Я еще в «первоступенском» возрасте прочел несколько учебников русской истории. Я читал «Тараса Бульбу», «Бориса Годунова», драматическую трилогию Ал. Конст. Толстого, его роман «Князь Серебряный» и его исторические баллады, «Юрия Милославского», «Арапа Петра Великого», «Полтаву», «Капитанскую дочку», позднее – «Войну и мир» – это вводило

меня в мир образов и событий отечественной истории. И потом я всю жизнь восполнял пробелы. А моих товарищей можно было разбудить в первосонье, и они без запинки ответили бы, кто входил в группу «Освобождение труда» (состав этой группы мы особенно хорошо знали, потому что облегчали себе процесс затверживанья: мы заучивали фамилии в таком порядке, что первые буквы фамилий освободителей труда составляли нецензурное слово), но вот о Смутном времени они имели представление самое смутное. Киевскую Русь вообще никак себе не представляли, а некоторые выходили из школы с твердым убеждением, что крепостное право отменила Октябрьская революция. История России притягивала и притягивает меня к себе и сейчас, история Востока и Запада любознательности во мне не будила, и в этой отрасли я по милости Наркомпроса так и остался недоучкой.

Когда у Надежды Васильевны отобрали уроки истории, мы долго ходили как в воду опущенные. Для Надежды Васильевны это была драма. Чтобы не расставаться со школой, она взялась преподавать географию. Я учился у нее до девятого класса включительно. Она заложила в нас прочные знания, преподавала добросовестно, но не увлеченно. Она чувствовала себя премьершей, которую ни за что ни про что перевели на второстепенные роли. Но и с географией пришлось ей расстаться. Она все сильнее глохла, и когда мы окончили школу, то преждевременно ушла из школы на пенсию и Надежда Васильевна.

В пятом классе я начал учиться у Георгия Авксентьевича Траубенберга.

Его известный в истории дальний предок – генерал-майор Траубенберг, убитый при неудачной попытке подавить предпугачевский бунт. Мать Георгия Авксентьевича – дочь священника. Его родственника со стороны матери, священника Ломакина, Советское правительство наградило медалью за мужество, проявленное им в дни ленинградской блокады. По материнской же линии Георгий Авксентьевич приходился двоюродным братом писателю Вячеславу Ковалевскому. Отец Георгия Авксентьевича – перемышльский мировой судья. Вскоре после революции он умер от истощения.

Георгия Авксентьевича Люди пожилые называли за глаза для простоты по отцу – «Мировой».

– Я спе́рва Мировому привезу, а по́том вам, – говорил крестьянин, который должен был по наряду завозить учителям дрова.

Я давно уже заметил на перемышльских улицах очень

высокого, худого человека в студенческой форме, как-то странно выбрасывающего ноги при ходьбе. Мы с матерью решили, что он выработал себе такую походку из своеобразного кокетства. Оказалось, что у Георгия Авксентьевича, в детстве и в ранней юности – заправского спортсмена, атрофия мышц на руках и ногах. Болезнь не останавливалась в своем развитии. Спустя некоторое время Георгий Авксентьевич уже не мог обходиться без палки, не мог совершать далекие прогулки, не мог поднять руки выше определенного уровня.

– Я ведь очень несчастный! – в подражание Продавцу воздушных шаров из «Трех толстяков» Олеши, которых Георгий Авксентьевич видел в Художественном театре, с грустной улыбкой иногда говорил он.

Георгий Авксентьевич влюблялся в старшеклассниц, они влюблялись в него – такое особенное было у него лицо, такой занятный он был собеседник. Юный Лепорелло Георгия Авксентьевича, я относил его избранницам записки и букеты цветов. А затем Георгий Авксентьевич переламывал себя и, убежденный в том, что он, калека, не имеет права на личную жизнь, обрывал свои целомудренные увлечения.

Георгий Авксентьевич окончил Московский университет, его должны были оставить при университете, но голод погнал его обратно в Перемышль.

Его худоба при высоком росте, выбрасывание ног, яйцевидная форма головы – все это бросалось в глаза при первой встрече. Потом взгляд к этому привыкал. Внимание останавливалось на том обаятельном, что было в его внешности. Во всем очерке его не характерно русского лица было что-то оригинальное. Хищное строение широкого рта скрадывалось мягкой улыбкой, обнажавшей верхний ряд ослепительно белых, словно смеющихся зубов. Прямой, тонкий нос указывал на породистость. Очень хороши были умные, живые, карие его глаза, принимавшие то печальное, то угрюмое, то шаловливое выражение.

Фонетически сложное сочетание его имени, отчества и фамилии для многих являлось камнем преткновения. Уж как только его не звали и не величали! Интеллигенты, не знавшие немецкого языка, переставляли ударение в его фамилии: Траубе́нберг. Эта перестановка раздражала Георгия Авксентьевича. Простонародные варианты смешили его. Он коллекционировал их и ничего не имел против, когда знакомые в разговоре с ним избирали именно эти варианты. Для большинства простолюдинов он был «Егор Арсентьич», и только прислуга его московского товарища по университету выказывала оригинальность – она упорно называла его: «Егоргий Алексеич». В

Перемышле его фамилия переделывалась на разные лады: Трамберг, Тромберг, Траунберг, Тимбумберг. А секретарь комитета партии Левчуков значительно усложнил и без того нелегкое произношение его фамилии. Не желая следовать готовым образцам, он предложил свой вариант: «Товарищ Тра́цуцунберг». Наконец, ученица-пятиклассняца, образование которой, впрочем, на пятом классе и оборвалось, на уроке обратилась к нему: «Рево́львер Авксентьич!»

С 20-го года Георгий Авксентьевич стал бывать у нас в доме, да все чаще и чаще. Если мы два вечера подряд не слышали в галерее знакомого стука палки, то это приводило нас в тревожное изумление.

Георгий Авксентьевич любил детей той снисходительно-долготерпеливой любовью, какой любят их только бездетные. Мы с ним привязались друг к другу быстро – и на всю жизнь. Когда я уехал в Москву учиться, мы тосковали друг без друга. Мать писала мне, что Горочка (так в Перемышле предпочитали ласкательно называть Георгиев) входит во все мелочи моего нового быта, спрашивает, кто мне стирает белье.

Георгий Авксентьевич преподавал естествознание, физику и химию. Излюбленной его областью было естествознание, а в естествознании больше всего говорила по уму и сердцу ботаника. Однако эти три области не поглощали его всецело. Он был театралом, с успехом выступал на перемышльской сцене, всегда рад был сразиться на шахматной доске, любил литературу, особенно – поэзию.

Он подробно рассказал мне, как в Художественном театре ставят «Синюю Птицу». Изобразил враждующих между собой Пса и Кота, Хлеб, вылезающий из дежи, Время, посылающее Неродившиеся Души на землю, И так раззадорил меня своим рассказом» что я попросил у матери разрешения прочитать «Синюю Птицу», Пьеса-сказка захватила меня с первых же слов, которыми обмениваются, глядя в окно, Тильтиль и Митиль… Вступив на переводческую стезю, я долго мечтал о переводе «Синей Птицы». Мне казалось, что в старом переводе диалогу недостает разговорной непосредственности» что ремарки Метерлинка» имеющие самостоятельное значение» разрастающиеся по временам в стихотворения в прозе» с прихотливым ритмическим узором, звучность которых кое-где усилена рифмой, в старом переводе выглядят по-деловому сухо, В 57-м году моя мечта сбылась.

Георгию Авксентьевичу я обязан первым знакомством с поэзией русского XX века. Моя мать» воспитанная на классике, долго ее не принимала. Она полагала, что поэты XX века – это в

самом деле декаденты. Потом она сдала свои позиции – и уже не без моего влияния.

Георгий Авксентьевич принялся расширять мой читательский кругозор. Я знал стихи Бальмонта для детей, входившие в хрестоматию «Живое слово»:

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья
Скоро Осень проснется —
И заплачет спросонья.

(«Осень»)

Мне казалось, будто я сам написал эти стихи – они изображали то, что я наблюдал из года в год, и передавали мое душевное состояние осенью.

Георгий Авксентьевич прочитал мне на память бальмонтовского «Лебедя». От частой декламации на литературно-музыкальных вечерах чуть ли не во всех городах России «Лебедь» покрылся лоском пошлости. Но мне открылся «Лебедь» во всей первозданной глубине его настроения, в чистоте напева и живописности звука:

Заводь спит. Молчит вода зеркальная
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится – печальная,
Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит.

Отчего так грустны эти жалобы?

Отчего так бьется эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть.

Все, чем жил с тревогой, с наслаждением,
Все, на что надеялась любовь,
Проскользнуло быстрым сновидением,
Никогда не вспыхнет вновь.

Все, на чем печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил,
Точно он у озера родимого
О прощении молил.

И когда блеснули звезды дальние,
И когда туман вставал в глуши,
Лебедь пел все тише, все печальнее,
И шептались камыши.

Не живой он пел, а умирающий,
Оттого он пел в предсмертный час,
Что пред смертью, вечной, примиряющей,
Видел правду в первый раз.

Я «с голоса» выучил «Лебедя» и потом читал его моим знакомым» Старая учительница-пенсионерка Надежда Ивановна Высочинская пришла от «Лебедя» в восторг, но не хотела верить, что это стихотворение Бальмонта»

– Нет» нет» – говорила она, – декадент не мог так хорошо написать» Это он у кого-нибудь украл. Он вот какую ахинею несет…

И прочла мне наизусть четверостишие из чьей-то пародии на его стихотворение «Аромат солнца»:

Пахнут луны девами,
Грустными напевами,
Пахнут днями талыми,
Отзвуками алыми.

– Бог знает что за белиберда!

Меня потянуло к Бальмонту. И хотя время многое отшелушило из его чересчур обширного наследия, все же я и теперь, в который раз перечитывая «Безглагольность»,

«Фантазию», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…», «Я мечтою ловил уходящие тени…», испытываю такое чувство, будто звуковой поток подхватил меня и течет, и влечет, и несет…

Читал мне Георгий Авксентьевич и Вячеслава Иванова, даже Игоря Северянина:

Целый день хохотала сирень
Фиолетово-розовым хохотом.

Северянинский образ вызвал во мне ощущение фальшивой ноты. Как я ни напрягал воображение, а все же не мог представить себе хохочущую сирень, в цвете и запахе которой мне чудилась задумчивая печаль. Однако дерзость Северянина мне нравилась. Я еще долго дотом принимал оригинальничанье за оригинальность. (В прозе так у меня было с Пильняком.)

В зрелые годы я отвернулся от Северянина – мне претили его салонное позерство и гениальничанье. Протекло еще много лет, и я вновь вернулся к нему, хотя и без прежнего увлечения. Вновь запели во мне его особенные ритмы; я не мог не признать, что его работа над словом оставила след в русской поэзии. Не его ли неологизмы породили есенинские «водь», «бредь», «звень»?

До сих пор не уплыли из памяти строки из двух стихотворений Вячеслава Иванова, которые читал мне Георгий Авксентьевич:

А зарей задетые тростники живые
Грезят недопетые сны вечеровые…

(«Повилики»)

Лебеди белые кличут и плещутся…
Пруд – как могила, а запад в пыланиях…
……
За мимолетно-отсветными бликами
С жалобой рея пронзенно-унылою,
В лад я пою с их вечерними кликами —
Лебедь седой над осенней могилою.

(«Лебедь»)

Из Блока Георгий Авксентьевич выбрал далеко не лучшее, но более или менее доступное для меня. Я знал одно-единственное

стихотворение Блока, вошедшее в подаренную мне книгу «Маленьким детям – маленькие песенки»:

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся
И пахнет весной.

Георгий Авксентьевич прочитал мне «В голубой далекой спаленке…». Мне не мог не запомниться карлик, откуда-то вылезший, остановивший часы и держащий в руке маятник. После опочившего в спаленке мальчика и сказочного карлика, после синего сумрака, окутавшего спаленку, меня три года спустя огорошили Ваньки, Катьки, Андрюхи и Петрухи на фоне завьюженного Питера. Впрочем, вся перемышльская интеллигенция, до которой «Двенадцать» дошли с большим опозданием, уже после кончины Блока, восприняла эту его поэму по-бунински – как пьяный бред хулигана.

Читал мне Георгий Авксентьевич и Брюсова: сначала Брюсова-пейзажиста, потом, когда я подрос, Брюсова-урбаниста.

Были же основания у Гумилева говорить о брюсовской *нежности!*[19] И я узнал сначала нежного и певучего Брюсова, звуками дорисовывающего зримость осенних далей:

Ранняя осень любви умирающей!
……
Ветви прозрачны, аллея пуста,
В сини бледнеющей, веющей, тающей
Странная тишь, красота, чистота.

(«Умирание любви»)

А когда я стал «старшим школьником», Георгий Авксентьевич прочел «Офелию» Брюсова, и она показала мне, далекому от городских «происшествий» провинциалу, страшный лик большого города, равнодушно топчущего людские судьбы.

И еще он прочел тоже ведь *печального* брюсовского демона – «Демона самоубийства»:

Своей улыбкой, странно длительной,

Глубокой тенью черных глаз,
Он часто, юноша пленительный,
Обворожает, скорбных, нас.

В ночном кафе, где электрический
Свет обличает и томит,
Он речью, дьявольски-логической,
Вскрывает в жизни нашей стыд.

Он в вечер одинокий, – вспомните, —
Когда глухие сны томят,
Как врач искусный в нашей комнате,
Нам подает в бокале яд.

Он в темный час, когда, как оводы,
Жужжат мечты про боль и ложь,
Нам шепчет роковые доводы
И в руку всовывает нож.

Он на мосту, где воды сонные
Бьют утомленно о быки,
Вздувает мысли потаенные
Мехами злобы и тоски.

В лесу, когда мы пьяны шорохом
Листвы и запахом полян,
Шесть тонких гильз с бездымным порохом
Кладет он молча в барабан.

Он – верный друг, он – принца датского
Твердит бессмертный монолог,
С упорностью участья братского,
Спокойно-нежен, тих и строг.

В его улыбке, страннодлительной,
В глубокой тени черных глаз,
Есть омут тайны соблазнительной,
Властительно влекущей нас…

Самым близким Георгию Авксентьевичу поэтом-символистом был Федор Сологуб. Стихи Сологуба взяли меня за сердце. И с тех пор Сологуб – один из самых дорогих мне русских поэтов.

Георгий Авксентьевич прочитал мне «Чертовы качели»:

В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.

Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.

……..

В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
– Попался на качели,
Качайся, черт с тобой! —

……..

Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах!
Качай же, черт, качели,
Все выше, выше… ах!

Символический смысл «Качелей» не дошел тогда до меня, но черт, раскачивающий качели, так и впился когтями в мое воображение.

Другие стихотворения Сологуба, которые Георгий Авксентьевич читал мне летним вечером в темноте (летом мы из экономии огня не зажигали), я тоже воспринимал поверхностно. Пока еще они были для меня однопланны.

Я острой детской жалостью жалел заблудившегося и выбившегося из сил путника:

В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: – Помоги!
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?
Кто-то зовет в тишине:
Брат мой, приблизься ко мне!

Легче вдвоем.
Если не сможем идти,
Вместе умрем на пути.
Вместе умрем!

Я острой жалостью жалел ребенка, замученного отцом с матерью, и в то же время упивался изысканной простотой, как бы нечаянной красотой сологубовского стиха с его сложным рифмическим узором:

Ангельские лики,
Светлое хваленье,
Дым благоуханий,
– У Творца-Владыки
Вечное забвенье
Всех земных страданий.

Навеки приворожила меня колдовская «Лунная колыбельная» Сологуба с ее словесно-ритмико-инструментальным изображением расходящихся по воде кругов, с ее убаюкивающей однострунностью, оттеняемой переборами внутренних рифм, с шепотной» усыпляющей звукописью последних ее строк:

Я не знаю много песен, знаю песенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.

Колыбельку я рукою осторожною качну,
Песенку спою младенцу, отходящему ко сну.

Тихий ангел встрепенется, улыбнется, погрозится шалуну,
И шалун ему ответит: – Ты не бойся, ты не дуйся, я засну.

Ангел сядет к изголовью, улыбаясь шалуну,
Сказки тихие расскажет отходящему ко сну.

Он про звездочки расскажет, он расскажет про луну,
Про цветы в раю высоком, про небесную весну.

Промолчит про тех, кто плачет, кто томится в полону,
Кто закопан, зачарован, кто влюбился в тишину.

Кто томится, не ложится, долго смотрит на луну,
Тихо сидя у окошка, долго смотрит в вышину, —

Тот поникнет, и не крикнет, и не пикнет, и поникнет в глубину,
И на речке с легким плеском, круг за кругом пробежит волна в волну,

Я не знаю много песен, знаю песенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.

Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну,
Глазки-светики-цветочки песней тихою сомкну.

Вглядываясь в родную даль и ширь, я повторял строки из сологубовских «Гимнов Родине»:

Милее нет на свете края,
О Родина моя!
…….
…русское сердце тоскует
Вдали от родимой земли»

«Конечно, у Сологуба видны декадентские наросты, – думалось мне, – но сердцевина у него здоровая. Трухлявому декаденту так бы не написать».

И, наконец, сухим стуком комьев земли о крышку гроба отдалось у меня в ушах стихотворение Сологуба, которое было напечатано в 18-м году, в еще не прихлопнутой большевиками газете «Утро России». Конечно, оно не вошло ни в один из послереволюционных сологубовских сборников. Мне запомнилось его начало:

Пляшет пляску нестройную
Над гробовою доской
И поет над Россией покойною:
«Со святыми упокой…»

Когда я был в пятом классе, Георгий Авксентьевич принес нам «Белую стаю» Ахматовой. Меня тогда же изумило уменье поэтессы просто разговаривать с читателем, просто о чем-то ему рассказывать, но так, что этот непринужденный рассказ, этот

свободный разговор не теряет музыкальной прелести стиха. Наиболее сильное впечатление произвели на меня два ее стихотворения, в которых звучит мотив материнства:

«Где, высокая, твой цыганенок,
Тот, что плакал под черным платком,
Где твой маленький первый ребенок,
Что ты знаешь, что помнишь о нем?»

«Доля матери – светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В светлый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.

Каждый день мой – веселый, хороший,
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.

Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего.
Все брожу я по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его».

И второе:

Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать —

Через речку и по горке.
Так что взрослым не догнать,
Издалека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.

Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать.

Это стихотворение по-особенному меня волновало. Моя мать была совсем не такой, как в стихотворения Ахматовой: она хоть и

редко, но бранила меня, часто ласкала и водила причащать. Но вше почему-то до боли отчетливо представлялось, что и я скоро буду бегать – так, что взрослым не догнать, – на могилу моей матери по извилистой тропинке, ведущей на могилы моего отца и няни. И еще потому, наверно, именно эти два стихотворения Ахматовой так полюбились мне, что их сначала прочитал вслух Георгий Авксентьевич, а читал он стихи хорошо.

Георгий Авксентьевич обладал приятного тембра баритоном, слух же у него оставлял желать лучшего. Но Вертинского он мне напевал верно.

Я ни тогда, ни после не улавливал в песнях Вертинского пошлости. Мне и в дореволюционных его песнях слышалась в детстве, как слышится и теперь, боль душевно ранимого человека, впоследствии слившаяся с тоской по родине. Вертинский пел о мечтах и надеждах, застывающих на ледяном ветру, о жестокой насмешливости судьбы, о горечи непонятых и неразделенных чувств, о разбитых жизнях, о девушке, «кокаином распятой в мокрых бульварах Москвы», о любимой женщине, покончившей с собой, о смерти, как о спасительном забвении «всех земных страданий», И детская душа моя отзывалась на музыку Вертинского, надтреенутость которой выражала его душевный надлом, музыку, родившуюся в том же обреченном, еще до осенних ветров облетавшем мире, что и поэзия Сологуба, Брюсова, ранней Ахматовой, и похожую то на шелест листопада, то на придушенные рыдания:

Ваши пальцы пахнут ладаном
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.

И когда Весенней Вестницей
Вы пойдете в синий край,
Сам Господь во белой лестнице
Отведет вас в светлый Рай.

Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,

Никого теперь не жаль.

В пыльный маленький город, где Вы жили ребенком,
Из Парижа весной Вам пришел туалет.
В этом платье печальном Вы казались «Орленком» —
Бледным, маленьким герцогом сказочных лет.

В пыльном маленьком городе, где балов не бывало,
Даже не было просто приличных карет,
Годы шли, Ваше платье увяло,
Ваше дивное платье «Maison Lavalette».

Но случайно сбылися мечты сумасшедшие
Платье было надето, фиалки цвели,
И какие-то люди, за Вами пришедшие,
В катафалке по городу Вас повезли.

На слепых лошадях колыхались плюмажики,
Старый попик усердно кадилом махал,
– Так весной в бутафорском, смешном экипажике
Вы поехали к Господу Богу на бал.

Много лет спустя я рад был узнать, что Вертинского, как создателя особого песенного жанра, в котором ему и как автору, и как композитору, и как исполнителю не было равных, высоко ценил Шаляпин.

Итак, дверь, ведущую в мир русской предреволюционной поэзии, отворил мне естественник»

Любитель и знаток поэзии, Георгий Авксентьевич был поэтом в педагогике. Оттого, вероятно, я, не испытывавший тяготения к точным наукам, увлекся химией и естествознанием.

Химия рисовалась мне сказкой-былью, и она цвела, эта сказка, и она звучала.

– Ацидум ни́трикум фу́манс! – гремел весь наш класс, и Георгий Авксентьевич улыбкой поощрял эту нашу хоровую декламацию, как поощрял он ее и на уроках кристаллографии (в мое время программа средней школы включала в себя не только ботанику и зоологию, но и кристаллографию, минералогию и геологию);

– Окта́эдр! Ромбический додека́эдр!

Химия проникала и в наш речевой обиход, вплеталась в житейскую прозу. Если у кого-нибудь из учеников обувь весной или осенью просила каши, он говорил: «Сапоги мои – того:

пропускают H_2O». И даже бранились мы, прибегая к химическим эвфемизмам: «Ангидрит твою перекись марганца!»

Рассказ Георгия Авксентьевича о геологической праистории нашего края оборачивался пейзажной поэмой, точной в каждой своей подробности. Исчезал Перемышль, исчезали деревни на том берегу Оки, исчезали луга и озера, между отвесными берегами пустынно, раздольно несла свои воды река… Мы ходили с Георгием Авксентьевичем на ботанические экскурсии и пополняли школьный гербарий. Вылавливали из озер жуков-плавунцов. Жуки поселялись на подоконниках нашего класса в стеклянных банках. Мы каждый день меняли им воду, кормили их и вели дневник, куда заносили события жучиной жизни.

Держал себя с нами Георгий Авксентьевич не как строгий ментор, а как взыскательный старший товарищ. Но мы не забывались. Он над нами подтрунивал. Но мы не обижались. Он редко сердился на тупиц – он умел свое раздражение растворить в шутке…

Сын перемышльского сапожника Слонковский, дурошлеп, невесть какими судьбами перескочивший в пятый класс, отвечает на заданный ему вопрос, как происходит опыление у таких-то растений:

– Ета… утета… он летить…

Продолжительное молчание.

– Дальше, сэр! – невозмутимо обращается к незадачливому ботанику Георгий Авксентьевич.

Болезнь не вытравила из Георгия Авксентьевича жизнерадостности. Время от времени на него находила хандра. Он и в мрачном расположении духа приходил вечерами к нам… На людях и смерть красна… Мы его не трогали, не пытались разговорить, занимались своими делами. Он молча курил, молча пил чай, потом уходил. С годами приступы тоски сошли на нет. Георгий Авксентьевич словно свыкся со своей бедой. Да и продолжались эти приступы тоски недолго. Вот опять перед нами прежний Горочка, словоохотливый умница и забавник, мастер на прозвища.

В Бога Георгий Авксентьевич верил, но временами в нем поднимался иван-карамазовекий бунт, еще жарче разгоравшийся, когда он думал о своей недоле. В частных беседах он нет-нет да и ругнет попов. Но он был интеллигентом чистой воды, и у него вызывали негодование все виды насилия, в частности – насилие над религией. Играя Сатина, он так произносил его слова, относящиеся к Татарину: «Он – молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить… Это его дело! Человек – свободен…», что имевшие уши догадывались без труда, к кому обращен

негодующий монолог артиста. Перед войной Георгий Авксентьевич все твердил, что за обезглавленные и поруганные храмы русским людям не миновать возмездия. Теорию Дарвина он излагал нам подробно и внятно, но без сочувственных комментариев и не скрывая от нас расхождений с Дарвином Уоллеса, признававшего вмешательство высшей силы в жизнь на Земле.

Георгия Авксентьевича заставляли выступать с докладами под Пасху. Он делал строго научные доклады, заканчивал их не позднее половины двенадцатого и шел к нам христосоваться и разговляться. В этих докладах не было ни единого слова «против Бога» и «против попов», и все-таки они его тяготили, и он ругал их устроителей непечатными словами.

В первые годы нашего знакомства из слов Георгия Авксентьевича явствовало, что он – ярый противник самодержавия. Но гнет «Совдепии» грубел и наглел, и Георгий Авксентьевич затосковал по ушедшей России.

Я часто от него слышал:

– Ах, какая тогда (то есть до революции) была свобода, Любимов! (Он шутки ради называл меня по фамилии и в домашней обстановке.) Ты себе представить не можешь, какая была тогда свобода по сравнению с тем, что теперь! Оценили мы ее, когда не только крестьян, а и нас всех закрепостили.

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

Если бы Георгий Авксентьевич читал «Окаянные дни» Бунина, он, конечно, привел бы и эти всеохватывающие в своей сжатости, сдержанные в своем страстном отчаянии строки: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье!»

В разговоре с тетей Сашей Георгий Авксентьевич дал своеобразное толкование марксистско-ленинской диалектики:

– Вы отказываетесь понять, Александра Михайловна, почему мы одно время носились с купцами, величали их «красным купечеством», а теперь сгибаем в бараний рог? Странный вы человек, Александра Михайловна! Да ведь это же и есть

диалектика! Сегодня я у вас в гостях мирно пью чай, вы меня угощаете вареньем разных сортов, а завтра я приду и напакощу на ваш обеденный стол. И когда вы устремите на меня вопросительный взгляд, я вам отвечу: «Ничего не поделаешь, Александра Михайловна! Диалектика!..»

В 30-х годах с учителей начали драть десять шкур. От них требовали все больше и больше общественной работы, понукали их, подстегивали кнутом, но овсом не кормили. Георгий Авксентьевич мрачно острил:

– Скоро нас вместо Васи Грибова (перемышльского золотаря) заставят бочки вывозить. И что вы думаете? Ведь повезем! Да еще и на бочки влезем, если прикажут, а если пообещают прибавить сахару по карточкам, так еще и «Интернационал», сидя на бочках, в благодарность затянем. Это будет художественно… Помните анекдот? К Ленину пришел корреспондент иностранной газеты и сказал: «Вы в короткий срок сумели добиться от граждан беспрекословного повиновения. Почему же вы не потребовали от них, чтобы они поползли перед вами?» А Ленин ему: «Боюсь, что поползут»… Тихий ужас…

Современную литературу Георгий Авксентьевич почти не читал. Советских писателей презирал за мелкотравчатость и подхалимство. Восхищался лишь Сергеевым-Ценским и Есениным. Нравились ему и некоторые рассказы Пильняка, пьеса Катаева «Квадратура круга», пьеса Карташева «Наша молодость» по повести Виктора Кина «По ту сторону» (обе пьесы он видел в Художественном театре). На «Дни Турбиных» он, как ни рвался, так и не попал.

Когда я пытался увлечь его Алексеем Толстым, а из молодых – Леонидом Леоновым, он, прочитав, возвращал мне книгу и кривил губы в пренебрежительной усмешке:

– Что ж, на безрыбье и рак рыба, на бесптичье и жопа соловей.

Георгий Авксентьевич, как и его сослуживцы-единомышленники, высказывался откровенно в тесном кругу добрых знакомых и ни разу не прорвался при учениках.

Только однажды он вышел из себя в учительской, но учеников там не было. Прозвенел звонок. Моя мать с тетрадями под мышкой, в валенках с продранными пятками направилась к выходу.

– Вот, полюбуйтесь: вид на́ море! – возгласил Георгий Авксентьевич, показывая на мамину обувь. – «Учительница, поставленная на высоту», как обещал нам гражданин Ильич!

Георгий Авксентьевич нередко ополчался на русскую революционную интеллигенцию.

– Надо быть вовремя умным, – заключал он свои обвинительные речи.

Особым его нерасположением пользовались делавшие революцию поповичи, как он их называл – «семинары»:

– Я их и в университете не переваривал. Семинара сразу отличишь по выговору и ударениям: любовъ, кровъ, кашля́ю, ката́строфа, композито́р.

Революционную интеллигенцию в целом он называл «Петры Михалычи», пользуясь для этого названия именем и отчеством заведующего нашей школой, сына рабочего, бывшего социал-демократа, к которому как к человеку и товарищу он относился прекрасно. Не менее характерным представителем революционной интеллигенции был для него другой перемышлянин, из духовного звания, ссылавшийся при царе, попович Вячеслав, которого любила моя тетка Евдокия Михайловна. Острякам доставляло удовольствие пародировать сложные фамилии, которыми блистало духовное сословие, как, например, Световостоков, Смиренномудренский. Наибольшую популярность заслужили «Наколокольнестоященский» и «Череззаборвзиранский».

– Господа Ленины пришли на готовенькое, – рассуждал Георгий Авксентьевич. – Кто проторил им дорожку? «Петры Михалычи», «Вячеславы Заборычип «Череззаборы Вячеславичи»…

А Петр Михайлович долго повторял себе в утешение:

– Мы пленники, но не рабы.

Жизнь показала ему, как он заблуждался.

Однажды на уроке Петр Михайлович сказал о себе:

– Я – советский аристократ… Мой отец – рабочий, наборщик. Умер, когда я еще был мальчишкой, от профессиональной болезни наборщиков: от туберкулеза. Наглотался свинцовой пыли… Мать – портниха. Ее игла нас двоих кормила и поила. Благодаря тому, что мать ночей не досыпала, мне удалось окончить перемышльское городское училище.

В Лете Лебедеве, как в выдающемся ученике, принял участие Александр Михайлович Белов. Его стараниями Петю приняли на казенный счет в калужское реальное училище, а потом Лебедев окончил в Москве два института: Учительский и Коммерческий.

С фотографии на меня смотрит высоколобый рабочий паренек. Он стоит «во всем параде»: на нем пиджак, жилет, воротничок и галстук. Рядом с ним в глубоком кресле сидит его мать.

А вот он же, только постарше, с усами, напоминающими цыплячий пух, в батистовой косоворотке, сидит один, сложив руки на груди. По открытому выражению лица видно, что парень

стойкий, но не то печаль, не то забота отбросила на его лицо тень. Это Петр Михайлович Лебедев в юности. Мое воображение устремляется от карточек к живому Петру Михайловичу, каким я знал его много лет. Нос у него самый что ни на есть русский: добродушный, точно из теста вылепленный. Тесто расползлось и мешает рассмотреть и без того обидно маленькие, но чистого-чистого, незабудкового цвета глаза. Яко светило, сияет плешь. Всегдашний его наряд – пиджак и косоворотка.

Георгий Авксентьевич носил толстовки, но и в толстовке он выглядел потомственным интеллигентом с примесью барственности. В Пете Лебедеве галстук и воротничок не закрашивают простолюдина.

В раннем детстве я встречался с Петром Михайловичем редко и случайно. И он мне не нравился. Грубоватости черт его лица, на котором росла, как я определил ее после, «социал-демократическая» бородка, соответствовала грубоватость его выражений, грубоватость тона, угловатость движений. Как-то он начал мне внушать, чтобы я поменьше читал, что это вредно для здоровья, оттого я, мол, такой бледный и хилый, – нужно как можно больше бывать на воздухе, кататься на лыжах, на санках.

– Ничего, если и нос разобьешь, – добавил Петр Михайлович.

Образ жизни, который он для меня намечал, мне не улыбался. Оторвать меня от книги можно было только силком. Я не испытывал особой охоты расквасить себе нос. После этого разговора я при встречах поглядывал на Петра Михайловича с опаской: не спросит ли он меня, как выполняю его наставления, и не предложит ли он что-нибудь столь же мало для меня соблазнительное?

С течением времени Петр Михайлович стал ближайшим другом нашего дома, и я полюбил в нем все, даже его неотесанность.

Петр Михайлович отличался не только скромностью, но и небрежностью в одежде. Его пиджак был частенько в собачьей шерсти. За своей наружностью он не следил: его редкие надо лбом волосы топорщились, стояли торчком. Он служил примером своим ученикам во всем, кроме элегантности и изящества манер. В его юнцовско подчеркнутой неряшливости, доставшейся его поколению от Марков Волоховых, выражался плебейский вызов лощеному барству. А после революции, когда невежество стало бонтоном, Петр Михайлович и рад был избавиться от неопрятности и неучтивости, но ничего не мог с собой поделать: мешала рассеянность. Придя на урок, он мгновенно подтягивался, но стоило прозвонить звонку на перемену, и его собранность улетучивалась. За вышедшим из класса Петром Михайловичем

двигалась в учительскую целая процессия: один ученик нес забытые им на столе тетради и книги, другой – шапку, третий – папку с делами. Уходя из учительской, он вместо шапки пытался надеть муфту делопроизводительницы и злился, что из его стараний ничего не выходит. Об его рассеянности из уст в уста передавались новеллы, в которых не было ничего вымышленного. Сам главный герой подтверждал их достоверность.

Когда Петр Михайлович преподавал математику в высшем начальном училище, преподаватель закона Божьего, благочинный о. Василий Смирнов, пригласил своих сослуживцев по училищу на именины. Петр Михайлович машинально отправлял себе в рот кулебяку его благочиния кусок за куском и в конце концов умял ее почти всю, так что припоздавшим гостям оставалось только облизываться. С той поры о. Василий зарекся звать к себе учителей.

До женитьбы Петр Михайлович жил в Перемышле с матерью. Однажды по какому-то случаю они напригласили полон дом гостей. Вдруг, в разгар веселья, Петр Михайлович, показав матери глазами на стенные часы, вскочил.

– Ну, мать, пойдем, – сказал он. – Засиделись мы, пора и честь знать.

Беседует Петр Михайлович у нас на животрепещущую тему. Внезапно, не допив чаю, оборвав себя на полуслове, не простившись, срывается с места – и хлоп дверью!

– Петр Михайлович! Куда же вы?

А его и след простыл.

У Петра Михайловича и Надежды Васильевны не было детей. Отцовскую и материнскую любовь они перенесли на животных. По комнате у них летали галка и грач. Полеты пернатых над столом портили гостям аппетит: того и гляди, сверху шлепнется в тарелку или в чашку нечто постороннее.

У Петра Михайловича были собака Дружок – не собака, а собачища – и рыжий кот – не кот, а котище. Когда ждали гостей, то Дружка по причине его лютой злости загоняли в четырехугольник, который образовывали стена дома, где жили мать и сестра Надежды Васильевны, стена флигеля, где жили Петр Михайлович с Надеждой Васильевной, стена галереи, соединявшей оба здания, и забор. Идешь по галерее и содрогаешься: галерея застеклена, и ты видишь, как в четырехугольнике яростно мечется, становится на задние лапы и заглядывает в галерею «собака Баскервилей», и кажется, что от ее лая, как стены Иерихона от трубного звука, вот-вот падут стены дома и флигеля.

Когда Петр Михайлович, гуляя с Дружком, покорно следовал

в том направлении, какое избрал пес, перемышляне говорили:

– Во-он Дружок пошел гулять с Петром Михайловичем! Характерную особенность кота составляла шкодливость. Его кормили досыта, но он так и норовил у кого-нибудь что-нибудь слизнуть или стянуть. Однажды к Петру Михайловичу явился его сосед и сказал:

– Ваш рыжий кот всю сметану у меня слизал. Дайте мне его – я его удавлю.

Петр Михайлович побагровел. Волосы у него встали дыбом.

– Я вас самого удавлю за рыжего кота! – вскричал он.

Сосед пулей вылетел из лебедевского флигелька.

Подобно многим волевым; натурам, Петр Михайлович пылил в сравнительно мелких случаях жизни и не терял выдержки и присутствия духа в сколько-нибудь важных.

Он неоднократно предупреждал учеников, чтобы они не боялись его вспышек. Если он кричит на ученика, это, дескать, значит, что он еще возлагает на него надежды, а вот если он на вид бесстрастен – это дурной знак. И в самом деле: когда одна ученица заявила, что из одной точки можно опустить пять перпендикуляров, Петр Михайлович побледнел, но даже не сказал ей «Садитесь», – он все же не мог не объяснить ей, в чем корень ее заблуждения» и, только объяснив, вкатил ей «неуд.» (двойку).

В юности Петр Михайлович вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) и примкнул к меньшевикам. Он участвовал в съездах меньшевистской партии, был знаком и не раз беседовал с Даном и с Мартовым. В 21-м году Ленин кликнул клич: «Хватайте бывших меньшевиков и эсеров!» До Перемышля этот клич докатился только в 23-м году. В октябре этого года Петра Михайловича, только что назначенного заведующим школой, арестовали и в сопровождении уполномоченного ОГПУ увезли на телеге в калужскую тюрьму. Это было в воскресенье. По дороге Петр Михайлович встретился с Большаковым, который тогда учительствовал в Корекозеве и шел домой, чтобы провести воскресенье с семьей.

– Куда это вы? – крикнул Петру Михайловичу Большаков.

– В Калугу! – ответил Петр Михайлович.

– Вернетесь скоро?

– Наверное, скоро. Как только управлюсь.

На сей раз ему удалось «управиться» действительно скоро: ровно через месяц он вернулся в Перемышль и приступил к исполнению обязанностей заведующего школой и преподавателя математики. От него только потребовали, чтобы он кратко оповестил читателей «Коммуны», что в партии меньшевиков он

больше не состоит.

Петра Михайловича знал педагогический мир Москвы и Калуги. В нем жил талантливый, прирожденный учитель. Неправильный ответ ученика, в особенности – хорошего, Петр Михайлович воспринимал как личное оскорбление.

Сначала шло crescendo возмущенное недоумение:

– Что такое?.. Что такое?!

– Ну куда вы лезете! Куда вы нос дерете! – уже с отчаянием в голосе кричал он на ученика, стоявшего у доски и безуспешно пытавшегося разобраться в чертеже.

Сбрендил – с места – и другой ученик.

– М-м-м! – мычит Петр Михайлович и с остервенением трет рыхлый свой нос или столь же немилосердно скребет плешь.

Как и Траубенберг, Лебедев не обвел себя смолоду чертой своей специальности. Я терпеть не мог математику, даже Лебедев не сумел пристрастить меня к ней. Но зато как же я любил «отступления», которые Петр Михайлович довольно часто позволял себе на уроках. Наибольшей притягательной силой обладали для него история и литература. А мы, бывало, еще «подначиваем», «заводим» его, засыпаем вопросами. Рассказывая о царствовании Елизаветы Петровны, он приводит на память язвительную характеристику царицы, которую слышал из уст Ключевского на его публичной лекции в Москве, да еще изобразит манеру говорить Ключевского, слегка заикавшегося, но научившегося заикаться на лекциях вовремя, не на самом важном слове во всей фразе, а перед самым важным словом, чтобы тем резче его подчеркнуть.

Окончив школу, я осмелился сказать Петру Михайловичу:

– Лучшее, что было на ваших уроках, это ваши уходы в области, чуждые математике.

Петр Михайлович довольно усмехнулся.

Прочел он на своем веку уйму книг по математике, физике, астрономии, социологии, истории, философии, географии, теории словесности, стихосложению, не пропустил ни одного заметного явления в русской и западной художественной литературе. Куда только ни проникал его пытливый умственный взгляд. Из русских писателей он больше всего любил Льва Толстого, из иностранных – Мопассана. Он мог пересказать почти любую новеллу автора «Пышки». Уже в 30-х годах он вновь взялся за изучение основательно забытого им французского языка – взялся, чтобы читать в подлиннике Мопассана и «Боги жаждут» Анатоля Франса.

После того как я перестал быть учеником Петра Михайловича, мы вели с ним многочасовые беседы и у нас, и у

него, и в лугах. Я скоро подметил его особенность: он обращал внимание в жизни в книге, в газете на то, мимо чего проходили другие Он опускался в самую глубину явления и, утвердившись на этой глубине, либо освещал его снизу, либо взрывал. В одном из юношеских своих стихотворений, посвященных родному городу, я писал:

Петр Михайлович – Архимед:
Миры потрясает он с точки опоры.

Петр Михайлович сочетал в себе учителя и воспитателя. Я позабыл, кому принадлежит изречение, которое настойчиво пытался вычеканить на нашей памяти Петр Михайлович, но самое изречение помню: «Посей поступок – вырастет привычка, посей привычку – вырастет характер, посей характер – вырастет судьба».

Беседуя с нами, Петр Михайлович «милость к падшим призывал». Когда мы постановили исключить из школы Дубового Носа, Петр Михайлович потратил пол-урока (это он-то, жадный на школьное время, входивший в класс со звонком, задерживавший нас на целую перемену, до тех пор, пока не входил другой преподаватель!), чтобы убедить нас, что мы проявляем опрометчивую жестокость. Не оправдывая поступок Дубового Носа, он утверждал, что в его поведении виноваты и мы.

– В школе его дразнят, на улице его дразнят. Он озлоблен. Это кот, которого постоянно дергают за хвост.

Обрисовав незавидное положение нашего одноклассника, Петр Михайлович задал нам вопрос: подумали ли мы о том, что из него выйдет, если его исключат из школы, куда и на что мы его толкаем? Сидевший в нас бес молодого упрямства тогда одержал победу. Мы все-таки ходатайствовали перед школьным советом об исключении Дубового Носа – так он нам насолил. Но беседа Петра Михайловича не раз приходила нам на память потом. И если мы в отношениях с людьми не всегда рубили с плеча, если мы, охватив человека изучающим взглядом, иной раз смягчали приговор, а иной раз и отпускали его вину, это в нас говорило былое; это значило, что не высох еще тот источник, который некогда выбил в нашей душе воспитатель…

Когда на нашу школу наскочила комиссия, под ее дудку заплясал другой мой одноклассник. Это был единственный ученик – и притом ученик неплохой, – открыто поддержавший наступление комиссии на учителей. Тут сказались и комсомольская дисциплина, и ребячливый задор, и желание порисоваться, сыграть видную роль, и юная безоглядность. После собрания, на котором он выступал, нас распустили на летние

каникулы. Летом мы не виделись. Я дал себе слово при встрече не поздороваться с ним. Но – «человек предполагает, а Бог располагает». Встретились мы с ним перед началом занятий на школьном крыльце нос к носу, и он улыбнулся мне такой виноватой улыбкой и так неуверенно-просяще протянул мне руку, что я не мог не пожать ее. Мне стало ясно, что за лето он многое продумал, многое пересмотрел. И я поставил перед собой задачу – приручить его. Оттолкнуть – это самое легкое, и я еще успею его оттолкнуть, коли увижу, что его подыгрыванье комиссии – не случайная оплошность, о которой он сам потом пожалел и за которую, как я слышал, его осудили родители. Скоро я убедился, что в глубине души он раскаивается. Мой курс на сближение с ним явился для него радостной неожиданностью. Он менялся на глазах.

В классе у меня была одна-единственная недоброжелательница. Пользуясь тем, что учителя бывали у ее родителей запросто, она стала дуэтом с мамашей им напевать, что я подлизываюсь к этому своему однокласснику, потому что он стоит во главе школьной комсомольской ячейки. Разговорчики эти дошли до меня. Как-то к нам забежал Петр Михайлович. Я заговорил с ним напрямик о моем приятеле, о той цели, какую я преследую, сближаясь с ним, спросил, как он на это смотрит, и признался, что мне обидна возводимая на меня напраслина.

– Не обращайте внимания на бабьи сплетни, – сказал Петр Михайлович. – Вы действуете совершенно правильно. Это так важно – протянуть человеку руку, да еще молодому, неокрепшему человеку, в трудную для него минуту, когда он ждет, что все от него отвернутся! Глядя на вас, и другие от него не отшатнулись. Неприязнь класса могла Бы *только* озлобить его. А теперь он видит, что все к нему относятся погревшему, как будто ничего не произошло, – не только учителя, но и ученики, – и это на него подействует лучше всякого бойкота. Вы и ему помогаете стать честным человеком, и делаете доброе дело учителям: отрываете от злопыхателей хорошего по натуре мальчика. Нет, Коля, плюньте на баб. Помните припев к «Вниз по матушке по Волге…»?

Буря, грянь!
Девки, бабы – дрянь,
Тьфу!

Плюньте – и продолжайте в том же духе.

Дальнейшее поведение моего товарища доказало, что Петр Михайлович одобрил и поощрил меня не напрасно.

Петр Михайлович был известен всему уезду своим

гражданским мужеством. Он отстаивал гонимых с пеной у рта. Он сражался за них на разных полях сражения. В одном лице он являл собой и трубача, и знаменосца, и ратника.

Несколько лет подряд Петр Михайлович был председателем ревизионной комиссии местного кооператива. Во главе кооператива стоял некий Кассиров, костлявый, с голым черепом, с глубоко сидящими глазами, с землистого цвета лицом. Что-то в нем было мелко-бесовское и что-то от вестника смерти. Георгий Авксентьевич прозвал его «memento mori»[20]. Кассирову нельзя было отказать в хозяйственной сметке. Он сумел быстро наладить дело в нашем захиревшем кооперативе. Но он был бездушен и черств. Понятия о добре и зле, о правде и кривде для него не существовали. Средствами он не брезговал. Словом, он был плоть от плоти своей партии. Нужно Кассирову порадеть знакомому человечку – ну что ж, он подведет подкоп под хорошую продавщицу и выбросит ее на улицу. Она вдова, двое ее сыновей еще учатся – Кассирову наплевать с высокого дерева. Председатель ревизионной комиссии Лебедев с ним сцепился и заставил его на общем собрании пайщиков заявить, что Михайлову он увольнять не собирается. Ну, а потом Кассиров все-таки от нее избавился. И тут Петр Михайлович собрал срочное заседание ревизионной комиссии и не оставил от Кассирова живого места.

На уже упоминавшемся мною общем собрании пайщиков, когда переизбирались правление и ревизионная комиссия, я находился в публике и смотрел на сцену. Петр Михайлович сидел на сцене в окружении Кассирова и К". И тут я вспомнил слова Белова, что ему представляется, будто он один среди акул. Передо мной, озаренное зловещим в своей тусклости светом керосиновых ламп, было только одно человеческое лицо, лицо благородного простолюдина, а вокруг него – нечисть. Вот-вот она схватит его и с визгом, и воем утащит…

В прениях взял слово секретарь комитета партии Левчуков.

– Товарищ Лебедев на заседании ревизионной комиссии бросил товарищу Кассирову обвинение в том, что он обманул общее собрание пайщиков, – брызгая слюной так, что она летела В первые ряды, засюсюкал Левчуков, – но товарищ Кассиров – член Коммунистической партии, а Коммунистическая партия, было бы известно товарищу Лебедеву, никого и никогда не обманывала. Если партия считает, что данный товарищ достоин находиться в *ее* рядах, то обвинение, брошенное ему, перерастает в обвинение всей Коммунистической партии.

Отвечая Левчукову, Петр Михайлович начал с того, что он отдавал и отдает должное Кассирову как денному работнику.

– …Но я никогда не был подлизой, я никогда не шел против совести, я всегда считал своим долгом заступаться за ошельмованных и без вины виноватых…

Всплеск аплодисментов надолго прервал его речь.

Начало 30-го года ознаменовалось для перемышльской школы тем, что «активисты» из школьной комсомольской ячейки, желая показать, как высоко у них развита «классовая бдительность», потребовали исключить группу выпускников: дочку огородника, сына давно умершего мелкого перемышльского лавочника, сына покойного сельского священника и других, – исключить не за провинность, а единственно за то, что они не сумели «выбрать» себе родителей. Петр Михайлович стал за них горой. На его счастье тогдашний председатель Совнаркома РСФСР Сырцов (будущий лидер «право-левацкого блока Сырцова-Ломинадзе», исчезнувший, как и Ломинадзе, в Лубянской тьме) на странице««Известий ЦИК и ВЦИК» осудил исключение из средней школы детей лишенцев. Беспартийный Лебедев читал газеты внимательно, между тем как его противники с партийными и комсомольскими билетами в карманах были гораздо хуже «политически подкованы», чем он. На школьном совете Петр Михайлович сослался на Сырцова.

– Подумаешь, какой-то Сырцов! – бросил реплику секретарь районного (осенью 29-го года уезды были переименованы в районы, а губернии – в округа) комитета комсомола Николаев.

– Как для кого, – возразил Петр Михайлович, – а для меня председатель Совнаркома РСФСР Сырцов, хотя для секретаря нашего райкома комсомола он – «какой-то», является несравненно более высоким авторитетом, чем знаменитый на весь Советский Союз товарищ Николаев.

Николаев сник.

Петр Михайлович добился того, что школьный совет большинством голосов постановил снестись с Москвой. Петр Михайлович телеграфировал в Московский областной отдел народного образования (МООНО), и оттуда пришел ответ, благоприятный для отверженных.

Над кем бы из учителей ни собирались тучи, Петр Михайлович бросался на защиту. А между тем кто-то невидимый записывал каждое его слово и дело…

В 27-м году на учительской конференции какая-то муха – какая именно, никто так и не мог взять в толк, – укусила сельского учителя Александра Александровича Резвевского. Заключил он свою речь, острием направленную на Петра Михайловича, сожалением, что воспитание детей и юношества в перемышльской школе доверено лицам политически

неблагонадежным.

Это был намек на меньшевистское прошлое Лебедева.

Петр Михайлович кратко ответил Резвевскому, что трибуна учительской конференции предназначена не для доносчиков; перед доносчиками широко открыты двери особого учреждения – туда он и советует обратиться Резвевскому.

Ни до, ни после этого случая Резвевский ничем себя не запятнал. В 30-х годах он переехал в Подмосковье, вывел на чистую воду директора школы, где он учительствовал, в 37-м году директор свел с ним счеты, и Резвевского – за конверт да в ящик… Но я забежал вперед.

На весенней учительской конференции 30-го года, состоявшейся в ту пору, когда колхозы рассыпались, как карточные домики, выступил Резвевский. С фактами в руках он доказывал, что власти пытаются свалить вину за перегибы в коллективизации и за распад колхозов на учителей, что власти навинчивают прочив учителей крестьян: якобы это учителя допустили «искривления линии партии», что по всему району идет травля учителей, возглавляемая райкомом партии.

Учителя рукоплескали оратору, ибо он отважился сказать сущую правду, но тотчас после конференции на него обрушились перуны.

Кто же за него открыто, при учителях, съехавшихся со всего района, и в присутствии членов президиума райисполкома и бюро райкома партии вступился? Петр Михайлович…

Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Георгия Авксентьевича и Софью Иосифовну Меньшову привязала к перемышльской школе Октябрьская революция: Георгия Авксентьевича – до конца его жизни, Софью Иосифовну – до 31-го года.

Я часто корю себя, что кого-то недооценил, кого-то вовсе не оценил. Перед Софьей Иосифовной совесть моя чиста. Я предвкушал наслаждение быть ее учеником – так много я слышал о ней от старших товарищей, с таким интересом слушал ее, когда она приходила к нам. И я не обманулся в своих ожиданиях.

Разными путями, близкими и далекими от литературы, пошла жизнь у моих соучеников. Но все они говорили потом в один голос, что Софья Иосифовна привила им любовь к книге, Софья Иосифовна не выносила казенщины, справедливо полагая, что казенщина нетерпима в преподавании любого предмета, в преподавании литературы – паче всего. Мы пользовались учебниками по русскому языку, но учебников по литературе мы, к счастью, в руках не держали. Книги, говорящие сами за себя, редкие образцы критического искусства, как, например, «Мильон

терзаний» Гончарова, и рассказы учительницы – вот те три вида учебных пособий, которые предоставляла в наше распоряжение Софья Иосифовна. А рассказывала она так, что никого не тянуло взглянуть в окно или редко кого – шушукнуться с соседом.

Софья Иосифовна не ограничивалась теми авторами, произведения которых нужно было, как тогда выражались, «прорабатывать». Она набрасывала портреты писателей на широком историко-литературном фоне; она показывала их в окружении выдающихся современников: собратьев по перу, художников, артистов, певцов.

Мы часто писали сочинения – и классные, и домашние. Софья Иосифовна любила мазню у нас в тетрадях.

– Когда ученик зачеркивает и надписывает, я вижу ход его мысли, его работу над стилем, – говорила она.

Я шел у Софьи Иосифовны первым, и это не удивительно. На школьных советах, когда речь заходила обо мне, Петр Михайлович обыкновенно шутил:

– Любимов читал больше меня.

Печка и в самом деле пылала жарко, но Софья Иосифовна подкладывала туда сухих березовых Дров. По математике я беззастенчиво «сдувал», а до сочинений был жаден. По «Гамлету» написал два сочинения, что было необязательно: характеристику Гамлета и характеристику Офелии. Я написал характеристики не только Матери и Хохла, но и – на двух тетрадях – «Революционное движение по роману Горького “Мать”». «Мать» проходили одновременно два класса: выпускной и наш, шестой. Мы устроили соревнование: вечером собрались в школе два класса: свои сочинения прочитали ученик девятого класса и я. Чтобы не ударить по самолюбию выпускников, Софья Иосифовна, заключая прения, сказала, что мы оба молодцы, но подробно остановилась на моем сочинении и назвала его «блестящим». Когда Софья Иосифовна раздавала прочитанные ею наши сочинения по «Войне и миру», я обнаружил у себя в тетради (я писал о военно-исторических взглядах Толстого) вместо отметки четким, красивым почерком Софьи Иосифовны выведенные слова: «Это работа не школьника, а студента. С.М.». Это был самый радостный из моих школьных дней, радостнее победы над старшеклассником, радостнее даже того дня, когда я прочел в классе мое сочинение о Гамлете и Софья Иосифовна расхвалила меня не только в классе, но, как я узнал от матери, и в учительской.

У Софьи Иосифовны было мало неуспевающих учеников. А между тем программа по литературе ставила ее в весьма затруднительное положение. Программа для шестого класса

предлагала нам упиваться пролетарским поэтом Самобытником (Машировым), о котором теперь почти никто краем уха не слышит, его стихотворением «Машинный рай», где что ни слово, то перл:

> И под властною рукою загремит стальное тело,
> Грудью черною, голодной песнью творчества рыча…

При Луначарском был создан так называемый ГУС (Государственный ученый совет). О чем думали эти «гусиные» головы, включая в программу плоды самобытниковского вдохновения? О чем они думали, включая в программу для шестого класса Верхарна? Задумались ли они над тем, насколько Верхарн доступен пониманию шестиклассников – даже столичных жителей? И подумали ли они хотя бы о том, где его достанут уездные и даже губернские школы?

Что ни шаг, то овраг зиял в «гусиной» программе, и вместе с тем она была перегружена сверх всякой меры. Так, в восьмом классе после embarras de richesses[21] – нам надлежало одолеть былины и другие виды русского народного творчества, «Слово о полку Игореве», «Песнь о Роланде», «Гамлета», «Дон-Кихота», «Мещанина во дворянстве», «Женитьбу Фигаро», «Разбойников»; мы делали скачок прямо к русской литературе первой половины XIX века (наше знакомство с западной литературой Шиллером и кончилось); на русскую литературу XVIII века, даже на поэзию Ломоносова и Державина, даже на «Недоросля» был тоже почему-то накинут стыдливый покров. В программе для девятого класса значились «Казаки», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Обломов», «Вишневый сад», Горький, Блок, «Железный поток» и «Цемент».

Попробуйте перенести детей сапожников, огородников, парикмахеров, страховых агентов из трехоконных или пятиоконных домишек с геранями и фуксиями на окнах, с ковриками, огибающими «зальцу», из домишек, где – через сени – нужник «с поддувалом», – попробуйте перенести их во дворец короля Клавдия или графа Альмавивы, заставьте их под разбойничий посвист российской метели вообразить знойную Андалусию, заставьте Олю Хромову, дочь почтальонши Матрены Сергеевны, зажить жизнью королевы Гертруды или маркизы Доримены!.. Софья Иосифовна этого достигала. На одном уроке она упомянула Полежаева и добавила, что, если бы Николай I не отдал его в солдаты, из него, по мнению критиков, вышел бы крупный поэт. Сидевший впереди меня Георгий Новиков обернулся и прошептал:

– Вот спасибо царю! А то бы мы и Полежаева проходили!

Но это был цветок невинного школьнического юмора. Не всем литература давалась легко, не все были наделены быстрокрылой фантазией, но на уроках Софьи Иосифовны не было скучно.

Софья Иосифовна читала вслух с артистизмом «мастера художественного слова».

Ее чтение – это исток моей читательской и переводческой преданности «Дон-Кихоту». Я тогда же стал лелеять мечту изучить испанский язык, чтобы житие Рыцаря Печального Образа прочесть в подлиннике.

Ее чтение – это исток моей неиссякаемой любви к «Детству» Горького. Не впадая в вульгарное актерство, Софья Иосифовна создавала образы действующих лиц. Я так и слышу, как она передает молитвенный напев бабушкиных акафистов:

– Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..

В «Вишневом саде» Софья Иосифовна играла за всех. И мы видели жалкую в своей комичности фигуру Епиходова и барственного Гаева, проникались юной беззаботностью Ани и вместе с Любовью Андреевной оплакивали гибель вишневого сада, плакали над облетевшим садом ее жизни. После чтения мы расходились по домам тихие, погруженные в только что воспринятое, словно побывали на истинно чеховском спектакле.

Когда Софья Иосифовна читала «Лес шумит» Короленко, нам все время слышался тревожный шум леса, на фоне которого звучала характерная речь старого «дида». Не там ли исток моей с годами все углубляющейся любви к Короленко, к его некрикливому, скромному музыкальному и живописному дару (стоит вглядеться хотя бы в светотень его очерков и рассказов, вслушаться в его по-украински певучую речь), к его умонастроению, роднящему автора «Чудно́й» с, казалось бы, страшно далеким от него автором «Бесов»? Не дрожит ли *слезинка замученного ребенка в* его размышлении в очерках «У казаков»: как бы, мол, благие начинания и мудрые указы Екатерины II не перевесили на грядущем суде участь злосчастной царицы поневоле, Устиньи Пугачевой, с которой Екатерина так ненужно-безжалостно обошлась?..

Перемышль издавна был городом театральным.

Автор выпущенного в Калуге в 1911 году «Географического очерка Перемышльского уезда» А. Пульхеров отмечает: «…много работает театральное общество, которое группирует около себя самую подвижную часть населения, отзывчивую на все хорошее молодежь».

Входил в это общество и мой отец, был членом его правления.

Однажды он у себя дома в полный голос репетировал роль Кочкарева – ту сцену, когда он костит Подколесина.

– Кого это ты будешь так бранить на сцене? – из соседней комнаты окликнула его моя бабушка.

– Евгения Николаевича Редина. (Владелец крохотного имения близ села Торопова, Редин был одним из самых неутомимых общественных деятелей во всем нашем уезде. По его почину в 1896 году в Перемышле построили театр.)

– Нехорошо! – всполошилась бабушка. – Такой почтенный человек! А ты его как только не ругаешь! И бревном, и дураком, и свиньей!

У меня сохранился устав Перемышльского общества любителей драматического и музыкального искусства, отпечатанный в 1908 году в Калуге (типография С. С. Юрьева, Благовещенская улица). В конце устава перечислены учредители этого многосословного общества: «Капитан Георгий Кириллович Сорокин, Коллежский Советник Авксентий Викторович Траубенберг, Поручик Евгений Николаевич Редин, Учитель городского училища Петр Михайлович Лебедев, Титулярный Советник Владимир Алексеевич Добкин и Коллежский Советник Василий Евдокимович Меньшов».

Сохранилась у меня и групповая карточка членов общества и афиши некоторых спектаклей и концертов. Благотворительные их цели были различны: то – «на приобретение музыкального инструмента», то – «в пользу Перемышльского общества вспомоществования бедным ученикам городского училища», В репертуар любительской труппы проскальзывали и Невежин («Вторая молодость», «На зыбкой почве»), и Рышков («Волна»), и Тимковский («Тьма»), и Вл. Тихонов («Сполохи»), Но ставили и «Дядю Ваню», и «Чайку», и «Огни Ивановой ночи» Зудермана, не говоря уже о Гоголе и об Островском.

В годы военного коммунизма театральная жизнь в Перемышле не замерла. В городе образовались две конкурировавшие между собой труппы: одну возглавлял актерик московского Театра Незлобина Рудин, другую – бывшая помещица Перемышльского уезда, московская актриса Екатерина Константиновна Кошкарова – первая «Кабаниха» в моей зрительской жизни. И Рудина, и Кошкарову занес в Перемышль ветер голода. В самом начале НЭПа оба оставили Перемышль навсегда. При НЭПе к нам все чаще весною и летом начали заглядывать гастролеры. Я был на спектаклях «малороссийской» труппы (так по дореволюционной традиции тогда все еще называли труппы украинских актеров и актрис). Видел неизменного «Запорожца за Дунаем», «Цыганку Азу», «Вия»,

устрашившего меня летающим по сцене гробом. Калужские артисты ставили все еще волновавшие публику «Цену жизни» Немировича-Данченко и «Соколов и воронов» Немировича-Данченко и Сумбатова, ставили «Кукушкины слезки» Ал. Ник. Толстого, «Черт» Мольнара, «Молодежь» Дрейера, «Коварство и любовь».

Но не эти ласточки, хотя они прилетали к нам целыми стаями, делали нашу театральную весну.

С 22-го по 30-й год зимою и летом силами городских и сельских учителей, учащихся старших классов, приезжавших на каникулы студентов техникумов и вузов устраивались спектакли под руководством и с участием Софьи Иосифовны. И почти каждый спектакль этого содружества любителей становился событием в жизни городка; он встряхивал нас, обогащал, будил и мысль, и чувство, воспитывал художественный вкус. С началом спектаклей обычно запаздывали. «Галерка» топочет и орет: «Время-а!» Но вот Александра Ивановна юркнула в суфлерскую будку, занавес пополз в обе стороны, и на глазах у разом смолкших зрителей рождается искусство, далекое от совершенства, но – подлинное, в которое нельзя было не верить, слитки которого я и сейчас без труда достаю со дна моей памяти. Декорации менялись медленно, антракты безбожно затягивались, и, когда зрители на рассвете расходились по домам, хозяйки уже выгоняли в стадо коров. И потом несколько дней живешь как во сне: внутренний слух полон отзвуками голосов, перед глазами – фигуры и лица. И на душе грустно: так ждал этого вечера, и вот он уже канул… Утешаешься тем, что пройдет месяц – и снова тебя охватят необъяснимые, как всякое волшебство, святые чары Театра, под власть которых издревле неудержимо стремилось подпасть человечество.

Режиссер и актриса – это были, как говорят французы, professions manquies[22] Софьи Иосифовны – дороги, по которым она напрасно не пошла. Я уверен, что она, как и лучший актер ее труппы, мой друг Юрий Николаевич Богданов, об игре которого в «Каширской старине» Аверкиева (Юрий Николаевич играл подьячего Живулю) один из восхищенных зрителей, юный перемышлянин Алешка Пряников, отозвался так: «Богданов здорово участвовал!» – могли бы занять далеко не последнее место в лучших провинциальных театрах России.

Уже репертуар этой постоянно действовавшей труппы дает представление об ее литературной культуре и дерзновении – скромностью в выборе пьес мои земляки не отличались. Вот неполный список сыгранных ею пьес: «Ревизор» и «Женитьба», «Свои люди – сочтемся!», «Бедность не порок», слитые в один

спектакль пьесы о Бальзаминове, «Доходное место», «Лес», «Таланты и поклонники», «Светит дане греет», «Царь Федор Иоаннович», «Свадьба Кречинского», «Свадьба», «Юбилей» и «На большой дороге» Чехова, «На дне», «Васса Железнова» и «Последние» Горького, «Каширская старина», «Дети Ванюшина», «Дни нашей жизни», «Лесные тайны» и «Марья Ивановна» Чирикова, «Эльга» и сцены из «Ткачей» Гауптмана, «Квадратура круга» Катаева, «Вредный элемент» Шкваркина, «Чудак» Афиногенова.

Диву даешься, как мало «накладок» было у перемышлян!

На роль кулачного бойца Голубя-сына из «Царя Федора Иоанновича» пригласили одного из тех крепышей, про которых говорят, что они «соплей березу перерубают». По внешним данным этот здоровила к силачу Голубю подходит как нельзя лучше. Но вот беда – память у дебютанта подгуляла и умом он был не горазд. На спектакле он вместо «Даст Бог, в Великий пост мы на Москве-реке еще с тобою встретимся на славу» сказал: «Даст Бог, мы на посте-мосте еще с тобою встретимся на славу…»

Финал «Царя Федора» был трагичен не только для царя, но и для исполнителя этой роли Юрия Николаевича Богданова.

По мнению моих родных, видевших в Федоре Москвина, Богданов для любителя играл чудесно. Костюмы для спектакля перемышляне взяли напрокат в калужском театре. «Шапка Мономаха» оказалась Юре великовата. И вот когда он в совершенном неистовстве вскричал: «Палачей! – от резкого движения его головы шапка слетела и – увы! – вместе с рыжим париком. Рыжеволосый царь Федор превратился в черноволосого Юру. Юра имел мужество поднять шапку, вынуть из нее парик напялить его, надеть шапку – и доиграть. Но зрители уже не слушали ни его, ни Годунова, ни Мстиславскую, ни Ирину – они хохотали навзрыд. Смеялись все, кроме меня. Мне было обидно за Юру, несколько лет мечтавшего сыграть Федора, и я с ненавистью смотрел на смеющиеся лица зрителей.

Мать и тетка иной раз шептали мне: «Совсем как в Художественном», «Прямо как в Художественном…». Вот почему я и в шутку, и всерьез называл наш театр «ПХАТ».

В «ПХАТе» подобрались способные артисты, но подобно тому, как артистам МХАТа при всей их даровитости были необходимы Станиславский и Немирович-Данченко, так «пхатовцы» не избавились бы от любительского тяп-ляпа, не спаялись бы, не спелись бы, их игра не отличалась бы такой искренностью и такой характерностью, не пройди они школу Софьи Иосифовны.

В 29-м году Софья Иосифовна видела в Москве «Дни Турбиных». Вернувшись в Перемышль, она обещала прийти к нам

и поделиться впечатлениями. Ее рассказ о спектакле в Художественном театре длился до поздней ночи. Помимо хода пьесы, помимо идейных конфликтов, помимо душевных свойств действующих лиц, их взаимоотношений, она запомнила обстановку каждой картины, основные мизансцены и воспроизвела нам их, запомнила от слова до слова важнейшие реплики, запомнила в общих чертах монологи. Мы с мамой в этом убедились, когда несколько месяцев спустя сидели в зрительном зале Художественного театра, и подивились режиссерской памяти Софьи Иосифовны.

А материал Софье Иосифовне достался благодарный и разнообразный.

Ее дочь, Нина Борисовна, нашла верные краски и тона и для Квашни из «На дне» и для Людмилы из «Квадратуры круга». Я потом сравнил ее с мхатовской Людмилой. Toutes proportions gardees[23],толкование образа у Нины Борисовны было вернее, чем у актрисы МХАТа, ближе к авторскому замыслу. Из той так и перла мещанка. Вернее всего, ее толкнула на этот путь в угоду веяниям времени режиссура. Меньшова-младшая играла не мещанку, а мещаночку.

Мария Буренкова, старшая сестра обладателя колдовских сапог, сняла с Оль-Оль из «Дней нашей жизни» Леонида Андреева сентиментальный» инженюшный налет. Ее Оль-Оль была не «ангелочком», а женщиной с чистой, несмотря ни на что, душой, трезвым умом и сильным, резким характером: не покорной овечкой шла она на заклание – она сдавалась после борьбы. При таком толковании Оль-Оль явственнее ощущался трагизм дней ее жизни. И та же Буренкова создала гротескный образ Клавдии из найденовских «Детей Ванюшина», но этот ее шарж был опять-таки убедителен.

Помню, как плакал зал над судьбой Оли из «Светит да не греет» и Марьицы из «Каширской старины» – так трогала сердца своей игрой Тоня Типикина, которую я назвал бы «лирическим сопрано» нашей труппы.

В «На дне», в одном из самых ансамблевых спектаклей «ПХАТа» (на роль Барона перемышляне пригласили калужского артиста Васильева; он же играл Сверчкова-Заволжского в чириковской «Марье Ивановне»; Васильев играл бесплатно, ему только оплачивали проезд), Георгий Авксентьевич, тогда еще не заметно выбрасывавший ноги, играл Сатина, подсмотренного им в жизни. Даже я еще застал таких именно Сатиных. На малоярославецком вокзале в годы НЭПа безотлучно пребывал некий Василий Васильевич. В обносках, из которых выглядывала голая грудь, в опорках, он с каратыгинским пафосом

разглагольствовал о смысле жизни, о тщете, суетности и бренности всего земного. Мать велела мне, двенадцатилетнему мальчику, дать ему денег. Даже на почтительном расстоянии чувствовалось, что во рту у него не то эскадрон ночевал, не то нагадили кошки. Пророкотав слова благодарности, Василий Васильевич обратился ко мне с наставлением:

– Молодой человек! Украшайтесь добродетелью! Самое прекрасное свойство души человеческой – сострадание. И еще дозвольте вам заметить: любите и чтите родителей ваших. Я вижу: они вас учат добру. Воздавайте же им сторицей и не сбивайтесь с пути истинного, а на меня не смотрите: я – человек, хотя и честный, но – пропащий, погибший, больной! – гремел он на весь вокзал. – Загубил я свою жизнь ни за грош, ни за понюх табаку! И теперь мне все трын-трава, все нипочем! И-эх, Калужка, не затопи мою Вазузу! Пропадай, моя телега, все четыре колеса!

Вот такого велеречивого, морализирующего и философствующего оборванца, не забытовленного, не приниженного, не снятого с котурн, каким выглядел Сатин в исполнении «художественника» Подгорного, который, разумеется, превосходил Георгия Авксентьевича силой таланта, а главное – опытностью и виртуозностью техники, играл Георгий Авксентьевич. У нас второе действие «Дна» заканчивалось не по Художественному театру, а по Горькому. В Художественном театре Лука после смерти Анны зажигает огарок и начинает читать Псалтирь. У Горького входят захмелевшие Сатин и Актер. И Георгий Авксентьевич, наполняя слова Сатина ужасом перед смертью, давал волю звучному своему голосу: «Мертвецы – не слышат! Мертвецы не чувствуют… Кричи… реви… мертвецы не слышат!..»

Еще не успел прошуметь занавес, как тетя Саша прошептала восхищенным шепотом мне и маме: «Горка великолепен!»

Богданова долго тянуло к отрицательному типажу, и он зло и остро играл Городничего, Живулю, Коршунова, Юсова, смешно – Варлаама из «Сцены в корчме», Аркашку Счастливцева, Абрамчика из «Квадратуры круга». Но где-то глубоко в нем прятался лирический ключ, и когда он наконец пробился, то оказалось, что сущность его дарования составляет лирический комизм. Лучшие его роли – Онуфрий в «Днях нашей жизни», «Дурак» в одноименной пьесе Фульда, Слетов в «Волчьей тропе» Афиногенова, Волгин в афиногеновском «Чудаке».

Софья Иосифовна играла преимущественно бытовые роли, обнаруживая цепкую наблюдательность и чувство юмора. В ее репертуаре числились Домна Пантелеевна, Гурмыжская, Городничиха, Пелагея Егоровна в «Бедности не порок», Василиса

Волохова в «Царе Федоре Иоанновиче», Кукушкина в «Доходном месте», Атуева в «Свадьбе Кречинского». Лучшая ее роль – старая ведьма Евдокия Антоновна в «Днях нашей жизни». Ах, как она была страшна!.. Особенно в третьем действии, когда, уговаривая родную дочь продаться фон Ранкену, она на нее кричала:

– Потаскушка! Дрянь!.. Кто тебя такую купит? Таких, как ты, на бульваре сотни шатаются.

Но, пожалуй, еще более отталкивающей, еще более страшной была Евдокия Антоновна – Меньшова, когда она в начале того же действия по-разному напевала «Очи черные…» («Очи черные» – это ее счастливая находка: в пьесе сказано, что Евдокия Антоновна напевает «какой-то романс по-французски»): то зловеще, с воинственным видом расхаживая по комнате и грозя Оль-Оль, то игриво и кокетливо, желая ее смягчить; или когда она, пропустив коньячку, благодушно сюсюкала: «Дайте мне сиколядотьку, я так хочу сиколядотьку!». «Какое очаровательное бебе!» – говорил ей в тон Онуфрий-Богданов.

Вспоминая эти сцены из «Дней нашей жизни» в постановке и с участием Софьи Иосифовны, я повторяю слова моей матери: «Прямо как в Художественном!»

Никого из моих учителей не осталось в живых… Ну что ж!

Меня в загробном мире знают,
Там много близких, *там* я свой.

(Случевский)

Москва, сентябрь 1970 – март 1978

В саду

Блести, звезда моя, из дали!
В пути года, как версты, стали:
По ним, как некий пилигрим.
Бреду перед собой самим…

Андрей Белый

– Как тебя зовут?

– Птяптя.

– Да нет же, тебя «Коля» зовут! Скажи: «Коля».

– Нет, Птяптя!

Я прекрасно знаю, что я – Коля, а не Птяптя, как я называл себя, выучившись сперва говорить «мама» и «папа»; и не такой уж теперь великий для меня труд – выговаривать настоящее свое имя, но мне так больше нравится.

Я не помню, как я научился ходить, говорить. Взрослые мне потом рассказывали, что я долго отделывался междометиями и односложными словами своего собственного изобретения, а потом, словно наверстывая упущенное, заговорил на языке общепринятом и легко перескакивал через препятствия.

Зато помню ясно, как я под руководством няни молился:

– Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, бабу, аму, гагу…

Помолившись о тех, за кого меня учили молиться, я потом поминал за здравие, кого сам находил нужным: под «амой» я разумел нашего сторожевого пса Полкана; «гага» – это было собирательное наименование бабушкиных уток.

Уже в двухлетнем возрасте я после этой молитвы произносил другую:

– Упокой, Господи, папу и Николая Нилыча.

А няня добавляла:

– Царство им небесное, место покойное…

„Меня почему-то будят в темноте и наспех одевают. Это нестрашно, но непонятно. Надо мной – Гынга. Почему она очутилась у нас ночью? Она берет меня за руки и выходит со мной во двор. А на дворе – светлынь. Гынга идет садом. Над нами летят большие красные птицы.

– Посмотри, какие птицы!.. – радостно говорю я.

Ночью загорелся сарай напротив нашего дома. Сильный ветер

дул в нашу сторону, и над садом пролетали шапки горящего сена. Услышав набат, Гынга выскочила на улицу.

– Любимовы горят! – кричали соседи.

Она бросилась к нам и унесла меня к себе. Наш дом отстояли.

Пробуждение ночью и красные птицы в небе – это самое сильное впечатление моего раным-раннего детства.

…Первая моя обида (во всяком случае, запомнилась она мне как первая)… У меня до пяти лет вились волосы. Я шел по улице с тетей Сашей. На мне было летнее пальтишко. Из-под панамки выбивались волосы. Навстречу нам – деревенские девушки. Одна из них, окинув меня взглядом, заметила:

– У, какая глазастая девка!

…Я сызмала начал подумывать о выборе рода занятий, но часто менял решения. Насмотревшись на то, как перевозчики тянули канат через Оку и как от этого мерного их движения все приближался к берегу паром, уставленный телегами с лошадьми, я твердо решил быть перевозчиком. Но когда впервые привлекла мое внимание машинка для стрижки волос и когда я, глядя в зеркало, следил за проворно стрекочущими руками парикмахера, превращавшими мою голову в колкое, темное жнивье, я влюбился в ремесло цирюльника.

…Я рос среди взрослых, и это наложило отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. Я и в Москве, учась в институте, прибивался не к своим сокурсникам, а к тем, что годились мне в матери и в отцы. Вот почему, когда я, постарев, огляделся по сторонам, я увидел, что вокруг меня пусто. Почти все мои друзья сошли в могилу, а среди сверстников я друзей не заводил. И рыхлою осенней тучей набухает, нависает, гнетет одиночество.

…Мне разрешалось играть возле дома, на улице с соседскими детьми. Но меня долго не тянуло к детям – они меня раздражали. Я воспринимал как наказание приход ко мне шумно веселых детей наших знакомых. Я был жизнерадостен, но я не выносил шума. Я предпочитал играть один, в саду. Отсутствие товарищей я восполнял воображаемыми друзьями. Но друзья эти были взрослые. Одного из них я назвал «Николай Николаевич». Он был уныл, тих, несловоохотлив, верхняя губа у него находила на нижнюю. Другого я назвал «Сергей Сергеевич». Он являл собой полную противоположность Николаю Николаевичу. Он был энергичен, вспыльчив, но, в сущности, добр; верхняя губа у него загибалась к самому носу. Оба звали меня, пятилетнего, «Николай Михайлович». Мы «втроем» уходили в дальний угол сада и веди беседы о крупных событиях: о том, что город по случаю приближения какого-то Деникина на осадном положении,

и о мелочах жизни: о том, что нынче много нападало «добре́ сладкого», как говорили крестьяне, аркаду.

Однако, пожалуй, еще больше я любил созерцательное уединение, свободное от присутствия даже воображаемых лиц.

Хорошо лежать в саду и, слушая гуд в воздухе, в траве и в цветах, смотреть в небо, на неподвижные облака и на синь озер между ними, и на облака, проплывающие надо мной!.. Вон-вон плывет целая крепость, багряная от заходящего солнца, с голубыми бойницами, и вот ее уже нет… Я все смотрю в небо и о чем-то думаю, но мысли мои перенимают у облаков неуловимую их плывучесть. И словно это уже не я смотрю: меня нет, я разлился в зелени, в сини, в багрянце, и все же я существую, но на совершенно равных правах вон с тем мурашом, как видно, спешащим по своему очень важному мурашиному делу, и вон с тем, у которого такая ленивая, гуляющая походка.

…Слова всем понятные, обиходные меня до пяти лет не удовлетворяли. Я пытался создавать свои – и уже не от речевой беспомощности. Смысл моих «слов» я объяснить бы не смог, я мог бы только сказать, какого они цвета, что они мне напоминают, какие оттенки чувств я ими выражаю. Да и слова общепринятые вырисовывались в моем воображении – стоило мне произнести их про себя. Так, слово «мама» было для меня не только словом, но и радужным, чуть трепещущим кружком…Я бегаю по комнатам и произношу нараспев:

– Тратáр, Бурэ́зэ, Ми, Халэ́…

Я уклоняюсь от ответа на вопросы старших. Но я-то знаю, что «Тра-тар» – слово грозное, как боевой клич, что «бурэзэ» – это уже переход к умиротворению, а «ми» и «халэ» – это уже торжество ласковой тишины.

Потом я подхватывал непонятные для меня и именно поэтому притягивавшие мой слух, употреблявшиеся взрослыми слова иноязычного происхождения. Я нанизывал целые низки таких слов:

Абсолютно
Колоссально
Феноменально
Принципиально…

Слово «абсолютно» похоже на огонек лампы, жирное слово «колоссально» рисуется мне в виде глыбы сала. «Феноменально» и «принципиально» – это взлеты разноцветных мыльных пузырей.

«Реалист» скоро победил во мне «футуриста».

Выучился я читать и писать печатными буквами пяти лет. И меня начал разбирать зуд сочинительства. Я написал «Сказку о мальчике Ване». «Сказочного» в этом первом моем опыте ничего

не было. На мальчика Ваню напал страшный китайский гусь, но взрослые подоспели вовремя и отогнали гусака. Это был «физиологический очерк». Я тогда почти каждый день проходил мимо двух китайских гусей. Гусак был страшен мне не столько потому, что мог ущипнуть, сколько тем, как он бежал, вытянув длинную шею, страшен сочетанием красного и черного на его виляющей голове. Этой сказкой с благополучным концом я заклинал заклятых своих врагов.

Спустя несколько лет я перешел на пейзажные зарисовки: «Лес перед осенью», «Осень», «Лунная ночь». А потом отважился на рассказы. Десяти лет написал рассказ «Счастье» – о любви студента к девушке. Благополучную развязку завершала глубокомысленная сентенция: «Счастье заключается в любви».

…Я рано ощутил тоску о прошлом.

Мне шесть лет. Я в Новинке. Ранняя весна. Я один в комнате. В окно видно, как за лес закатывается солнце. И вдруг мне стало так жаль, что прошлого года, прошлой весны мне не вернуть, что они никогда уже не возвратятся, что хотя сейчас мне хорошо, но тогда было лучше, а чем лучше – этого я бы объяснить не мог. В сущности, я тосковал о «прошлогоднем снеге». В противоположность поговорке, мне уже тогда нужен был «прошлогодний снег». Я каждый год вспоминал и тосковал о нем, как тоскую теперь о снеге моего детства и юности.

Иной раз до замирания сердца хочется, чтобы вернулся один день той поры, но только весь и только так, каким он мне на межпланетном расстоянии видится: как он с утра задумался, как ему взгрустнулось и он уронил несколько скупых слез, и как он вновь просиял; весь этот день, вместе со всеми, кто меня окружал, с мелкими, но такими важными для меня событиями, с домашней шутливой прелестью никому, кроме членов моей семьи, непонятного языка, с теми, кто зашел к нам тогда вечерком, с бронзовой лампой, которую я за массивность прозвал «бронзовик» и которую мы зажигали только при гостях, или с «карликовской» лампой, в виде горы, по которой ползут вооруженные кирками гномы, с амурчиками, раскачивающимися на качелях, прикрепленных к висящей на стене полке, с фигурками кавалера в парике и с косой и дамы в роброне, с групповым портретом, на котором снята моя бабушка и ее друзья по бегам, а среди друзей – богатырь в казацкой шапке и с казацкими усами, Владимир Алексеевич Гиляровский – «дядя Гиляй».

В детстве и в юности я испытал немало лишений, но внутренняя моя жизнь была так полна, что понятие «жизнь» я не отделял от понятия «счастье». Вот почему я и не замечал счастья. Оно было для меня воздухом, которым я дышал.

Что же наполняло меня счастьем? Ощущение, сознание моей духовной близости с матерью.

Летом 21-го года, когда недоедание сменилось для нас голодом, меня пригласила к себе в Пятницкое тетя Юня. За мной заехал ее сослуживец. После он говорил:

– Когда я на войну уезжал, я так не прощался с матерью, как Коля с Еленой Михайловной.

И больше недели я у тетки не выжил – запросился на голод, но – только бы к маме!

А три года спустя я уехал на лето в Новинку. Мать не пускали школьные и другие дела, и она собиралась приехать позднее. Она проводила меня до Калуги. Помню дом на Тележной улице, где жили знакомые, которые должны были отвезти меня на другой день к бабушке и теткам. Вижу чугунную лестницу с резными ступенями, на которой мы с мамой прощались… Вот мы оторвались друг от друга. Мать спускается на несколько ступеней вниз. Я сбегаю к ней. И так до самой двери на улицу. И когда дверь за нею захлопнулась и она, помахав мне рукой, скрылась, у меня было такое чувство, что с нею вместе от меня ушло все…

В этом году мы дали друг другу слово не расставаться. И мы с ней не расставались шесть лет, пока я не уехал учиться в Москву.

Меня полнило счастьем ощущение благодеющего бытия Божия – вовне и во мне.

Меня полнила счастьем красота православия.

Что могла противопоставить новизна великопостному звону, густая печаль которого медленно таяла в воздухе, тоже напоенном какой-то особенной, по-весеннему отрадной печалью; огонечкам свечей, после богослужений в Вербную Субботу и в Чистый Четверг изливавшимся из храмов в темноту вечерних улиц и то образовывавшим два встречных течения, то растекавшимся по боковым улицам, то притягивавшим оттуда светящиеся ручейки; нараставшему в течение Страстной недели желанию, чтобы время шло с неторопливою быстротой: скорей бы настало Светлое Христово Воскресение, и жаль уходящих страстных служб: Двенадцати Евангелий, выноса плащаницы, пения «се Жених грядет в полунощи…», «Чертога», «Егда славнии ученицы…», «Разбойника благоразумного» и «Благообразного Иосифа», жаль уходящих дней Страстной недели, когда в доме вдруг запахнет куличами, когда тебе поручают затейливую раскраску яиц; отлитой из серебра епитрахилей, риз, стихарей и золота свеч, легкокрылой Светлой заутрене и христосование тут же, в храме, в перерыве между заутреней и литургией, с друзьями, знакомыми и малознакомыми прихожанами; цветенью пасхального звона, всю Святую неделю со всех пяти колоколен

осыпавшего тебя лепестками своих переливов; березкам, украшавшим храмы и крыльца домов в Троицын день? Что могла противопоставить новизна всей этой огнистой, цветущей, поющей, преображавшей всех и вся красоте? Красные галстуки и барабан пионеров? Они было поманили меня – шагистика прельщает всех мальчуганов, но я рассудил, что шагать под барабан мне никто не мешает в саду, и это даже в сто раз веселее, потому что здесь я могу разнообразить военные игры по своей доброй воле и хотению, а вот слушать жужжание пионервожатых было бы для меня нестерпимо. А да ну их и с галстуками, и с барабаном!.. «Мели, Емеля, – твоя неделя, пой, пой – день-то ведь твой, – мысленно обращался я к пионервожатому, – но подпевать тебе и слушать тебя не стану ни за какие коврижки!»

Меня наполняли радостью встречи с людьми. Я не был букой и нелюдимом, я искал встреч – но со всякого звания взрослыми. Владельцы дома, где мы жили, затеяли ремонт надворных построек, и в кухне у нас зимовали нанятые ими крестьяне. Я подружился с ними и чуть не каждый вечер читал им вслух. Прочел «Робинзона», «Капитанскую дочку» и многое другое. Наставив уши, вслушивался в их речь, душистую, как весенний луг, многокрасочную, как небо на закате, в звуковую вязь «калуцкого» говора.

Меня полнила счастьем природа.

Когда начиналась уборка сена – городу принадлежало пять расстилавшихся вокруг него лугов, – горожане дня на три переселялись в луга, питались, главным образом, яблоками, и только ночевать «лошадники» уезжали, а «безлошадные» уходили домой.

Я помогал трясти сено, сгребать его в валы. Копнить и навевать его на воз – это уж было мне не по силам. Я только подсоблял Наталюшке и ее дочерям при увязке воза тащить веревку. Федор Дмитриевич стоял на возу и, подав команду, прыгал, уминая сено.

– Та-шшы́м! – отзывалась Наталюшка, и мы, почти – «дедка за репку», – «ташшыли» из-под низа телеги веревку. После многократного «Ташшым!» Федор Дмитриевич говорил:

– Хорош!

Это означало, что сено спрессовано и что воз по дороге не растреплется. Затем увязка – и в путь.

День увоза сена был для меня днем тревожного ожидания. Предложит мне Федор Дмитриевич сесть на воз или не предложит?.. Он так бережет холеных своих лошадей, что если воз, на его взгляд, окажется слишком велик, то не предложит. А прокатиться страсть как хочется. Но вот, когда я уже

окончательно убеждаюсь, что дело мое труба: сейчас воз тронется, а Федор Дмитриевич и не смотрит в мою сторону, он оборачиваемся ко мне:

– Николай Михалыч! Садитесь! (Он, сколько я себя и его помню, всегда называл меня по имени-отчеству.)

Федор Дмитриевич идет сбоку, держа в руке вожжи, а я торжественно восседаю на возу.

Однажды, когда, напротив Перемышля, убирали «Заозерье», над городом выросла туча, словно написанная синими чернилами, разбавленными водой. Однако синева все глубилась, густела, догустела до черноты, и на этой лиловой по краям черноте призрачно и все же успокоительно белели три высоко стоявшие церкви.

Первыми всполошились крестьяне, убиравшие сено нашим соседям:

– Глянькаси́! Туча́ оттэда заходить!

– Откеда?

– Ай не видишь? Да ты не туды глядишь! Над самым над городом.

Налетел ветер, мигом разметал по клочкам валы сена, прогнал тучу, так что на нас не упало ни капли дождя, и успокоился. И тут мы подивились крестьянской наблюдательности Маловых. Кажется, вот этот клок сена наш: он лежит на нашей полосе, и этот тоже наш: он хоть и на соседней полосе, но совсем около нашей. Мы собираемся пригрести эти клочки к остаткам наших валов.

– Нет, не трожьте, это не наши, – говорят Маловы и пригребают сено, отлетевшее Бог знает куда, повисшее на приозерных ракитовых кустах, в которые упирается луг.

И Маловы ни разу не ошиблись: никаких недоразумений и препирательств у них с соседями не выходило. Соседи, близкие и дальние, сгребали сено с нашей полосы, а Маловы сгребали наше сено у них.

Природа, окружавшая Новинку, на первых порах показалась мне скучнее перемышльской. Я привык к открытым далям и к разнообразию видов. В Новинке – ни гор, ни реки, ни озер. Лес и поле, поле и лес, лес, лес… Березняк, осинник, ольшаник, орешник… Но потом я научился находить разнообразие в этом кажущемся однообразии и уже надолго впивался взглядом в сентябрьскую березку, золотисто-розовую на закате, в пепельную дымку дальних лесов, сквозившую в уже голых сучьях ближнего леса, в круг не облетевшего березняка, сказочным дворцом из горящего золота стоявшего среди унылой голизны. Я никогда не забуду зеленого свечения в лесах – на траве, под кустами, когда я

поздним июльским вечером ехал на телеге из Малоярославца в Новинку: то видимо-невидимо светляков засветило свои огоньки.

В вагоне я прилипал к окну. Пока передо мной летним вечером вели хоровод стройные березки в белых платьях с черными крапинками, пока я видел овец, клочьями войлока раскидавшихся по осеннему лугу, пока угрюмая яркость непривычной для моего глаза хвои скрадывалась голубизною неба и мягкой желтизною листьев, пока холодно догорала над смешанным лесом осенняя оранжевая заря, я с досадой отворачивался от окна только когда меня окликали.

Вначале железнодорожный мир пугал меня, жившего вдалеке от станции, лязгом, грохотом, шипением пара, ревом и воем гудков, угарной и жирной вонью мазута, шлака и угольной пыли. Но этот испуг длился недолго.

Я так и не свыкся с миром машин. Я отворачиваюсь от самолетов в воздухе и не понимаю, как их можно сравнивать с птицами. В полете крылатых этих амфибий есть что-то противоестественное. С водою дружат только парусные суда. Даже красавцы-теплоходы кажутся инородными морской стихии. А на суше мне не режет, напротив – ласкает глаз железная дорога. Семафоры, дымы, рельсы, гудки, поезда умеют сливаться с природой. Голоса поездов и в лесу, и в полях странным образом не нарушают тишины – может быть потому, что в их голосах звучит то же, что звучит временами в ветре, в шуме лесов, в криках отлетающих журавлей: то зовущая, то прощальная грусть.

Летом я много времени проводил на озере. Купался. Лежал на солнце. Катался на лодке и смотрел на чешуйки струек, на мелкую рябь – она напоминала мне пенку на молоке. Смотрел, как в ветреный день волны за кормой дразнят одна другую темными плащами с кружевной отделкою пены. Повернувшись лицом к городу, смотрел, как пылают окна домов и зажигают на воде кроваво-красные отблески.

Все радовало меня, когда я шел по родному моему городку, – и бело-розовое цветение садов, и решетчатая тень, которую отбрасывал на песок чей-нибудь палисадник.

Все запахи родного дома, даже застоявшийся, сухой серый запах пыли в комнатах, не проветривавшихся и не убиравшихся, пока мы с матерью гостили в Новинке, я втягивал в себя, жмурясь от наслаждения.

Но больше всего я любил сад… Моя жизнь в саду начиналась, когда еще под деревьями смешанным с грязью сахарным песком лежал снег, а кончалась с первыми заморозками. В этом саду со стройными рядами яблонь и груш, отделенными один от другого лужайками, с малинником и ореховым деревом слева, с

сиреневой беседкой, с кругами, треугольниками и ромбами клумб, с одиноким кустом сирени среди них, березами и осинками справа и ракитами и березами вдоль забора, отгораживавшего сад от выгона, – в этом саду я молился Богу, играл, учил уроки, учился видеть и слушать, каждую весну чистил лужайки от сухих веток, подстригал бордюр на клумбах, полол клумбы и грядки, поливал цветы, думал, читал, «ставил» для самого себя спектакли, играя все роли в пьесах, писал прозу, писал пьесу-сказку, писал стихи.

В этом саду я изведал блаженство – встав спозаранку, пробежаться босиком по росе и собрать в корзину нападавшие за ночь яблоки и груши. В этом саду я изведал блаженство есть эти яблоки и груши прямо с влажной землей. В этом саду я изведал блаженство обирать малину с кустов, мелкую, доверчиво и открыто розовевшую у забора, и крупную, притаившуюся в глубине колючих кустов у сарая, точно побывавшую в руках у чеканщика, который на поверхности каждой алой пирамидки вычеканил одинаковые кружочки. Да мало ли было у меня подобных блаженств!..

Вот две сросшиеся березки. Взглянешь на них, когда солнце заходит: освещенная сторона их стволов – словно из кое-где поцарапанной красной яшмы. Зайдешь с другой, затененной стороны – она как будто сделана из какого-то иного, изголуба-серого камня.

Сколько и каких только цветов ни росло на клумбах! Первыми радовали глаз неприхотливые веселенькие маргаритки. А там и ландыши, и нарциссы, и пионы, и анютины глазки, и белые лилии, и резеда, и душистый табак, и душистый горошек, и штамбовые розы, которые мы на зиму кутали от холода палым листом, и «девица в зелени», и «царские кудри», и «львиный зев», и гвоздика, и маттиола, и левкои, и астры, и георгины!

Во всем была своя прелесть: в лепестках черемухи, крылышками мотыльков устилавших дорожку, в похожих на пестрых бабочек анютиных глазках, в бахромчатых лепестках гвоздики, в чайных розах, пахнувших коричневыми яблоками, в тихом, застенчивом и все же незабвенном в своей зыбкости аромате душистого горошка.

Но самой глубокой любовью любил я сирень. Ее расцвета я ждал как праздника, и в сплошной праздник превращала она мою жизнь, покуда цвела, – праздник не пышный в победной своей торжественности, но оттененный явственно для моего слуха звучавшей печалью, той самой печалью, что звучит в самом ясном весеннем дне. Богатство ее оттенков и переливов непередаваемо в слове. Определение «сиреневый» – одно из самых многозначных

определений. Бледная голубизна сочетается в нем с лиловью, розовое сливается с почти пурпурным, яркость умеряется нежностью. Я искал в сирени пятилепесткового «счастья» – и не нашел ни разу. Но я не сетовал на нее за это. Одно то, что я мог на нее смотреть и ею дышать, было для меня несказанной отрадой. Ликующее благоухание черемухи – бездумное и бестревожное. Ему я предпочитал благоухание сирени, до щемящей, до томительной грусти радостное, как невысказанная любовь.

Давно уже нет у меня той сиреневой рощицы. И когда теперь в моей комнате появляется жалкий букетик сирени, я надолго прячу в него лицо. Я дышу запахом моего детства и юности, запахом давным-давно ушедшего от меня счастья.

Я поездил потом по России.

В скольких цветниках гулял я часами, слушая звучание красок, вбирая в себя сочетание тонов, любуясь взметами воды, которая, точно серебряная канитель, летела из шлангов, ничуть не напоминая тех струистых веерков, какими я опахивал клумбы из леек!

Я побывал в стране бурятов. Я видел ее горы, верблюдами разлегшиеся вокруг Улан-Удэ, я видел захватывающее дух безбрежье Байкала.

Я вслушивался в судорожный ритм Терека, так не похожий на ритм моря, мерного и в своем гневе.

Я видел во Владимире чуть колышущееся синее марево над заречными лесами и полями, каждое утро обманывавшее меня, – марево я принимал за море.

Я видел зеленые, неподвижные при безветрии, фонтаны плакучих и в в Кисловодске.

Целую неделю я ежевечерне гулял во владикавказском парке: в прудах мерцали оранжевые, золотые и зеленые пирамидки и столбики света, бросаемого фонарями; и вдруг – лебедь, оставлявший после себя белопенный косой угол, стороны которого касались этих пирамидок и столбиков.

Я видел неправдоподобно высокие горы Кавказа – мой приученный к равнинам, холмам, буграм, пригоркам и косогорам глаз долго принимал их за тучи.

Я глядел на закат, опунцóвевший серебро Арагвы и Куры, кативших свои волны неведомо куда – казалось, на край света.

Я глядел на Черное море из Алупки, где я почему-то особенно остро ощущаю, что твердой земле тут конец навсегда, что никакого *того* берега нет, а есть лишь дымчатая даль и самоцветы зыбей, и вот-вот их расшвыряет трезубцем все еще единодержавный Нептун. Я видел из иллюминатора теплохода

чернильную жуть ночного Черного моря.

Я видел, как по утреннему Черному морю плыл к берегу остров расплавленного золота и хрусталя, а впереди – корабликами под парусами, фонариками, свечечками, стрелами остриями вниз – вспыхивали блестки. Я видел волны утреннего моря, прошитые искряным бисером. Вечерами мне представлялось, что линия горизонта исчезла, что нет и моря, что предо мной небосвод, спустившийся до самого прибрежья.

Я плыл по задумчивой Свири с задумчивыми лесами по берегам, внезапно разливающейся так, что глаз не обнимет морской ее шири.

Я плыл по предвечернему Днепру от Киева до Канева… Палевые облака закрывают солнце. Солнце прорвалось – и через весь Днепр протянулась золотая дорожка в бирюзовой воде. И вот уже вода не бирюзовая, а стальная, и дорожка стала огненной, и от огня прыщут искры, и вот уже сталь разостлалась сизым шелком. Справа – насторожившиеся леса из «Страшной мести», над ними – молодой месяц. Слева – песчаные мели, кустарник; за кустарником – степной простор: его необъятность угадывается издали; над простором – одинокая звездочка.

Я побывал на утренней заре в лазоревом царстве Канева:

лазоревое небо,

лазоревый Днепр,

лазоревые дали

Я любил речушку Таруску, то бойко о чем-то журчавшую сама с собой, то притихавшую, почти исчезавшую меж лесистых уступов гор по берегам.

В течение месяца я каждый день ходил киевскими приднепровскими парками навстречу вечерней заре, расплывавшейся над Андреевской церковью. Из лимонно-сиреневой она становилась вишневой и тихо, медленно угасала, а внизу, на неприглядном Подоле, зажигались цепочки огней, и Подол сказочно хорошел: он весь струился светом, как стены убогой хижины дровосека в первой картине «Синей Птицы».

Я видел Почаевскую Лавру – Китеж, уходящий главами не в озерную глубь, а в небесную высь.

Я бродил по Михайловскому, Тригорскому и Петровскому с самоуглубленной тишиною их рощ и полей, тишиною озер, по лилови которых, оттененной неподвижными клубами зеленого дыма листвы, в бурные дни проносятся черные зыби.

Я глядел на текучую бирюзу Себежа, вдруг взблескивающую из-за холмов.

Мне запомнились фарфоровые статуэтки чаек на отмелях Псковского и Чудского озер.

И только почему-то во Пскове я долго провожал взглядом бегущие автобусы, на которые низвергались зеленые ливни теней от листвы деревьев, растущих на тротуарах.

Я глядел на предутренний перламутр Азовского моря.

Но куда бы ни заносила меня судьба: на озеро Рида или на речку Протву, в Петербург или в Боровск, на Волынь или в Казань, в Вильнюс или в Закарпатье, в Чебоксары или в Чернигов, в Минск или в Царское Село, в Мцхету или в Полтаву, в Таллинн или в Суздаль, в Углич или в Юрьев-Польской, в Ригу или в Батуми, в Переславль-Залесский или в Сухуми, в Ораниенбаум или в Тарусу, в Хосту или в Диканьку, в Павловск или в Афон, в Ярославль или в Тбилиси, в Ростов Великий или в Ереван, в Новгород или в Бахчисарай, – мой сад цветет в моей душе всем своим многолепестьем, шумит всею своею листвой.

…Меня полнило счастьем каждое новое знакомство с искусством слова.

Лишь самое-самое первое прикосновение моего слуха к поэзии вызвало у меня недоумение.

Няня, убаюкивая меня, пела всегда одно и то же, и из этого одного и того же я улавливал всего две строки:

Под вечер, осенью ненастной…

И:

Ты спишь, дитя, мое мученье…

Мне было непонятно, почему называет меня своим «мученьем». Ведь я же так люблю ее и почти всегда слушаюсь… И почему она утверждает, что я сплю, хотя мне не спится?..

Одна из первых моих собственных книг – басни Крылова с картинками. Понравились они мне тем, что животные говорят в них, как люди, что их приключения так уморительно забавны. Я еще не умел разбираться во впечатлениях, но, конечно, уже тогда чувствовал выразительную энергию могучего крыловского языка, чувствовал, с какой естественной живостью разговаривают «дедушкины» герои. А «дедушки ны» поучения оказались не привесками пресной и ни для кого не обязательной «морали», а незыблемыми камнями, легшими в основание свода нравственных законов, которым я с большим или меньшим успехом старался следовать после, – незыблемыми именно вследствие непринужденности простодушно-лукавого тона, каким эти поучения высказаны, благодаря опять-таки живописной и

живоносной народности крыловского языка.

От басен Крылова меня подвели к афанасьевским сказкам в обработке для детей. С каким увлечением я погружался потом в мир Андерсена и братьев Гримм! И все же их герои не заменили мне Михайлу Иваныча, Левона Иваныча, Лису Патрикеевну, братца Иванушку и сестрицу Аленушку, Верлиоку и Бабу-Ягу. Меня пленяла всякая сказка, но особенно та, что выросла из окружавших меня лесов, оврагов, озер и болот.

Первая моя встреча с поэзией Пушкина: тетки спели мне «Буря мглою небо кроет…» и сказали, что это стихотворение написал великий русский поэт Пушкин. (Что он написал и приводивший меня в недоумение романс «Под вечер…», которым няня пользовалась как байкой, – об этом я узнал, когда, подобно гоголевскому Петрушке, принялся читать все подряд, кроме писем, в его однотомнике и, подобно тому же самому герою, получал странное наслаждение от того, что было уже совершенно недоступно моему недозрелому уму – плоду совсем еще недолгой науки[24]: от исторической, публицистической и критической прозы Пушкина.) До «Зимнего вечера» поэзия будила во мне более или менее сильные впечатления. Восторг, от которого по спине струйкой бежит холодок, в первый раз вызвал во мне «Зимний вечер».

«Зимний вечер» взволновал меня не только действенностью, светописью и звукописью описания метели в первой строфе. Мне объяснили, что «добрая подружка» – это няня поэта, Арина Родионовна. Любовь поэта к няне нашла живой отклик в моей душе – душе ребенка, для которого старушка няня до конца ее дней была самым родным, после матери, человеком.

А потом мама прочла мне три описания природы из «Евгения Онегина». Грустью отозвалось в моем сердце пушкинское описание весны. Ведь я уже тогда грустил весною – грустил в предчувствии, что мое любимое время года скоро пройдет, что самое радостное в весне – это ее преддверие, когда, «гонимы вешними лучами», бегут «мутные ручьи», а что, раз соловей «уж пел», значит, весне не сегодня-завтра конец. Вот так же грустил я, когда зацветала сирень, – грустил оттого, что каждый день ее цветения приближал меня к ее увяданию. Вот так же грустил я в первый день Пасхи: раз она началась, значит, скоро кончится. Вот так же начинал я грустить много позднее в первый же день приезда на каникулы. Как ни мучительно нетерпение ожидания, все-таки оно радостнее наступления, потому что, ожидая, еще не думаешь о конце.

Первая, очень ранняя, допушкинская встреча с поэзией Лермонтова – «Ангел». В нем была мне слышна только музыка, а в

глазах стоял светлый туман… Когда я уже бегло читал и мать подарила мне лермонтовский двухтомник, я накинулся на него, как на полное собрание сочинений Пушкина в одном томе, и тоже, кроме писем, прочел его от строчки до строчки, а «Маскарад» «поставил» на импровизированной сцене.

В 64-м году, впервые приехав в Пятигорск, я побежал к памятнику. Я увидел молодого и строгого Лермонтова, опершегося подбородком на руку. Взгляд его устремлен в незримую мне даль. Он ведет с вечностью недоступную нашему слуху беседу.

Так вот он какой – тот, чьи последние песни всегда причиняют мне блаженную боль, тот, кто расслышал звездную мерцающую перемолвь, тот, кто увидел в небесах Бога, тот, чьи строфы с одинаково скорбной успокоительностью трепещут зеленым певучим трепетом листьев ветвистого дуба или рокочут синим гулом моря («А море Черное шумит не умолкая»)!.. Да, он точь-в-точь такой, каким я его себе представлял. И мне хотелось, чтобы он был таким.

Я уже знал наизусть «Сенокос» и «Весну» Майкова. И уже тогда одним из основных мерил художественности являлась для меня верность жизненной правде, возведенной в перл создания. Да, это первые звуки, по которым я, сидя дома, угадываю приход весны: как только зимние рамы вынуты, до меня долетает «благовест ближнего храма», и уже не сани скрипят по снегу, а стучат колеса по твердой земле.

А дальше – Некрасов. Я и теперь, как в детстве, вздрагиваю при звуках «Ой, полна, полна коробушка…», и сердце у меня, как в юности, заходится от ощущения широты русских просторов, от ощущения широты русской души… И от гордости за этого барина, создавшего насквозь народную песню…

Двойственное ощущение не покидало меня, когда мне читали и когда я потом уже сам читал Некрасова…

Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер, и в землю зарыт!
Ведь наскочил же на экую гадину!
Сын ли мой не был удал?
Сорок медведей поддел на рогатину —
На сорок первом сплошал!

Или:

«Государь мой! Куда вы бежите?»
– «В канцелярию; что за вопрос?

Я не знаю вас!» – «Трите же, трите
Поскорей, Бога ради, ваш нос!»

Что же это мне слышится? Речь встретившихся на улице и разговорившихся крестьянок и петербургских прохожих, без единой поправки и перестановки перенесенная Некрасовым на бумагу, или это стихи, но только ни на чьи другие не похожие? Отвечал я себе тогда другими словами, но смысл их был такой: это разговор, ставший поэзией, и это поэзия, ставшая разговорной.

«…за Некрасовым бессмертие», – с удовлетворением прочел я впоследствии у Достоевского в его заготовках к «Дневнику писателя» за 1877 год.

А потом – Фет.

Только тот имеет право на звание поэта, кто как бы подслушал наши тайные мысли, чьи чувства – это и наши чувства, кто говорит и от своего, и от нашего имени, но только так говорит, как мы бы сказать не сумели.

Вновь и вновь – в разные годы моей перемышльской жизни – возвращаясь к поэзии Фета, я убеждался, что она выражает мои настроения.

Тихо все, покойно, как и прежде;
Но рукой незримой снят покров
Темной грусти, Вере и надежде
Грудь раскрыла, может быть, любовь?

Что ж такое? Близкая утрата?
Или радость? – Нет, не объяснишь, —
Но оно так пламенно, так свято,
Что за жизнь Творца благодаришь.

Стоит только оглянуться —

…и мир вседневный
Многоцветен и чудесен.

У поэта глаза разбегаются, и сердце готово выпрыгнуть из груди при виде весеннего преображения мира, при виде «сияющего мороза», при виде утренней «мощи света», при виде робко набегающих сумеречных теней, при виде «тихой звездной ночи». «Именно так и я воспринимаю природу, – говорил я себе, –

но только Фет наводит мой взгляд на то, чего я прежде не замечал и не различал».

Я дивился фетовскому искусству немногими словами так много «навеять на душу»:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!

Последние две строки звучат «томным звуком струны», долго не смолкающим, постепенно замирающим аккордом. А читатель, внутренним своим слухом вслушиваясь в этот аккорд, проникается настроением поэта. Поэт ничего ему не навязывает, не подсказывает, о ком идет речь – только ли о друге или о любимой женщине, да это и не важно: здесь все дело в пронизывающей каждую строчку тоске одиночества, в стремлении вдаль, которое пробуждает у лирического героя промелькнувший перед ним путник, в стремлении к чьей-то родственной душе.

Фет любит эти аккорды в конце стихотворения:

Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег.
И саней далеких
Одинокий бег.

Долго еще мы провожаем мысленным взором эти сани и одновременно по воле своего воображения дорисовываем картину, лишь намеченную поэтом.

Не отходи от меня,
Друг мой, останься со мной!
Не отходи от меня:
Мне так отрадно с тобой…

Ближе друг к другу, чем мы, —
Ближе нельзя нам и быть;
Чище, живее, сильней
Мы не умеем любить.

До чего же это ненарядно, до чего же это просто сказано, как сказалось бы в жизни! И, кажется, полнее выразить чувство нельзя.

Или еще вот этот шепот любви:

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветет.

И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной… я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

А потом —. Кольцов, без которого я с тех пор не могу себе представить русскую поэзию. Его то жизнерадостные, то заунывные, особенные, «кольцовские», ритмы вошли в меня атласным шелестом ржи, звоном оттачиваемых кос, запахом дымка, которым тянет от чумацкого ночлега, сытным запахом зажитка, спорым весельем труда («Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, ветер с полудня!»), бессильной тоской о прошлом («Соловьем залетным юность пролетела, волной в непогоду радость прошумела»; «Догоню, ворочу мою молодость!.. Но, увы, нет дорог к невозвратному! Никогда не взойдет солнце с запада!»); кручиной разлуки («На заре туманной юности всей душой любил я милую…»), кручиной недоли («Разойдусь с бедою, с горем повстречаюсь»).

А дальше – на все гораздый Алексей Константинович Толстой. Я любовался могучими удальцами его былин. Любовался Ильей, насупившимся было от обиды, вдосталь надышавшимся запахом темного бора – и просветлевшим. Заслушивался вместе с пташками, стрекозами и цветами пеньем Алеши. Толстой покорил

меня своими «Колокольчиками»: ведь и я силился уловить, о чем они звенят. Мне тоже хотелось, задыхаясь от горделивого восторга, славить видимый мир, и я славил его устами поэта:

Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!

И мне уже было очень знакомо ощущение, будто я всегда жил на земле, и стоит моему взгляду на каком-нибудь явлении остановиться, как я начинаю смутно его припоминать:

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда!

Уже в отроческие годы я оценил дальновидность его «Порой веселой мая…». А в ежовщину мне казалось, что «Сон Попова» Толстой написал сегодня. В восемь лет я прочитал и с тех пор все перечитываю «Смерть Иоанна Грозного» и «Царя Федора Иоанновича». И не устаю поражаться способности Толстого – глядя в прошлое России, прозревать ее будущее, не устаю дивиться провидческой историчности его мышления. Иоанн Грозный (он «видит врагов во всех, кто стоит выше обыкновенного уровня», он губит «все, что имеет тень оппозиции или тень превосходства» – так характеризует его сам Толстой в комментарии к трагедии), драка за власть тотчас после его смерти, уловки Годунова в борьбе с Шуйскими, его разговор с Клешниным («Скажи ей, чтобы она царевича блюла!»)… И все это у Толстого не случайные совпадения. Мы еще не оценили его мудрость. Он ясно видел, откуда исходят российские напасти. Недаром один из его витязей ропщет:

И как я без боя попался в полон?
Чужое, вишь, горе тащить осужден.
Чужое, прошедшее горе!

Но чтобы дорасти до понимания Алексея Константиновича Толстого, нужно было дожить до сталинских времен.

Впоследствии я с радостью узнал, что одного из самых-самых родных мне поэтов высоко ценили Достоевский, Бунин, Маяковский, Хлебников, Игорь Северянин, Есенин.

А потом – поэзия Бунина.

Его философскую лирику я постиг не скоро, а когда постиг, она превратилась для меня в молитву. Но певец «Листопада» сразу стал для меня в один ряд с лучшими поэтами-пейзажистами, с мастерами миниатюр, в которых скупыми мазками даны и пейзаж, и интерьер, и душевное состояние человека:

На переплетах рам – следы ночной пурги…
Как тих и скучен дом! Как съежился снегирь
От стужи за окном…
По комнатам идет седой костлявый дед,
Несет вечерний чай…
«Небось, все писем ждешь, депеш да эстафет?
Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве – балы».
…….
– Да нет, старик, я так».. Сыграем в дурачки,
Пораньше ляжем спать..» Каких уж там депеш!

И хотя мне было еще далеко до заката, как, впрочем, и Бунину, когда он писал «Ночь тепла, светла и золотиста», я со вздохом повторял за ним эту строчку:

Все как было. Только жизнь прошла!

И уже вспыхивали передо мной тютчевские «демоны глухонемые», но пока еще в сумрачной дали, как всегда, пересверкиваются зарницы.

Комедия Грибоедова вросла в меня вся. У Грибоедова, как и у Гоголя, как и у Островского, иные «отрицательные» персонажи не лишены своеобразного комического обаяния – тем резче проступает их душевная скверна. И мой глаз тешили блестки добродушного фамусовского юмора. Я не мог вдосталь насытиться его вкусной, сдобной речью:

…не хочешь ли жениться?
А вам на что?
Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни;
По крайней мере искони
Отцом недаром называли.

Совсем недавно с удовлетворением прочел, что именно так воспринимал Фамусова-Станиславского зритель Художественного театра. «Пока был… Фамусов на сцене, радостная улыбка не сходила с лица зрителя. Он не переставал наслаждаться», – отмечает Н. Е. Эфрос[25].

И я не судил Чацкого за его донкихотские сражения с ветряными мельницами. В этом его «прании противу рожна» я видел лишнее доказательство грибоедовского сердцеведения: нарываться на споры, не думая о том, убедишь ты или не убедишь, докажешь что-нибудь или не докажешь, лишь бы высказаться, – как это характерно для молодости! И ведь недаром Сервантес придал Дон-Кихоту комические черты, недаром он так часто ставил его в смешное положение. Недаром Достоевский сделал своего бедного рыцаря «идиотом» в глазах обывательского «благоразумия». И, не придай Грибоедов Чацкому безрассудства и опрометчивости, свойственных влюбленному юнцу, получилась бы плоскостная фигура мольеровского мизантропа. А Грибоедова влекла шекспировская многогранность образов.

Я открывал для себя менее обширные, но все же миры русской поэзии: мир Никитина с его надрывным в своей разудалости «Ухарем-купцом» и с его погребальным: «Вырыта заступом яма глубокая…», мир Мея с его ощущением русского песенного раздолья («Ох, пора тебе на волю, песня русская…»), русского былинного лада, древнерусского быта, русского душевного склада.

У иных поэтов я находил один-два самоцвета, но их сияние не меркнет в моих глазах.

К таким самоцветам я тогда же отнес «Песню цыганки» Полонского, с ее цыганским колоритом и строем чувств, языковского «Пловца», отрывок из поэмы Ивана Аксакова «Бродяга»:

Жар свалил. Повеяла прохлада.
Длинный день покончил ряд забот;
По дворам давно загнали стадо,
И косцы верну лися с работ.
Потемнеть заря уже готова;
Тихо все. Час ночи недалек.
Подымался и улегся снова
На закате легкий ветерок!..

Говор смолк; лишь изредка собачий
Слышен лай; промолвят голоса…
Пыль слеглась; остыл песок горячий,

Пала сильно на землю роса.
По краям темнеющего свода
Тени все, широкие» слились:
Встретить ночь готовится природа;
Запахи отвсюду понеслись.
В тишине жизнь новая творится:
Зрячею проснулася сова,
И встает, и будто шевелится,
И растет, и шепчется трава!..

Где ж крестьяне? День работав бодро,
Все теперь за ужином они:
Толк идет, чтоб устояло вёдро,
Чтоб еще продлились эти дни!
Нет, уж дождь их к утру не разбудит,
Облака давно сбежали прочь!..
Что за вечер!.. И какая будет
Теплая и месячная ночь!

А о ночи Аксаков писал так («Ночь»):

……

Ты вставай, во мраке спящий брат!
Освяти молитвой час полночи!
Божьи духи землю сторожат:
Звезды светят, словно Божьи очи.

Ты вставай, во мраке спящий брат!
Разорви ночных обманов сети!
В городах к заутрене звонят:
В Божью церковь идут Божьи дети.

Помолися о себе, о всех,
Для кого тяжка земная битва»
О рабах бессмысленных утех!
Верь, для всех нужна твоя молитва.

Ты вставай во мраке спящий брат!
Пусть зажжется дух твой пробужденный
Так, как звезды на небе горят»
Как горит лампада пред иконой,

Или «Звезды» Хомякова:

В час полночный, близ потока
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко
В горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.
Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали
За ближайшими звездами
Тьмами звезды в ночь ушли.
Вновь вглядись – и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.

В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков, —
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.
Узришь – звезды мысли водят
Тайный хор свой вкруг земли.
Вновь вглядись – другие всходят;
Вновь вглядись и там вдали
Звезды мысли, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа, —
И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла.

Я рано начал следить за современной поэзией, но приворожил меня тогда пока еще только Есенин» Я попробовал почитать его маме. Она была убеждена» что» из Назарета ничего доброго быть не может»[26]. Но когда я читал ей Есенина, я чувствовал, что он доходит до ее сердца. И только чтобы не признать себя побежденной, она остановила меня:

– Нет, ты все-таки больше мне этого не читай!

Я возобновил свои попытки, и кончилось тем, что мать

причислила Есенина к лику любимых своих поэтов.

В 26-м году мы с ней на короткое время съездили в Москву, и она избёгала весь центр, чтобы достать сборник стихотворений Есенина.

Киоскерша на Арбате ответила так:

– Нет у меня Есенина. Он помер и больше ничего не сочиняет.

В какой магазин ни зайдем – во всех видах произведения Ленина. В одном из магазинов моя мать огорошила продавщицу тем, как она, оговорившись, поправилась:

– Нет ли у вас Ленина?.. Тьфу!.. Есенина!

В конце концов нам посчастливилось.

Моей любви к Есенину не поколебал в своих суждениях о нем даже Бунин, сваливший и разбивший вдребезги – так, что и не склеишь, – блоковских «Двенадцать», хотя, впрочем, они и так уже стояли на самом краешке моих литературных пристрастий.

Мне еще до гибели Есенина попадались его стихотворения в журналах – попадались и залегали в памяти.

Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Такие строки особенно радовали глаз на фоне лефовских газетных агиток и «песен о железе», в общем на один лад распевавшихся «пролетарскими» поэтами.

Пастернак в своей автобиографии признался, что ему не все нравится у Есенина. Я бы сказал, что мне далеко не все нравилось у Есенина даже на первых порах моего знакомства с его поэзией. Я уже не говорю о мерзости его кощунственных «Иноний», по-видимому, все-таки не глубоких, ибо признался же он потом:

Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь.

И что выражают строки из предсмертного его стихотворения, как не смутную веру, точнее – надежду, на бессмертие?

До свиданья, друг мой, до свиданья.
……..
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Мне уже тогда претила почти вся любовная лирика Есенина.

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?

Это и пошло, и не совсем грамотно.

Я не любил и не люблю его эпических поэм, потому что они попросту слабы. В «Анне Онегиной» я не находил и не нахожу ни одной истинно поэтической строчки. Есенинские неологизмы в устах мужика нестерпимо режут слух («Богаты мы лесом и водью…»). Режут слух чувствительно-романсные красивости, опять-таки малограмотные («Был вечер задумчиво чудный, как дружья улыбка в лице»). Я уже тогда понимал, что в «Пугачеве» историей не пахнет, что сами по себе хорошие стихи о юности, отзвеневшей черемухой, в устах Емели звучат комически фальшиво. Меня корежило от есенинских «Стансов». Чем бы Есенин ни клялся, а я все-таки ему не верил, что для него, неповторимого певца природы, фонари стали прекраснее звезд. У меня не было ни малейшей охоты «задрав штаны, бежать за комсомолом».

У большинства писателей семь пятниц на неделе. У Есенина их все двадцать семь. Ура-советских строк по его стихам рассыпано много. Но они крикливо-лозунговы. Они вымучены, немощны, обескровлены. Если же говорить о лучших стихах Есенина, посвященных революции, когда она только еще занялась, то нельзя не прийти к выводу, что «революционность» Есенина – если только ее можно назвать «революционностью» – не слишком революционна. Озорство уживается в ней с незлобивостью. Вспомним хотя бы «Певущий зов»:

Все мы – яблоки и вишни
Голубого сада.

Все мы – гроздья винограда
Золотого лета,
До кончины всем нам хватит
И тепла и света!
……
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить!

Большевик, хотя Есенин и объявлял себя таковым в «Иорданской голубице», этих строк не написал бы нипочем.

Заверениям Есенина в том, что он «в Советской стороне… самый яростный попутчик», противостоят лучшие из лирических поэм Есенина– «Кобыльи корабли», «Сорокоуст», «Русь советская».

Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.
……
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

Эти строки из «Кобыльих кораблей» написаны в 19-м году. А через год Есенин отслужит сорокоуст по безгранично дорогой ему усопшей старо деревенской Руси:

Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

С «аллилуйя» начинаются заупокойные богослужения.

В стихотворении «Я обманывать себя не стану…» – прямой вызов Чека:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.

Когда Есенин писал «Сорокоуст», он еще неотчетливо видел «скверного гостя». Но уже тогда «чудесная гостья» обернулась для него «скверным гостем». В «Руси советской» он встретился с ним лицом к лицу. Он не злобствует, не проклинает его, как в «Сорокоусте», он говорит о нем с горькой насмешкой. Насмешку вызывает у него и красноармеец, косноязычно хвастающийся своими подвигами, и крестьянский комсомол, горланящий агитки Бедного Демьяна:

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

И хотя Есенин желает этой новой, советской, Руси процветания и благоденствия, ему с ней не по пути:

А я пойду один…

«Новь», «чужая юность» теснит, выживает его. Он чувствует в пей «сильного врага». Об этом он написал стихотворение «Спит ковыль» в последний год своей жизни.

Стихи Есенина дивили и дивят меня свежей образностью в передаче душевных состояний:

Сердце, тронутое холодком…
Был я весь – как запущенный сад…

Читая Есенина, я тосковал и тоскую вместе с ним – тоской пропащего человека, сознающего, что он с каждым днем все глубже увязает в трясине, но не находит в себе сил из нее выбраться. А затосковал Есенин рано. Дореволюционное стихотворение «За горами, за желтыми долами…» заканчивается так: «Помолись перед ликом Спасителя за погибшую душу мою». Я проникался тоской поэта невольно – такая она у него почти всегда неподдельная.

Но вот уже есенинская щемящая умиротворенность – это и мое душевное свойство:

Принимаю – приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада…
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

Мне смолоду близки есенинская чужеродность новому миру и есенинское сознание, что с революцией «что-то всеми навек утрачено».

И еще привязал меня к себе Есенин чувством родной природы и особым, одному ему присущим даром ее изображения:

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень – рыжая кобыла – чешет гриву.

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком…

Бродя или проезжая лесом, я вспоминал есенинские строки:

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

И где Есенин, как мне представлялось тогда и в чем я совершенно уверен теперь, бесподобен – это в ощущении своего духовного и физического родства с животным и растительным миром. Есенин заставил нас посмотреть на животных и на растения иными глазами, потому что сам увидел в них *душу жи́ву*. Есенинские лисица, корова, собака, пес из «Исповеди хулигана», собака Качалова, сукин сын из одноименного стихотворения живут во мне, как мои родные, как мои друзья.

Есенин имел право назвать в «Кобыльих кораблях» кобелей братьями, а сук – сестрами, а в стихотворении «Мы теперь уходим понемногу…» все зверье – «братьями меньшими», потому что он любил животных именно братской любовью. В «Кобыльих кораблях» он зовет зверей прийти к нему – он хочет разделить их отчаяние:

Звери, звери, приидите ко мне,
В чашки рук моих злобу выплакать!

Он гордится тем, что никого из них не огорчит:

Буду петь, буду петь, буду петь!
Не обижу ни козы, ни зайца.

Для животных у него постоянный эпитет: милый. В «Сорокоусте» он обращается к жеребенку:

Милый, милый, смешной дуралей…

В стихотворении «Я усталым таким еще не был…» – к птицам:

Шлю привет воробьям, и воронам,
И рыдающей в ночь сове.
Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые…»

В стихотворении «Собаке Качалова» – к Джиму:

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
……
Мой милый Джим…

Животные в долгу у него не оставались. По свидетельству Качалова, хорошо рассказавшего о внезапно возникшей дружбе Есенина с Джимом, после гибели Есенина Джим затосковал, как видно почуяв ее, и в конце концов заболел психически.

Есенин не просто любуется растениями, он и к ним испытывает нежность старшего брата:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клеиеночек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Уж не для крестьянина ли праздник – урожай? А для Есенина сбор урожая – это бойня:

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей,
……
Каждый сноп лежит, как желтый труп.
На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп – овин.
……
А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,
Что солома – это тоже плоть…

Задолго до открытия ученых-биологов крестьянский паренек из села Константинова Рязанской губернии почувствовал, что растениям больно…

Мою мать спрашивали, не слишком ли рано подпускает она меня к «взрослым» книгам. Она на это отвечала:

– От хороших писателей вреда быть не может.

Ей возражали, что сейчас я самого главного в них не пойму, а

потом мне будет скучно их перечитывать.

У матери был готов ответ и на это:

– Пусть сейчас он далеко не все поймет, но что-то же да заставит его призадуматься, что-то пробудит в нем «чувства добрые». При первом чтении его, конечно, захватит сюжет, а когда он станет перечитывать, ход событий уже не будет его отвлекать от мыслей, от чувств, от картин, от красоты слога, от красоты стиха…

Именно так, от чтения к чтению, я и сживался с книгами. Если книга задевала меня за живое, я перечитывал ее вновь и вновь и каждый раз отыскивал – и все еще отыскиваю – что-нибудь такое, мимо чего я прежде проходил безучастно и тем обеднял себя. Вот так я потом по многу раз возвращался к особенно поразившим меня творениям живописцев, ваятелей, зодчих, к особенно полюбившимся мне картинам природы и вглядывался в них, задерживаясь на подробностях.

Я сделал полудобровольный, полувынужденный скачок – от сказок прямо к русской классической прозе.

Так называемых «путешествий» и «приключений» в отцовской библиотеке, постепенно переходившей в мою собственность, не оказалось, а достать их было трудно: в библиотеках Жюль Верн, Майн Рид и другие писатели «для детей и юношества» были зачитаны влоск. Новых поступлений библиотеки не ожидали: страна пережила книжный голод, а потом этих авторов долго не переиздавали.

Но, сказать по совести, книги Жюль Верна – правда, в мои руки попадали не лучшие – оставляли меня до того равнодушным, что я, против своего обыкновения, не дочитывал их. Только «Всадник без головы» и Конан Дойль» которыми меня снабдили товарищи уже после моего знакомства о Ибсеном и Гауптманом, все-таки завладели моим воображением. А, скажем, Марк Твен или Джек Лондон мне не попались, и я вырос без них.

Да и вообще, опять-таки полудобровольно, полувынужденно, я оказывал предпочтение русской литературе. Полудобровольно – оттого, что так уж я устроен. Полувынужденно – оттого что иностранных писателей не только «для детей и юношества», но и «для взрослых» в городе достать было труднее, чем русских. Круг моего чтения иностранных писателей был случаен и бессистемен: я читал преимущественно тех, кого прилагала «Нива», так как «Ниву» выписывали мои родители. Я долго не имел понятия о Шекспире, Диккенсе, а вот Ростана, Ибсена, Гауптмана, Гамсуна, Метерлинка читал и читал…

Мать подарила мне полное собрание сочинений Гоголя. Шести лет я впервые очутился на хуторе близ Диканьки, и теперь,

когда я время от времени перечитываю «Вечера», они производят на меня точно такое же впечатление – точно такое же и по силе захвата, по характеру воздействия. Колдовство длится все время, пока я читаю «Страшную месть» или «Пропавшую грамоту». У меня ни на миг не закрадывается сомнение, что так оно и было на самом деле.

Миг еще – и нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.

(А. Фет, «Фантазияр)

Сделав после «Вечеров» короткий перерыв, я прочел потом все художественные произведения Гоголя, и ни одна его строчка не показалась мне скучной. Даже не совсем понятные мне и теперь махинации Чичикова не отвратили меня от «Мертвых душ». Вот кого скучно мне было читать после Гоголя – это Бальзака. «Ведь о власти денег все сказано в короткой повести “Портрет”. “Портрет” – это “Человеческая комедия” на нескольких страницах, – думал я, уже будучи студентом. – А Достоевский восхищался Бальзаком только оттого, что ему не виден был… Достоевский».

И редко кто умел так меня насмешить, как Гоголь, и редко кто умел так перевернуть мою душу, как он: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И редко кому удавалось с такой силой подхватить меня и далеко-далеко унести на волне поэзии в прозе: «…Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась…»

После прозы Гоголя – полная ей противоположность, оказавшаяся, однако, столь же мне близкой: проза Пушкина, такая быстрая во внезапной смелости своих поворотов, в неотвратимости своих водоворотов, никогда не мелеющая, изумляющая не яркостью убора, но складчатой крутизною песчаных своих берегов. И я, право, не знаю, что я больше любил и люблю: «Станционного смотрителя» или «Марью Шонинг», «Капитанскую дочку» или «Гости съезжались на дачу…», «Пиковую даму» или «На углу маленькой площади…».

В семь лет я прочел «Записки охотника» и долго бредил ими. Наиболее тщательно отструганную палку из табуна моих «лошадей» я назвал в честь чертопхановского «Малек-Аделем».

Так, «Записки охотника» на всю жизнь и остались одной из моих настольных книг.

Недавно в сотый раз перечитывал их, и в рассказе «Стучит!»,

который в детстве читал, замирая от страха, впервые увидел *полумрак лунного света.* Да ведь отсюда ровно один шаг до контрастной живописи позднего Бунина!

А потом тургеневские песни о любви, только не о «торжествующей», но о любви, доверчиво расцветающей чистым и обильным цветом и убиваемой морозами, о любви неразделенной и затаенной.

– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили!

Да разве же это можно забыть? Это живет с тобою, покуда ты жив, как «Я помню чудное мгновенье…» или «Для берегов отчизны дальной…».

А потом – Чехов. Я хохотал до колик над «Заблудшими», над «Сиреной», над «Жалобной книгой», над «Предложением» и «Юбилеем», плакал над «Ванькой» и над «Святою ночью». Как это ни странно, чеховская драматургия дошла до меня раньше, чем рассказы позднего Чехова. Непостижимая красота написанного лунным светом «Архиерея» открылась мне много спустя.

А потом – Гончаров с его пушкинским, дневным, солнечным, жизнелюбивым и жизнеутверждающим началом. Если не считать стоящего на отшибе «Фрегата «Паллада», Гончаров и в природе, и в кругу людей отгородил себе небольшое пространство, но на этом пространстве от его внимания не ускользает ничто. Он видит красоту не в романтике, а в повседневности. Не очарованные дали, а вот эта знакомая, привычная земля, где живут не герои, а простые смертные, вдохновляет его. Он – живописец воздуха жизни, но преимущественно не грозового, а такого, каким мы дышим обычно. Он возводит житье-бытье на высоту бытия, житейскую прозу – на высоту поэзии. А его поэзия – это поэзия не мечты, а действительности. За одно только описание Обломовки, за одну только симфонию ее смеха, за одну только Агафью Матвеевну я рад был поклониться Гончарову до самой земли!..

Девяти лет я выпросил у матери разрешение прочитать лесковских «Соборян». Она разрешила неохотно. Вот тут она высказала опасение – не будет ли мне скучно? Ничуть не бывало! Она недооценила моего влечения ко всему, что шелестит старославянским узорочьем закапанных воском богослужебных книг. Но на «Соборянах» я временно поставил точку. Рублевского письма «Запечатленный ангел» и, быть может, самая гениальная в своей человечности и, пожалуй, самая совершенная и мудрая вещь Лескова «На краю света», эпиграфом к которой он мог бы взять слова первоверховного апостола Павла: «…во всех Христос», – это еще только ожидало меня.

Зато я невесть сколько раз перечитал «Очерки бурсы»

Помяловского, восхитившие меня цветистой хитросплетенностью семинарского жаргона и резкой очерченностью типов.

Лев Толстой действовал на меня по-разному: я то отходил от него, то приближался. Так и теперь: многое потрясает; перед многим останавливаешься, радостно и благодарно изумленный: глядишь на автора «Детства» и «Отрочества», «Войны и мира» и «Анны Карениной» как на лесистую гору, закинувшую вершину под облака, и с головы падает шапка; отталкивает, возмущает и отвращает «Воскресение», да и почти весь, за исключением сцен, связанных с Акимом («Власть тьмы»), «Плодов просвещения», рассказов для народа, написанных с тем невидным искусством простоты, какое доступно лишь гению, и «Живого трупа», *толстовец* Толстой, назойливый, скучный, обманчиво страстный, вялый и холодный внутри моралист, концов с концами не сводящий, мыслей своих не додумывающий мыслитель, нетерпимый к инакомыслящим поборник свободы совести.

Как рассердился на меня Георгий Авксентьевич, когда я сказал, что Толстой только один раз, в сцене свидания Анны с Сережей, поднимается до Достоевского!..

Петр Михайлович тоже превыше всех русских писателей чтил Толстого, а в его отношении к Достоевскому сказывалась социал-демократическая закваска: он не прощал ему «Бесов».

И как же я восторжествовал, когда прочел в письме Горького к Сергееву-Ценскому от 15 июля 1927 года: «…я думаю, что он (Лев Толстой. – *Н. Л.)* родился с разумом старика, с туповатым и тяжелым разумом, который был до смешного и до ужасного ничтожен сравнительно с его чудовищным талантом».

И в крайнее изумление привели меня оказавшиеся столь же мне близкими слова певицы Плевицкой. В книге своих воспоминаний «Мой путь с песней» она признается, что «добросовестно и любовно» прочла «Анну Каренину», «Войну и мир» и другие его художественные произведения, но невзлюбила Толстого «за его недобрую мудрость, за злой старческий ум», которые он проявляет в своих философских трудах: «…всех ругает, все у него злые. Один он справедлив, один он всем судья»[27].

Моя мать больше всех писателей мира любила Достоевского. Любимая книга – «Братья Карамазовы». Любимый спектакль – «Братья Карамазовы» в Художественном театре.

Мы и тут сошлись с ней во вкусах.

Мое первое знакомство с творчеством Достоевского произошло, когда мне было восемь лет. Я получил в подарок хрестоматию, в которую входили отрывок из «Записок из Мертвого дома» и «Мальчик у Христа на елке». При чтении

«Мальчика» во мне пробудилось новое чувство, дотоле мной не испытанное, – сострадание. Впервые оно проявилось у меня не при столкновении с действительностью, а при соприкосновении с художественным словом. Одиннадцати лет я прочел «Братьев Карамазовых». И, как ни странно, читал не отрываясь. Мне не показалась скучной даже легенда о Великом инквизиторе, хотя, разумеется, она тогда проплыла мимо меня, как в тумане. Тогда на меня наиболее сильное впечатление произвели история Илюшечки и размышления Ивана Карамазова о страданиях детей.

Любовь к «Братьям Карамазовым» укрепили во мне потом артисты Московского Художественного театра. Если бы я не видел Леонидова в роли Мити и Качалова в роли Ивана, я бы так отчетливо не представлял себе братьев, какие-то чрезвычайно важные смысловые и эмоциональные оттенки в их монологах пропали бы для меня навсегда. Теперь я смотрю на них уже не только как на героев хотя бы и любимого произведения, а и как на моих близких знакомых. Вся душевная многослойность адвоката Фетюковича так бы и не дошла до меня, если б я не слышал его речи на суде в исполнении Берсенева.

В «Дневнике писателя» за 1876 год (октябрь, глава первая, III) есть такие слова: «Об иных вещах… долго не перестается думать… даже точно вы в них виноваты». Вот именно это ощущение «виноватости» автора в судьбах героев привлекло меня к Достоевскому, как ни к кому другому из художников слова.

Стараться разглядеть в каждом человеке умственные и душевные богатства – это свойство больше, чем кто-либо из писателей, развил во мне Достоевский. И если это свойство развито во мне далеко не так, как бы мне хотелось, то вина в этом всецело моя. Столь же благотворное влияние оказало на меня всепонимающее внимание Достоевского к обиженным и забитым, его умение вызвать у читателя не дешевые слезы умиления, а стремление незамедлительно помочь ближнему, расшевелить в читателе действенную отзывчивость.

Творчество Достоевского жизнеутверждающе. Это может показаться странным только на поверхностный взгляд. Достоевский ведет читателя трудными, порой – мучительно трудными путями, меж провалов и круч, сквозь кривду – к правде, сквозь тьму – к свету. Радость Достоевского – выстраданная радость, и тем она для меня ценней и дороже.

Раз отдавшись во власть Достоевского, я за всю мою жизнь не отошел от него ни на шаг. На первых порах мой взгляд способен был охватить лишь отдельные уголки в мире Достоевского. Даль, ширь и глубь Достоевского открывались мне постепенно, при повторных чтениях, и все же так до конца и не открылись. Да и

откроются ли кому-нибудь? Разве другому Достоевскому, если суждено ему народиться.

Кого-кого только Достоевский в себе не вмещает! Мыслителя, пророка, знатока души человеческой, единственного в русской литературе мастера романической композиции и сюжетосложения, владеющего секретом занимательности и увлекательности»

А как он, вопреки тому, что иные писали и говорили о нем, воспроизводит устную и письменную речь!

Зосима и Федька Каторжный, Макар Девушкин и генерал Епанчин, Петр Степанович Верховенский и Кириллов, Макар Долгорукий и Николай Ставрогин, Степан Трофимович и обитатели «Мертвого дома», Раскольников и Порфирий Петрович, Ежевикин и слуга Ставрогина Алексей Егорович, Грушенька и Катерина Ивановна, Федор Павлович и князь Мышкин, госпожа Хохлакова и «верующие бабы» – что ни человек, то особый речевой мир…

Ко всему прочему, Достоевский – великолепный пейзажист. Этого обычно не замечаешь, оттого что его пейзаж, как и в прозе Пушкина, сжат до предела.

«Вчерашний дождь перестал совсем, но было мокро, сыро и ветрено. Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу; деревья густо и перекатно шумели вершинами и скрипели на корнях своих…» («Бесы», часть вторая, глава третья, I).

«Мелкий, тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая все в одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже был день, а казалось, все еще не рассвело» («Бесы», часть третья, глава третья, III).

Две-три фразы, но благодаря искусному отбору деталей, благодаря точности определений создается целая картина непогожего дня.

Герой повести Виктора Кина «По ту сторону», по-своему обаятельный юноша Безайс, высказывает суждение о «Преступлении и наказании»: «…сколько разговоров… из-за одной старухи!»[28].

Ну, а вот меня чрезвычайно интересовали «разговоры о старухе». И не только о том, о чем пишет Достоевский, но и то, как он пишет. Достоевский-мыслитель и Достоевский-художник обладали и обладают для меня равновеликой притягательной силой.

С бурным течением лет я убедился, что «омский каторжанин все понял» (Ахматова), что он провидел и мрачное, надрывное веселье пиров перед самой чумой, что, несмотря на все свои:

«Аминь, аминь, рассыпься!» – он предвидел и неизбежность чумы: «Злой дух» революции «несет с собою страстную веру, а стало быть, действует не одним параличом отрицания, а соблазном самых положительных обещаний: он несет новую антихристианскую веру, стало быть, новые нравственные начала общества; уверяет, что в силах выстроить весь мир заново, сделать всех равными и счастливыми и уже навеки докончить вековечную Вавилонскую башню, положить последний замковый камень ее. Между поклонниками этой веры есть люди самой высшей интеллигенции; веруют в нее тоже все «малые и сирые», трудящиеся и обремененные, уставшие ожидать царства Христова; все отверженные от благ земных, все неимущие… и все это близко, «при дверях»… А злой дух близко: наши дети, может быть, узрят его…» («Иностранные события», 1873). Достоевский предвидел «мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его…» («Дневник писателя», 1873). Ему хотелось думать, что так будет во Франции, во всей Западной Европе, но пророческая явственность изображения и встревоженность интонации указывают на то, что прежде всего он боялся за Россию. И еще я удостоверился, что, как ни изменился лик России – изменился почти по замыслу «Бесов», – люди на одной шестой земного шара, и праведники, и грешники, в большинстве своем все-таки живут «по Достоевскому», а не «по Толстому» и что в царстве Петров Степановичей, Шигалевых и Ракитиных нет-нет да и встретишь Зосиму, Соню, Алешу. И еще я удостоверился, что Священное писание на Апокалипсисе не кончается, что в него входят и страницы из «Дон-Кихота», и страницы из Диккенса, и стихи Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова, Хомякова, Тютчева, Случевского, Бунина, Ахматовой и Пастернака, и страницы из Тургенева, Гончарова, Льва Толстого, Лескова, Чехова с его «Студентом», «Архиереем» и «Святою ночью», Бунина-прозаика, но что самые святые и самые мудрые страницы вписал в эту Библию создатель Раскольникова и Мышкина, братьев Карамазовых и старца Зосимы.

В отличие от многих я охотно читал и читаю пьесы. Издавна одна из самых заветных моих святынь в храме слова – Островский. Риза на ней вся осыпана драгоценными камнями, и каждый камень по-особому вспыхивает и горит.

Аксаков подманил меня «Аленьким цветочком»; «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука» я прочел в детстве, но потом долго к ним не возвращался. Оценить по достоинству безыскусное искусство Аксакова я в ту пору был еще не в силах. И лишь его «Буран» пронесся надо мной с небывалым разнодейственным и многозвучным, шипящим и кипящим

неистовством, какого никто, ни до, ни после Аксакова, не запечатлел в прозе.

Могучим, кряжистым, густолиственным деревом выросла передо мной проза Мельникова-Печерского.

Еще старшеклассником я ощутил свою кровную связь с прозой Бунина, но пока только с прозой раннего Бунина, пахнувшей антоновскими яблоками и звучавшей эпитафией усадебному миру, и с прозой Бунина предреволюционного. Мне казалось, что в своем деревенском цикле он намеренно сгущает краски. Только «Сверчок» и «Псальма» всколыхнули мою мужиколюбивую душу. Сверчков и лирников Родионов я знал, с Родьками не встречался, а может быть, просто не замечал их. Да ведь и сам Бунин считал «Деревню» незрелой, мало для кого характерной[29].

И еще два писателя сильно действовали на *мое* воображение: Короленко и Мамин-Сибиряк, но только не Короленко «для детей и юношества», не автор «Слепого музыканта» и «Без языка», а художник, писавший с натуры Якутию, Ветлужский край, хождение «за иконой», затмение солнца, тюремные нравы, вступившего в единоборство с «играющею» рекой. И не автором «Приваловских миллионов» и «Хлеба» зачитывался я, а тем, кто написал портреты «бойцов», одолевающих рассвирепевшую Чусовую.

В детстве и в юности я отдавался бездумному наслаждению, какое доставляла мне портретная и пейзажная живопись Короленко. Теперь я только руками развожу: как народническая дидактика, коей усердно пичкали Короленко его духовные учителя и соратники по «Русскому богатству», не вытравили в нем художника? И как не приметили цепкую дерзость его художественного зрения ни современники, ни позднейшие историки литературы? На радость читателям, певцу играющей реки и шумящего леса оказался чужд художественный аскетизм писателей, родственных ему по умонастроению.

Трудно не подпасть под обаяние искусства Короленко. Даже, казалось бы, такой далекий от него художник, как Андрей Белый, в письме к Б. В. Томашевскому признается, что пришел от Короленко в восторг[30].

«Кое-где открывались вокруг небольшие озерки, точно клочки синего неба, упавшие на землю…»

Это из «Марусиной заимки» Короленко.

…палое небо с дорог не подобрано.

А это из стихотворения Пастернака «После дождя» (1915).

Я увез из Перемышля в своем внутреннем мире целую сокровищницу словесного искусства, и с течением времени она все обогащалась.

Увлечения, о которых не стоит упоминать, схлынули – в них я был неустойчив, а любовь, возникшая на ранней поре и позднее, с годами яснела и крепла.

С иными у меня состоялись в провинции только первые встречи, много обещавшие, но, в силу необходимости, короткие: что-то случайно, на несколько дней попадет тебе в руки. Радость нерасстанности с поэзией Баратынского, Вяземского, Случевского, с поэзией XVIII века от Ломоносова до Державина, с поэзией Федора Сологуба, Гумилева и Анны Ахматовой, Эдуарда Багрицкого и позднего лирика Пастернака, с прозой позднего Бунина, с прозой Сергеева-Ценского, Сергея Клычкова, радость их обретения, радость их познавания, радость учения у них – эта радость была тогда хоть и не за дальними, а все-таки пока еще за горами.

…Как вспомнишь себя в Перемышле, невольно подумаешь – а ведь послушный я был мальчишка!

Мать рано позволила мне читать Леонида Андреева и Куприна, но сказала, чтобы я не читал у первого «Сашку Жигулева», «Бездну», «Тьму» и «В тумане», а у второго – «Яму», «Наталью Давыдовну» и «Морскую болезнь». И я их не читал до тех пор, пока мне не понадобились некоторые из этих вещей как переводчику. Я совсем не знал жаргона проституток, а в том кубинском романе, который я переводил в 40-м году, девиц легкого поведения полным-полно. Впечатления от книг срастались у меня с воспоминаниями от жизни сада. Зимой я читал урывками: много времени отнимали занятия в школе и дома. Летом читал, пока не ослабевало восприятие. И я могу точно ответить на вопрос, когда и где я читал что-нибудь особенно меня захватившее. Я перечитывал всего Гоголя в августе 23-го года, лежа под яблонями, на нагретой земле, и по страницам бегали теплые дымчатые тени от листьев, трепетавших на легком ветру.

В том же году, когда уже начались занятия, я, придя из школы и наскоро пообедав, уходил к двум березам, росшим у самой изгороди, садился на скамейку и в притихшем саду, под усталым осенним небом, читал *исповедь горячего сердца в стихах, в анекдотах* и *«вверх пятами»,* и Перемышль оборачивался для меня Скотопригоньевском, изгородь казалась той изгородью, у которой встретились братья, и будто уже не Алеша, а я сам слушаю Митю.

Осенью 27-го года я вставал как можно раньше и, выбежав в

сад, среди бурно доцветавших свою жизнь астр и георгин, читал драматическую трилогию Гамсуна об Иваре Карено.

Я залезал на почти плоскую, «под дрань», крышу сарая, откуда мне были видны и наш сад, и соседний огород с зацветшей картошкой, и наша улица с прохожим и проезжим людом. Крыша почему-то представлялась мне наиболее подходящей сценой для постановки античной трагедии, и на ней я «ставил» «Антигону» Софокла.

К театру я пристрастился «заочно», еще не видя ни одной детской пьесы в исполнении моих товарищей, – пристрастился, слушая рассказы матери. Стоило мне посмотреть «Морскую русалку» и «Белоснежку», и я создал «театр одного актера». В отличие от профессиональных театров, мой театр открывался в начале лета, а зимой давал лишь несколько случайных спектаклей: в комнате тесно, я «рву страсть в клочья» и не даю покоя старшим, да и времени нет»

А в саду – приволье. ¥ соседей справа и слева не сады – огороды, На огородах они появляются не часто. Для сцены я избрал себе тот дальний угол сада, где прежде беседовал с «Николаем Николаевичем» и «Сергеем Сергеевичем» и, сам того не сознавая, устраивал для себя представления «театра импровизации». Прямо – забор, дикая груша с одной стороны и берёза – с другой, намечали границы сценической площадки, возвышавшейся над дорожкой, которая вела к ней от цветника, И тут я играл все роли в «Жеманницах», «Мещанине во дворянстве» и «Психее» Мольера, во всех пьесах Ростана; вошедших в «нивское» собрание его сочинений, в «Жизни Человека», «Анатэме», «Черных масках», «Савве» и «Океане» Леонида Андреева, в «Дон-Жуане», «Посаднике» и драматической трилогии Алексея Толстого, в «Потонувшем колоколе» Гауптмана, в «Синей Птице», в «Бранде», в «Живом трупе» а во «Власти тьмы», в пяти драмах Чехова, в «Борисе Годунове» Пушкина, в «Ревизоре», в «Месяце в деревне», в «Расточителе» Лескова, в сценах Ивана Федоровича Горбунова, чье творчество представлялось и представляется мне доныне мастерским эскизом к творчеству Островского и чьи герои одарили моих родных и меня многим множеством крылатых выражений.

«Театр одного актера» прекратил свое существование, когда мне уже было пятнадцать лет.

В 23-м году в Перемышль приезжала из Калуги на гастроли провинциальная знаменитость – артистка Минаева. Вместе с ней приезжала небольшая, но, по отзывам перемышльских театралов, хорошо сыгранная труппа. Я не был на ее спектаклях. Мама нашла, что смотреть «Цену жизни» Вл. И. Немировича-Данченко и

«Кухню ведьм» В. Трахтенберга мне в десять лет еще и впрямь рановато. Да и лишних денег у нее не водилось – на спектакли любителей нас пропускали по контрамаркам. Я решил хотя бы отчасти вознаградить себя. В тот день, когда гастролеры уезжали, я в первый раз сбежал с урока и, преодолевая застенчивость, отворил дверь в комнату при зимнем театре, где укладывали свои вещи актеры, и забился в угол. Оттуда я смотрел на суетившихся актеров, следил за их предотъездными сборами, переводил взгляд с толстяка-комика Стешина, говорившего жидким тенорком, слегка в нос, на красавчика с конфетным лицом, «первого любовника» Нерадова. Ни одна черта лица Минаевой не удержалась у меня в памяти – слишком мимолетное это было видение, да и волнение, от которого у меня сразу пересохло во рту, стерло все черты и краски. Осталось только неопределенное, нераздробляющееся впечатление… нет, не впечатление – ощущение дотоле не виданного мной женственного изящества, более властного, чем красота.

Наконец Минаева, к моему ужасу, заметила меня:

– Тебе что, мальчик?

– Извините, пожалуйста..» Я не был на ваших спектаклях… Мне просто хочется посмотреть на вас хоть так…

– Ну, смотри, милый, смотри!

Минаева растроганно и ласково улыбнулась и расспросила меня, чей я сын, в каком классе учусь, что читал» что видел на сцене.

Дома я рассказал, как я познакомился с Минаевой за счет арифметики, но мне не досталось.

Мама напевала мне арии из опер. Пела мне романсы – главным образом те, что пел мой отец. Пела народные песни, показывала, как пела Плевицкая «Ухаря-купца».

Мама любила цыганскую музыку и привила любовь к ней и мне. Рассказывала, как она еще девочкой заплакала, слушая хор цыган у кого-то из родных. Старая цыганка посмотрела на нее и, обняв, промолвила:

– Эх! Сразу видна дворянская кровь. Дворяне и цыгане спокон веку – одна семья.

В Москве мама старалась не пропустить ни одного концерта Вари Паниной. И она пела мне почти весь ее репертуар, изумительно подражая ей, как это я установил много-много лет спустя, когда слушал панинские пластинки, – подражая ее переходам, ее переливам, ее акценту.

Какой безнадежностью веяло на меня от романса «Жалобно стонет ветер осенний…»!

Тоской непоправимого одиночества, предсмертной тоской

звучала «Лебединая песня»:

Как-то дико и странно мне жить без тебя
……
Иль мне правду сказали, что будто моя
Лебединая песня уж спета?..

И какую бы развеселую песню ни пела мне мать из репертуара Паниной, веселье неизменно было у нее прохвачено грустью:

Эх, распашел, ты мой серенький, пашел,
Эх, распашел ту граеива мрай пашел,
Эх, распашел ту харошая моя!

Цыганский акцент не мешал Варе Паниной в ее переливчатой «Коробушке» – быть может, оттого, что, по выражению Алексея Толстого, в цыганских песнях «русская удаль…»бьет и кипит», оттого, что и в цыганских и в русских песнях дышит дикая ширь, оттого, что и в тех и в других самая бесшабашная удаль повита грустью, а печаль искрится удалью. И моему сердцу с малолетства одинаково близки и гитара, и гармоника-трехрядка, на которой с таким надрывающим душу упоением отчаяния играл один наш перемышлянин, в 20-х годах выдержавший конкурсный экзамен при московской радиостанции имени Коминтерна, игравший в Москве, но спившийся с кругу и вернувшийся в Перемышль погибать от чахотки и от запоя.

В груди моей всегда что-то закипает при звуках «Вниз по матушке по Волге…», особенно если эту песню поет Шаляпин, при звуках «Дремлют плакучие ивы…» и «Эх, распашел…».

…Летом 28-го года мы с матерью прожили неделю в Калуге и каждый вечер ходили в городской сад с фонтаном в виде лебедя слушать музыку. Оркестр играл на закрытой эстраде. Дирижировал им Гутман. Впоследствии он имел неосторожность остаться при немцах в Калуге, и гестаповцы его, как еврея, по доносу соквартиранта-партийца уничтожили.

Однажды мы пришли во время перерыва. Покурив, музыканты заняли места. Статный, подтянутый и оттого казавшийся высоким Гутман взмахнул палочкой и… и меня точно ветром сдунуло со скамейки.

Я подскочил к эстраде, Я чувствовал, как у меня горят щеки, и слышал, как колотится сердце.

…Взбушевалась сама стихия страсти. С каждым взмахом

дирижерской палочки она разливается все шире и шире, взмывает все выше и выше, затопляя темные дали, накрывая фонари и верхушки лип. И вдруг в бушеванье вплетается игривая, задорная, сакоуверенная, манящая и дразнящая красная лента звуков… И снова – распахнутый настежь восторг…

Это была увертюра к «Кармен».

И когда я теперь слышу «Кармен», моим глазам представляется калужский городской сад, а когда я в него вхожу, его по-будничному безлюдная, обычно – осенняя, листопадная тишина гремит для меня трубною медью.

И когда я оглядываюсь на минувшую жизнь моей души, она вырастает передо мной садом, осыпавшим меня цветом сирени и яблонь, цветом мыслей, цветом тревог и волнений, цветом звуков и слов.

Москва, ноябрь 1970

Окна на улицу

…нет «вчера» и нет «сегодня»:
Все прошлое озарено…

Андрей Белый

1

Войны поток краснобагровый,
В котором захлебнулись мы…

Андрей Белый

Настанет год, России черный год»
Когда царей корона упадет;
……..
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных» мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек;
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож…»

Лермонтов

Это древо в веках называлось Россия,
И на ствол его – острый наточен топор.

Бальмонт (7 сентября 1917)

На полу в моей детской расстелен ковер» чтобы не дуло из щелей. На ковре я располагаюсь со своими игрушками. Игры мои час от часу принимают все более воинственный характер» Взрослым слышно, как я шепчу, расставляя игрушки.

– На Западном фронте – Ванька-Встанька, на Северо-Западном – Хрюшка.

Шепот переходит в звонкую команду.

– Коли врага! Руби ему голову!

Эту команду я подхватил, когда шел с Гынгой полем, где обучали «ратников ополчения».

Я ненавидел чудище вроде Змея Горыныча, каким я воображал себе того, кто на нас напал, – взрослые называли его «кайзер Вильгельм».

Казалось бы, что мне кайзер Вильгельм? И что мне война? Моей семьи она не коснулась. Дороговизны я не ощущал. За что же я так ненавидел кайзера? За что на его портрете в старой «Ниве» подрисовал ему рога? За то, что он враг моей Родины, России. Стало быть, я уже тогда с восторженным благоговением вслушивался в грозное и нежное звучание этих слов? Стало быть, у меня, четырехлетнего малыша, уже было представление о Родине? Вернее, чувство Родины? Когда же оно появилось? Не при первом ли знакомстве с неоглядной и ненаглядной русской природой? Не с первым ли выходом на полевой простор?.. Или когда я в первый раз подошел к самой Оке? Или когда в первый раз с высоты городского сада попытался охватить неумелым взглядом озеро, ивняк, пойму, дальние горы, по которым деревья сбегали напиться к реке?..

В мой язык вторгались все новые и новые слова и словосочетания. Родись я в другое время, они не так скоро впились бы в мой слух.

Я понял из разговоров взрослых, что совсем недавно было *мирное время,* а теперь мы живем в какое-то другое. Я знал, что у меня умер папа. Я знал, что вскоре после него умер Николай Нилович. Теперь я все чаще слышал: *убит на войне, пропал без*

вести, К нам в прислуги нанялась беженка – женщина, бежавшая от немцев из Гродненской губернии. По улицам ходили странно одетые мужчины с серповидными носами. Мне объяснили, что это *пленные* турки и что они у нас в своих подбитых ветром шинелишках очень мерзнут. Я слышал разговоры матери с няней, что туркам непременно надо дать работу: попросить их наколоть дров, заплатить им и хорошенько накормить. Смуглые, серпоносые люди улыбались:

– Карош урус!

Во второй половине дня к маме приходили бабы – просили написать по-немецки адрес на посылках военнопленным мужьям. По временам до меня доносился из кухни мамин сердитый голос. Я понимал, почему мама сердится: баба доставала из-за пазухи тряпицу и, развернув ее, протягивала маме деньги «за труды». Мама решительно отказывалась. Если баба проявляла настойчивость, мама повышала голос:

– Ты что, с ума сошла? За кого ты меня принимаешь? Тебе и так тяжело, а я стану с тебя последний грош тянуть?.. Ну, Христос с тобой! Бог даст, вернется твой муж цел и невредим…

Однажды мама пришла из школы и, как-то безжизненно опустившись на стул, произнесла еще одно новое для меня слово:

– Революция…

Для моей матери революция не явилась неожиданностью, Незадолго перед тем она ездила в Калугу попрощаться с братом, советником второго отделения Калужского губернского правления Николаем Михайловичем Кормилицыным[31], получившим назначение во Владимир, и этот верный слуга престола и отечества, провожая ее до моста через Оку, доказывал ей, что революция в России неизбежна и что она вот-вот грянет, Моя мать видела Николая Второго в Москве во время коронации; она говорила, что у него хорошее лицо, только взгляд растерянный и беспомощный; она слышала о нем добрые слова от своих родных, которые знали его более или менее близко, но она сознавала, что он слабый царь, не чета Александру III.

Когда умер мой отец, моя мать слезинки не обронила. Перемышляне ее за это осуждали. Обычай требовал причитать, голосить по покойнику.

– А она – чисто каменная, – судачили кумушки. – Вот поди *ж* ты! А ведь, кажется, любила…

Выговорив слово «революция», моя мать дала волю слезам. В этих слезах выливалась наследственная преданность династии, преданность, которую она уже проявляла мысленно, на огромном расстоянии, преданность не столько людям, сколько символу, выливалась тревога за судьбу семьи низложенного венценосца, за

свою двоюродную тетку – фрейлину Настю Гендрикову. Но, как она говорила мне потом, жалость к царю, к славному мальчугашке Алеше все *же* не так больно сверлила ей сердце. «Страшно за Россию. Что-то с ней будет?» – спрашивала себя моя мать.

Ей, конечно, не было известно суждение прусского посла в России XVIII века Мардефельда о том, что русские не понимают свободы[32] и не сумеют с нею справиться, хотя и много о ней толкуют, но думала она сейчас так же, как он. Вещему ее сердцу чудились «казней ряд кровавых, и трус, и голод, и пожар, злодеев сила, гибель правых…» (А. Блок).

…Девятого мая, на «вешнего Николу», разыгралась метель. Вьюга мела весь Николин день и всю ночь. К утру прояснело. Снегу навалило как зимой. Дома снова спрятались за сугробы. Жители отгребались лопатами. Растаял снег только через два дня. Старожилы такого не помнили.

– Не к добру, – говорил народ.

…В июне 17-го года я совершил первое большое путешествие: мама, няня и я поехали на телеге к бабушке и Гынге. Первый раз в жизни я переезжал Оку: под Перемышлем – на пароме, под Калугой – по мосту, казавшемуся мне бесконечно длинным. На высоком берегу Оки пламенела на солнце золотым пламенем больших и малых куполов раскинувшаяся по горе Калуга.

Остановились мы на одной из главных улиц, Кутузовской, на Лихвинском подворье. Опять-таки впервые, хотя и всего несколько часов, я побыл в двухэтажном доме, на втором этаже. В Перемышле двухэтажные здания были заняты под присутственные места, где мне делать было нечего. В двухэтажных домах жили купцы, но мы к ним не ходили. На Кутузовской улице было еще два подворья. Помню стоявший на углу одноэтажный «Кавказ».

Отдохнув и покормив лошадь, мы сейчас же тронулись в путь. И все-таки моя память удержала впечатление от больших домов, от вымощенных крупным булыжником улиц, от цокающих по ним извозчичьих пролеток, от серых гладких, чистых тротуаров, без единой неровности, без единой травинки сбочь.

На возвратном пути, в августе, мы задержались в Калуге… Те же двухэтажные дома, которыми почти сплошь застроена Кутузовская улица и которые кажутся мне высотою до небес, тот же рдяный блеск куполов. Мы остановились на Белевском подворье, что́ на Воскресенской улице, и когда смерклось, мама сказала, чтобы я нажал кнопку в стене. Только успел я нажать, и в комнате загорелся свет. Это было мое первое мимолетное знакомство с электричеством.

Однако на этот раз Калуга поразила мой взгляд не обилием церквей, не размерами жилищ, не витринами магазинов и даже не «волшебной лампой Аладдина», а тем, как преобразились встречные людские потоки на улицах. Мужчины и женщины, одетые обыкновенно и куда-то спешившие, терялись среди мужчин, лениво, бесцельно расхаживавших в больничных халатах, из-под которых белели рубахи и подштанники, – расхаживавших и щелкавших подсолнухи. Еще недавно чистые тротуары были заплеваны шелухой, отвратительно потрескивавшей под ногами. Меня преследовало ощущение, что я ступаю по чему-то костистому и живому, С тех пор я на всю жизнь возненавидел семечки подсолнухов и отворачиваюсь, когда вижу, что кто-нибудь лузгает их. На подоконниках некоторых домов сидели мужчины без халатов, в одном белье, и, с нахальной ухмылкой поглядывая вниз, тоже грызли подсолнухи и выплевывали лузгу на прохожих. Мне объяснили, что дома эти – лазареты, а люди в халатах и без – выздоравливающие солдаты.

В Перемышле язык мой продолжал обогащаться, но теперь в него проникали слова иного смыслового ряда.

Я бегал по всем комнатам и, подпрыгивая, кричал:

– Проп-паганда! Проп-паганда!

Няня забеспокоилась.

– Тетя Соня! – обратилась она к гостившей у нас Софье Михайловне. – Что это он какое-то нехорошее слово все говорит?.. «Поганый», что ли?..

В один из осенних вечеров мама задержалась в школе – учителей теперь мучили собраниями чуть не ежедневно. Мы с няней сидим в столовой. Она вяжет чулок, я что-то рисую. Стук в парадную дверь. Прислуга идет отворять. Входит Борис Васильевич. Мы с няней поражены так, как если бы перед нами предстало привидение. Нам было доподлинно известно, что нынче утром Борис Васильевич уехал в Москву. Кто же это? Его двойник? Выходец с того света? Он в самом деле напоминал вставшего из гроба покойника. Он всегда был бледен с лица, а сейчас его обычная бледность отливала восковой желтизной, и только дико горели обычно веселые, теперь расширенные ужасом глаза.

– Борис Васильевич! Что же это вы, батюшка, вернулись?

– В Москве взяли власть большевики… Разбили храм Василия Блаженного… На улицах стрельба… Кондуктор в Калуге отсоветовал мне ехать…

Я спросил няню, кто такой Василий Блаженный. Она ответила, что это один из самых красивых храмов во всей России.

Потом до нас дошли более точные сведения: Василий

Блаженный цел. Няню это обрадовало только отчасти. Блаженный, слава Тебе, Господи, устоял, а вот устоит ли Россия?

– Нет, матушка, – повторяла она в разговорах с мамой, – это Антихрист пришел.

Так она спустя несколько месяцев и скончалась с мыслью о том, что в России воцарился Антихрист.

2

Народ, не будучи обуздан нравственным чувством добра и зла, как дикий зверь, с цепи сорвется.

Хемницер

Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пушкин

Любит, любит кровушку
Русская земля.

Анна Ахматова

Даже в междоусобный, многомятежный 18-й год жизнь где светила недобро, словно в предгрозье, где беспрерывно полыхала молниями, словно в воробьиную ночь, а где все-таки пробивалась солнечным лучом между туч.

В Перемышльской уезде помещичьи усадьбы подвергались потоку и разграблению, но самих помещиков не тронули.

Мы видели из окна, как провезли на голой телеге, без единого клочка сена, депутата Калужского дворянского собрания, члена губернского и уездного земского собрания, почетного мирового судью Павла Ниловича Козляинова.

– Хоть он и мерзавец, а все-таки жалко: старик… – сказала мама.

Перемышльский совдеп его отпустил.

В селе Барятине Тарусского уезда помещицу княгиню Горчакову, жену бывшего калужского губернатора, мужики изнасиловали, а потом затоптали.

Горчаковскую библиотеку перетаскал к себе библиофил-хуторянин, живший неподалеку от Новинской больницы. Он давал почитать горчаковские книги, выдавая их за свои

собственные, врачу. На корешках золотела княжеская корона и две буквы С. Г.: – Сергей Горчаков.

Врач спросил хуторянина:

– Чьи же это книги?

– Мои, – не моргнув глазом, ответил тот.

– А инициалы-то чьи?

– Та мои ж! Сэ-Гэ – Семен Горбенко.

История умалчивала, откуда у Семена Горбенко появилась княжеская корона.

В селе Пятницком Перемышльского уезда, где служила моя тетка, имущество сенатора Попова, жившего в Петербурге и почти не заезжавшего в унылое свое имение, расположенное в безлесном и безводном краю, среди холмистых полей и поросших кустарником волчьих оврагов, растащили, оставив голые стены. Во время расхищения тетка моя посиживала у себя на крылечке. Мимо нее шли пятницкие крестьяне и несли что кому досталось. Последним шел неповоротливый, нерасторопный мужик Роман и бережно, обеими руками нес фарфоровую, с цветочками, ночную посуду.

– Роман! – окликнула его моя тетка. – Это-то тебе зачем? Ты знаешь, что это такое?

– Ну-к что ж! А медку так-то положить, Юния Михайловна!

Предводитель дворянства Николай Вивианович Олив жил с крестьянами села Рындина, близ которого у него было имение, в мире и согласии. Выстроил им на свои средства школу. Принимал деятельное участие в строительстве Рындинской межуездной больницы. Не был глух к крестьянским просьбам. Его жена, знавшая толк в медицине, бесплатно лечила крестьян от доступных ее пониманию болезней, пока в Рындине не построили больницу.

Олив быстро находил с собеседником общий язык. Как истый барин, барина из себя не корчил, держался просто и сразу к себе располагал. Я любил, когда он к нам приезжал. Он сажал меня к себе на колени и показывал фокусы: из его зажигалки выскакивали то куколка, то шоколадка.

Как-то я долго смотрел на него с завистливым восхищением; наконец не утерпел и это мое восхищение выразил вслух:

– Когда я вырасту большой, у меня будет такая морда, как у Олива.

Моя мать была рада сквозь землю провалиться, но Олив польщенно засмеялся своим стрекочущим смехом.

После Февральской революции крестьяне выбрали Олива в Совет депутатов.

Мысли Олива в позднейшем изложении моей матери были

приблизительно таковы: теперь народ, как никогда, нуждается в знаниях, в опыте людей просвещенных, искренне желающих ему добра; его, Олива, участие в работе Совдепа не есть измена монархии, поскольку монархия пала, а есть продолжение его службы народу в иных условиях. Остался Олив в Совдепе и после Октября.

Большевики на самых первых порах своего владычества обнаружили такое пристрастие к бумагам, какого не выказывали заматерелые чинуши царского времени. На россиян хлопьями снега посыпались анкеты. Анкета была роздана и членам Перемышльского совдепа. На вопрос о политических убеждениях Олив ответил: «Монархист». Отдал анкету и уехал к себе в именье, которое не тронули.

Один из членов Совдепа, оставшийся в Перемышле, крестьянин из Рындина, разведал, что за Оливом рано утром пошлют. Пошлют, чтобы «поставить к стенке», Мужичок сел верхом – и во весь конский мах к Оливу. Оповестил других крестьян, самых надежных. Обрядили они Николая Вивиановича, его жену Екатерину Сергеевну, дочь Веру и сына Глеба в свою крестьянскую справу и на своих деревенских клячах отвезли на станцию Воротынск. В Калуге было неспокойно, могли задержать, опознать» А Воротынск – станция глухая, да и от села недалеко. Наутро приехали из города за монархистом, ан, *глядь,* Оливов духу-звания не осталось.

Летом 18-го года я погостил в Новинке. Больницу окутывала лесная, непуганая тишь. А когда, на возвратном пути, мы с тетей Юней поздним вечером подъезжали к Калуге, я впервые услышал стрельбу – где-то на окраинах города постреливали патрули.

В состав перемышльского «правительства» входили большевики и «левые серые», как их называли обыватели, не справлявшиеся со словами «левые эсеры». Председателем исполкома был большевик Васильев, крестьянин нашего уезда, до революции ежегодно уходивший на отхожий промысел и работавший в Москве по малярной части. ¥ этого маляра была внешность английского лорда. Он ходил в элегантном костюме, в фетровой шляпе со шнурком, курил трубку. Его досиза выбритые щеки, выдавшиеся скулы, упрямое выражение серо-зеленых глаз – все делало его похожим на англичанина. Вот только изъяснялся он на чисто русском языке, по-крестьянски называя вещи их именами. Вспоминая, как туго приходилось их брату-мастеровому, когда царь запретил вольную продажу вина, он при дамах, ничтоже сумняся, приводил такую красочную подробность:

– В какой сортир ни войдешь – везде пьют политуру. О Васильеве в Перемышле шла добрая слава: грубоватый, но

справедливый.

Сын покойного священника Панова, Владимир Николаевич, хоть и вступил в партию левых эсеров, но с Васильевым дружил. Как-то с матерью были у Пановых в гостях. Был там и Васильев. Одна гостья, сельская учительница, таким громким шепотом, чтобы Васильев все слышал, спросила меня, указывая на него:

– Ты знаешь, кто это?

– Почему?

– Потому что он хороший большевик.

«Хорошего большевика» судьба лишила дара слова» Говорил он нудно, бессвязно, длинно, голосом сиплым от катара горла.

Моя детская память впитывала все. Впитала она и рассказ матери об уездном съезде Советов, проходившем, пока я гостил в Новинке. Да и рассказ этот мать потом много раз повторяла.

В то время у моей матери пробудился интерес к политике. Пришли к власти новые люди из гущи народа. От сшибок раскаленных добела страстей ворохами летели искры. Мать присматривалась, прислушивалась. Потянуло ее и на съезд Советов.

На съезде все клонилось к победе эсеров. Напрасно Васильев совсем уже охрипшим голосом поминутно вставлял в сумбурную речь излюбленное свое выражение:

– Ясно, как Божий день…

Когда его красноречие иссякло, кто-то с места подвел итог:

– Сказанул, а слушать нечего!

– Ни складу, ни ладу – поцелуй кошку сзаду.

Взял слово крестьянин села Корекозева, эсер Мартынов, и начал так:

– Вот товарищ Васильев утверждает, что программа большевистской партии ясна, как Божий день. А по-моему, товарищи, она темна, как чертова ночь.

После речи Мартынова в зале нашего летнего театра поднялся шум, в котором сливались хохот, насмешки, угрозы. Большевики один за другим потянулись к выходу.

– Ага! Струсили? Побежали? Побежали? – кричали им вдогонку.

Вдруг на сцене появился нерусского типа человек и, подойдя к самому краю сцены и сложив руки на груди, четко, громко, с металлом в голосе произнес:

– Мы нэ́ бежяли, нэ бежим и нэ побежим…

Зала стихла, насторожилась.

Это был председатель Калужского губисполкома латыш Витолин, как раз вовремя прикативший из Калуги на автомобиле выручать перемышльских большевиков, – тот самый

властолюбивый утопист Витолин, который пытался учредить «Калужскую республику», чем навлек на себя немилость высшего начальства: вскоре он исчез навсегда с калужского горизонта.

Несмотря на интеллектуальное и моральное превосходство эсеров, несмотря на то, что в сплошь крестьянском уезде эсеры успели пустить корни, после речи Витолина одолели большевики. В холодных его глазах, в упрямых складках губ, в скупости движений, в повелительном тоне – во всем ощущалась сила воли, которой не хватало страстным, кипучим, башковитым, языкастым, но бесхребетным эсерам. Витолин повел толпу за собой, и она покорно за ним пошла. Будущее страны было, наверно, и ему самому темно, как чертова ночь. Но он бросал в толпу лозунги, удовлетворявшие потребностям дня, часа, минуты и действовавшие не на разум, не на сердце, не на совесть, а на инстинкт. Моя мать говорила, что, поглядев на Витолина, она поняла, чем взял Ленин, мгновенно гасивший, при всей своей картавой косноязычности, фейерверки испытанного думского красноречия.

…Июльским утром мы с матерью проснулись от топота ног и от слитного гула движущейся мимо наших окон толпы. Я со сна ничего не мог понять, а мать подумала: «Куда это они? На базар?.. Да нет, сегодня не пятница». (Базарный день был у нас пятница.)

Мать, одевшись, подошла к окну и распахнула его. Я соскочил с кровати и тоже заглянул в окно. Мимо нас по мостовой и тротуарам шли крестьяне с вилами, с косами, с топорами.

– Куда это вы, мужички? – послышался голос кого-то из перемышлян.

– Рубить и резать комиссаров, – ответили из толпы.

Толпа прошла. Все стихло…

Перед вечером к нам прибежал Владимир Николаевич Панов. Вкратце сообщил, что произошло.

Вчера исполком направил в Лютиков-Троицкий монастырь, стоявший на берегу Оки, близ села Корекозева, «Троицы» тож, комиссию реквизировать монастырских лошадей.

Как скоро совдеповские посланцы объявили игумену, зачем они к нему пожаловали, игумен велел бить в набат. Мигом затопила монастырский двор взбудораженная, заранее озлобленная толпа. Игумен воззвал к ней. Упивавшийся своей властью бурбон из военного комиссариата Ракчеев гаркнул на толпу: «Р-разойдись, такие-сякие!..» В ответ раздался крик, всегда действующий на толпу, как запах крови за зверя: «Бей их!..» Корекозевцы бросились на прибывших, сшибли с коней, и

началось избиение. Били остервенело, но это не утолило ярости: избитым выкололи глаза, отрезали носы и уши, надели им камни на шею и швырнули в Оку. Только ветеринарный фельдшер Чугрин, пользовавшийся уважением всего уезда, отделался легкой трепкой: «Дескать, не в свое дело не суйся…» Чугрин вернулся домой – от него перемышляне и узнали, что произошло в Корекозеве.

Наутро толпа, вооружившись земледельческими орудиями и предметами домашнего обихода, двинулась на Перемышль. По дороге в нее вливались ручейки из окрестных селений.

В этот день почти весь наш исполком находился в отлучке: разъехались по уезду. Входивший в состав «правительства», бывший половой перемышльского так называемого Смирнихинского трактира, левый эсер Демин, заслышав шум толпы, спрятался в малинник к Александру Михайловичу Белову и там отсиделся до той поры, пока толпа двинулась вспять.

Бунтари направились к дому, где квартировал Васильев. Васильев вышел на крыльцо. Из краткого разговора предисполкома с восставшими я помню только его слова:

– Делайте со мной что хотите. Я большевик убежденный и от своих убеждений не отступлюсь.

Восставшие отняли у него револьвер и двинулись к исполкому. В исполкоме было пусто. На площадь вышел беспартийный Василий Евдокимович Меньшов и своим глухим баском стал уговаривать толпу разойтись. Он не оправдывал действий новой власти – он только напоминал толпе ветхозаветную заповедь: «Не убий».

Что подействовало на толпу – об этом теперь уже можно только гадать, но толпа так же внезапно утекла, как и прихлынула.

Панов пришел к нам не столько затем, чтобы рассказать о событиях, сколько для того, чтобы попросить мою мать спрятать у себя Васильева. Толпа оставила его в покое и ушла из Перемышля. Однако никто не может поручиться, что завтра ее не охватит новый порыв ярости и она не ворвется в Перемышль и не растерзает Васильева. Охранять Перемышль некому – он беззащитен. На мою мать, ни в какой партии не состоящую, никто не подумает. Пановым держать Васильева у себя опасно – всему городу известна их дружба.

Мою мать не надо было долго уговаривать. В тот же вечер, когда стемнело, к нам опять пришел Владимир Николаевич – на сей раз под руку с дамой: эта дама была не кем иным, как Иваном Давыдовичем Васильевым, переодетым в платье жены Панова.

Васильев прожил у нас неделю, пока длилось безвластие. В

городе были сочувствующие восставшим. Они не принимали в восстании никакого участия, но, случайно проведав, вполне могли указать, у кого скрывается председатель исполкома. Я получил строгий наказ – никому ни гугу, но ведь мне все-таки не исполнилось и шести лет! Наша прислуга Нюша казалась надежной. И все-таки кто дал бы голову на отсечение, что она не проболтается подружкам? Васильев всюду насыпáл горки золы из трубки. Нюша следила за ним в оба и тотчас сметала золу. А вдруг кто-нибудь войдет невзначай и увидит золу? У нас никто трубку не курит. Вот уже и подозрение… Жизнь продолжалась, к нам приходили гости «на огонек», приходили по делам. Мать под разными предлогами притворяла двери, чтобы не было слышно частого васильевского покашливания.

Легенда повиликой обвила быль. Расскажу то, что слышал несколько лет спустя от моих соучеников-корекозевцев и от их родителей.

Корекозево получило от новой власти кукиш без масла. Помещичьих усадеб и земель около Корекозева не было. У монастыря земли было немного – главные его угодья находились в другом уезде. С монастырем село жило в ладу. Монастырь являлся для крестьян источником постоянного заработка. Зато, как бельмо на глазу не только у богатеев, но и у середняков, вырос Комитет бедноты (Комбед). Начали донимать поборы. Корекозево, стоявшее на бою, на дороге между Калугой и Перемышлем, считалось наиболее культурным селом во всем уезде. Там было больше всего грамотеев. Во время революции кое-кто из крестьян вступил в партию эсеров. Эсеры хотя и блокировались тогда еще с большевиками и входили в коалиционное перемышльское правительство, навинчивали крестьян против большевиков.

И все-таки бунт возник стихийно. Такой мелкий повод, как реквизиция монастырских лошадей, – это была всего лишь капля *воды,* переполнившая чашу мужицкого терпения. Приехали отбирать монастырских лошадей неожиданно. Игумен Иосиф ударил в набат по собственному преступному почину. Восстание никто не возглавлял, никто им не руководил. Об этом свидетельствует бессмысленный поход на Перемышль, не принесший восставшим никаких плодов. Эсер Демин хоронился в малиннике, справедливо полагая, что, попадись он, ему, эсеру, так же не поздоровится, как и большевику Васильеву, только потому что он член исполкома. Эсер Панов прятал большевика Васильева. Эсер Рещиков, как член исполкома, как официальное лицо, позднее присутствовал при допросах восставших и свидетелей. Никого из перемышльских и корекозевских эсеров к

ответу не потянули. Значит, их не считали ни соучастниками, ни вдохновителями восстания.

Из Калуги прибыла карательная экспедиция. Состояла она преимущественно из латышей.

Бунтари узнали о ее приближении и устроили засаду в лесу, «дли» моста. Но когда увидели, какая идет сила, когда увидели пулеметы и тяжелые орудия, то, решив, что и взрыв моста не поможет (динамит они где-то раздобыли) и что от родного села уцелевшие каратели камня на камне не оставят, разбежались по лесам. Некоторые навсегда покинули родные края, некоторые вернулись в 27-м году, после амнистии к десятилетию Октября.

Игумен Иосиф, прослышав, что из Калуги послана экспедиция, подстригся в скобку, побрился, надел мирское одеяние, набил полные чемоданы и, оставив братию на произвол судьбы, укатил на шарабане в Воротынск и там сел на поезд. Только его в Перемышльском уезде и видели! Исчез игумен бесследно.

Каратели взялись за дело с автоматической беспощадностью. Кого допрашивали в Корекозеве и без лишних разговоров «отправляли к Аврааму» под соснами, росшими за деревней, кого увозили на допрос в Перемышль. Перемышляне видели, как рано утром провезли на телеге обратно в Корекозево монаха. Голова у него моталась, словно у покойника.

Я всегда потом с жутким чувством проходил мимо придорожных сосен: мне казалось, что они не шумят, а воют и голосят.

К нам чуть не каждый вечер приходили Васильев и его друг-приятель Рещиков. Рещиков приходил прямо с допросов и просил чаю покрепче. Он все хватался за разламывавшуюся у него голову. В его ушах стоял бабий вой. Он так и видел баб, валявшихся в ногах у латышей. Рещикову было ясно, что за отсутствием убийц расстреливают тех, что были последними спицами в колеснице: тех, кто что-то выкрикнул, тех, кто присутствовал при избиении, и тех, кто вовсе не присутствовал; расстреливают по оговору дочери Ракчеева; расстреливают потому, что надо же кого-то расстрелять в назидание всей округе. Расстреляли нескольких непричастных к делу монахов, потому что кто-то же должен был расплатиться за действия бежавшего игумена.

Корекозевцы дрожмя дрожали от страха. Участь каждого зависела от пустой случайности, от того, что чье-нибудь лицо не внушало доверия латышам. И только один крестьянин, отец моего будущего соученика, Василий Здонов, на которого, правда, не падала даже и тень подозрения, не выходил из избы, где чинился скорый суд.

От Здонова отмахивались, как от назойливой мухи, Здонову грозили, а он все свое:

– Да за что ж вы Софронова-то? Он же в это время в Белеве был. Я верно знаю. Он мне кум, приятель мой… Да за что ж вы Меркулова? Ведь он – мой сусед. Когда в набат ударили, я у сабе в огороде копался, а он – у сабе. Мы с ним через плетень переговаривались: «Чего это, мол, в монастыре в набат звонют, а дыму не видать? Стало быть, не на пожар скликают». Ну, мы с ним так до вечера в огороде и прокопались… Да за что ж вы Агапова? Он напротив меня живет. Я видал, как он задолго до набату свово мерина запрег – ему в Андреевск к сыну надо было съездить, он и поехал и там у сына и жил, только вот перед вами возвернулся. За что же вы его-то? Креста на вас нетути…

Так выгораживал – и выгородил – нескольких своих ни за что, ни про что приговоренных к смертной казни односельчан Василий Здонов. Выгораживал, сознавая, что ему могут и по шее накласть, а могут и к стенке поставить, чтобы не мешался и не путался под ногами.

Я беседовал с корекозевцами о событиях 18-го года в 30-м году, и все помнили, кому спас жизнь неказистый этот мужичонка, которому я с великим почтением пожимал шершавую, в заусенцах, ссадинах и мозолях» руку. Мне случалось отведывать у него в избе хлеба-соли, и сейчас я вспоминаю об этом с такой гордостью, какой не испытывал боярин, званый на царский пир.

Обезображенные тела убиенных выловили. Хоронили их в Перемышле с музыкой. Как почти все трагические события того времени, трагическое сочеталось в них с комическим. На кладбище, когда уже в братскую могилу опустили гробы, выступил с речью Демин. Начал он с того, что нынешний траурный «картёж» показывает, как единодушны перемышляне в своем сочувствии к жертвам контрреволюции, а затем, пытаясь выяснить причины кровопролитного бунта, патетическим жестом указал на разверстую могилу.

– Вот где, товарищи, собака-то зарыта! – воскликнул он.

Карательная экспедиция закончила свою работу.

Как-то ранним вечером мы с матерью услышали громкий хор мужских голосов. Мать растворила окно. Мимо нас по той самой улице, где совсем недавно шли бунтари, бодро шагали люди в шинелях, фуражках и сапогах. Шли и пели.

Лучше других я разглядел единственного среди них матроса в бескозырке с ленточками. Глаза у него были воспаленные, сумасшедшие, а оттого, что он насилял голос, рот у него кривился, как у паралитика.

В песне я различил только вот это:

…ни Бог, ни царь и ни герой…

Так, из уст карательной экспедиции, я в первый раз в жизни услышал «Интернационал».

3

Трубит, трубит погибельный рог!

Сергей Есенин

Обыватели повторяли с горькой усмешкой язвительный куплетец, кем-то переделанный из стишков купринского «Прапорщика армейского», когда большевички от «великого» ленинского ума прихлопнули частную торговлю:

Нет ни сахару, ни чаю,
Нет ни хлеба, ни вина.
Вот теперь я понимаю,
Что свобода нам дана.

На 18-й год нам с матерью хватило продуктов благодаря запасливости покойной моей няни. Как птицы задолго предчувствуют бурю, так Екатерина Дормидонтовна предчувствовала голодуху. Предчувствовала и все припасала то того, то другого.

– Надоть, матушка, надоть, – говорила она на возражения моей матери.

К концу 18-го года запасы истощились. Пришло письмо от Гынги. Она звала меня на всю зиму к себе – у них, мол, сытней и теплей. Мать вынуждена была согласиться на долгую разлуку со мной.

Первый же «скачок из царства необходимости в царство свободы» ознаменовался для жителей бывшей Российской Империи, между прочим, тем, что их опутали цепями всяческих «документов». Надо было брать разрешение в исполкоме даже на переезд в пределах одной губернии.

У самой Калуги к нашим саням подошел мужчина в поддевке, с револьвером у пояса.

– Кого везешь? – обратился он к вознице.

– Барыню, – по привычке ответил возница.

– Куда?

– В Малоярославецкий уезд.

– А разрешение есть?

Мать достала кипу разрешений и удостоверений, и нас пропустили.

…Вернувшись весной 19-го года в Перемышль, я сразу

заметил, что почти все улицы переименованы. Наша Калужская улица стала улицей Ленина, появилась Троцкая улица, о чем оповещали надписи на угловых домах, и даже Витолинская! Культ личности уже народился.

В одном из магазинов продавались брошюры Ленина и Троцкого, их портреты, портреты Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Я попросил тетю Соню купить мне портреты всех «главных комиссаров». Я получил от нее в подарок большую фотографию. На ней, в самом центре, четырехугольник с портретом Ленина, а вокруг – медальончики с портретами Троцкого, Свердлова, Бухарина, Рыкова, Радека, Покровского, Зиновьева, Каменева, Луначарского, Крыленко, Коллонтай.

Учреждений в Перемышле развелось не намного меньше, нежели он насчитывал частных домов. Размножились отделы, подотделы. Возник даже «муниципальный» отдел. Была создана Чеквылап – Чрезвычайная комиссия по выработке лаптей для красноармейцев. Всюду требовались работники. В финансовом отделе служил настоятель собора о. Владимир Будилин. За одной перемышлянкой, по семейным обстоятельствам оставившей службу, на другое утро пришел милиционер и повел в учреждение.

Все новые и новые словосочетания подхватывал я на лету, далеко не всегда постигая их смысл.

– Пора спать, – говорит мне мама.

– Сейчас, сейчас! Я только закончу доклад «по текущему моменту»…

Проходит дня два. Я бью в игрушечный барабан, дую в воображаемые духовые инструменты, пытаясь сыграть «Вы жертвою пали…», произношу трогательную речь.

– Что это у тебя происходит? – любопытствует тетя Соня.

– Похороны гражданским браком.

Оркестр я по разным поводам изображал часто, так как стал часто слышать духовую музыку. Под музыку мимо нас провожали на фронт мобилизованных в Красную Армию. Потом начали под музыку провожать на фронт выловленных дезертиров. Крестьяне, навоевавшись с германцем, только было принялись поправлять расстроенное хозяйство – не тут-то было! Пожалуйте на войну гражданскую: бить Колчака, бить Деникина. Иные мобилизованные, выкинув лозунг: «Да здравствует зеленая крепость!», отсиживались в дебрях. Их ловили и под звуки:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе, —

отправляли в распоряжение Калужского военного комиссариата. После того как Владимир Николаевич Панов и моя мать укрыли Васильева, он и Рещиков стали относиться к интеллигенции с полным уважением и доверием. Они задавали в Перемышле тон. Но их обоих перевели в Калугу, а те, что пришли им на смену, поглядывали на интеллигенцию с плохо скрытой враждебностью. Один из комиссаров в разговоре с учительницей музыки высказался откровенно:

– Вы хоть и считаетесь трудовой антилигенцией, а все-таки немножечко из буржуев.

Кстати об Иване Давыдовиче Васильеве: в 22-м году он по собственному желанию вышел из партии. Не принял новой экономической политики: за что, мол, боролись?..

В годы революционного разлива всплыли на поверхность нечистоты. Какие-то нечистоты унесло течением, но другие надолго приставали к берегу. Это дало основание ученику братьев Дуровых, Анатолия и Владимира, Борису Васильевичу Эрфурту, в костюме клоуна выступавшему на перемышльской эстраде, перефразировать Пушкина:

Всегда так будет и бывало,
Таков уж, видно, белый свет:
Мерзавцев много, честных мало,
Начальства тьма, а толку нет.

При словах «Мерзавцев много» он протянул указательный перст в сторону председателя уисполкома Финакина. Финакин и его присные, занимавшие первый ряд, в душевной простоте не приняв четверостишие на свой счет, дружно загоготали.

Нас с матерью «уплотнили». Мы теперь занимали две комнаты: мою бывшую детскую и спальню. В 20-м году нам пришлось дополнительно «самоуплотниться»: мы отдали детскую тете Соне, а сами втиснулись в спальню и темную «проходную».

К интеллигенции с обыском не ходили, но «реквизировать» у моей матери для нужд Союза коммунистической молодежи отцовскую гитару пытались.

Летом 19-го года к нам о матерью явился новый постоялец – Голод – и обосновался надолго.

Мировая война исчерпала государственные запасы продовольствия. Частную торговлю большевики прикрыли. Создали «продотряды» и отбирали хлеб у крестьян. Сколько из-за этих преступных глупостей Ленина и К^{о} перемерло в России народу – и старых, и малых, и юных, и в средних годах! Вообще государственный ум у Ленина был, конечно, значительно выше,

чем у Сталина, но это еще похвала небольшая. Голыми руками вырвать в октябре 17-го года власть у слюнтяя Керенского, этого, по справедливому определению, принадлежащему председателю IV Государственной думы М. В. Родзянко, «гибельного для России государственного деятеля»[33], было делом нехитрым. А вот ввести военный коммунизм, не прекратить красного террора, скосившего видимо-невидимо толковых, предприимчивых, честных людей, захомутать крестьян продразверсткой – все это были судороги обезумевшего зверя. Правда, в 21–22 годах, припертый к стене разрухой в промышленности, разрухой на транспорте, разрухой в сельском хозяйстве, голодом, который в иных губерниях превращал крещеных людей в людоедов, он многое исправил, «осадил назад». Но позади высились горы трупов, высились не на полях утихших сражений, а в глубоком тылу. И войны гражданской, если бы не большевики, у нас не было бы. Когда Европа зализала раны, у нас текла кровь.

А тут еще засуха в Калужской губернии три лета подряд: в 19, 20 и 21-м годах.

Стены калужского вокзала, который я увидел впервые осенью 20-го года, были сплошь расписаны лозунгами, намалеванными красной краской: «Мир хижинам – война дворцам!», «Кто не тр-(перенос) удится, тот не ест»[34]. Смысл второго высказывания оставался для меня неясен: моя мать и ее сослуживцы тр-удились вовсю, а есть им было нечего. Последние брошки и колечки мать спустила на муку и сахар спекулянтам. Мы отвыкли от вкуса и запаха мяса. По карточкам в виде особой милости один-единственный раз за все эти годы учителям выдали баранину с тухлинкой. Мать долго возилась с ней, мыла ее в ста водах, прочесночивала, и мы ее за милую душу съели.

До революции перед Рождеством и перед Пасхой мать накупала игрушек и разных разностей и, взяв меня с собой, разносила их бедным детям. Теперь я сам превратился в «бедного ребенка».

Мы разучились нищим подавать…

Весной 20-го года мать робко заговорила со мной о том, что Наробраз предлагает выменять у нее на продукты мои игрушки, нужные детскому саду; она просила меня согласиться, иначе, мол, сядем на мель, а я уже большой (мне было тогда семь с половиной) и в игрушки почти не играю, Я согласился не задумываясь: надо так надо. В последний раз выложил в галерее все мои богатства и на прощанье поиграл.

А на другой день и коляска» запряженная парой, и жокеи на

двуколках, и украинская деревня с топольками, и пароходик, и пианино, и видимо-невидимо елочных украшений – все это ушло от меня навсегда. Я попросил у мамы разрешения оставить свои любимые и как раз самые дешевые резиновые игрушки, которые потом еще долго «пели» в моем воображаемом церковном хоре, набор пасхальных яичек и укрепленного на качалке коня Милого, на котором я любил подолгу ездить верхом на одном месте.

Поддерживали нас сограждане и знакомые крестьяне.

Перед Пасхой 20-го года стук в окно. Смотрим: Анна Васильевна Чистякова, жившая неподалеку от нас. Принесла нам к празднику творогу, сметаны, масла, яиц (у нее была своя корова и куры) и пригласила на праздник в гости. А до этого мы с ней встречались только на улицах.

Крестьяне звали нас на престольные праздники: на «Николу» идем с матерью в подгородную деревню Хохловку к Маловым или к Прасковье Васильевне Сальниковой, на Ильин день – за пять верст в Рыченки, к владельцам нашего дома Лёвкиным, на Рождество Богородицы – еще дальше, в Верхние Подгоричи: там мы переходим из дома в дом, кормят нас до отвалу, да еще обижаются, почему это мы к Авдотье Семеновне Горячевой «апосля́ всех» зашли, уже сытые, и я, осовев под конец, сваливаюсь у нее в холодке и сплю без задних ног.

Домой мы возвращаемся с грузом ситников и прочих съестных даров.

Владельцем нашего дома числился глава семьи, как мы называли его за глаза – «дедушка Лёвкин», похожий на Льва Толстого в старости. Но фактически всем распоряжались два его сына, пошедшие не в него: глаза у них были по-кулацки завидущие. Это не мешало им угощать нас на славу, однако отца, зная его тароватость, они «окорачивали».

Как-то зимой мать на что-то выменяла у Лёвкиных мешок ячневой крупы. Я лежал больной, а мать в другой комнате пересыпала крупу из левкинского мешка в свой. И вдруг я слышу ее дикий крик, Затем воцарилась тишина, которую вскоре мать нарушила ликующим возгласом:

– Дедушка нам сала прислал!

Когда мать пересыпала крупу, что-то скакнуло из мешка в мешок. Мать, смертельно боявшаяся крыс и мышей, вообразила, что в мешке притаился какой-нибудь грызун. Но это была не мышь и не крыса, а большущий кусок сала, который дедушка Лёвкин прислал нам в подарок украдкой от сыновей»

Летом нам становилось легче. Мы переходили на подножный корм, Овощи, яблоки, груши, малина.».

Нищенка Дарьюшка, ходившая по деревням просить

Христовым именем, была охотницей до яблочек» Она снабжала нас кусочками хлеба, вареными яйцами, которые она доставала из своего грязного мешка, а мы в обмен сыпали ей в мешок яблок.

Мать не любила чеснок и не сажала его. Меня угощали им соседские ребята, и я блаженствовал: чеснок пахнул колбасой, чеснок пахнул тем временем, когда я был сыт!

Как-то я заболел. Температура скакнула под сорок.

Мать спросила, чего бы я хотел.

– Мне ничего не надо, – ответил я. – Вот только бы маленький кусочек чистого ржаного хлеба!

И еще при НЭПе любимым моим лакомством был посыпанный солью ломоть чистого, без примеси жмыха или отрубей, черного хлеба о верхней коркой. Я уходил с ним в сад и, отщипывая по кусочку, читал книгу. Я уже мог перечитывать «Вечера на хуторе», особенно не завидуя Пацюку. А в 21-м году описание того, как Петр Петрович Петух заказывал обед, вызвало у меня обильное слюнотечение и резь в животе.

До НЭПа мы с матерью ходили все лето босиком или в веревочных туфлях.

Детвора на разудалый мотив пела:

Сидит Ленин на лугу,
Гложет конскую ногу́.
Ах, какая гадина
Советская говядина!

Обыватели тешили и пугали себя выдумками: фамилия «Троцкий» заключает в себе его завет: «Товарищи рабочие, отдайте царю корону и империю». «И краткое» в конце фамилии обывателей не смущало. Оказывалось, что для того, чтобы сложить из спичек фамилию «Ленин» и упоминаемое в Апокалипсисе число звериное 666, потребно одинаковое количество спичек.

Ждали Колчака. Ждали Деникина. Ждала изголодавшаяся, измученная многообразными издевательствами интеллигенция и полуинтеллигенция. Ждали купцы. Ждали сапожники: им не из чего и не для кого было тачать сапоги. Ждали портные: им не из чего и не для кого было шить. Ждали столяры и слесари, потому что не получали заказов. Ждала деревня: ей невмоготу становились продразверстка и продотряды с пулеметами. А потом никого уже не ждали, ни на что уже не надеялись. Бедовали тупо, привычно, покорно и безнадежно.

Покой нам только снится!
Сквозь кровь и пыль…

Александр Блок

Нежданно-негаданно расстелилась скатерть-самобранка. Откуда что взялось! Осенью 21-го года на базарах появились палатки со снедью, потом одна за другой начали открываться частные лавки, успешно конкурировавшие с государственной так называемой многолавкой, иначе – с «потребиловкой», Да вот беда: платят маме гроши. Правда, моя мечта эпохи военного коммунизма – мечта о ломте черного хлеба – сменилась мечтой о бутылке ситро. Но мои детские и отроческие мысли заняты долгами матери.

После каждой ее получки я спрашивал;

– А кому ты отдала? А сколько еще осталось долгу?

Выкрутилась мать из долгов к самому концу НЭПа – году к 27-му.

И все же в комнатах зимою стало тепло, моргаски и коптилки заменились лампами, на второе сперва появилась, чередуясь с картошкой, пшенная каша на воде, ее вытеснили молочная пшенная и гречневая каша, которая не зря «сама себя хвалит», в редких случаях подавалась закуска – селедка под «монастырским» соусом, наконец наше меню пополнилось мясными блюдами, по праздникам и на именины запахло пирогами, на Масленицу – блинами. Утром меня посылают за французскими булками – непременно к Зиновьеву, потому что у него особенно вкусные десятикопеечные булки, или за баранками – непременно к Немешаеву, потому что по части баранок он всех других булочников превзошел. Я приношу к утреннему чаю еще теплые булки и баранки, и мы едим их со сливочным маслом. На большой перемене я покупаю себе у того же Зиновьева калач за две копейки или семикопеечную плюшку. Мы разуплотнились. Нас теперь трое во всем доме: мама, тетя Саша и я.

Столица не убила во мне уездного жителя. Я способен часами смотреть на пятиоконный дом с крылечком где-нибудь на «улице Мировой коммуны» в Боровске и на сажалку с утками в самом конце этой улицы. Я до сих пор тоскую по уездной тиши – может быть, потому что наша перемышльская тишь, стоило лишь в нее вслушаться, была многошумна. А если: даже из глуби не долетало ни звука, то и в этом была своя прелесть: тишина помогает сосредоточиться, уйти в себя» раскинуть умом. Не оттого ли иные

провинциалы, как я убедился впоследствии, оказывались подчас дальновиднее, прозорливее даже мудрых столичных жителей? Самое слово – глушь – исполнено для меня очарования – может быть, потому что наша перемышльская глушь была во много раз оживленней мельтешащей суеты столицы.

Я не знал, что такое уездная скука. Для меня это понятие книжное, такое же, как тайфуны и самумы, о которых мне известно лишь из учебников географии.

В провинции для наблюдательного человека раздолье. Перед ним резче выступают характеры во всей их особости. Жизнь твоих сограждан у тебя на виду. Они не мелькают перед тобой – они проходят медленным шагом, и ты успеваешь разглядеть и мягкую, морщинистую улыбку Анны Васильевны Чистяковой, и походку отца моего школьного товарища, Харитона Фаустиновича Левашкевича, который с первым ударом колокола направляется ко всенощной, наклоняясь при каждом шаге так, будто несет на спине мешок с мукой, и полукруглый разлет бровей над строгими, большими, тоже полукруглыми глазами на широком лице деревенской девушки, идущей на летнюю или осеннюю ярмарку. Ты запоминаешь изречение Харитона Фаустиновича – итог его долгих наблюдений над жизнью: «Если пан становится хамом, то это еще полбеды, а вот если хам становится паном, то это уже целая беда». Тебе ведомы ухабы и колдобины на жизненном пути твоих сограждан. Ты отчетливо различаешь движения их сердца, тебе слышна музыка их речи, звучащая то напевною грустью, то разымчивой удалью, то зовом проповедника, то пророческим гулом, то звоном шутовских погремушек. Но и погремушки по-своему любопытны, любопытны, ибо самобытны.

При мне даже в дни ярмарок (ярмарки у нас бывали в десятую пятницу после Пасхи и 28 сентября, в день памяти великомученика Никиты; так они и назывались – «Десятая пятница» и «Никитская») улицы города не оглашались ни срамословием, ни непристойными песнями. Бывало, где-нибудь на полевом просторе возвращавшиеся с ярмарки парни заигрывали с девками, и между ними возникали нескромные, но иносказательные разговоры:

– Честь имею кланяться! Не могу ли я вам понравиться?

– Нужен ты мне, как летошний снег!

– А может, я на тебе жениться хочу?

– Жени-их!.. Ишшо женилка не выросла.

А то подгулявшая бабенка, зазывно приподняв подол и притопывая каблуками, зачастит:

Пойду плясать,
Рукава спушшу,
Молодого петуха
Ночевать пушшу.

В деревнях, наверное, дрались, но впервые пьяную драку я увидел в Москве. Зато в домосковскую пору моей жизни видел не раз, как с базаров и ярмарок шли по двое в обнимку захмелевшие мужички и, выписывая кренделя, от полноты души восклицали:

– Друг ты мой ситный!

– Друг ты мой сердечный, таракан запечный!

Видел пьяных мужиков на телегах. Лошадей они пускали на волю Божью, а сами, свесив ноги с грядки, пели песни, состоявшие из одних гласных, без намека на мелодию.

Ну, конечно, перемышльские кумушки чесали языки («Тары-бары – завтра Варвары»), судачили, злословили и перемывали косточки:

– У Польки платье – не платье, башмачки – не башмачки… Из каких бы это доходов?

– Лизавета, что в коммунальном отделе служит, и правда «коммунальная», все, кому не лень, ею пользуются.

А в столице не перемывают косточек?..

Ну, конечно, перемышляне ссорились и бранились. Сор подчас выметался из изб. Краем уха я слышал, как няня сообщала о какой-нибудь семейной сваре и добавляла:

– И пошла у них танция в несколько пар.

Ну, а в московских коммунальных квартирах – тишь, да гладь, да Божья благодать? Да и только ли в коммунальных квартирах расплевываются? Сплетни, дрязги и распри моих сограждан представляются мне лужицами по сравнению с паводками пересудов и кривотолков среди московских писателей и писательских жен.

Конечно, среди перемышлян попадались язвы и злыдни. И все же мирное течение жизни смягчало нравы. Переехав в Москву, я уже через месяц наблюдал, как в трамвае сухаревская тетка лупила по щекам селедкой мужчину только за то, что он, проталкиваясь к выходу, наступил ей на ногу; как приличного вида мужчина, вися на подножке, колотил даму портфелем по голове, чтобы она скорей поднималась на площадку; как еще один весьма приличного вида мужчина в ответ на справедливое замечание какой-то «гражданки» визжал: «Нэпманша! Жирная свинья! Нэпманша! Жирная свинья!» Все это мне, уездному медведю, было в диковину. Только насмотревшись на джунгли

коммунальных квартир, только включившись в ритм московской жизни, я понял, чем вызваны эти ежедневные оскорбления словом и действием.

Провинциалов часто охлаждал не покидавший их юмор.

В летнем театре – любительский концерт. Сольный номер. Поет некая Лёна. Во втором ряду сидит мать певицы. В первом ряду, прямо перед ней, восседает один из местных кавалеров. Он «козырнул не по чину», и его развезло. Он оборачивается и с радостной улыбкой, слегка заплетающимся языком говорит:

– М-мадам! Ваша дочь – ни к ч-черту!

«Мадам» прыснула, а потом со смехом передавала эту лестную оценку слушателя кому придется.

Даже власти предержащие – и те иной раз проявляли окрашенное юмором добродушие.

Сельская учительница, у которой был свой дом в Перемышле, пришла к Кассирову подавать заявление о вступлении в члены кооператива. Протягивает председателю правления бумажку.

– Я не дьякон, – пробежав бумажку глазами и вернув ее учительнице, объявил он.

Учительница смотрит: батюшки-светы! Да ведь это она вместо заявления подала ему записку о здравии!.. Вытаскивает из сумочки и подает другую бумажку.

– Я не поп, – столь же хладнокровно говорит Кассиров, – возвращая учительнице и эту бумажку.

Бумажка оказалась запиской о упокоении.

Потом Кассиров в частных беседах излагал содержание этого разговора как анекдот, но административных мер к набожной учительнице никто не применил.

Коренные жители Перемышля казались мне одной семьей. Но ведь в каждой, самой дружной, семье бывают и нелады. И в каждой семье не без урода. И в каждом чине – по сукином сыне.

Был у нас купец Гранин. Кто имел удовольствие быть с ним знакомым, тот мог удостовериться, что Гарпагон и Плюшкин не суть плоды писательской фантазии. Гранин откровенно признавался, что не спит ночь напролет, если днем хоть на копейку кого-нибудь не обсчитал.

Но был у нас и купец Николай Иванович Золотов, староста нашей приходской церкви.

Федор Дмитриевич Малов рассказывал связанный с Золотовым случай из своей жизни: у Федора Дмитриевича, тогда еще Феди Малова, как раз перед самым Рождеством умер отец. Осталась мать с тремя детьми. Обязанности кормильца взял на себя безусый паренек – двум сестренкам было от горшка два вершка. И вот пошел Федор Дмитриевич к Золотову чаю-сахару и

белой мучицы купить к празднику. Пришел в лавку и остановился в раздумье: денег в обрез; купишь муки – на чай-сахар не хватит. Вдруг слышит голос Николая Ивановича:

– Паренек! Поди-ка сюда.

Федор Дмитриевич подошел.

– Я слыхал, у тебя отец помер. Вот что, милый: сейчас приказчик тебе отпустит крупчатки, чаю, сахару и конфет – сестренок-то надо побаловать. А денег я с тебя сейчас не возьму. Когда станешь на ноги, женишься, сестер замуж повыдашь, вот тогда и сочтемся.

– И что ж бы вы думали, – заканчивал свой рассказ Федор Дмитриевич, – я как мало-маленько поправился, понес долг Николаю Ивановичу – не взял. «Если, говорит, хочешь мне удовольствие исделать, поставь за меня свечку Николаю Угоднику – вот мы с тобой и в расчете».

Все колоритное и забавное Перемышль бережно хранил в изустных своих преданиях.

Помнил он, как приезжал из Калуги с ревизией губернатор князь Горчаков, как чиновники, зная его пристрастие, выставили ему ведро водки и как губернатор, распив его с ревизуемыми, спросил:

– Полагаю, господа, это мы «начерно»?

И с этими словами отправился производить ревизию.

Более узкий круг помнил, как новый исправник в кругу родных и знакомых произнес на священнослужительский распев:

– Яко свят еси Боже наш, я исправник ваш, и ныне и присно, недавно к вам прислан, и во веки веков у-учить вас, дураков!

Помнил Перемышль, как собралось общество у члена окружного суда Василия Философовича Субботина, выслужившего себе дворянство, весьма этим кичившегося и спесивившегося. Жену свою он так и не «отшлифовал». Когда однажды гости за поздним временем собрались от них уходить, приволжская мещанка во дворянстве остановила их, затараторив на «о»:

– Погодите, погодите, еще не все пожрали! Мороженое, пироженое…

Помнил Перемышль из своего дореволюционного прошлого и сцену в клубе. Играли в карты. Одна дама сделала неловкий ход и нечаянно подкузьмила партнершу. Партнерша вскипела.

– Вы, Александра Ивановна, просто задница! – крикнула она на весь клуб.

– А вы, Марья Ивановна, в таком случае передница! – отбрила ее незадачливая картежница.

Коллекционировал Перемышль выражения Николая

Васильевича Пономарева, человека весьма короткого ума.

Он произнес надгробное слово на похоронах своего родного дяди и начал его так:

– Мой дядюшка отличался титулярностью, солидарностью и популярностью…

А закончил:

– И да будет земля ему пухом!

Николай Васильевич как-то вез Георгия Авксентьевича Траубенберга в Калугу и по пути делал метеорологические наблюдения.

– Облака нагоняют тучи, да-с! – поглядев на небо, задумчиво проговорил он.

Когда его супруге приспичило рожать в ночную осеннюю непогодь, он пришел за моей теткой. Евдокия Михайловна заметила, что ему не грех было бы не прийти, а приехать за ней, благо у него своя лошадь, – на дворе проливной дождь, темь, слякоть.

– Они горячи-с!

Почтительный словоерс и вежливая форма (третье лицо множественного числа) относились к его кобыле.

С тех пор наша семья переименовала его в «Онигорячиса».

Сельская учительница, перемышлянка Анна Николаевна Гудкова по прозвищу Лошадиная Голова, ибо в строении и постанове ее головы было и впрямь нечто от сивки-бурки, заслужила себе и другое прозвище.

В библиотеке она попросила, чтобы ей дали почитать писателя Егожé. Библиотекарша ответила, что она фамилию такого автора отродясь не слыхала.

– Он, что же, французский писатель?

– Не знаю. Я прочла у вас в каталоге: «Гоголь. – Вечера на хуторе близ Диканьки». А потом: «Егожé – Миргород, Егожé – Коляска». Вот мне бы хотелось что-нибудь Егожé почитать. Я его никогда не читала.

Так Лошадиная Голова стала еще и Егожé.

Мамаша, сидя у моих родных, делает замечание малолетней дочке:

– Рая! Сядь вежливо!

Другая:

– Зина! Ты неправильно сидишь.

Мать о своем сыне:

– Он у меня мальчик хороший, замысловатый.

Наблюдения над речевыми особенностями сограждан вел я, вели мои товарищи.

Ехали мы с матерью из Калуги. Возница всю дорогу

повествовал о своих семейных неурядицах, о том, как некрасиво ведет себя его свояченица. Он долго терпел ее выходки и наконец вступился за жену:

– Вы, Марья Николаевна, будучи в издевательных чувствах в отношении Настасьи Николаевны, оказались настоящей свиньей.

Юра Богданов подслушал, как одна перемышлянка в пору особенного увлечения перемышльской молодежи разными видами спорта, говорила другой со смешанным чувством гордости и неудовольствия:

– Вы не поверите, Зоя Петровна: мой Борис каждое утро гирями испражняется.

Репортерам, дающим в газеты заметки о происшествиях, нечего было бы делать в Перемышле.

На моей памяти было всего два пожара: горели сараи. Ни одного грабежа, даже в годы военного коммунизма, когда «шалили» в овраге, на так называемой Вырке, по дороге из Калуги в Перемышль, в городе при мне не случилось. Только мальчишки покушались на яблоки и груши в чужих садах, а кавалеры – на цветы, чтобы преподнести их барышням.

Неверных жен мужья иногда «учили», но не всенародно и больше для прилику и для острастки.

Молодежь озорничала раз в году – в ночь под Петров день, но озорство это было узаконено хотя и неписаным, однако древним законом. В эту ночь молодежь «караулила солнышко», которое будто бы, выглянув, как-то особенно нынче «играет».

А наутро портной с удивлением обнаруживал на своем доме вывеску сапожника, сапожник – портного, от вывески «Парикмахер» оставался только последний слог, одному из обывателей снаружи приперли ворота, калитку и дверь, и ему пришлось свое первое утреннее общение с внешним миром совершать посредством перелеэания через забор, что́ было для него крайне затруднительно как по причине почтенного возраста, так и по причине солидной комплекции. Раз, в самую глухую ночь, молодые люди дружными усилиями скатили с горы здоровенный камень, и камень грохнулся о стену прилепившейся к горе ветхой лачуги, каковой удар потряс ее до самого основания. Насмерть перепуганные владельцы, вообразив, что в Перемышле началось землетрясение, выскочили в исподнем на улицу.

Любовные приключения обычно окутывались покровом тайны. Ужи слушков нет-нет да и проползали. Но ведь не пойман – не вор. Лишь об одном случае Перемышль говорил долго.

Средних лет холостяк, некто Василий Петрович, приволокнулся за женой столяра. Он наведывался к столяру чуть

ли не ежедневно под предлогом оказания дружеских услуг. Но столяр, видно, почуял, что это неспроста. Однажды он объявил жене и своему приятелю, что в такой-то день уедет туда-то за материалом. В указанный день он чин чином собрался в путь-дорогу, запряг лошадь и укатил. Василий Петрович – шасть к даме своего сердца. Но у столяра были дети, а Дон-Жуану хотелось порезвиться на свободе. Любовники отправились в поле. Между тем оскорбленный муж, не будь дурак, поставил свою лошадь у кума, а сам занял наиудобнейший наблюдательный пункт: как раз напротив своего дома, на верху горы, за деревом. Он видел, как неверная жена со своим избранником вышли за ворота и направились в поле. Он сбежал с горы, да за ними. И когда влюбленные возлегли под приозерными кустами и совсем уж было собрались предаться «живейшей томности», из-за кустов выскочил муж. Дон-Жуан. – давай Бог ноги! Бедственность его положения усугублялась тем, что он был в костюме Адама, ибо впопыхах не успел прихватить одеяние. До поздней ночи пробродил он по чистому полю и по бархатным лужкам, стараясь держаться как можно дальше от дорог, и только под пологом ночной темноты отважился прокрасться к себе в дом. При встрече с ним Георгий Авксентьевич Траубенберг наставительно проговорил:

– Вася! Не всякому кусту верь.

Пьяницы в Перемышле были на счету, и никто из них «общественной тишины и порядка» не нарушал, не куражился, не дебоширил, не срамословил. Пили у себя в лачужках или где-нибудь в укромном переулке, в буквальном смысле слова – под забором.

Один из таких пьяниц, по прозвищу Хлебный Дух, робко просил милостыню. Иной раз утром к нам в дверь кто-то деликатно стучал.

– А, это Хлебный Дух! – сразу догадывалась моя мать и выносила ему еды, давала немного денег.

Простуженная октава неизменно рокотала за дверью.

– Спаси Христос, Елена Михайловна!

Насобирав к концу дня требуемую сумму, Хлебный Дух шел в «Госспирт», где продавалась «рыковка», называвшаяся так потому, что вольная продажа вина возобновилась, когда правительство возглавлял Рыков; покупал «мерзавчик», распивал его преимущественно под открытым небом и там же располагался ко сну.

Я припоминаю только один связанный с пьянством прискорбный случай, коего я оказался случайным свидетелем.

Мы с матерью шли по Козельской улице. По другой стороне

пробежал такой же тихий пьяница, как Хлебный Дух, Владимир Иванович Химия, который, дожив до седин, не удостоился по причине беспутного образа жизни, чтобы его называли «по батюшке», – так он до самой смерти и остался Володей Химиным. Пробежал он рысью в обнимку с самоваром. «Наверно, лудить понес, – подумал я. – Только чего это он так припустился?» Стоило мне подумать, как я увидел его сестру, приятельницу моей покойной няни, Ольгу Ивановну, простоволосую, растрепанную. Она бежала в том же направлении, что и братец, и выла как по покойнику. Мы оглянулись. Володя, заслышав погоню, поддал пару. Сестра пробежала еще немного, потом схватилась за сердце и, убедившись, что Володю ей все равно не догнать, остановилась. Мать подошла к ней.

– Что случилось, Ольга Ивановна?

– Самовар утащил, окаянный! Продаст и пропьет. Последнее мое утешение! Мне только и радости в жизни было, что чайку попить из отцовского самоварчика! – уже не воя, а с тихими всхлипываниями, в которых слышалась вся безнадежность ее отчаяния, ответила Ольга Ивановна.

Не с этого ли дня я смертельной ненавистью возненавидел зеленого змия?..

Хлебный Дух, Володя Химин, сапожник Музы́кин, сапожник Дудкин – все это были, как я уже сказал, тихие пьяницы. Единственно, кто изредка нарушал благочиние и громко, на весь квартал, заявлял о своих жертвоприношениях Бахусу, был слесарь Сергей Иванович Гудков. Впрочем, он не был пьяницей. Он только время от времени «зашибал». Если издали слышался демонический хохот:

– Хо-хо-хо-хо-хо-о-о-о-о! —

то все знали, что это возвращается домой после возлияния Сергей Иванович, которого Георгий Авксентьевич за сардонический смех прозвал Мефистофелем. Мефистофель был хорошим, честным мастеровым. На другой же день он, хоть и с тяжелой головой, принимался за дело.

Сын купца Ивана Степановича Борисова, которому школьники любили звонить, Тихон, был назван так по иронии судьбы. Высокий, стройный, с лихо закрученными нахальными усами, он галантерейно обходился с покупателями и дважды избил старика отца за то, что тот чего-то не хотел при жизни выделить ему из наследства. Бил он его без милосердия и по чему ни попало подкованными каблуками сапог, и дважды от борисовского дома до больницы провозили на телеге вздутую сине-багровую тушу. После второго избиения Тихон Иванович сколько-то отсидел в Калужской тюрьме, а затем переехал из

Перемышля в другой город.

Тихон Иванович Борисов представлял собой в Перемышле явление единичное, из ряду вон выходящее. О нем говорили с ужасом, от него отворачивались при встрече. В конце концов город «изблевал» его. И, не услыхав ли рассказ Георгия Авксентьевича, видевшего, как провезли полутруп старика, я раз навсегда проникся отвращением к «методу физических действий»?..

На моей памяти в Перемышле случилось убийство. Весной 25-го года цыгана Москалева, невесть откуда к нам залетевшего, зарубил топором его работник, парень лет двадцати, сын местного переплетчика убил не с целью грабежа, а из ревности: он без памяти любил красавицу жену Москалева, тоже цыганку. Сознался убийца на первом же допросе. Убийство наделало шуму во всей губернии. Из Калуги к нам приезжал адвокат и прочел на эту тему публичную лекцию в клубе. Следствие и суд так и не установили, была ли Вера Дмитриевна возлюбленной убийцы и соучастницей преступления. Выйдя сухой из воды, она переехала в Калугу и там повела веселую жизнь. Убийце дали несколько лет тюрьмы. Срока он не отсидел – за него похлопотал старший брат, видный работник центрального ОГПУ. Убийца вернулся в Перемышль. Какие там ни будь побуждения и смягчающие вину обстоятельства, мы видели на его лице Каинову печать. Обнаружив вокруг себя широкую полосу отчуждения, он, как и Тихон Борисов, рассудил за благо оставить родной город.

У наших соседей крестьяне из заречной деревни сняли для своего парнишки угол на зиму. Парнишка был на класс моложе меня. Смышленый, шустрый, бедовый. Угол его вечно пустовал: парнишка скучал по родной деревне и почти каждый день после уроков уходил домой.

Приближался разлив. Мальчика уговаривали и родители в деревне, и городские его хозяева:

– Пережди в городе, не ходи. Опасно. Лед ненадежен.

Увещания на малолетнего удальца не действовали. Как-то он благополучно переполз Оку по льду на животе. А еще через несколько дней провалился, но сумел уцепиться голыми руками (рукавиц он не носил) за край полыньи и повис. Сбежался народ, прибежал отец. Ни опытные перевозчики, ни отец и его друзья ничего не могли поделать. Когда они пытались приблизиться с баграми к мальчику – лед под ними подламывался. Бросали ему канат – закоченелая рука упускала его. Долго держался мальчонка и молил спасти его. Наконец застывшие руки соскользнули, и он на глазах у отца ухнул под лед…

Главными просветителями Перемышля были о. Владимир

Будилин, о. Иоанн Песоченский, Александр Михайлович Белов, Петр Михайлович Лебедев, Софья Иосифовна Меньшова, Георгий Авксентьевич Траубенберг, Владимир Федорович Большаков, Елена Михайловна Любимова. Но не только они умственно и духовно облагораживали городских жителей.

Коренной перемышлянин Василий Евдокимович Меньшов, тот самый, что не побоялся выйти к толпе восставших и попытаться пробудить человека в звере, первый друг о. Владимира Будилина, всю жизнь занимался самообразованием и охотно делился знаниями с согражданами и на службе, и дома, и в общественных местах.

В Перемышле устраивались литературные диспуты, модные в начале революции «суды» над героями известных произведений. Сотрудник уездного финансового отдела Меньшов выступал на диспутах и на судах. Когда молодежь со свойственным ей легкомысленным азартом накинулась на Карамзина, Василий Евдокимович доказал, как много у этого писателя заслуг перед русской литературой и перед русским обществом. Из его выступления явствовало, что читал он не только «Бедную Лизу», но и всю «Историю государства Российского»; Священное писание, главным образом – Евангелие, он знал не хуже магистра богословия, хотя образование получил светское, и притом среднее. Он был первым председателем театрального общества. Он основал в Перемышле библиотеку на средства Алексаядро-Невского братства, в котором состоял со дня его учреждения. Он участвовал в возникновении городского сада. Автор «Очерка Перемышльского уезда» Пульхеров в предисловии выразил ему особую благодарность за помощь в работе. Когда Василий Евдокимович в 32-м году скончался, город словно бы потускнел.

В перемышльской городской больнице долго служила, как тогда называли эту должность, кастеляншей, то есть заведующей хозяйством, наша приятельница Софья Николаевна Подгорецкая. Кроме субботних вечеров и воскресных дней, она трудилась от зари до зари.

Когда мы с мамой жили вдвоем, до переезда к нам тети Саши, мама, куда-нибудь уезжая, поручала меня заботам Софьи Николаевны, и я переселялся к ней, в ее комнату, всю в цветах, при больнице. Ранним утром мы с ней просыпались от стука в окно и от зычного голоса беженки Домны:

– Зофья Николаевна! Корови́ доиты!

Зачем бы, собственно говоря, Софье Николаевне вставать спозаранку и присутствовать при доении больничных коров? А вдруг коровница или кухарка отольют себе молока? Ни одна капля не должна быть отнята у больных. За всем нужен глаз да

глаз, Софья Николаевна любила животных. Шоколадного цвета пес Приятель дожил у нее до глубокой старости. На больничном дворе обитал грач с перебитым крылом. Софья Николаевна несколько раз в день выходила во двор с едой и звала:

– Гратшенька! Гратшенька! (Она много лет жила с покойным мужем в Варшаве, и это сказалось на ее выговоре шипящих.)

«Гратшенька» с трудом слетал с низкого дерева к Софье Николаевне на плечо, а уже с ее плеча – на деревянный столик под деревом, где Софья Николаевна готовила ему трапезу.

Был у нее кот Кик. В юном возрасте он впервые вышел на охоту и принес хозяйке в зубах задушенную птицу. Софья Николаевна дала ему легкую трепку. Кик ушел, а немного погодя вернулся и с вопросительным видом положил к ногам хозяйки мышь: а это, дескать, можно? На сей раз трепки не последовало, и с той поры Кик охотился только на крыс и мышей.

Софья Николаевна постоянно ходила в церковь, но никогда не разглагольствовала о любви к ближнему – она предпочитала выказывать эту любовь на деле. Жил в Перемышле Александр Александрович Воинов, страдавший пляской св. Витта. Когда он был малышом, его напугала охотничья собака отца: она выскочила из-под кровати, на которой спал мальчик, и громко залаяла. У Воинова была состоятельная родня, и до революции он как-то прозябал. В годы революции кто уехал, кто обеднел, кто ожаднел. Заведующий больницей доктор Добромыслов зачислил Воинова на больничный стол, а Софья Николаевна утром, днем и вечером кормила и поила его, трясущегося, дергавшего головой, изъяснявшегося, главным образом, при помощи гласных, с ложечки.

Общественная жилка билась и у Софьи Николаевны. До революции она была председательницей театрального общества; говорят, уморительно играла комических старух. В свободное время не расставалась с книгой.

В 26-м году Софья Николаевна Подгорецкая, оставив службу по возрасту, уехала вместе с Киком к сестре под Вышний Волочек. После ее отъезда в Перемышле образовалась пустота. Что-то очень хорошее ушло из него навсегда.

Припоминаю два разговора…

Вскоре после того как наши любители с шумным успехом сыграли «На дне», у нас побывала в гостях жена Василия Евдокимовича Меньшова, Вера Сергеевна, в молодости – преподавательница начальной школы, а затем – жена своего мужа. Ей не удалось посмотреть спектакль, но он вызвал у нее живой интерес» Попросив нас поделиться впечатлениями от того, кто и как играл Барона, Сатина и Луку» она, перед тем как

заговорить о других видных ролях, задала вопрос, касавшийся эпизодического лица:

– Кто же играл Алешку?

Заметив на наших лицах удивление, она пояснила, на чем основано ее любопытство:

– Колоритнейшая фигура! Вносит свою, особую ноту в пьесу. И всего в двух эпизодах. «Отчаянный человек». Он уж совсем «ничего не хочет» и «ничего не желает». И Василисе злую судьбу накаркал: «Василиса Карповна! Хошь, я тебе похоронный марш сыграю?»

Вот ведь как знала пьесу Вера Сергеевна!

Когда – в 1933 году – Щепкина-Куперник указала мне на достоинства прозы Апухтина, главным образом – «Архива графини Д»»», где он обнаруживает искусство воссоздавать эпистолярный стиль совершенно разных лиц, то меня это нимало не удивило. Апухтин был одним из любимых поэтов поколения Щепкиной-Куперник. Вполне естественно, что она заинтересовалась его прозой. Да и достать собрание сочинений Апухтина ей, жительнице Москвы и Петербурга, было легче, чем жителям уездных городов, сел и деревень. А теперь я с ретроспективным изумлением вспоминаю, как на вечере у Петра Михайловича Лебедева сын крестьянина подгородной деревни Поляна, в ту пору, когда я был с ним знаком, – директор Полянской четырехклассной школы Афанасий Иванович Жучкин, постепенно собравший на учительское свое жалованье и разместивший у себя в избушке богатейшую библиотеку, где – не говоря уже о русской классике – занимали почетное место и Шекспир, и Мильтон, и Данте, и Гете, пересказал к случаю эпизод из повести Апухтина «Дневник Павлика Дольского».

Почти все лето 24-го года *я* прогостил в Новинке.

Заведующий больницей доктор Владимир Александрович Касаткин, классический земский врач, впоследствии, в 40-х годах, погибший на фронте, как и его единственный сын Лева, почему-то привязался ко мне. Ходил со мной в лес – по ягоды, по грибы, ходил купаться в пруду, скорее напоминавшем большую лужу, расспрашивал меня о моих мальчишеских литературных вкусах, старался оберечь от вредных, по его мнению, влияний. («Да брось ты этого своего Пильняка несчастного! – говорил он. – Пильняк фокусничает и этим только и берет, а на самом деле в подметки не годится даже третьестепенным русским писателям прошлого века».)

Как-то у моих теток были в гостях он и учитель начальной школы из села Поливанова Лисафьев. У нас с Касаткиным зашел разговор о Леониде Андрееве вообще, о его рассказе «Мысль» – в

частности. В наш разговор вмешался учитель из села, более чем на 30 верст отстоявшего от Малоярославца.

– Вот вы говорите – рассказ «Мысль». А я видел перед войной четырнадцатого года пьесу Леонида Андреева по этому рассказу. В Московском Художественном театре. Там доктора Керженцева играл Леонидов. До сих пор не могу забыть, как он передавал постепенно овладевающее человеком безумие. Пьесу в целом, других действующих лиц не помню. Все стерлось. А Леонидов так и стоит перед глазами. Гений!..

Вы, многие нынешние кандидаты и даже доктора филологических и искусствоведческих наук, ну-тка!

Перемышльская и калужская интеллигенция являли собой постоянно сообщающиеся сосуды.

Калуга не могла похвалиться ни крупными промышленными предприятиями, ни такими торговыми заведениями, где бы у покупателей разбегались глаза. Зато калужская интеллигенция – врачи, актеры, учителя, адвокаты, священники – составляла ее красу и гордость. Самый облик города был интеллигентный. По улицам нэповской Калуги навстречу тебе идут люди, о которых сразу можно сказать, что это, наверное, учитель, а это врач. Раздувается крылатка Циолковского. Мелькают путейцы. Чинно выступают бывшие епархиалочки в старомодных тальмах, держа в руках ридикюльчики, – сотрудницы библиотек и читальных зал. Обмен мнениями и впечатлениями между калужанами и перемышлянами шел непрерывно. Лебедев дружил с лучшим калужским преподавателем математики Олисовым. Траубенберг поддерживал дружеские отношения, завязавшиеся у него еще за партой калужской гимназии, с актером Александром Дмитриевичем Васильевым, с любимцем всей Калужской губернии, чутким врачом и человеком, психиатром Михаилом Васильевичем Устряловым, братом «сменовеховца». Георгий Авксентьевич рассказывал мне, что любимый писатель Васильева – Бунин, а ведь Васильев знал Бунина только в пределах «нивского» собрания сочинений. Рассказывал мне Георгий Авксентьевич и о другом своем калужском приятеле, статистике Евгении Александровиче Голицынском, который отчасти из протеста против тогдашней моды на бритье бороды и усов носил длинную окладистую бороду. Так вот этот самый Борода, как его называли приятели, четырнадцать раз смотрел в Художественном театре «Дни Турбиных» – это была единственная цель его поездок в Москву.

И со всех сторон Перемышль окружали светящиеся точки. Московские врачи нередко спрашивали больного, приехавшего показаться из наших краев:

– Зачем вы ехали в Москву? Ведь у вас же Лисицын есть.

Федор Иванович Лисицын заведовал лихвинской уездной больницей (Лихвин – ныне Чекалин, и уже не Калужской, а Тульской области).

На медицинских пунктах, расположенных в дальних селах, верст за двадцать от Перемышля, служили врачи, о которых знал весь уезд.

И учителя из медвежьих углов в грязь лицом не ударяли.

В 23-м году, после окончания курсов по общественно-политической переподготовке учителей, курсанты устроили литературно-музыкальный вечер. Все музыкальные номера готовились под руководством перемышлянина Большакова, опытного хормейстера и скрипача.

Декламация почти вся выпала у меня из памяти, А вот пение – и хоровое и сольное, и дуэты и трио – во мне звучит. Тенор, баритон и контральто исполняли «Ночевала тучка золотая…» («Утес») Лермонтова. Тенор и баритон исполняли «Горные вершины…» («Из Гете») Лермонтова и «Нелюдимо наше море…» («Пловец») Языкова. Больше всех понравились публике, и в частности мне, сельский учитель Марков, исполнивший песню Кольцова «На заре туманной юности…», и особенно сельский учитель Ватолин, исполнивший тургеневское «Перед воеводой молча он стоит…» («Баллада») и апухтинских «Мух». Ватолин произвел столь сильное впечатление на перемышлян, что на следующие же зимние каникулы его пригласили в Перемышль, и он с огромным успехом дал именной концерт.

…Вспомнил я два этих концерта и подумал: а как все-таки Русь обильна была голосами! И совсем еще недавно: в пору моего детства.

Один из летних месяцев 27-го года мы с мамой провели в Новинке. Вдруг к теткам сразу три гостьи: учительница из дальней деревни Калиса Петровна с двумя подружками. Радостный переполох.

– Ну, тебе повезло! – объясняет мне Гынга. – Такого голоса, как у Калисы Петровны, ты еще не слышал.

Калиса Петровна пела романсы весьма сомнительной поэтической ценности:

Он был акробатом воздушным,
Под куполом цирка вертясь,
И смерти в глаза равнодушно
Смотрел каждый вечер и час…

Слушая Калису Петровну, я не замечал ни малограмотного

построения фразы, ни колченогой, *с* грехом пополам, рифмы.

Даже рассказы Куприна не дали мне так остро почувствовать цирковую атмосферу, как пение Калисы Петровны, ее варипанинского тембра контральто. Когда она пела «Акробата», у меня двоилось в глазах: я видел вульгарноватое, хотя и с некоторой долей пикантности, лицо Калисы Петровны, взбитое золото ее кудряшек, ее кокетливое пенсне на цепочке и видел акробата, различившего в публике около своей возлюбленной другого, сорвавшегося с трапеции и разбившегося насмерть.

Пела Калиса Петровна с цыганской надрывной удалью «Венгерку» Аполлона Григорьева, после каждой строфы повторяя:

Эх раз,
Еще раз,
Д'еще много, много раз… —

Пела:

Мы на лодочке катались,
Золотой мой, золотой,
Не гребли, а целовались… —

и передо мной проплывала лодка по освещенному закатным солнцем речному простору, и я слышал несмелую нежность только-только пробудившегося чувства.

Пела Калиса Петровна с утешительным юмором:

Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь…
А, быть может, не любовь,
В самом деле, не любовь,
И, наверно, не любовь,
Да!

Мой миленок меня бросил,
Пойду в речке утоплюсь…
А, быть может, не пойду,
В самом деле, не пойду,
И, наверно, не пойду,
Да!

Кажется, нет ничего более доморощенного, чем эта песня:

Помнишь, помнишь ту полянку,
Ясно солнышко, цветы?..
Спозаранку на гулянку
Мы ходили – я и ты…

Василечки, василечки,
Голубые васильки…
Ах вы, милые цветочки,
Ах вы, милые цветки!

Та полянка отливала
Бархатистой синевой.
Васильки там я сбирала,
И ты, милый, был со мной…
(Припев.)

А теперь, теперь пропали,
Отлетели дни весны,
И на память мне остались
Лишь сухие васильки…

Василечки, василечки,
Голубые васильки…
Ах вы, милые цветочки,
Ах вы, милые цветки!..

Отчего же на эти выросшие прежде времени и не на месте, линялые, как на застиранных вышитых рубашках, «Василечки» откликались ваши сердца? Оттого, что в каждое слово певица вливала кручину разлюбленной, оглядывающейся на свое прошлое и в его еще недавно осиянной близи видящей осеннюю жухлую хмурь…

Что так скучно, что так грустно?
День идет не в день…
А, бывало, распевал я,
Шапка набекрень.

Эй вы, ну ли, что заснули?
Шевели-вели!
Удалые, вороные,
Гривачи мои!

С песней звонкой шел сторонкой

К любушке своей
И украдкой и с оглядкой
Целовался с ней.
(Припев.)

Мать узнала – все пропало:
Любу заперла
И из дому за Ерему
Замуж отдала.
(Припев.)

Я иную, молодую
Выберу жену:
В чистом поле, на просторе
Дикую сосну.

Эй вы, ну ли, что заснули?
Шевели-вели!
Удалые, вороные
Гривачи мои!

Калиса Петровна пела эту песню соло – то с непереносимой тоской разлуки, то с пугливым восторгом любви, то с бесшабашным отчаянием.

Припев подхватывали ее подруги, и в этом трио явственно различался голос той, что пела песню о недоле, его медовой густоты звук.

Только однажды промелькнула мимо меня захолустная эта певица цветистым и благоуханным, звучащим дивом, но след от встречи остался.

…Рядом с новыми всходами пышнели даже блеклые «Василечки», И не пахло от них клеветой, и не пахло от них злобой.

Красноармейцы, маршируя, горланили какую-то песню с припевом, в котором ее автор обнаруживал, по-видимому, близкое знакомство с дворцовыми нравами и психологическое чутье, помогавшее ему почувствовать весь строй души последней русской императрицы:

Распутина любила,
К Распутину ходила
Саша поздно вечерком.

За неимением своего бралось чаще всего чужое. Красноармейцы пели старинные народные песни со злободневным припевом. Насолил Советской власти Остин Чемберлен – готово дело: Перемышль и его окрестности оглашаются воинственным рефреном. Как говорится, «пришей кобыле хвост»:

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет…
Чемберлену по салазкам,
По его стеклянным глазкам Вдарим – бей,
Вдарим – бей,
Вдарим посильней!

Пели старые «жестокие» песни, ничего к ним не добавляя и не переиначивая их. Пели красноармейцы, пели мы, школьники, на строевых занятиях, маршируя в поле или по улицам;

– Знаю, ворон, твой обычай:
Ты сейчас от мертвых тел
И с кровавою добычей
К нам в деревню прилетел.

Где же ты летал по свету,
Все кружась над мертвецом?
Где же ты похитил эту
Руку белую с кольцом?

– Расскажу тебе, невеста,
Не таясь перед тобой:
Под Варшавой есть то место,
Где кипел кровавый бой.

Бой кровавый, пир богатый
Буду помнить целый век.
Но пришел туда с лопатой
Ненавистный человек…
……

Пели и новые песни, но ни слова, ни напев не уходили в народ:

Белая армия, черный барон

Снова готовят нам царский трон
Но от тайги до Британских морей
Красная армия всех сильней.

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой.
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой.

Великолепна здесь и достойна увековечения эта долженствующая неудержимость, эта наша всегдашняя добровольная принудительность!

После мейерхольдовского «Леса» получила широкое распространение народная песня прошлого века, которую в спектакле Мейерхольда играл на гармонике Петр. На этот мотив была кем-то сочинена песня «Кирпичики», перед которой «Акробат» или «Васильки» кажутся стихами Аполлона Майкова или Ал. Конст. Толстого:

Но, как водится, безработица
Размахнулась в рабочую грудь:
Сенька вылетел, а за ним и я,
И всего двести семьдесят душ.

Народ услышал в этой песне народный напев и за напев полюбил ее.

…В 23-м году жизнь шепнула Перемышлю: затишье обманчиво!..

Арестовали Петра Михайловича Лебедева.

Когда он еще сидел в калужской тюрьме, к нам пришли вечерком Георгий Авксентьевич и Юра Богданов. Пользуясь тем, что мать с теткой ушли, мы устроили «концерт». Георгий Авксентьевич обладал красивым голосом, но слух у него подгулял. Юра обладал абсолютным слухом, но голоса у него не было никакого. Я не мог похвастаться ни тем, ни другим. Несмотря на горькую участь, у всех троих была смертная охота попеть. Обычно репертуар нашего трио складывался из народных лирических песен. А тут мы почему-то затянули «Варшавянку»:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут…

Никто из нас троих тогда не сознавал, что вихри враждебные пока еще только действительно веют, но что скоро им суждено достигнуть силы аравийского урагана. Внутри нас шевелилось предчувствие, вызванное бедой Петра Михайловича. Оттого мы с такими мрачными лицами, с такой заунывной строгостью пели «Варшавянку».

В том же году, но только раньше, весною, после митинга «в честь убийства Воровского», перемышльские коммунисты, ружья «на плечо», прошлись по главным улицам города. Я с другими мальчишками шел по тротуару и глазел. Демонстранты пели песню, которую я тогда услышал впервые:

Сказал Троцкий, вождь пролетарский:
«Бросай свое дело, в поход собирайся».

Мы смело в бой пойдем
За Власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это.

Пролетарские поэты посвящали пролетарскому вождю, вышедшему из еврейской буржуазии, стихи: Санников – «Восстание паровозов», Безыменский – «Песню о шапке». Оба эти стихотворения с посвящением я нашел через год в «Антологии революционной поэзии», выпущенной в виде приложения к выходившему при «Известиях», под редакцией Луначарского и Стеклова, еженедельному журналу «Красная нива», который мне как подарок ко дню рождения выписала мать. Много позднее я узнал, что спектакль «Земля дыбом» Мейерхольд посвятил Троцкому.

21 января 24-го года – смерть Ленина. После траурного заседания к нам пришел Георгий Авксентьевич.

– Хотел бы я присутствовать при встрече Ленина с Николаем Вторым в потустороннем мире, – заметил он. – «Ведь ты со своим НЭ-Пом пришел к тому же берегу, от которого отчалил, – мягко скажет ему Николай Александрович. – Стоило ли, мой друг, огород городить? Стоило ли русскую кровушку лить океанами? Опять в России по-старому, только – тех же щей, да пожиже влей. При мне была прекрасная литература. Куда все лучшие писатели девались? Где мои любимцы – Аверченко и Тэффи? Даже Максим Горький – и тот за границей. При мне какая опера была! Где теперь вышедший из народа певец «Дубинушки»? При мне какой

балет был! Где теперь Кшесинская, Карсавина, Павлова? Где Художественный театр? Все от тебя убежали». (Художественный театр в 24-м году был на гастролях в США.)

Газет я тогда не читал. В пятом номере «Красной нивы» – правительственное сообщение о смерти Ленина; под ним – нечто вроде стихотворения в прозе «Ленина нет» Троцкого:

«Как пойдем вперед? – С фонарем ленинизма в руках. Найдем ли дорогу? – Коллективной мыслью, коллективной волей партии найдем!

……..

Товарищи-братья! Ленина с нами нет! Прощай, Ильич! Прощай, вождь!

Тифлис, вокзал, 22 января 1924 г.»

История, как известно, повторяется.

После смерти Сталина нам долго талдычили о «коллегиальности», о «коллективном разуме партии». Но ведь коммунистическая партия не может жить без фюрера или хотя бы без фюреришки: это самая склочная, самая религиозная, выставляющая одну икону вместо другой, как в церкви при смене праздников, самая монархическая из всех партий.

Возможными преемниками Ленина у нас называли двоих: Троцкого и Бухарина.

Каково же было наше с матерью изумление, когда владелица трактира Смирниха при встрече с нами на улице уверенно заявила:

– Рыков вместо Ленина будет…

Это имя нам почти ничего не говорило. Мы знали только, что Рыков – второй заместитель Ленина по Совнаркому (первым был Каменев). «Красная нива» в седьмом номере поместила портрет нового главы правительства и его краткую биографию. В биографии подчеркивалось, что в 21-м году, по предложению Ленина, Рыков был назначен его заместителем и в Совете народных комиссаров, и в Совете труда и обороны… Что ж, лицо скорее приятное, а там что Бог даст.

Официальные круги все думали, что бы переименовать в честь Ильича. Кстати, псевдонародное название «Ильич» спустили в низы «сверху». Я ни от одного крестьянина, ни от одного мастерового, вне зависимости от направления их умов, никогда не слышал этой фальшивой простецко-панибратской клички. Итак, шла вакханалия переименований: от Петрограда до Перемышльского сельскохозяйственного кооператива. Дело доходило до неумышленного кощунства. Вывеска на мясной

лавке: «Перемышльский сельскохозяйственный кооператив»; под этим нарисована привязанная к столбу за рога корова, около нее лежит нож; под коровой и ножом: «имени В. И. Ленина». Подобного же рода вывеска, только без картинки, – над случным пунктом.

А в частушках выкликались другие имена:

Я в своей красоте
Оченно уверена.
Если Троцкай не возьмет —
Выйду за Чичерина.

На обложке тридцатого номера «Красной нивы» от 27 июня 1924 года – фотография: «Члены делегации РКП в Исполкоме Коминтерна – тт. Сталин, Рыков, Зиновьев и Бухарин». Головы «Кобы» и Алексея, как звали Рыкова ближайшие товарищи, совсем близко одна от другой. Сталин вперил взор в соломенную шляпу, лежащую у Рыкова на коленях. В центре – курчавый председатель исполкома Коминтерна (ИККИ) Зиновьев, омерзительный этой своей женоподобной курчавостью и женоподобным лицом; несколько на отшибе – Бухарчик, интеллигент, играющий под «своего в доску».

Тогда я, разумеется, не сумел прочесть эту фотографию. Только потом, оглянувшись на недавнее прошлое, я понял, что это был групповой портрет главарей в то время уже существовавшего антитроцкистского блока. Блок, понятно, был беспринципный: Бухарина и Рыкова связывал со Сталиным, да и с Зиновьевым, только злобный страх перед Троцким. Зиновьев одним из первых поймет, что главная опасность – Сталин, и переметнется к Троцкому, но тогда, когда у Троцкого отнимут армию, когда у него выхватят опору. Беспринципность лежала в основании большевистской партии. Даже Бухарин и Рыков шли на сделки с совестью ради того, чтобы усидеть на своих постах. Смотри, с кем связываешься; свяжешься с людоедом – спокаешься. А что Сталин – людоед – этот вывод должны были бы им подсказать хотя бы его действия в Грузии, так возмутившие далеко не мягкосердечного Ленина. А что Сталин – убийца – об этом они узнали осенью 25-го года, когда по его указанию умертвили на операционном столе неугодного ему Наркомвоенмора Фрунзе, осмелившегося «свое суждение иметь», считавшего, что Троцкий, которого он же и сменил на этом посту, – человек, преданный революции, и что его нельзя от всего отрешать, – узнали и спустили это ему; узнали и продолжали до поры до времени идти с ним рука об руку – так боялись они

диктатуры Троцкого.

Десять с лишним лет спустя, когда Сталин покончил и с Бухариным, и с Рыковым, Т. Л. Щепкина-Куперник говорила мне:

– Зачем Рыков и Бухарин в такую сволочную партию полезли? Раз они не вышли из партии, значит, они делили ответственность со Сталиным за все, что он разделывал, хотя бы сами стояли в стороне. Вот за то, что их хата была с краю, но с краю разбойничьей деревни, судьба их и покарала.

Еще при жизни Ленина борьба в партийных подземельях вышла на поверхность. В январе 25-го года Троцкого, бывшего при Ленине вторым лицом в государстве, а среди молодежи пользовавшегося большей популярностью, сместили с поста Наркомвоенмора.

Внутрипартийная борьба разгорелась не на шутку. К Троцкому примкнули Зиновьев, Каменев, Крупская, секретарь исполкома Коминтерна Карл Радек, один из вождей ленинградских большевиков Евдокимов, разбивший Юденича при Красной Горке Бакаев, первый заместитель Наркомвоенмора Лашевич, командующий войсками Московского военного округа Муралов, заместитель Председателя ВСНХ (Высшего Совета народного хозяйства) Пятаков, виднейшие дипломаты Раковский и Крестинекий, Наркомфин Сокольников (Бриллиант), бывший секретарь ЦК Преображенский.

Опала распаляет опального против тех, кто воздвиг на него гонение, но в целом влияние опалы на душу утратившего власть смягчающе-благотворно. Опала заставляет мыслящую личность многое передумать, она расширяет круг ее представлений, снимает с нее шоры, переводит с одной половицы то на ту, то на другую, она очеловечивает ее.

Троцкий всесильный и Троцкий низвергнутый – это два если и не разных, то, во всяком случае, мало похожих человека.

Троцкий одобрил казнь Гумилева, ко времени своей гибели отошедшего от юношески кокетливой экзотики и выраставшего в поэта с цельным религиозно-философским и национальным самосознанием, автора «Слова», «Я и вы», «Памяти», «Рабочего», «Заблудившегося трамвая». Гумилева Зиновьев и иже с ним расстреляли как заговорщика, хотя он не был причастен к заговорам ни сном ни духом. Он был повинен лишь в том, что о своем неприятии революции говорил без околичностей и недомолвок. Но ведь еще Екатерина Вторая в своем «Наказе» предостерегала: «…все извращает и ниспровергает, кто из слов делает преступление, смертной казни достойное».

В ночь с 27-го на 28-е декабря 1925 года покончил с собой Сергей Есенин.

С точки зрения члена Коммунистической партии, он совершил преступление по отношению к стране, к своему классу, к революции. Да и, казалось бы, так ли уж близка сердцу урбаниста-космополита Троцкого поэзия Есенина?

Но вот в 26-м году появляется перепечатанный во многих журналах, вплоть до «Народного учителя», отклик Троцкого на кончину поэта.

В этом отклике Троцкий не осуждает самоубийцу – по его мысли, в слишком жестокое для поэта время пришлось жить Есенину – он оплакивает его и славит.

«Мы потеряли Есенина, такого прекрасного поэта, такого нежного, такого настоящего», – начинает свой реквием Троцкий.

И дальше: «Он ушел от нас, не громко хлопнув дверью, а тихонько притворив ее рукой, из которой сочилась кровь».

Заканчивается реквием так:

«Умер поэт… Да здравствует Поэзия!.. Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя… Да здравствует Поэзия, в которую до последней минуты жизни вплетал свои драгоценные нити поэт Сергей Есенин!»

Я цитирую Троцкого по памяти, но, значит же, сильно, до мурашек по спине, подействовали на меня в 26-м году эти строки, если я их, как стихи, помню наизусть и теперь!

В 27-м году в Польше Коверда убил нашего полпреда Войкова за участие в злодеянии, учиненном в 18-м году в Екатеринбурге над Романовыми. В ответ ОГПУ расстреляло без суда двадцать человек, среди них – члена ЦК партии кадетов, либерального общественного деятеля, старика (род. в 1866 году) князя Павла Дмитриевича Долгорукова (постановление датировано 9 июня 1927 года). Теперь в комментариях мы стыдливо указываем только дату его смерти, как будто он скончался на своей постели от разрыва сердца или паралича.

Казненным, имена которых перечислил в газетах от 10 июня 1927 года председатель ОГПУ Менжинский, приписывалось что угодно, только не участие в убийстве посла.

Этот перечень казненных, имевших к убийству Войкова такое же отношение, как наш кладбищенский сторож, почтальон или фонарщик, вызвал в моем четырнадцатилетием сердце прилив возмущения теми из кремлевской и лубянской верхушки, кто скомандовал: «Пли!»

Дети быстро забывают обиды. Я забыл «обиды» первых лет революции: голодуху, тесноту в комнатах, где я частенько лежал целый день, укрывшись с головой одеялом, – так холодно было вставать. Рассказы, слышанные мною в 22-м году, когда судили правых эсеров, я по малолетству в одно ухо впускал, в другое

выпускал. Потом мне многое досаждало, многое меня тяготило, многое отвращало. В тот летний день 27-го года, когда я прочел о невинно убиенных, между новой жизнью и мною разъялся провал.

За дискуссией между сталинцами и оппозиционерами можно было следить, читая «Правду», равно как и судить об ее стиле. Оппозиционерам скрепя сердце предоставляли слово, но науськанное Сталиным быдло перебивало их, сбивало выкриками, галдежом, оскорбляло, орало: «Долой с трибуны!», наперебой выслуживалось, угодничало, лакействовало и холуйствовало. И хоть бы ругал ось-то оно сочно и смачно, пусть по-босяцки, но с выдумкой, изобретательно и виртуозно! Грубая, топорная брань – вот единственный политический прием, коим пользовался срепетированный Сталиным хор из затянувшегося пролога к трагедии с кровавой развязкой. Евдокимову, выступавшему на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 21 октября 1927 года, кричали: «Ложь, врешь, демагогия!»[35]. Стоит Бакаеву бросить реплику Бухарину: «Логики нет в том, что ты говоришь и делаешь», – как кто-то из сталинских крикунов посылает ему «дурака»[36]. Изящный острослов Тальберг мечет стрелу в Николая Ивановича Муралова: «У него голова большая, а ум маленький»[37]. «Голоса. Позор! Предатели! Мерзавцы!»[38]. Из себя выходила сталинская челядь, когда оппозиционеры попадали в самую точку. Гвалт давал возможность редакции «Правды» отделываться спа» сительными ремарками: «(…не слышно; реплика не уловлена)»[39]. Сообщение Менжинского на пленуме о том, что ОПТУ установило, будто троцкисты действовали вкупе и влюбе с бывшим врангелевским офицером, будто существует некий «военный троцкистский заговор», сталинский блок рассудил за благо не обнародовать – по-видимому, сталинцы поняли, что Менжинский оскандалился. В своей речи «тов. Троцкий», как он тогда был назван, если не ошибаюсь, в последний раз, остановился на сообщении севшего в лужу и накрывшегося зонтиком Менжинского: «…руководящая ныне фракция[40]… оказалась вынужденной обманывать партию, выдавая агента ГПУ за врангелевского офицера… фракция Сталина – Бухарина сажает во внутреннюю тюрьму ГПУ прекрасных партийцев…» Троцкий процитировал в своей речи образные слова Ленина о Сталине. Что тут поднялось! Что тут на него посыпалось! «Шпана ты этакая, меньшевик!» Особенно усердствовал и рад был стараться в те поры без лести преданный Сталину Наркомпрос Украины Скрыпник, в 33-м году покончивший с собой, ибо из него сделали вдохновителя украинского националистического центра: «Меньшевик, ступай прочь из партии!» Еще какие-то сталинские холопы горлопанили:

«Долой гада! Долой ренегата!» Конец речи Троцкого был заглушен[41]. Та же участь постигла и бывшего вождя Коммунистического Интернационала «тов. Зиновьева». Ему кричали: «Довольно! Долой с трибуны! Вон! (Под шум и крики «Долой! Долой!» тов. Зиновьев покидает трибуну)»[42].

В ежовщину исключенный из партии Демьян Бедный обвил гирляндой цветов хамского красноречия длинный публичный донос, с каким он выступил на VI замоскворецкой партконференции и в котором он излагал содержание своих *частных* разговоров с оппозиционерами: «…мне приходилось принюхиваться к чертовски скверно пахнущему Радеку»[43]. «Принюхиваться», сиречь – вынюхивать настроения Радека.

Радек поделился с Демьяном Бедным впечатлением от книги П. Кушнера-Кнышева «Очерк развития общественных форм». Привожу слова Радека в Демьяновом пересказе:

«– Слушай, – говорит мне Радек, – до чего похоже:

“Эскимосы принесли с собой на север с юга гибкий, богатый язык, на котором говорили первые поколения переселенцев. Песни и сказания эскимосов – свидетели их далекого прошлого… Жизнь эскимосов как будто переломилась. В окружающих примитивных условиях она и сама стала примитивной… Надобность в прежнем богатом языке отпала. Старые песни и сказания до сих пор поются эскимосами, но смысл этих песен для современных эскимосов непонятен. Если спросить, как они представляют себе предметы, о которых сложены песни, то певцы дают явно несообразные ответы”.

Ясно? Такова, дескать, наша партия в своем большинстве. “Жизнь ее переломилась”. Она перерождается. Партийное большинство… это политэскимосы. Мы, дескать, ссылаемся на Ленина, говорим ленинские слова, но, как эскимосы, не понимаем смысла тех слов, какие мы произносим. А если спросить наших партруководителей, как они представляют себе то, о чем они говорят, то… (многоточие в тексте. – *Н. Л)* “певцы дают явно несообразные ответы”».

Что бы сказал умница Радек, послушай он речи Брежнева, Косыгина, Шелеста, Подгорного, Суслова!

Надо отдать справедливость оппозиционерам: грубостей они себе почти не позволяли. Заместитель председателя ВСНХ Смилга, выступая 22 октября 1927 года на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), сказал Калинину: «Тов. Калинин, ваше “верие” в строительство социализма – это же притча во языцех всей партии. Вы, идеолог капиталистического развития деревни, смеете мне бросать упрек в неверии в социализм»[44]. Евдокимов, задетый за живое одним из выкриков,

огрызнулся: «Врешь нахальным образом».

Более резкого выпада оппозиции я не припоминаю.

Надо отдать еще одну справедливость троцкистам. Россию они знали не намного лучше, чем Индокитай. Теоретически, конечно, были ближе к истине Бухарин, Рыков, Томский, Угланов, Рютин, Слепков и делавший тогда вид, что он всецело на их стороне, будущий «дорогой, любимый Иосиф Виссарионович». Зато «дорогого, любимого» троцкисты раскусили прежде всех и прежде всех уразумели, какими бедствиями чреват установленный им партийный режим. В 27-м году на заседании исполкома Коминтерна Троцкий заявил: «…опаснейшей из всех опасностей является партийный режим». Троцкисты уже тогда называли Сталина «диктатором» и «лидером фашистов», что́ явствует из речи Рыкова на X съезде Коммунистической партии Украины 20 ноября 1927 года[45]. Зиновьев закончил речь[46] обращением к Сталину и к тем, кто тогда за него распинался: «Если сказать в двух словах, то весь “текущий момент” нашей внутрипартийной борьбы сводится к следующему: вам придется либо дать нам говорить в партии, либо арестовать нас всех. Другого выбора нет». Мы теперь можем оценить точность зиновьевской формулировки. Весь дальнейший ход истории ВКП(б) показал, насколько был дальновиден Зиновьев. Мы теперь знаем, что выбрал Сталин. И теперь, когда я для проверки памяти пробегаю газетные листы, хранящие то, что давным-давно поразило меня и запомнилось в общих чертах, и пытаюсь охватить взглядом то, что тогда прошло мимо меня, становится ясно, что вся эта грызня была на руку Сталину. Правда, Троцкий привел на пленуме убийственную характеристику, которую Ленин дал Сталину, и эта характеристика многим запомнилась. Правда, Зиновьев впервые во всеуслышание заговорил о завещании Ленина и выразил удивление: «Почему… завещание Ленина стало нелегальным документом?.. Я видел несколько протоколов обысков ГПУ у коммунистов. Среди собранных “улик почти всегда фигурирует завещание Ленина”». Эти слова Зиновьева возбудили любопытство к завещанию не только членов партии, но и «широких трудящихся масс». Зато из дискуссии, как ее воспроизводила «Правда», явственно, что оппозиция проваливается, что большинство против нее, что «фракционеров» даже слушать не хотят. Зиновьев в той же речи жаловался: «Когда десяток человек, под гнетом аппарата, снимают свои подписи под заявлением 83-х, вы печатаете это недели и кричите: распад! А когда мы послали вам на днях еще (слово “еще” напечатано в газете жирным шрифтом. – *Н.Л.)* 1000 подписей к заявлению 83-х, вы замалчиваете это». Заявление 83-х троцкистов так и не

напечатали, а о том, как освистывали оппозиционеров на пленумах, конференциях и собраний, писалось часто и подробно. Речь Зиновьева на пленуме ЦК и ЦКК в октябре 27-го года – это вопль отчаяния: «Горячая борьба платформ перед съездами у нас бывала и раньше, при Ильиче. Но исключение сотен лучших коренных рабочих-большевиков, исключение таких работников в партии, как Преображенский» Шаров, Серебряков, Саркис, Вуйович, Мрачковский… Было ли что-нибудь подобное у нас когда бы то ни было, тем более перед съездом? Я уже не говорю об обысках и арестах, о которых все больше узнает вся партия и весь рабочий класс…» «Васька» преспокойно слушал эти жалобы и пени и продолжал есть троцкистов. И не только есть, но еще и стравливать их с теми, кому он впоследствии приклеит ярлычки: «правые уклонисты», «правые оппортунисты», – с теми, кто был ему нужен до поры до времени, только для разгрома «левых».

На том же самом пленуме выступал с речью Бухарин.

«Зиновьев (Бухарину). Во ВЦИК ты голосовал с левыми эсерами против Ленина.

Бухарин. Тов. Зиновьев, если хотите вспоминать, то вспомните, что вы мне рассказывали в 1923 году о необходимости арестовать Троцкого»[47].

Зиновьев ударил Бухарина в пах. Бухарин взвыл от боли и от злости и, не ограничившись полемическим выпадом в стиле «От дурака слышу», еще и возблагодарил ГПУ за то, что оно, прибегнув по указке Сталина к провокации, хватает троцкистов: «Через агента ГПУ нашли человека, который работал в вашей типографии и в то же время был связан с белыми. Слава ГПУ за то, что оно это сделало!» Зиновьев своей репликой дал Сталину козырь, который он прибережет на будущее. Настанет время, когда вершителям сталинского «правосудия» понадобится связать Бухарина одним узлом с эсерами и, помимо прочих обвинений, бросить на него еще одну тень – тень причастности к покушению Каплан на Ленина. Прочитав же ответ Бухарина Зиновьеву, всякий подумает: «Хорош гусь, однако, этот Зиновьев! Сейчас целуется с Троцким, а еще недавно хотел упрятать его в тюрьму!»

7 ноября, в день десятилетия Октябрьской революции, московские и ленинградские троцкисты вышли на улицы. Оружием служили им листовки, швабры и луженые глотки. В Москве с балкона гостиницы выступали Смилга и Преображенский. Муралов из окна Дома Советов шваброй отбивал попытку какого-то поборника «генеральной линии партии» поддеть крючком на проволоке и втащить в окно верхнего этажа полотнище с наклеенными на нем портретами Троцкого и Зиновьева. Раздавались крики: «Да здравствуют

мировые вожди – Зиновьев и Троцкий!», «Ура Троцкому!».

Троцкого и Зиновьева поспешили выкинуть из партии. Других видных троцкистов, соратников Ленина, исключили на XV съезде, в декабре 27-го года. Принесших покаяние восстановили в партии, но разогнали по разным городам с предоставлением работы. Зиновьева и Каменева направили в Калугу. Зиновьева назначили председателем Губплана, Каменева – заместителем заведующего Губоно, Калужане – нужно не нужно – ходили, как ходят в зоопарк поглядеть на невиданных крупных зверей, в учреждения, где больше делали вид, что работают, двое опальных. Библиофил Каменев целыми днями рылся в букинистическом отделе книжного магазина. Калужане заразили обоих страстью гонять голубей. Когда Зиновьев и Каменев шли на Старый базар покупать турманов, мальчишки кричали им вслед:

– Вон царьки пошли!

Троцкого услали сначала в Верный (ныне – Алма-Ата), потом – в Бишкек, а потом выбросили в Турцию, предоставившую ему убежище на Принцевых островах, и теперь уже в наших газетах бывшего пролетарского вождя называли: «мистер Троцкий».

Накануне моего дня рождения я зашел после уроков за мамой в учительскую, чтобы вместе с ней идти покупать антоновку для пирога.

В учительской были только она и доктор Пятницкий, каждый год проводивший медицинский осмотр учеников. Речь у них зашла о разгроме троцкистской оппозиции.

– Это еще что! – сказал Пятницкий. – Вот увидите: головы с плеч полетят…

Тогда я воспринял пророчество Пятницкого как «красное словцо». Я не мог себе представить, чтобы социал-демократическая в своих истоках партия обратила, подобно Робеспьеру и его присным, террор против «своих».

Потом я вспомнил предсказание Пятницкого и лишний раз подивился прозорливости провинциалов. Столичных жителей, притом таких, как историк Тарле и адвокат Коммодов, внутрипартийный террор застал врасплох.

Издали видней. В тишине слышней…

5

Сталин имеет немного стремление торопиться.

Ленин

Зимой 27—28-го года по Перемышлю пробежал слух, что в Москве и других больших городах закрывают частные магазины, а крупных нэпманов высылают в Нарым и прочие тому подобные отдаленные места.

Прикрыли частные магазины и в Перемышле. Прощай, зиновьевские булки и немешаевские баранки! У кооператива выросли «хвосты».

На уроках обществоведения нам до самого последнего времени внушали, что троцкисты, требуя ликвидации НЭПа, допускают грубейшую ошибку: наша кооперация еще недостаточно сильна, чтобы удовлетворить потребности населения, – без частных торговцев нам пока не обойтись; недаром, мол, Ленин говорил, что НЭП вводится «всерьез и надолго».

И вот мы, разгромив троцкистов, совершаем то самое, за что мы их осуждали. И те самые результаты, к которым, по мнению сторонников генеральной линии партии, неминуемо должна была привести политика троцкистов в торговле, уже налицо.

Я обратился за разъяснениями к обществоведу.

Смущенный преподаватель отделался общей фразой:

– Любимов сомневается в правильности политики нашей партии…

Я искренне недоумевал: почему вдруг такой поворот на 180 градусов? Почему я получил шлепок за то, что вызывало одобрение моего учителя еще какой-нибудь месяц тому назад?.. Откуда же мне было знать тогда, что генеральный секретарь ВКП(б) Сталин, точивший зубы на Троцкого и на троцкистов, исповедовал троцкизм куда фанатичнее, чем сам Троцкий, что он боролся с Троцким не за принцип, а только за власть, и что как скоро он, преимущественно изворотливостью Бухарчика и его начитанностью от марксистско-ленинского «писания», одолел троцкистскую когорту, так сей же час принялся проводить программу Троцкого, но под другим соусом? Недаром одним из главных обвинений, предъявляемых бухаринцами сталинистам, было обвинение в скатывании к троцкизму. Троцкисты требовали сверхиндустриализации. Нет, зачем же «сверх»? Это «сверх» отпугивает массы. Не «сверх», а просто индустриализации страны! На бумаге – «просто», а по существу – то же самое «сверх», ибо индустриализация Сталина мгновенно оголодала и оголила страну. Один из главных троцкистских теоретиков Преображенский в книге «О новой экономике» рассуждал так: каждая новая социально-экономическая формация требует источника «первоначального накопления». Для капитализма таким источником явились колонии. У социализма колоний быть

не может. Социализму колонии заменят крестьяне. К этому сводилась его теория «первоначального социалистического накопления». «Ах ты, такой-сякой! – возопил Сталин вместе с тогдашними своими сторонниками. – Ты что же это, крестьян в колониальных рабов превратить хочешь?»[48]. А немного погодя Сталин бросит лозунг: «Коллективизация сельского хозяйства!» – и поработит крестьянство.

Летом 28-го года мы читали отчеты в газетах о первом гласном суде над интеллигентами-«вредителями», известном под названием «шахтинского дела».

Судят, ни мало ни много, пятьдесят три человека. Судят в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Судят с 18 мая по 5 июля 1928 года. «Первоприсутствующий» – Вышинский, будущий заместитель Наркомпроса Луначарского, ведавший высшими школами, так называемым профессиональным образованием, потому именовавшийся «Начальником Главпрофобра», в 30-м году председательствовавший на процессе Промышленной партии, а затем, когда *понадобился* более хищный зверь, сменивший Акулова на посту Верховного прокурора. Главный государственный обвинитель – Крыленко, которого уничтожат в ежовщину. Среди общественных обвинителей будущий Наркомфин Гринько, которого в 38-м году посадят на скамью подсудимых вместе с Бухариным и Рыковым и расстреляют, Осадчий и Шейн, которых через два года арестуют как вредителей. Заключенный Осадчий будет давать «свидетельские показания» на процессе Промпартии.

Первый блин вышел комом. Еще не наторели, не насобачились. Да и материал попался тугоплавкий.

– Подсудимый Кузьма…

– Виновным себя не признаю…

– Подсудимый Нашивочников…

– Не признаю себя виновным…

Не признают себя виновными Колодуб Емельян, Люрн, Элиадзе, Колодуб Андрей, Васильев, Беленко, Антонов, Горлецкий, Стояновский, Семенченко, Владимирский, Овчарек, Кувалдин, Некрасов А., Чинокал, Великовский, Скарутто, Рабинович, Именитов, Юсевич, Отто, Штелъблинг и Мейер.

– Подсудимый Колодуб Емельян…

……..

– Я о существовании организации не знал и в ней не участвовал. Признаю себя виновным в том, что недостаточно проявил энергии в смысле проведения и постановки профобразования…

– …я себя не признаю виновным во вредительстве.

«Частично» признали себя виновными Сущевский, Калнин, Потемкин, Орлов, Шалдун, Бояршинов, Ржепецкий, Будный, Фаерман, Горлов, Мешков, Некрасов И., Бадштабер.

– Я абсолютно не виновен, – заявил в последнем слове подсудимый Рабинович. – Мне не в чем раскаиваться и не о чем просить. Все эти события, которые прошли перед судом, являются для меня загадкой.

Почти все защитники держали себя независимо, без реверансов в сторону суда и прокуратуры, обходились без возглашений многолетия Советской власти, ставших обязательными для адвокатов спустя несколько лет, спорили с обвинителями, доказывали несостоятельность их доводов.

Для защитника Левенберга была неопровержима, как он выразился, «полная невиновность» одного из главных обвиняемых – Кузьмы.

Защитник Оцеп сообщил о том, что Гаврюшенко «первый назвал фамилию Рабиновича как члена московского центра. Ровно через день после допроса, во время которого Гаврюшенко назвал имя Рабиновича, он покончил с собой».

– Рабинович… имеет право с жесткой койки тюрьмы перейти к очередному чертежу советского строительства, – утверждал защитник Оцеп.

О Юсевиче и Горлецком, которых суд приговорил к расстрелу, защитник Малянтович сказал, что они «совершенно неповинны в тех преступлениях, которые привели их на скамью подсудимых… уличающие Юсевича показания Матова являются злостным оговором, в котором Матов в закрытом заседании признался…».

Улики против Антонова Малянтович назвал «смехотворными».

– Привлечение Антонова на скамью подсудимых надо считать одной из загадок процесса, – заявил он.

Итак, стройности ансамбля не достигли. Но зато в язык официально-юридический и в речевой обиход проникли слова «вредительство» и «вредитель». Но зато бациллу недоверия к инженерно-технической интеллигенции и к интеллигенции *вообще* удалось привить партийному и беспартийному отребью, партийным и беспартийным легковерным межеумкам и недоумкам.

В мае 29-го года в «Известиях», которые тогда уже имела материальную возможность выписывать моя мать, я прочел сообщение ОПТУ.

ОГПУ доводило до сведения граждан СССР, что оно раскрыло контрреволюционные вредительские организации на

железнодорожном транспорте и в золотоплатиновой промышленности. «Идеологическими вдохновителями и практическими руководителями» этих организаций ОГПУ объявило бывшего председателя правления Московско-Кавказской железной дороги, а при Советской власти – начальника экономической секции центрально-планового управления Народного Комиссариата путей сообщения фон Мекка; в мировую войну начальника перевозок при царской ставке, а при Советской власти члена центрального комитета НКПС по перевозкам Величко и министра торговли и промышленности в эпоху Временного правительства, коменданта защиты Зимнего дворца в Октябре 17-го года, а при Советской власти – профессора Ленинградского горного института Пальчинского.

«Коллегия ОГПУ в заседании своем от 22 мая, рассмотрев дело вышеуказанных организаций, постановила: фон Мекка Н. К., Величко А. Ф. и Пальчинского П. А., как контрреволюционных деятелей и непримиримых врагов советской власти, расстрелять.

Приговор приведен в исполнение.

Остальные участники указанных к.-р. организаций приговорены на разные сроки заключения в концлагеря».

Под сообщением – подпись: «Зам. председателя ОГПУ Г. Ягода».

В тот день, когда я прочел сообщение ОГПУ, фамилия одного из главпалачей, которую я до переезда в Москву произносил неправильно, ударяя ее на первом слоге, впилась в мою память.

Как явствует из сообщения, эти люди были казнены и отправлены на каторгу без суда. Шахтинское дело показало ОГПУ, что не сдавшихся во время следствия выволакивать на суд невыгодно.

В моем классе одним из лучших учеников по обществоведению был Ваня Миронов. Разбирая какой-то сложный вопрос, обществовед обратился к нему:

– Ну, Миронов, «Бухарин» наш, что скажешь ты?

Так вплоть до окончания школы Миронов у нас в «Бухариных» и ходил.

На стене нашего выпускного класса в 28—29-м году висела вся «кремлевская девятка», как тогда называли за границей Политбюро.

Среди других членов «девятки» на нас смотрел и редактор «Правды», он же секретарь ИККИ, Бухарин, и председатель Совета Народных Комиссаров СССР Рыков, и председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов Томский.

В апреле 29-го года мы с матерью проводили каникулы в Москве, и там уже только и разговору было, что о новой

оппозиции, которую возглавляют Бухарин, Рыков и Томский, что они против ликвидации НЭПа, против сталинских темпов индустриализации и политики Сталина в деревне и что дела Сталина – швах: из видных деятелей его поддерживают всякие ничтожества вроде Молотова, которого Бухарин прозвал Каменная Жопа. Даже Калинин, хоть и пьяниссимо, но подпевает «правым». Даже член Политбюро, Нарком путей сообщения Рудзутак, хотя его и прозвали: Рудзу-так, Рудзу-этак.

В 29-м году я окончил среднюю школу 16-ти лет. Ни один вуз не принял бы у меня документов. Надо было год подождать. Да, но какую дорогу выбрать? Идти на литературный факультет мне отсоветовали все в один голос – и москвичи, и мои учителя, и родные. Закабаление литературы политикой, политикой мелкой, «текущей», было настолько очевидно, что пришлось мне скрепя сердце отказаться от самой заветной своей мечты. История?.. Там же разгул вульгарной социологии, да еще антипатриотической, «покровской». Мерси покорно!.. Так куда же все-таки поступать? На медицинский?.. Георгий Авксентьевич доказывал, что медик из меня, как из Хлебного Духа – председатель общества трезвости, что со мной по окончании вуза повторится та же история, что с Вересаевым, если не хуже.

– Ведь у тебя руки как крю́ки, – с полным основанием утверждал Георгий Авксентьевич. – А с твоей впечатлительностью ты при первой неудаче или бросишь врачеванье и не будешь знать, куда себя приткнуть, или повесишься.

Думали-гадали, судили-рядили и наконец остановились на том, что в 30-м году я буду держать экзамен на отделение иностранных языков: пусть это и проселочная, а все-таки литературная дорога.

Я сдался не без борьбы. Я терпеть не мог говорить на каком-нибудь другом языке, кроме русского, – такова моя особенность, с которой мать ничего не могла поделать еще в ту пору, когда я был подобен воску. В моей детской и юношеской нелюбви не только к устной практике, но и к иностранным языкам вообще, как это ни странно, повинна такая превосходная учительница, как моя мать. Для домашнего чтения по-французски она давала мне сохранившиеся у нее с детства изделия графини де Сегюр: «Les malheurs de Sophie», «Lespetites filles models»[49]. По-русски я читал Леонида Андреева и Федора Сологуба. Что же занимательного могли представлять для меня приключения до тошноты примерных девочек Камиллы и Мадлены, противопоставляемых злополучной Софи?..

Готовясь в вуз, я читал – правда, в отрывках – больших французских писателей: от Рабле, Мольера и Бомарше до

Мопассана и Доде. Понятно, после графининого сюсюканья меня оглушили громовые раскаты настоящего французского языка. После мелководных школьных учебников я захлебывался в его море и насилу выплывал. Но то были трудности не отпугивающие, не расхолаживающие, а подхлестывающие, вдохновляющие. Когда французская фраза, не утратив при переводе смысловых оттенков, звучала у меня по-русски, я испытывал удовлетворение подмастерья, который видит, что вещь, над которой он трудился с увлечением, сработана им на совесть. Так я стал переводчиком: стерпелось-слюбилось.

Я окончил девятилетку с так называемым педагогическим уклоном. В 9-м классе нам преподавали методику русского языка, методику арифметики и, конечно, педологию. Мы ходили в перемышльскую начальную школу и в однокомплектную, двухкомплектную и четырехкомплектную сельские школы на «пассивную практику» и сами давали уроки в присутствии наших руководителей. Летом я защитил дипломную работу на тему «Самоуправление учащихся» и получил право преподавания в начальных школах. Однако надевать на себя учительский хомут значило заранее отказаться от подготовки в вуз. У сельских учителей отнимала уйму времени не столько школа, сколько участие в бесконечных «кампаниях». А засесть дома, когда в районе не хватает культурных сил, – это было мне не по нраву. И я, выделив себе достаточно времени для занятий французским языком, поступил «ликвидатором неграмотности» в село Корекозево. Это означало, что я должен был три вечера подряд – в четверг, пятницу и субботу – обучать чтению, письму и арифметике малограмотных жителей и, главным образом, жительниц Корекозева, как пожилых, так равно и молодых. Получал «ликбезник» половину жалованья сельского учителя – двадцать с чем-то рублей в месяц.

Артиллерийской подготовкой к «развернутому социалистическому наступлению» на мужика явился у нас арест мельников. В одну ночь похватали их всех. Кое у кого нашли при обыске незарегистрированные охотничьи ружья. Тяжкая улика: мельники умышляли на жизнь советских активистов.

Первый раз в жизни я видел арестованных. Угрюмые, оцепенелые, они сидели около перемышльского почтового отделения на грузовике, ожидая отправки в Калугу. Около грузовика стояла жена одного из них, Якова Семеновича Краснощекова, у которого я объедался на Масленицу блинами, и, неотрывно глядя на мужа, плакала, не вытирая слез. Как я потом выяснил, участь «террористов» оказалась не столь уж мрачной: их

разослали на вольное поселение по городам Северного края.

В Корекозеве на торжественном предоктябрьском заседании кто-то из активистов потребовал ареста и смертной казни для трех крестьян, участников восстания, 12 лет назад амнистированных манифестом ЦИКа. Предложение было принято единогласно. Всех троих похватали, но тоже только выслали.

Кое-кого выхватили и в других селах и деревнях, выхватили тех сельских священников, которых особенно уважали крестьяне, и на этом артиллерийская подготовка кончилась. Началось наступление. Крестьян стали загонять в колхозы, как скот на бойню.

Приезжает уполномоченный из района – член райкома или райисполкома. Созывается общее собрание всех, не лишенных избирательных прав. Краткий доклад. Заканчивается доклад лозунгом:

– Кто против колхозов, тот враг Советской власти.

Ставится на голосование вопрос об организации в данном селении колхоза.

– Кто за вступление в колхоз?

Вырастает лес с пугливой, стремительной покорностью поднятых рук.

– Кто против?

Молчание.

– Кто воздержался?

В редких случаях позволяют себе воздерживаться «маломощные» середняки или бедняки – их обзывают за это «подкулачниками», «кулацким охвостьем», «кулацкими подпевалами».

В редких случаях «бедняцкий элемент» отваживается и на возражения докладчику. Докладчик угрожающе объявляет:

– Это не наш голос, товарищи!

В ответе за них кулаки-«твердозаданцы» (то есть те, кто получал от власти «твердое задание», с кого взимали, помимо обычного налога, дополнительные, натурой или деньгами), это все попы, это их работа, это они провели агитацию среди несознательных бедняков, это мутит классовый враг.

Замечу в скобках, что далеко не все храбрецы из середняков и бедняков отделывались дешево. В циркуляре ЦК, опубликованном 15 марта 1930 года, было сказано черным по серому, что «в число “раскулаченных” попадает часть середняков и даже бедняков…». В том же циркуляре говорилось и об «аресте середняков и даже бедняков…».

Власти, убедившись в беспроигрышности стратегии и тактики «социалистического наступления», от радости взяли да и

объявили Перемышльский район районом сплошной коллективизации.

В калужской газете «Коммуна» рост колхозов по районам изображался наглядно: только Перемышльский район непрерывно летел на самолете, наиболее отсталые районы ползли черепахами.

Раз сплошная коллективизация, стало быть – «ликвидация кулачества как класса».

Моего бывшего преподавателя обществоведения чуть было не турнули из партии. Пришили ему «правый уклон» и записали строгий выговор.

Всех перемышльских партийцев и комсомольцев прикрепили к «кустам», то есть к нескольким соседним колхозам. Прикрепленным давалось задание: хоть роди, а выяви в своем кусте кулаков!

Мой бывший учитель поначалу не смог выявить в гремячевском кусте кулаков за неимением таковых: никто в его кусте не применял наемной рабочей силы. Как тут быть? Не выявишь – из партии вылетишь. И так уж ему в райкоме лихо намылили шею. Вернулся в свой куст «правый оппортунист», и кулаками оказались у него зажиточные середняки.

В самом Перемышле кулаками сочли огородников – одних из наиболее полезных горожан. Огородник Глухарев снабжал капустой не только округу, но и Москву. Да, он нанимал деревенских девушек полоть гряды, но он же не заставлял их полоть силком: кто нуждался в приработке, те нанимались, а Батрачком следил, чтобы при расчете он их не объегорил. Весной, только стает снег, глухаревские работницы чистили по улицам города навоз и свозили его на огороды. От этого была польза и Глухареву, и городу: через два-три дня перемышльские мостовые сверкали паркетной чистотой. Узнав, что он подлежит «ликвидации», Глухарев ночью бежал с женой в неизвестном направлении. После его бегства город тонул в навозной жиже, а на огородах буйно разросся сорняк.

В колхозах – несусветный кавардак. Дохнут «обобществленные» телята, поросята, куры. Болеют неухоженные коровы, перестают давать молоко. Одну лошадь запалили, другую опоили, третья захромала, четвертая пала. У крестьян опустились руки. Мужчины лежат на печке или собираются кучками на улицах, покуривают да разговоры разговаривают. Отлынивают от дела свинарки, доярки.

Председателем корекозевского колхоза назначили калужского рабочего – так называемого двадцатипятитысячника Морозова. (Решением пленума ЦК, состоявшегося в ноябре 29-го

года, 25000 рабочих «с достаточным организационно-политическим опытом» были посланы на руководящую работу в колхозы.) Как-то понадобилось председателю ехать в «район». Попробовал он запрячь лошадь – ничего у него не выходит. Он, бедняга, и подступиться к лошади боится, дугу называет оглоблей, оглоблю – дугой. Мужики, упершись руками в бока, гогочут.

– Одна слава, что председатель! Лошадь запречь не умеет, а туды же берется управлять!

– Управлять-то лёгко, а ты вот поворочай-ка с наше!

– Красный барин!.. Давай пары́ держать, что не запрягешь!

– Тебя бы самого запречь, да говно на тебе возить – больше ни на что не гож! И оратель-то из тебе – ни бе ни ме ни кукареку.

– Э-эх! Голова – три уха! Ну́-каси, отойди от лошади! Так и быть, запрягу!

Корекозево – самый крупный колхоз не только в районе, не только в губернии, но и во всей Московской области. Все пуганое Корекозево вошло в колхоз, за исключением бедняка Максимова, на которого никакие увещания не действовали. Мне не позволили принять его сына в «ликбез».

На Корекозево устремлено внимание Москвы. И чуть не каждый день сюда заявляются столичные дармоеды с портфелями. За всю жизнь село не видело столько гостей, сколько в эту зиму – от представителей Наркомзема и Мособлисполкома до какого-то писателя Мукосеева, якобы задумавшего роман о корекозевск*ом колхозе,* и до актеришки по фамилии Марьин из Театра комедии (бывшего Театра Корша).

«Коробейники» и «Ухарь-купец» были тогда для публичного исполнения запрещены: «кулацкие песни». А Марьин в избе-читальне обучал девушек куплетам с колхозного пылу-жару:

Эх, сыпь в колхоз,
Посыпай в колхоз,
Потому колхоз
Кулака бьет в нос!

В Перемышль повадился ездить из Калуги партийный деятель с электромеханического завода. Фамилия его была Шабанин. Георгий Авксентьевич прозвал этого заморыша со сморщенным лицом лилипута Гусиным Выкидышем. Гусиный Выкидыш специализировался на антирелигиозных выступлениях. Отрицал он бытие Божье самым решительным образом и весьма убедительно.

– Попы нам морочили голову, – говорил он, – что если твой

родственник помрет, то он тебе с неба жареных рябчиков пошлет. Вот померла моя жена, и я все ждал, когда она мне жареных рябчиков пришлет, Ждал, ждал – так и не дождался. Стало быть, товарищи, – умозаключал Гусиный Выкидыш, – все это один поповский дурман, и более ничего, и никакого Бога нет!

Чем сильнее гнет, тем обильнее стекает мутная сыворотка.

Был у нас в Перемышле некий Семен Афанасьевич Зябкин, приземистый, широкоплечий, с лицом более обширным, нежели у иных зад. До революции Зябкин говорил о себе, что он – прямой потомок каких-то мифических князей Вырских. В период «социалистического наступления» «князь Вырский», еще совсем недавно любивший в праздничные дни так громыхнуть «Апостола», что у молящихся барабанные перепонки трещали, в церковь ни ногой. Зато на всех собраниях – в первом ряду, произносит громовые речи. Однажды в финале он внес предложение:

– Товарищи! Предлагаю всем спеть «Третий Интернационал»!

…Зимой перемышльских граждан созвали на собрание. На повестке дня – доклад заведующего АЛО райкома (агитационно-пропагандистским отделом) жабообразного Докучаева с голосом, как у кастрата. Тема доклада – ликвидация кулачества как класса и ликвидация новой буржуазии на базе сплошной коллективизации.

После его доклада кто-то огласил список лиц, намеченных к выселению из собственных домов. В список попали священники, бывшие купцы, огородники, кое-кто из сапожников, владельцы маслобоен и крупорушек, валенщики, и кого-кого там только ни оказалось!

Попросил слова мой бывший одноклассник Боря Соколов, «Багыс Палыч».

Взойдя на эстраду и обращаясь к президиуму, он зашлепал одеревеневшими от волнения губами:

– Товарищи! За что же вы моего отца выгоняете из дома? Ведь он только до революции дьяконом был, а уж в восемнадцатом году снял сан и все время работал в советских учреждениях… Он первый разучил в Перемышле «Интернационал»… За что же вы его?..

Над расстригой-дьяконом смилостивились.

На другой день ко мне пришла ученица выпускного класса Маша Дёшина.

– Коля! Я у тебя книги брала почитать – вот они.

– Когда же ты успела их прочитать?

– Да я их и не дочитала. Нас выгоняют из дома, все вещи уже вывезли, завтра велели уходить.

– Куда уходить?

– Куда глаза глядят… Ну, прощай, Коля! Может, когда-нибудь и увидимся…

Я сказал Маше, что вечером приду к ней.

Вечером я и два моих товарища, невзирая на то, что за якшанье с раскулаченными нам могло влететь, пошли к Дёшиным. Жутью веяло от голой пустоты их комнат.

Мы попытались ободрить павших духом взрослых и детей и уговорили отца семейства Павла Михайловича ни в коем случае не подчиняться приказу, а хлопотать.

Он нас послушался – и напрасно: лучше было бы ему в «год великого перелома» уйти из Перемышля куда глаза глядят, чем в ежовщину уйти под конвоем в Лихвинскую тюрьму.

Председательница нашего еовета, у которой глаза все время были на мокром месте от жалости к раскулаченным, пошла в райисполком и сказала:

– Я об Дёшине ставлю вопрос как об спецу́. Перемышльскому колхозу без спецов огородного хозяйства не поднять. А станет Дёшин хорошо работать, мы с его и статью сымем.

(«Снять статью» означало восстановить в правах гражданства; на восстановленных уже не распространялась лишавшая этих прав 69-я статья Конституции.)

Два-три активиста, которые станут активистами и в ежовщину, ездили раскулачивать и потом с видом победителей восседали на возах, нагруженных чужим добром. Многим попользовались эти самые активисты, многим попользовались члены совета. Вещи похуже продавались по дешевке в кооперативе.

Федор Дмитриевич Малов и тут остался верен себе. Наталюшка была добрейшая баба, но баба все-таки в ней сказалась: ее вводили в соблазн дешевые полушалки. И она только заикнулась, не купить ли Нюше в приданое хоть один полушалочек.

– Не нами наживалось, не нам и носить, – отрезал Федор Дмитриевич. – Близко не смей подходить к раскулаченным вещам – они все слезой политы.

Когда валенщику сказали, чтобы он убирался с семьей на все четыре стороны из своего недавно построенного, еще пахнувшего свежеобструганным деревом просторного дома с украшенным резьбою крыльцом, он сошел с ума: зимой ходил по улицам голый до пояса. На него махнули рукой.

Сошел с ума бывший городовой, Дмитрий Алексеевич Котельников. Он стал гладко-гладко бриться – под «большевика», ходил на все собрания и слушал ораторов, уставясь на них

неподвижным, напряженным взглядом.

На одном из собраний возгласили:

– Лишенных избирательных прав просим удалиться.

Котельников продолжал сидеть. Замешательство. Возглашают снова. Котельников с места не трогается. Все на него выжидающе смотрят. Наконец он выдавливает из себя:

– Тут есть только один лишенец. Котельников… И, помолчав, вопросительно добавляет:

– Но его, кажется, уже восстановили?..

Котельникова, как умалишенного, тоже оставили в покое.

В Перемышле проходили «чистки советского аппарата» и «чистки партийных организаций». На этих чистках каждый, кроме лишенцев, имел право лить на чистившихся помои в количестве неограниченном.

Из учреждений вычищали «по первой, второй и третьей категории». Кого вычистят по первой категории, тот подыхай с голоду или спускайся в шахту и берись за отбойный молоток или вози вагонетки с углем. Ставилось в вину» главным образом, сокрытие социального происхождения, рода занятий до революции, службы в Белой армии. Чистка сопровождалась экзаменом по политграмоте. Провалившихся вычищали по третьей категории: оставляли в том же учреждении, но понижали в должности.

У нас вычистили из партии за «правый уклон» Леонида Павловича Сахарова, одного из первых перемышльских комсомольцев, вступившего в комсомол, когда по случаю приближения войск Деникина к границам Калужской губернии Перемышль был на военном положении, в годы НЭПа образцово поставившего сельскохозяйственную кооперацию. Рачительный хозяин, Сахаров снабжал в кредит сельскохозяйственными орудиями не лентяев, а работяг. Вот за претворение в жизнь бухаринского лозунга «Обогащайтесь!» он и вылетел из партии. На чистке этот выдержанный человек ничего не мог сказать в свое оправдание – он плакал от обиды. Некоторое время спустя его все-таки восстановили в партии.

В феврале 30-г о года лед под пятою колхозного строя начал хрустеть и ломаться. Зачернели полыньи, заурчала вода, лед раскалывался все звучней и звучней и наконец тронулся…

Оку, Жиздру, озера лед сковывал крепко. Лед пошел в селах и деревнях. Голоса стали громче, злее, смелее, особенно – бабьи.

То здесь, то там до меня долетали обрывки бабьих разговоров:

– Посулились, брехуны: «В колхозах у вас будет не жизнь, а малина».

– Да, жди… На то лето, не на ето, посля дожжычкя в четверг.

– Да ведь ето хуже помешшиков!

– Да ведь ето хуже крепостного права!

– Не одних кулаков – усех разорили: остались у нас блоха на аркане да вошь на цепи.

– Это что ж выходит, а? Жану отдай дяде, а сам ступай к бляди?

Теперь верховодили бабы. Мужиков они из страха за них не выпускали из дому. На собрания ходили они и там драли горло. Целыми деревнями ходили в Перемышль и под окнами Райколхозсоюза устраивали антиколхозные митинги с «немилостивым руганием» Советской власти.

В одном селе «агитатору» Федьке Прозоровскому с жульнически бегавшими глазками и заячьей губой, вечно проворовывавшемуся, исключавшемуся из партии и садившемуся в тюрьму, то за хищения, то за взятки, и неизменно восстанавливавшемуся, бабы «безо всякого Якова» спустили штаны и подштанники, насыпали в исподнее снегу, потом надели на него и то и другое, опутали всего Федьку веревками, чтобы снег к телу прилегал и чтоб Федьке трудней было потом разоблачиться и вытряхнуть снег, а затем предложили удалиться, снабдив его весьма запутанным и неудобосказуемым адресом.

Потом бабы с хохотом рассказывали о своем подвиге:

– Почесть две версты дул без оглядки!

В другую деревню заявился Гусиный Выкидыш.

На собрании женщины, увидевшие Шабанина впервые, приняли его за переодевшуюся мужчиной Крупскую, приехавшую инкогнито.

– Круповская, объявись! Круповская, защити! – истошными голосами завопили бабы.

– Да это вам, бабы, помстилось! Он из Калуги, Шабанин ему фамилия, – разуверял их кто-то из сельсоветчиков.

– Ничего не помстилось! Круповская, объявись! Мы табе расскажем, как издеваются над мужуками!

– Неужли ж утаим правду? Всю выложим! А ты, Круповская, там, в Москве, за нас заступись!..

– Такая разножопица кругом идеть!

– Да уж, наделали делов, паралик их расшиби!

– Ты съезди в Москву и вертайся к нам. Скореича! А то они опять набуровют…

– Круповская, объяви-ись!

Лед затрещал и тронулся по всей крестьянской России.

И вот 2-го марта 30-го года «Правда» напечатала статью Сталина: «Головокружение от успехов».

«Сталин немного имеет стремление торопиться», – писал 26 сентября 22-го года на своем прогрессивно-параличном языке Ленин в Политбюро.

Сейчас Сталин понял, что он зарвался. Автор статьи «Год великого перелома», напечатанной в «Правде» 7 ноября 1929 года, бросал свои войска даже не в наступление, а в атаку. Теперь он отступал с барабанным боем.

В «Головокружении от успехов» и «Ответе товарищам колхозникам», появившемся в «Правде» от 3 апреля, Сталин применил излюбленный свой прием: я – не я, и лошадь не моя. Виноваты перегибщики.

В этих статьях он раз навсегда задал тон всей советской прессе, всем докладчикам от велика до мала – начинать за здравие: успехи наши огромны, – а затем в молебное пение исподволь вплетать пение заупокойное: от таких успехов поневоле, мол, закружится голова.

После «Ответа товарищам колхозникам» товарищи колхозники валом повалили из колхозов. Перемышльский район полетел на самолете в обратном направлении.

Ну, а если коллективизация не сплошная, то какая же может быть ликвидация кулачества? Раскулаченным, не отправленным в лагеря и на поселение, стали возвращать не раскупленные в кооперативах вещи, скот, только не их, а какой похуже, кое-кому даже вернули дома.

В одном селе крестьяне прошлись с черным знаменем, на котором белыми буквами было написано: «Долой колхозы! Да здравствует товарищ Сталин!»

На собрании крестьян подгородных деревень» состоявшемся в Перемышле, крестьяне настояли на том, чтобы послать Сталину приветственную телеграмму: «Спасибо товарищу Сталину за то» что избавил нас от ига колхозов».

Вряд ли эту телеграмму послали в Кремль, но текст ее был принят единогласно.

На собрании в Корекозеве выступил молодой крестьянин, только что вернувшийся из Красной Армии, и, обращаясь к представителю из центра, который пропел свою арию сладеньким тенорком (такова была теперь «установка», и ею обязаны были руководствоваться все – от посланцев из Москвы до сельских учителей: не цыкать на крестьян, а успокаивать их), сказал в моем присутствии слова, вызвавшие шумное одобрение до отказа набитой избы-читальни:

– Династия Романовых просуществовала более трехсот лет, и то ее свергли, потому что народу она стала в тягость. Смотрите, господа-товарищи: если будете и дальше так обращаться с

народом» как бы и вас не постигла романовская участь!..

С осени учителям, агрономам, зоотехникам, ликбезникам, избачам вменялось в обязанность «агитировать за колхозы». Время от времени пытался убеждать своих учеников и я. Однако я неукоснительно оставался в дураках. Ученики, несмотря на то, что подавляющее их большинство составляла зеленая молодежь, припирали меня к стене, и мне оставалось только, слушая их возражения, хлопать ушами. Силы у нас были неравные: они применяли лучший род оружия – знание дела, а я, как они выражались, «волей-поневолей», пускался в отвлеченности. И – что не менее важно в споре – внутренне я сам был далеко не уверен в преимуществах коллективного хозяйства перед единоличным. С моими многочисленными оппонентами у меня на первых же занятиях установились хорошие отношения, и после словопрений я всякий раз читал на их лицах не злорадное, а добродушное торжество победителей.

Теперь нам вменялось в обязанность «умиротворять».

Мама была прикреплена к колхозу в подгородной деревне Поляне, я – к своему корекозевскому, сколько помню, имени 1 Мая. Расходясь по своим колхозам, мы прощались с таким чувством, что, может быть, больше и не увидимся. Восстание в Корекозеве было нам памятно. Не ровен час, где-нибудь вспыхнет пожар – в огонь могут бросить всех подряд.

Как-то перед занятиями прибывшие в Корекозево представители перемышльских правительственных сфер попросили меня произнести примирительную речь.

Слушали меня внимательно и без усмешечек. На сей раз я говорил вполне искренне. Мне придавала духу наивная вера, что опыт с коллективизацией не повторится: «фокус не удалей», факир оскандалился. Разве мог я предвидеть, что это всего лишь усыпляющая бдительность противника передышка, что это очередной изворот никогда не отменявшего, а лишь в силу крайней необходимости откладывавшего свое представление факира?.. По своему обыкновению он свалил вину на других. Слетели все, от секретаря Московского комитета партии Баумана, чье место заступил очередной сталинский фаворит Лазарь Каганович, и до перемышльских райкомовцев и райисполкомовцев.

Осенью я уехал из Перемышля в Москву, и новые люди вновь принялись сгибать крестьян в колхозную дугу уже не при мне.

…Занятия в «ликбезе» кончились в апреле. Перед Пасхой я уехал в Калугу.

…В Великую Субботу я днем заглянул в городской сад.

Я подошел к откосу. С откоса – вид на Оку, на дорогу в

Перемышль. Слева от моста – смешанный лесок. Справа – овраги, деревни, поля и перелески, поднимающиеся к горизонту.

…С какой отрадной, с какой подмывающей тоской смотрел я когда-то на родную дорогу! Теперь я тоже, наезжая в Калугу, смотрю на нее с тоской, но только уже с безотрадной – с тоской, какою тоскуют одинокие старики: она меня не зовет, оттого что-некуда и не к кому звать…

…В Великую Субботу 30-го года день был исполнен первозданного ликования – только весной выдаются такие дни. При взгляде на дорогу меня, конечно, потянуло в близкую даль, но на этот раз не с обычной властностью: сегодня я пойду к пасхальной заутрене, я услышу «Христос воскресе» – то, что моему слуху дороже всего на свете, то, ради чего все-таки стоит жить на моей грешной, на моей страшной, на моей безумной, на моей несчастной и все-таки прекрасной земле. В душе моей по-предпасхальному светло и тихо. «Осияй меня светом лица Твоего!..»[50]

И тут я вдруг подумал: «Могу ли я простить Сталину человеческие страдания, которые я видел воочию? Могу ли я простить ему то, что он сделал с земледельцами, с духовенством, с мастеровыми?» Ответил я, не виляя перед самим собой: «Да, могу, но только ради “торжества из торжеств”[51]. Всепрощающее величие истинно христианского духа мне недоступно. Пройдет праздничный подъем – и у меня уже не хватит сил перебарывать ненависть». В 27-м году, после расстрела двадцати, я стал *идейным* противником того, чему с самого начала было дано умышленно ложное название, которое я употребляю на страницах своей книги всегда условно: я стал сознательным, хотя и *совершенно бездеятельным* противником «советской власти. Фигура Сталина мне, мальчику-провинциалу, была тогда не ясна. Этой зимой я понял, что в настоящее время зло исходит от него; остальные – пешки в его руках, начиная с ближайших пособников и кончая секретаришками райкомов. Он не просто хищник, а хищник трусливый: чуть что – в кусты, и это, быть может, самое мерзкое в нем.

В 30-м году поступавших в высшие учебные заведения экзаменовали только по предметам, которые они избрали своей специальностью. Летом я выдержал экзамен на переводческий факультет Московского института новых языков. Учебный год начинался в первых числах октября.

…Я уезжал из Перемышля – в сущности, навсегда, хотя в тот день я не в силах был это себе представить – с горестным счастьем в душе. И горе отрыва от жизни привычной

торжествовало над счастьем отлета в новую жизнь.

…По обеим сторонам дороги золотела, багрянела, горела, пламенела, рдела листвою, ало пылала, полыхала закатом Осень. И казалось мне, что это лучшая, самая юная пора моей молодости зажгла многоцветные, праздничные, прощальные огни.

Москва, октябрь – ноябрь 1970

Часть вторая

…как трудно найти человека с широким кругозором, напоминающим тот беспредельный простор, воздухом которого вы дышите на берегу моря! Я знал таких людей – их уже нет в живых.

Мопассан

Все души милых на высоких звездах…

Анна Ахматова

Москва

Недосыпая, недолюбя
Молодость наша шла.

Эдуард Багрицкий

…в какой только рай нас погонят тогда?

Александр Вертинский

…И вот я московский студент. Я сравнительно скоро научился нырять в толчею на улицах и плыть в ней так, чтобы по возможности не сталкиваться со встречными и не задевать обгоняемых, Я научился висеть на подножках трамваев и автобусов, ввинчиваться в пробку, образуемую стоящими в проходе, и, работая плечами и локтями, протискиваться к выходу. Меня скоро перестал раздражать почти непрерывный, злобный звон наступавших друг другу на пятки трамваев и собачий визг их колес на поворотах.

Перенаселенность города москвичи уже тогда ощущали на своих боках. Москва была не приспособлена к тому, чтобы стать столицей. Революция расплодила в ней великов множество учреждений – от народных комиссариатов и институтов до курсов и домоуправлений. В начале НЭПа сюда хлынули жители провинциальных городов. В «год великого перелома» сюда бежала от коллективизации и от раскулачивания крестьяне, устраивались дворниками, устраивались на производстве, ютились в промозглых подвалах, в холодных бараках. Городской трамвай не справлялся с перевозкой толп. Постоянные, мучительно долго рассасывавшиеся заторы на трамвайных путях, редко ходившие автобусы испытывали терпение спешивших домой, промерзших, изжарившихся на солнце, "промокших под дождем рабочих и служащих. Трамваи извивались красными змеями, останавливались, ползли дальше, снова останавливались. Ежевечерне обвивали они безнадежно неподвижным кольцом Лубянскую площадь, через которую лежал мой путь в институт.

Пестрое зрелище являла тогда собою Москва. На ее кривоколенных улицах еще кое-где доживали НЭП, военный коммунизм, Россия дореволюционная. Было что-то

патриархально-провинциальное в толстозадых кутафьях-стрелочницах, при приближении трамвая переводивших стрелку и вновь усаживавшихся около рельсов на складные стулья. Еще существовали китайские прачечные. Китайцы торговали на Сухаревском толкучем рынке чаем, который в магазинах «выдавали» теперь гомеопатическими дозами по карточкам. А на бульварах «ходи» торговали чертиками «уйди-уйди». На углу Кузнецкого и Петровки играл слепой скрипач, в холода повязывавший голову платком. Его картуз лежал на тротуаре, и туда сердобольные прохожие бросали мелочь. В крытом проходе между Театральным проездом и Никольской, близ памятника Первопечатнику просил милостыню бронзоволикий старик с седыми космами по плечам. На груди у него висела дощечка с надписью: «Герой Севастополя». По Кузнецкому мосту, по правой стороне, если идти от Тверской, важно шагал от Рождественки до Неглинки величественный еврей и убежденно картавил:

– Гарантиро́ванное срэдство от мозолей, бородавок и пота ног! Гарантиро́ванное срэдство от мозолей, бородавок и пота ног!

Его перекрикивала разбитная бабенка – как видно, гроза своих соседей по квартире:

– Капсюли, капсюли для примусей! Капсюли, капсюли для примусей!

Беспризорники все еще разъезжали на трамвайных буферах, зимой грелись у асфальтовых котлов, пели в трамваях – чаще всего дуэтом, он и она, – мещанские романсы вчерашней и позавчерашней выпечки:

Как на кладбище на Ваганьковском
Отец дочку зарезал свою…

Или – особенно серьезно и уныло:

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел на рынок торговать.
Его поймали,
Арестовали,
Патент велели показать.
……
Я на бочке сижу,
А под бочкой склянка.
Мой муж коммунист,
А я спекулянка.

Вечером отворишь дверь с улицы – из подъезда так и шибанет в нос табачным дымом, запахом грязного белья, давно не мытого тела.

Значит, здесь, у батареи парового отопления, расположились на ночь беспризорники.

Как-то я, скользнув взглядом по ночлежникам и в полутьме не рассмотрев их, неплотно притворил за собой дверь. Меня окликнул хрипловатый женский голос:

– Гражданин! А дверь за вами Пушкин закрывать будет?

Я оглянулся и только тут увидел в компании двух приятелей тоненькую девушку, почти девочку, с измятым уже лицом и наглым взглядом больших печальных глаз. Правую руку она поставила на колено, с привычным, как видно, ухарством зажав между пальцами папиросу.

Советскую действительность уже тогда в нескольких словах охарактеризовал драматург Николай Эрдман, автор басни «Златые дни», за каковую, купно с другими баснями, его сослали в Сибирь:

Один поэт, свой путь освоить силясь,
Хоть не был Пушкину сродни,
Вскричал: «Куда вы удалились,
Моей весны златые дни?»
Златые дни ответствовали так:
«Но как же нам не удалиться,
Когда у вас такой бардак,
И вообще черт знает что творится?»

Мораль
Златые дни в отсталости своей
Не понимают наших дней.

С конца 29-го года учреждения и предприятия перешли на «пятидневку-непрерывку»: учреждения и предприятия работали непрерывно, но у каждого рабочего и служащего был через каждые четыре дня свой «выходной день». В учебных заведениях были свои «выходные дни» у классов, «семестров», курсов.

Переход с семидневки на пятидневку влетел государству в копеечку с коньком и всюду вызвал отчаянную неразбериху. Однажды в Художественном театре после первого действия не задернулась одна половина занавеса. Тот, кто ведал «выходными днями», напутал: дал «выходной день» машинисту сцены и никем его не заменил. Кутерьма пошла и в домашних очагах: родители свободны, дети в школе; муж на службе, жена свободна.

В магазинах все по карточкам. Впрочем, «все» – это громко сказано. Глазам входящих в продмаги не от чего разбежаться. При НЭПе качество продукции только было достигло старорежимного уровня. А теперь мне вспомнилась та высокая оценка, какую покупатели давали спичкам, изготовлявшимся при военном коммунизме;

Спички шведские,
Головки советские,
Пять минут вонь,
Секунда огонь.

Замечу в скобках: эта «лестная» характеристика, применимая к любой отрасли советской промышленности, не утратила своей актуальности, как не утратила актуальности и народная расшифровка советского сокращенного переименования нашей страны: поэтичная Россия, о которой сказано столько дивных, мудрых, восторженных и укоризненных слов, сложено столько дивных, радостных и горестных песен, этих «ласточек Господних», по определению Андрея Белого, превратилась в нечто скучное, канцелярски серое и унылое: СССР. Народ расшифровал переименование по-своему и – «аккурат в точку»: «Сами Срали Сами Расхлебывайте».

Возвращаюсь к заре социализма.

Комический актер Борисов, часто выступавший на эстраде, переделал песенку, которую пела Калиса Петровна, так:

В нашем кооперативе
Скоро масла нам дадут…
А, быть может, не дадут,
В самом деле, не дадут,
И, наверно, не дадут,
Да!

Ведающие торговлей руководствуются правилом, занесенным в чеховскую «Жалобную книгу»: «Лопай, что дают». Оттого что даже гнилых овощей не хватает, на тротуарах вырастают «хвосты».

– Кто последний? Я за вами!

Люди выпаливают эти две фразы запыхавшись, ошалело глядя на замыкающего длинную вереницу. Прежде всего занять очередь, а в чаянии какого из земных благ она образовалась, это они узнают, как только станут «в затылок» последнему. В

магазинах очереди не только к прилавкам, но и к кассам:

– У кого мелочь? С мелочью без очереди.

Есть карточки «рабочие», есть карточки «служащие». Студенты индустриальных вузов, в отличие от будущих учителей, врачей, получают «рабочие» карточки. Товарищ Сталин сказал: «Техника в период реконструкции решает все». Значит, будущим учителям и врачам должно не так хотеться есть, как будущим инженерам, и они обязаны довольствоваться «служащими карточками», по которым полагается не 800, а 400 граммов хлеба в день. Вводятся еще более «сытные» карточки – «итээровские» – для инженерно-технических работников.

16 августа 1930 года «Правда» напечатала статью Е. Волгиной «Закрытый распределитель – основа классового снабжения». С течением времени снабженческая иерархия становится многоступенчатой. У каждого крупного предприятия свой ЗРК (закрытый рабочий кооператив). Но и внутри закрытого снабжения вырастает лестница. Для «народных артистов», знаменитых ученых, виднейших писателей открылся на Болоте, в так называемом Доме правительства, грандиозный ГОРТ «А». (Кажется, это расшифровывалось: Государственный распределитель товаров.) Рангом ниже прикрепляются к распределителям – литер «Б». Открывается распределитель для «персональных пенсионеров», то есть для тех, кто получает повышенную пенсию за личные заслуги или за особые заслуги родителей. При фабриках и заводах есть столовые только для ИТР. Писатели-фавориты питаются в столовой ресторанного типа, открывшейся в бывшей «Праге». Прочие, даже из лучших, но не обласканные, вроде Сергея Клычкова, – в доме Герцена, на Тверском бульваре. Из-за того, в какой ранг кого возведут, куда прикрепят, приравняют или не приравняют к ИТР, люди не спят ночей, ссорятся, друг на друга доносят. Всюду склоки и драки. По мере расширения круга счастливцев, попадающих в разряд ИТР, ухудшается качество выдаваемых им продуктов.

Мой учитель, профессор Грифцов, однажды поил меня в своем кабинете чаем.

– Берите сыр, – сказал он. – Наконец-то профессоров и доцентов нашего института приравняли к ИТР, и вот сегодня Марья Ивановна получила по карточке сыр. Но предупреждаю вас: такой сыр не только крыловская Лисица, но и Ворона не стала бы есть.

С инженерно-техническими работниками носятся, их по возможности ублажают, создают из них привилегированную касту, что не мешает Лубянке именно на них направлять сейчас главный удар. Это – постоянный тактический ход Сталина:

разделяй и властвуй. Одним – прикормка, другим – решетка. За арестами и расстрелами писателей в 37–38 годах последовали царские милости: среди избегнувших узилища был произведен отбор, и на избранников как из худого мешка посыпались ордена.

Надстраивается еще один этаж: торгсин (торговля с иностранцами). Некоторое время в торгсины допускаются только иностранцы. Потом, сообразив, что всех, у кого сохранились драгоценные вещи, у кого есть валюта, не пересажаешь, власти распорядились открыть доступ в торгсины тем, у кого есть хоть один доллар или хоть одно золотое колечко. Приносимое гражданами оценивают и выдают им на соответствующую сумму боны. Постоянных покупателей торгсина, особливо тех, кто покупает там в обмен на иностранную валюту, выслеживают и приглашают на Лубянку. Иные проявляют хитрость дикарей: «играют по-маленькой», посещают разные торгсины, предпочитают те, что подальше от центра» скажем» на Серпуховской площади. Вряд ли это избавляет их от приглашений для «приятных» разговоров, от камер для «валютчиков», от горячих и холодных комнат, Но тех, кто изредка выменивает уцелевшую от голодных лет брошку на белоснежную булочку для больного, не трогают.

Наконец, в 33-м году открываются «коммерческие» магазины, где по бешеным ценам можно купить продукты нэповского качества.

А за прилавками открытых магазинов все легче «кататься шарам».

Какой-то безвестный поэт скупыми, но характерными мазками написал картину тогдашней столовой:

Столовая. Припасов нет.
Последний съеден винегрет.
Пустой буфет. В почетной раме
Лишь непитательный портрет:
Тупой, откормленный брюнет
С несимпатичными усами.

Страна со сказочной быстротой обнищала вновь.

В 31-м году я приехал на зимние каникулы в Перемышль. Как-то раз, перед вечером, пошел прогуляться по «сошéе». Навстречу мне – парни и девушки из заречного села. С залихватской и бесшабашной веселостью поют под гармошку:

Ветер дует, ветер дует,
Нагоняет холоду.

Вся Россия от колхозов
Помирает с голоду.
И-эхх!..
……..
У колхозной у шпаны
На троих одни штаны:
Один носит, другой просит.
Третий в очереди стоит.

В конце 32-го года москвичам урезали нормы выдачи белого хле» ба. Это совпало со смертью второй жены Сталина – Надежды Сергеевны Аллилуевой. Московское простонародье ответило на совпадение частушкой:

Аллилуева умерла,
Белый хлеб с собой взяла.
Если Сталин женится,
Черный хлеб отменится.

Летом 33-го года я шел по вечерней Москве. На одном углу лоснилась от жира торгсиновская витрина, на другом, левой рукой держа у груди ребенка, стояла с протянутой правой рукой средних лет украинка. Взгляд ее выражал последнее, немое отчаяние.

Месяц спустя я дожидался в Малоярославце поезда на Калугу. На привокзальной площади сидели и лежали украинцы. Просить подаяния они посылали детей. Ко мне подошли трое ребят мал мала меньше: девочка и два мальчика. Это были не дети – это были карлики со старческими, сморщенными, землистого цвета, личиками и с не по-детски тихим, ушедшим внутрь взглядом.

Я вспомнил рассказ артиста Юрия Михайловича Юрьева о гастролях театра Мейерхольда на юге… На станции поезда осаждает голодная Украина. Пассажиры бросают в окна куски хлеба, бутерброды. Женщины, мужчины, дети рвут друг у друга куски, давят друг друга, на одной станции кто-то полез за куском под колеса, и его перерезало. Игорь Ильинский и его жена почти все свои вещи, которые они везли с собой, продали и на вырученные деньги покупали в коммерческих магазинах еду голодающим.

Впоследствии, перечитывая «Дни» Шульгина, я нашел пророческие слова, не остановившие моего внимания при первом чтении, до коллективизации: «…если натравят на нас, панов… “свитки”, – мы погибнем в их руках, но и они, “свитки”,

погубивши нас, скоро погибнут сами, ибо наше место займут новые “паны” – такие “паны из города”, от которых стон и смерть пойдут по всей черной, хлебородной, земляной земле…»

А тогда мне думалось так: «Пятилетка в четыре года, догнать – перегнать, Днепрострои, Магнитострои… Если по стране бродят вот такие малолетние лилипуты, то да будут прокляты все, вместе взятые, “строи”! Уж лучше бы мы были “отсталой” страной!..»

И еще я вспомнил рассказ того же Юрьева, летом 31-го года гастролировавшего с Малым театром по Сибири, об эшелонах раскулаченных… Зарешеченные окна вагонов, в окнах пещерные люди с ввалившимися глазами. Рты у них раскрыты. Чего-то они просят неслышно: то ли есть, то ли пить. Конвоиры выносят трупики детей, умерших в пути от кровавого поноса, от голода и от жажды.

И наконец я вспомнил, что летом 30-го года, выдержав экзамен в институт, я по дороге в Перемышль заехал на несколько дней к теткам в Новинку. На этой самой привокзальной площади мне посчастливилось сразу найти лошадку. Вез меня на телеге житель Малоярославца, еврей, занимавшийся извозным промыслом. Всю тридцативерстную дорогу мой словоохотливый возница занимал меня рассказами на одну тему: как он благоденствовал в Малоярославце до революции и при НЭПе и как его прижали теперь. Овес вздорожал. Налоги большие. Придется продавать лошадь. И чем тогда кормиться?..

Каждый свой рассказ о том, что сталось за один год с Малоярославцем и пригородными деревнями, он сопровождал библейски мудрым припевом, мягко выговаривая звук «ж»:

– Ну и жизнь! Ну и дожили!.. А будет еще хуже – это говору вам я, Соломон Ривкин!

…Мой переезд в Москву совпал с лютованием Лубянки. Театры, радио, газеты, журналы, докладчики на собраниях «выкорчевывали корни капитализма в сознании людей», как принято было тогда выражаться, а тем временем ОГПУ корчевало самих людей.

Еще в Перемышле я узнал из сентябрьских газет (1930) о расстреле без суда сорока восьми сотрудников Союзмяса, Союзрыбы, Союзплодовоща и Наркомторга. Москва говорила о том, что хватают направо и налево. В Ленинграде арестованы историки Платонов и Тарле. Тогда еще шла делодневная служба в московских часовнях, где можно было заказать молебен, панихиду, подать записку о здравии или упокоении. На Никольской было целых три часовни: две у самых Никольских

ворот, на границе с Лубянской площадью, – во имя Владимирской Божьей Матери и во имя целителя Пантелеймона, и одна, ближе к Красной площади, – во имя святителя Николая. Я часто заходил туда.

Священники читают записки. Только и слышишь:

– Заключённого… Заключённого… Заключённого…

А у молящихся женщин – сестер, жен, матерей – трясутся плечи, по их впалым, белым щекам скупые катятся слезы. И чуть-чуть светлеют их лица, когда священник читает:

– «Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам».

– «Приидите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы».

А немного погодя (ноябрь – декабрь 1930 года) – «процесс Промпартии», существовавшей лишь в мозгу гепеушной верхушки. Председатель специального присутствия Верховного суда – Вышинский, прокурор – Крыленко. Тем, кого посадили на скамью подсудимых, – Рамзину, Ларичеву, Федотову и другим – на следствии предложили: «Живота аль смерти? Примете на себя вину за развал промышленности, признаете себя вредителями – помилуем. Не признаете – казним». А чтобы они выбирали быстрее – «по мордам». И зажженные спички об их пальцы тушили, чтобы они особенно долго на раздумывали. Рамзинцы выбрали «живот».

Такой же торг шел в Лубянском застенке с великим множеством инженеров, техников, агрономов, над которыми открытых судов не устраивали. Эти люди были нужны Сталину и Лубянке и как козлы отпущения и как невольники – в отличие от «левых» и «правых», за которых примутся с особым рвением позже и которые нужны будут как козлы отпущения и как орудия самоистребления. Для рамзинцев были построены первые шарашки. Впоследствии Рамзин, досрочно освобожденный, удостоился Сталинской премии. Сконструированный им прямоточный котел получил название «котла Рамзина». Бывшего «вредителя» наградили орденом Ленина и орденом Трудового Красного знамени. Уже в царствование «нашего Никиты Сергеевича» я встретился со вдовой Рамзина. Она вспомнила свою беседу с одним из следователей незадолго до начала процесса. Следователь сказал ей, чтобы она не беспокоилась: жизнь ее мужу будет сохранена. Даже если она прочтет в газете, что его приговорили к расстрелу, и тогда пусть не падает духом: Леонид Константинович будет жить.

Дело Промышленной партии слушалось в Колонном зале Дома Союзов. Во время вечерних судебных заседаний мимо Дома

Союзов стройными рядами шагали демонстранты с кровожаждущими лозунгами и декламировали хором:

– Смерть вредителям!

В начале декабря я шел по Кузнецкому мосту из студенческой столовой, помещавшейся там, где теперь Школа-студия Художественного театра, на Маросейку (улица Богдана Хмельницкого), в институт (занимались мы вечерами). Тогда «Вечернюю Москву» продавали на улицах мальчишки и выкрикивали сенсационные новости, сообщаемые в сегодняшнем номере.

В тот день мальчишки весело кричали на углу Кузнецкого и Неглинки:

– Рас-стрел вредителей! Рас-стрел вредителей!

Газета раскупалась нарасхват. Я тоже купил «Вечерку»… Да, в самом деле: пять подсудимых приговорены к «высшей мере социальной защиты» – Рамзин, Ларичев, Федотов, Калинников, Чарновский; трое – к десяти годам лишения свободы… Ну да, этого надо было ожидать. Обвинения возведены на них тяжкие, в чем только они не сознались!..

Прокурор Крыленко закончил свою речь так: «Государственное обвинение требует от Специального присутствия Верховного суда расстрела подсудимых всех до одного». Ремарка в скобках: «Бурные аплодисменты, крики ура…»

На другой день, в то же предвечернее время, я опять шел по Кузнецкому. На углу Кузнецкого и Неглинки газетчики с такою же веселою лихостью выкрикивали:

– Атмена при́говора!.. Атмена при́говора!..

Я не поверил своим ушам. Я подумал, что газетчики врут для приманки. Я выхватил у одного из них номер, и тут уж пришлось поверить глазам: Центральный исполнительный комитет СССР всем приговоренным к высшей мере заменил расстрел лишением свободы на десять лет. Остальным трем подсудимым скостили два года.

Прочитав это постановление за подписью Калинина и Енукидзе, я окончательно убедился, что процесс – это спектакль, что пьесу из жизни преступников состряпали драмоделы-халтурщики, а поставили бездарные режиссеры из Чухломы. Да и актеры переигрывали, изображая раскаяние, и нетвердо знали свои роли. Впрочем, пожалуй, «рамзинцы» не так переигрывали, как те, кого заставили лицедействовать на следующем процессе «вредителей» (март 1931 года) – процессе Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков). На процессе Союзного бюро судьям приходилось останавливать подсудимых, предлагавших еще что-нибудь рассказать: нет, мол, довольно, и так наболтали с три

короба. Один из главных обвиняемых, бывший член Президиума Госплана Громан, сделал такое заявление: «…за последние годы я каждый год болел, и раза по два в год у меня бывали припадки, каждый из которых мог грозить тяжелыми последствиями. Первый раз за все годы я восемь месяцев провел без припадка, за мной был чрезвычайно тщательный медицинский уход, мне давали и дается совершенно исключительный стол, особо продуманный коллегией специально приглашенных профессоров».

А в последнем слове Федотова более или менее зоркий взгляд мог кое-что прочитать между строк.

Федотов подчеркнул, что ему 67 лет.

«Прокурор не верит в нашу искренность. Я скажу – напрасно. Я уже говорил здесь о *влиянии одиночества, о влиянии переживаний, которые мы перенесли в тюрьме. Многие месяцы – девять месяцев – вынашивались определенные мысли… силы мои сломлены…».*

Из газет от 20 декабря 30-го года мы узнали, что ЦИК СССР в лице все тех же Калинина и Енукидзе постановлением от 19 декабря «удовлетворил просьбу тов. Рыкова Алексея Ивановича» и освободил его от обязанностей председателя Совета Народных Комиссаров и Совета труда и обороны. (В газетах от 31-марта 30-го года нам сообщили, что те же Калинин и Енукидзе постановлением от 30 марта назначили бывшего главу правительства Народным Комиссаром почт и телеграфов.)

Мало-мальски важные операции никогда не обходились у нас без артиллерийской подготовки. Отстранению Рыкова от кормила власти предшествовала кампания против него, Бухарина и Томского на страницах «Правды»: они, мол, играют в молчанку, не отмежевываются от ими вскормленных предателей вроде Рютина и Слепкова, от «право-левацкого блока» Сырцова – Ломинадзе. В «Правде» от 2 ноября 1930 года заголовок: «Ученик бухаринской “школки” двурушник Марецкий исключен из партии». От теорий Бухарина – Рыкова – Томского один, мол, шаг до установок контрреволюционной эсеровско-кулацкой Трудовой крестьянской партии (ТКП) Кондратьева – Чаянова. (И профессор Кондратьев, и профессор Чаянов были тогда уже на Лубянке. Кондратьев выступал в качестве свидетеля на процессе Союзного бюро меньшевиков. После процесса Союзного бюро мы ждали, что следующим номером Сталинско-гепеушной программы будет процесс ТКП, разумеется, существовавшей, как и «вредительская организация» шахтинцев, как и Промпартия, как и Союзное бюро, только в папках следователей и прокуратуры. Однако этот номер так почему-то и не состоялся.)

2 ноября 30-го года «Правда» поместила статью И. Шмидта под ехидным заголовком: «Как товарищ Рыков борется с правым уклоном».

Оказывается, Рыкова послали делать доклад о XIII годовщине Октябрьской революции на общем собрании рабочих и служащих фабрики «Утильсырье». Поручение для главы правительства аллегорически унизительное. В докладе Рыков рассказал, что недавно на заседании Совета Народных Комиссаров обсуждался доклад Наркомторга. Наркомторг обещал уже через два-три года не только вполне удовлетворить внутренние потребности страны в мясе, но и начать вывоз мяса за границу. Рыков возразил докладчику приблизительно следующее (автор статьи оговаривается, что передает мысль Рыкова своими словами): «Вы сначала накормите свой народ, а потом уж думайте о вывозе». Заверения Наркомторга – это обычное советское хвастовство. А слова Рыкова сохраняют свою силу доныне. Скептический, трезвый ум, ум хозяина, а не фанатика и не прожектера, – вот чем взял в свое время Рыков, вот откуда его хотя и не громкая, но несомненная популярность.

Я не знал, что в последнее время Рыков был в сущности не у дел. Когда я на каникулах увиделся с матерью, то из разговоров с ней выяснилось, что мы одинаково тяжело переживали его отставку. Нам казалось, что обломилась последняя ветка, за которую в случае крайней необходимости могли бы ухватиться интеллигенция и крестьянство.

Партийных интеллигентов Сталин одного за другим отчислял «в запас». В 29-м году полетели Наркомпрос Луначарский и Наркомздрав Семашко. Бухарин теперь – от жилетки рукава, Рыков – от баранки дырка. Ходил правдоподобный анекдот, отразивший характерное для Сталина вольное обращение с новейшей историей – будто бы он цыкнул на Крупскую: «Молчи, старуха! А то я женой Ленина Артюхину сделаю» (члена ЦК и ЦКК ВКП(б)). Как ее, бедную, цукали на XVI партийном съезде:

«(Г о л о с: Скажите о Бухарине, о выступлениях Рыкова и Томского.) Из того, что я говорила о правом уклоне, вытекает и моя точка зрения на выступление Томского и выступление Рыкова. (Голос: Крайне недостаточно. Голос: Что из этого вытекает?)»

Без воли самодержца, по-видимому, не без основания подозревавшего Крупскую в сочувствии к «правым», которые были ей симпатичны уже одним тем, что они боролись со Сталиным, кто бы посмел перебивать жену Ленина?

Вскоре после кончины Аллилуевой ко мне на школьные каникулы приехала погостить моя мать. Она побывала у своей

гимназической подруги Елизаветы Яковлевны Гартунг, жены известного окулиста Виктора Петровича Одинцова. Виктор Петрович дружил со своим соседом по квартире терапевтом Максимом Петровичем Кончаловским (оба жили на Большой Молчановке – дверь в дверь, в одном из первых московских кооперативных домов), и тот ему под страшным секретом рассказал: его вызвали на осмотр тела Аллилуевой; умерла она не своей смертью, кто-то выстрелил ей в спину, но он, Кончаловский, подписал то заключение, какое требовалось. Темный слух ходил по Москве, что это – Ворошилов, а Ворошилов был действительно верным псом Сталина. И очень уж «красный маршал» большим почетом был окружен потом. Одинцов под строжайшим секретом пересказал услышанное от Кончаловского жене, а жена под не менее строгим секретом рассказала о гибели «императрицы», как она ее называла, своей лучшей гимназической подруге.

«Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим». «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости…»; «… неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности» – таковы заветы Пушкина. А заметка в «Правде» от 16 августа 1930 года требовала: «Надо закрыть кунсткамеру памятников старины…».

Когда я приехал в Москву, была уже снесена «для почину» Иверская часовня; был взорван почти весь Симонов монастырь, потому что именно там, видите ли, удобнее всего построить Дворец культуры для рабочих. Архитектор Алексей Викторович Щусев пытался помешать сносу монастыря, «…стройте в новых местах по-новому»[52], – взывал он к здравому смыслу, патриотическому и эстетическому чувству «высших правительственных кругов». Куда там! Взорвать – и больше никаких.

Летним утром 31-года я, сидя у себя за столом, вдруг почувствовал, как вся комната вздрогнула – раз и другой. Это взрывали храм Христа Спасителя. И потом на много лет растянулся шабаш разорения московских святынь, уничтожения московской красы, разрушения всероссийской славы. «Помешали» Иверские ворота на границе Красной площади. Комендант Кремля ночью, неожиданно, тайком разломал Чудов монастырь – пусть, мол, таперича ученые машут кулаками, когда одни обломки остались. Сломали церковь Параскевы Пятницы в Охотном ряду. Снесли красавицу церковь Успения Божьей Матери на Покровке. Анна Григорьевна Достоевская отметила в своих воспоминаниях: «Федор Михайлович чрезвычайно ценил

архитектуру этой церкви и, бывая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть». Снесли одну из самых древних московских церковок – во имя Гребневской Божьей Матери, на углу Лубянской площади и Мясницкой. Не пощадили и светской архитектуры. Смахнули палаты Василия Голицына в Охотном ряду. Разобрали почти всю Китайгородскую стену. Снесли Триумфальные ворота около Александровского вокзала. С Москвы брали пример республиканские, окружные, районные центры. За ними тянулись села. Мы, дескать, тоже не лаптем щи хлебаем.

Первый секретарь Московского комитета партии Лазарь Каганович замахнулся и на Василия Блаженного.

Архитектор Иван Владиславович Жолтовский рассказывал мне о том, что произошло на одном из совещаний по реконструкции Москвы.

Перед Кагановичем стоял на столе макет Красной площади. Каганович схватил за маковку Василия Блаженного и отодвинул его в сторону.

– Это мы уберем, и тогда откроется широкая дорога в Замоскворечье, – объявил он.

– Ну уж Блаженного ты, брат, оставь, – сказал Ворошилов и водворил Блаженного на прежнее место.

Ворошилов в те годы пользовался особым расположением Сталина (напоминаю, что *по темным слухам, так и оставшимся непроверенными,* – за то, что это он, без лести преданный, застрелил Аллилуеву), и его исторический жест спас творение Бармы и Постника. А вот Минина и Пожарского все-таки передвинули – так, что они стали незаметны на фоне Блаженного. Кому они мешали на прежнем месте, против Кремля? Москвичи объясняли передвижку памятника тем, что кто-то пустил стишок, вложенный в уста Минина, показывавшего на Кремль:

Скажи-ка, князь,
Какая мразь
В стенах Кремлевских завелась?

«Благородные» традиции Кагановича с успехом продолжил сменивший его на посту секретаря МК Хрущев. Ему помешали уже и деревья, и он велел «вдарить» по Новинскому, Смоленскому и Зубовскому бульварам. Он было хотел вырубить и кольцо «А», но, как в случае с Блаженным, кто-то в последнюю минуту выхватил секиру из его поднятой руки, в которой он, как и во всем своем теле, ощущал беспрерывный свербеж.

В гуманитарных науках, в искусстве и литературе – разгул мракобесия.

В феврале-марте 31-го года в России гастролировал английский дирижер Альберт Коутс.

Возвращаясь после каникул в Москву, я зашел на перепутье в Калуге к нашей хорошей знакомой, калужской учительнице. У нее мне попался номер «Учительской газеты»[53], которая именовалась тогда «За коммунистическое просвещение». В этом номере статья некоего Л Лебединского была напечатана под тремя заголовками:

Реакционная вылазка в ВМПР
Ударить по обывательскому примиренчеству
к классовому врагу в музыке
С кем перекличка?

Лебединский сетует на то, что «произведения фашиста, мистика, помешавшегося на католицизме, белоэмигранта Стравинского – “желанные номера” в наших концертах…». Творчество Рахманинова он называет «непроходимо мещанским». И самые «Колокола» Эдгара По в переводе белоэмигранта Бальмонта представляются ему контрреволюционными. О чем звонят колокольчики?

Говорят они о том,
Что за днями *заблужденья*
Наступает *возрожденье.*

Вдумайтесь, мол, читатели, на какое заблуждение и на какое возрождение намекают По и Бальмонт?

А уже в Москве 24 марта я прочел в «Литературной газете» статью Д. Житомирского по поводу гастролей Коутса – «О чем звонят колокола». Житомирского корчит, как гоголевскую ведьму, от «православного (?) свадебного ликования, которое переходит в мрачную мистическую оргию (?)».

И далее: «На этом фоне – слова:

А теперь нам нет спасенья:
Всюду пламень и кипенье,
Всюду страх и возмущенье.
…….

Кто автор этого произведения? Сергей Рахманинов – давно переживший себя певец русского крупно-купеческого и мещанского салона, крайне измельчавший эпигон и реакционер в

музыке…»

Булгакова травили не только «литературные налетчики», как тщатся изобразить В. Петелин в книге «Память сердца неистребима» (М., 1970) и И. Бэлза в статье «Генеалогия Мастера и Маргариты» (Контекст. М., 1978). «Налетчики» никогда бы не посмели *налететь* на Булгакова без команды сверху. Булгакова травили *партия* и *правительство.* Статья члена Главреперткома А. Орлинского «Гражданская война на сцене МХАТ», громившая «Дни Турбиных[54] и утверждавшая, что в пьесе «петлюровщина фигурирует как некий сценический псевдоним революционных сил», увидела свет не где-нибудь, а на страницах органа ЦК ВКП(б) от 8 октября 1926 года.

«Известия» от 30 июня 1928 года сообщили, что Коллегия Наркомпроса утвердила решение Главреперткома о запрете готовившихся к возобновлению в Художественном театре «Братьев Карамазовых», готовившейся к постановке в том же театре пьесы Булгакова «Бег» и о снятии с репертуара «Дней Турбиных» Булгакова (за театром сохранялось право играть «Турбиных» впредь до первого нового спектакля), а в Театре им. Вахтангова – «Зойкиной квартиры».

20 июня 29-го года «Известия» поместили статью начальника Главреперткома О. Литовского.

В статье под заглавием «На переломе» и с подзаголовком «Советский театр сегодня» Литовский писал:

«Разве борьба за постановку “Бега” не есть отражение мелкобуржуазного натиска на театр? И не есть ли попытки протащить на сцену “Карамазовых” явление реакционного порядка?

Наконец в этом году мы имели одну постановку, представлявшую собой злостный пасквиль на Октябрьскую революцию, целиком сыгравшую на руку враждебным нам силам: речь идет о “Багровом острове”».

Литовский достиг здесь того «диалектического единства формы и содержания», к которому призывали тогда писателей критики из Российской ассоциации пролетарских писателей. Чего стоит изящный синтаксический пируэт: «…Октябрьскую революцию, целиком сыгравшую на руку враждебным нам силам…»! Чего сто́ит «чисто русский» оборот: «мы имели одну постановку»! «Он имеет грипп с осложнением», – сказал при мне покупателю один московский полубукинист-полуспекулянт про своего коллегу. Вот каких опекунов и радетелей уже более полувека *имеет* злосчастная русская культура.

15 сентября того же года те же «Известия» напечатали статью «Перед поднятием занавеса (Перспективы театсезона)»,

принадлежавшую ржавому перу Ричарда Пикеля, бывшего заведующего – секретариатом Зиновьева.

В статье Пикель злорадно острил: «В этом сезоне зритель не увидит булгаковских пьес[55]. Закрылась “Зойкина квартира”, кончились “Дни Турбиных”, исчез “Багровый остров”.

……..

Снятие булгаковских пьес[56] знаменует собой тематическое оздоровление репертуара».

Книга и театр были, есть и, доколе я существую, будут для меня не отражением жизни, но самою жизнью, жизнью, как выражался Гоголь, «возведенной в перл создания». Посягательство на искусство, как и посягательство на веру и религию, равносильно для меня человекоубийству. Художественный театр, хотя я видел тогда всего лишь четыре его спектакля, так же необходим был для моего внутреннего мира, как кислород для дыхания. Его история – глава из истории мировой культуры – питала мой ум и сердце. Я издали следил и за его праздниками, и за его буднями.

Как раз в 29-м году я попал на «Дни Турбиных», и они оставили во мне немеркнуще светлое и неубывающе сильное воспоминание. «Дни Турбиных» – не просто прекрасная пьеса, – так я смотрел на них тогда и смотрю сейчас, – это подвиг писателя, единственного из всех, кто волею судеб остался жить «под большевиками» и отважился сказать правду о доблести истинно белых, а спектакль «Дни Турбиных» – не просто прекрасный спектакль: это подвиг театра, не побоявшегося воплотить замысел автора.

Я писал о том, что «Братья Карамазовы» – моя любимая книга. Я еще в детстве наслушался рассказов матери о спектакле «Братья Карамазовы» в Художественном театре, где все было необычно: и чтец, которого русский театр раньше не знал, и то, что спектакль шел два вечера подряд, и то, что сцена в Мокром продолжалась полтора часа, и то, что режиссер Немирович-Данченко, придававший, как и Станиславский, такое большое значение живописному фону спектакля, здесь почти отказался от декораций, ибо ведь и сам Достоевский сводит пейзаж и интерьер к двум-трем мазкам; об этом спектакле-мистерии, участники которого то возводили зрителей на вершины, каких только может достигнуть душа человека, то погружались вместе с ними в бездну, и в антрактах зрители если и переговаривались, то шепотом, точно в храме, а уютный буфет Художественного театра пустовал. Имя Леонидова, которого я уже видел в «Вишневом саде», связывалось в моем представлении прежде всего с Митей, так же как имя Качалова, которого я уже видел в «Царе Федоре»,

связывалось в моем представлении прежде всего с Иваном.

Запрет, наложенный советскими цензорами и «наркомпросветителями» на «Братьев Карамазовых» и на «Дни Турбиных», я воспринял как зло, причиненное искусству, как насилие над русским обществом, как преступление против всего, что есть лучшего в человеке, как хулу на Духа Святого.

…28 марта 30-го года Булгаков написал письмо правительству *СССР,* в русской литературе, пожалуй, не имеющее себе равных по смелости, и послал его Сталину, Молотову, Кагановичу, даже Бубнову – тогдашнему Народному Комиссару Просвещения, в ведении которого находились и театры.

1 апреля 30-го года Булгакова пригласили в Художественный театр и зачислили режиссером.

Сталин снял в 29-м году «Дни Турбиных» по просьбе возглавлявшейся Иваном Микитенко делегации украинских писателей, жаловавшейся, что в «Днях Турбиных» Булгаков оскорбил украинский народ. Тогда еще «культ личности» не достиг полноты, и Сталин уступил. Но в 32-м году, когда Сталин, выслушав устную реляцию Кагановича о пьесе Афиногенова «Страх», которую Каганович только что видел в Художественном театре, выразил недоумение: «Если можно ставить “Страх”, то почему же нельзя ставить “Дни Турбиных”?»; вопрос Сталина, уже ходившего в «великих» и «гениальных», был воспринят как директива, а тут и Станиславский, как раз к тому времени неожиданно для себя самого вошедший в особую милость к Сталину (Сталин даже просил его по любому поводу обращаться прямо к нему и дал ему, как впоследствии патриарху Алексию, свой телефон), воспользовался монаршей милостью, чтобы замолвить слово за «Турбиных», и в 32-м году «Дни Турбиных» без единой купюры были восстановлены. Сталин присутствовал на этом спектакле более десяти раз и аплодировал, высунувшись из ложи[57]. А с ноября того же года в Художественном театре пошла булгаковская инсценировка «Мертвых душ». И теперь на вопрос: «Как поживаете?» – Булгаков отвечал:

– Благодарю вас. Великолепно. Я – штатный контрреволюционер с хорошим окладом.

В советской литературе разбой начался, как только она народилась. Но в 20-х годах вооруженным кистенями разбойникам, орудовавшим сперва в журнале «На посту», а потом – в «На литературном посту» давали отпор Троцкий, Воронений, Полонский. Когда же Троцкий пал, а Воронского изгнали из «Красной нови», они обнаглели. Атаманы Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) находились под незримой защитой заместителя председателя ОГПУ Ягоды. (Ягода был

женат на сестре генерального секретаря РАПП Авербаха.) Была у них заручка и в МК и в ЦК. Подобно тому, как в науке ретивые подхалимы вроде юриста Коровина трещали со всех трибун, что аполитичность – оборотная сторона вредительства, так рапповцы, приставив нож к горлу писателей, спрашивали: «Ты хто: союзник али враг?» Первыми удостоились чести попасть в «союзники» Леонид Леонов – после «Соти», Мариэтта Шагинян – после «Гидроцентрали», Михаил Слонимский – после «Фомы Клешнева». Любопытен я знать: много ли теперь найдется охотников читать эти патенты на звание «союзника»?

Рапповцы перетянули к себе считанные единицы. Иные из вступивших в РАПП продолжали держаться особняком (Багрицкий, Артем Веселый). На кого бы им опереться? Наконец они додумались и объявили «призыв ударников в литературу». Вот это уж было самое настоящее вредительство, только не преднамеренное. Рабочих отрывали от дела, заставляли писать, писали за них.

Из призыва, как и следовало ожидать, ничего не вышло. Рабочие по щучьему веленью, по рапповскому хотенью в писателей не преобразились. Но те, кого удалось соблазнить, заболели одной из самых тяжелых душевных болезней: рапповцы сделали из них навек несчастных графоманов.

В конце 31-го года рапповцы добились устранения последнего из опасных своих врагов.

Каганович вызвал к себе Вячеслава Павловича Полонского и объявил, что он больше не редактор «Нового мира».

Полонский напечатал в «Новом мире» целый массив из «Жизни Клима Самгина», «Море», «Жестокость», «Капитана Коняева», «Живую воду», «В грозу» Сергеева-Ценского, «Восемнадцатый год» и первую книгу «Петра Первого» Алексея Толстого, «Кащееву цепь» и «Журавлиную родину» Пришвина, главы из «России, кровью умытой» Артема Веселого, «М. П. Синягина» Зощенко, пьесу Бабеля «Закат», «Елень» Соколова-Микитова, «Лейтенанта Шмидта», отрывки из поэмы «Девятьсот пятый год» и лирику Пастернака, стихи Есенина, Маяковского, Багрицкого, Мандельштама, Павла Васильева.

Я не собираюсь умалять то хорошее, что сделал для русского общества Твардовский как редактор «Нового мира». Я навсегда останусь ему благодарен за то, что он напечатал рассказы Солженицына, повести Василя Быкова, «Из жизни Федора Кузькина» Можаева, «Вологодскую свадьбу» и «Угощаю рябиной» Александра Яшина, рассказы Шукшина.

Но Полонский отличался вкусовой широтой, и в этом его огромное преимущество перед Твардовским. Петербуржец, еврей,

Полонский залюбовался выплывающей из сказочного тумана клычковской деревенской Русью и напечатал роман Клычкова «Чертухинский балакирь». Для Полонского не существовало излюбленных тем, как не существовало литературного кумовства. Он рассуждал так: «Вещь талантливая. Скорей давай сюда! А кто ты – лефовец Кирсанов, конструктивист Сельвинский, крестьянский поэт Иван Приблудный – это мне безразлично. Вещь плохая. Ну и катись колбаской по Малой Спасской». И лишь в редких случаях он отказывался что-либо печатать скрепя сердце, против своей редакторской совести. Так он поступал в тех случаях, когда видел для себя как для редактора опасность смертельную. Он вернул Пильняку «Красное дерево», отсоветовал Алексею Толстому писать «Девятнадцатый год» – видимо, руководствуясь мудрым правилом его тезки и однофамильца:

Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

И все-таки Полонский был смел, порой отчаянно смел. В 26-м году он напечатал «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка. Пильняк за двадцать девять лет до «разоблачения культа личности» выжег на низком лбу Сталина клеймо убийцы.

Критик Дмитрий Александрович Горбов, впоследствии разошедшийся с Полонским, вспоминал, что Полонский не навязывал авторам своих мнений.

– Ну вот тут я с вами не согласен, – говорил он, показывая Горбову то или иное место в его статье. – Вы на этом настаиваете? Что ж, Горбов за себя отвечает… В печать!

Полонский вынужден был лавировать, иначе он вылетел бы из «Нового мира» гораздо раньше. Год от году сильней давили на него сверху. На него накидывались газеты и журналы, предъявлявшие ему политические обвинения. Развернет Полонский очередной номер «Литературной газеты», а в нем статья Осипа Бескина с доносительским подзаголовком: «Кулацкий писатель и его правозаступник Полонский». Опять надо отругиваться!..

И Полонский отругнулся. Третий раздел своих «Заметок журналиста», напечатанных в первом номере «Нового мира» за 30-й год, он озаглавил: «Осип Бескин и его учитель Булгарин». В этом разделе Полонский отхлестал Бескина по щекам: «…Бескин вместо критики… избрал самый легкий, но и самый низкий путь: политической инсинуации… Это тот прием, законодателем которого был небезызвестный Фаддей Булгарин», «…с Бескиным я не буду спорить, – заключает раздел, посвященный своему

противнику, Полонский. – Ибо то, что он написал – не статья. Это даже не фельетон. Это – *клеветой*».

Но клеветонисты не унимались.

Полонский шел на уступки, бросал в пучину часть своих прав, для виду, нехотя, сквозь зубы цедил покаянные слова, «признавался в ошибках». И все же основную свою линию он гнул. Уже в предпоследней книге «Нового мира», на которой стоит подпись отв. редактора В. П. Полонского (это была десятая книга за 1931 год), Полонский напечатал рассказ Бабеля «Гапа Гужва» с подзаголовком: «Первая глава из книги “Великая Криница”», – по-видимому, так и не написанной (рассказ не вошел потом ни в один из прижизненных и посмертных сборников автора «Конармии»). К сожалению, рассказ противный. От него, как и от некоторых других вещей Бабеля, воняет спермой и бабьим потом. Но до ужаса ярка в рассказе великокриницкая Мессалина – Гапа. Она так объясняет грозному уполномоченному «рика» по коллективизации, почему она выписалась из колхоза:

«– …А кажуть добрые люди, – произнесла она звучным, низким голосом, – кажуть, что в колгоспе весь народ под одним одеялом спать будет…

Глаза ее смеялись в неподвижном лице.

– …А я этому противница, гуртом спать, мы по двох любим, и горилку, батькови нашему чорт, любим…»

И уже во втором часу ночи является она к уполномоченному только для того, чтобы задать ему вопрос:

«– …что с блядьми будет?.. Житье будет блядям или нет?»

И приметы «года великого перелома» проступают в коротком бабелевском рассказе отчетливо. Как на ладони виден судья, прозванный в районе «двести шестнадцать процентов». Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове.

О нем повествует старуха:

«– Вороньковский судья… в одни сутки произвел в Воронькове колгосп… Девять господарей он забрал в холодную… На утро их доля была идти на Сахалин… Перебуди тыи господари ночь в холодной, является стража – брать их… Видчиняет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками на своих опоясках…»

На другой день Трофим сообщает Гапе сельские новости:

«– Ночью вся головка наехала… бабусю твою законвертовали… Головарику приехал, секретарь райкому…

……

– …бабусю за што?

– Кажуть, агитацию разводила про конец света…»

И – «безмолвие распростерлость над Великой Криницей, над

плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи».

Так кончается «Гапа Гужва». Под рассказом – дата: «Весна, 1930 г.»

Тогда говорили, будто «Гапа Гужва» послужила одним из толчков к снятию Полонского.

И за что его только ни били! И за то, что он печатает Сергеева-Ценского, и за то, что он печатает Алексея Толстого и Пришвина, и за то, что он напечатал повесть Сейфуллиной «Выхваль» – повесть о дикости современной деревни, и за то, что на страницах «Нового мира» увидел свет роман Лидина «Отступник» – безотрадная в своей правдивости картина быта и духовной жизни советского студенчества нэповски вре мен!

В критическом отделе «Нового мира» Полонский печатал лучшего критика послереволюционного времени Абрама Захаровича Лежнева, в частности – цикл его антирапповских памфлетов «Критика критиков», исследования Леонида Гроссмана «Преступление Сухово-Кобылина», «Исторический фон “Выстрела”», статью Маяковского «Как делать стихи?», статью Дермана о языке «Моей жизни в искусстве» Станиславского.

Чего-чего только ни находили читатели в «Новом мире»! Романы, повести, рассказы, пьесы, стихотворения, поэмы, снабженные фотоснимками путевые очерки (среди них – очерки зоркого следопыта, писателя бунинской школы Соколова-Микитова), статьи о международном положении, критические статьи, литературные портреты и памфлеты, вновь найденные историко-литературные материалы, рецензии, статьи о театральных премьерах и о выставках картин – опять-таки с фотоснимками.

Полонский был наделен необходимым для главы журнала нюхом охотничьей собаки и хваткой дельца, которой, кстати сказать, не было у Воронского: вот почему как только Полонский взял в свои руки «Новый мир», «Красной нови» пришлось уступить «Новому миру» первое место. Стоило Полонскому прознать, что кто-нибудь из писателей, которыми он дорожил, работает над новой вещью на любопытную тему, и он скупал ее на корню, иной раз перехватывал, перекупал.

В 50-х годах на новоселье у критика Николая Ивановича Замошкина, бывшего литературного секретаря «Нового мира», я встретил бывшую заведующую редакцией «Нового мира» Веру Константиновну Белоконь. Вера Константиновна вспомнила, что однажды в «Новый мир» пришло из станицы Вешенской письмо от Шолохова. Шолохов впервые предлагал «Новому миру» свой роман.

– Это была «Поднятая целина», – пояснила Вера Константиновна. – Только в рукописи роман назывался по-другому, а как – этого я вам не скажу, – загадочно прибавила она.

Письмо было получено, когда Полонский отдыхал на юге. Ему телеграфировали. Полонский немедленно прислал телеграмму, в которой просил ответить Шолохову согласием и обещать ему высшую ставку.

Полонский говорил авторам правду в глаза. Он высоко ценил Леонида Гроссмана как исследователя, но, прочитав в 31-м году его роман о Достоевском (это я знаю со слов самого Леонида Петровича), он вернул роман автору и сказал:

– Ну, вы не беллетрист. Мы можем напечатать только главы о петрашевцах – они написаны занимательно.

Полонский был баснословно работоспособен. Диву даешься, как его на все хватало. Он выступал на диспутах. Писал злые полемические заметки и статьи («Леф или Блеф?»). Писал литературные портреты, свидетельствовавшие об остроте его критического зрения. Назову для примера его статью о Пильняке: «Шахматы без короля». Полонский вез несколько возов одновременно; редактировал журнал «Печать и революция», откликавшийся на все сколько-нибудь значительные явления художественной и научной литературы, редактировал «Новый мир», был директором Музея изящных искусств. Как только Полонского откуда-нибудь снимали, дело разлаживалось. После того как Полонского отстранили от редактирования «Печати и революции», журнал влачил жалкое существование всего один год, а затем приказал долго жить. Скончалась после вынужденного ухода Полонского и «Красная нива». После того как Полонский вынужден был покинуть «Новый мир», журнал бесславно прозябал вплоть до хрущевских времен, когда его главным редактором вторично назначили Александра Твардовского.

Теперь в помещении, которое занимает «Новый мир», можно заблудиться, как в Критском лабиринте. При Полонском редакция журнала занимала две комнаты и в течение долгого времени состояла из ответственного редактора, двух литературных секретарей – Замошкина и Николая Павловича Смирнова и заведующей редакцией (она же и машинистка) Велоконь.

Полонский был взыскателен, но и внимателен к своим подчиненным. Замошкин говорил мне, что Полонский каждое лето уезжал отдыхать на юг и оттуда посылал посылки с фруктами ему, Смирнову и Белоконь.

Полонский был пунктуален. Скорее перевернулся бы свет, чем Полонский не явился бы в редакцию «Нового мира» в

объявленные дни и часы приема авторов. Даже к Твардовскому надо было пробиваться сквозь заградительный отряд секретарш. «Входить без доклада» могли только избранные, только его любимчики. К Полонскому волен был прийти на прием кто угодно. Это я знаю по опыту.

В августе 31-го года я, тогда еще не напечатавший ни единой строчки, пришел на прием к Полонскому и занял очередь после Георгия Никифорова.

Я задумал организовать в институте литературный кружок. Мне хотелось, чтобы руководил им Полонский.

И вот я уже в кабинете ответственного редактора. Человек с носом, как у Сирано де Бержерака, и большими, по-еврейски скорбными глазами встает, пожимает мне руку, предлагает сесть в кресло и, не перебивая, выслушивает.

Я объясняю, почему я как инициатор обратился именно к нему. Для меня он – кормчий лучшего в СССР журнала и прекрасный критик; я мысленно аплодировал ему, когда он напал на Леф; аплодирую и теперь, когда он громит рапповцев; я еще в детстве с живым интересом читал его дореволюционные обзорные статьи, статью о Леониде Андрееве и Федоре Сологубе в доставшихся мне по наследству от отца «Вестнике знания» и «Ежегоднике человеческой культуры».

Все это я выпаливал, а сам смотрел в упор на Полонского и думал «Где петушливый задира и драчун, каким я представлял себе Вячеслава Полонского по его статьям и “Листкам из блокнота”?.. В глазах тоскующее изнеможение…»

Ответил он мне так:

– В другое время я бы с радостью взялся руководить вашим кружком. Но скажу вам откровенно: я смертельно устал. Думал вызвать кое-кого на дискуссию – и не вызвал, думал написать статью – и не написал. Атмосфера душная… Нет охоты работать… да нет охоты и жить…

Полонский уронил голову на руку.

Поклонившись Полонскому, я с ошеломленной торопливостью простился. И долго потом недоумевал: почему он так говорил с незнакомым мальчишкой? Может статься, именно потому, что я был для него незнакомым приверженцем (а что я нелицемерный его приверженец – это он, конечно, сразу уловил в моем монологе и прочитал у меня в глазах), он и признался мне в том, что просилось выплеснуться и что он стыдливо таил от родных и знакомых?..

Немного погодя ему пришлось-таки ввязаться в дискуссию. В том же номере, что и «Гапа Гужва», напечатаны две его предсмертные речи, которые он произнес на дискуссии о

творческом методе во Всероссийском союзе советских писателей.

Сейчас эти речи оставляют тягостное впечатление. Полонский кается, признается в мнимых ошибках, ставит себе в заслугу, что он «нещадно браковал реакционные произведения правых попутчиков» (это он-то, в том же номере поместивший «Гапу Гужву»!), делает реверансы РАПП (если б он знал, что не дни, но месяцы ее сочтены!). В то время его речи брали за сердце. По тем временам они казались верхом гражданского мужества. Мы уже тогда привыкли к тому, что люди норовят отоспаться на чужой шкуре. А Полонский несколькими чертами подчеркивал, что он никогда не отмежевывался от Воронского: «Я не помню ни одного выступления печатного или устного, где бы я формально отмежевался от Воронского. Это мне как-то претило. Почему? Да потому, что ошибки Воронского были часто моими собственными ошибками. Мы с ним шли вместе и вместе ошибались. Нас сближали не только литературные, но и политические ошибки… И я, повинный в тех же ошибках, что и Воронений, не мог бросить в него камень…»; «…все те упреки, которые бросались по адресу Воронского, я готов принять на себя, разделить вместе с ним»; «… весь период литературной борьбы, когда на Воронского сыпался град обвинений, когда он подвергался жесточайшей критике, когда из этой критики делались оргвыводы, я не делал формальных заявлений о моих несогласиях с Воронским. Было ли это полезно для меня как редактора и критика? Вы знаете превосходно, что ничего, кроме неприятностей, это мне не сулило. Тем не менее я поступал именно так».

Кто может бросить камень в самого Полонского за его увертки и изворoты? Ведь он не скрывал в своей второй речи, что «пересматривал свои ошибки в условиях сплошной и систематической травли». Он заявил открыто:

«Очень тяжело работать, имея против себя такую могущественную организацию (Полонский имеет в виду РАПП), которая заявляет, что, прав Полонский или не прав, признает он свои ошибки или не признает, все равно Полонского надо истребить». Он швырнул в лицо «товарищам из РАПП», что система, которую они применяют к нему, – это «система травли, система передержек, система извращений моих высказываний», и против этой системы он дрался и будет драться до последней капли крови. Так закончил Полонский свою последнюю речь. Ему аплодировали. Но он предчувствовал свое поражение. Слова, сказанные им по поводу только что вынесенной резолюции 4-го пленума правления РАПП, звучат безнадежно: «…выходит так, что Полонский сейчас представляет последнюю опасность: покончили с Переверзевым, покончили с Воронским, надо покончить с

Полонским. Что ж, кончайте, товарищи…»

Полонский недолго прожил после ухода из «Нового мира». В 32-м году он поехал в Магнитогорск. (Тогда прозаики, поэты, драматурги, критики и даже историки литературы ездили на новостройки и печатали очерки, начинавшиеся с неизменного: «Там, где еще недавно…». Этот зачин был так же обязателен в очерках о новостройках, как «Радуйся» в акафистах.) Перед отъездом Полонский купил на рынке с рук полушубок. Почему-то ему не пришло в голову продезинфицировать покупку. По дороге его, в жару и бреду, сняли с поезда и положили в больницу. В больнице он умер будто бы от сыпного тифа. Я слышал от его сестры, Клавдии Павловны (секретаря главного редактора Гослитиздата, где мы с ней и познакомились), что перед смертью он все повторял:

– Погубят литературу… Погубят литературу…

Смерть Полонского была очень похожа на неосознанное самоубийство.

А, кто знает, может, это было убийство?..

Может, Полонский первый, еще до ежовщины, поплатился за напечатанную им в «Новом мире» «Повесть непогашенной луны» Пильняка? Воронений, которому была посвящена эта повесть, впоследствии метнулся к троцкизму. Вот уже предлог для ареста. Пильняк постоянно вояжировал «по заграницам» – ну, конечно, шпион! Полонский троцкистом не был, за границу не выезжал. Придраться труднее. Лучше начнем с него и отправим на тот свет тихонько: отравим, заразим… Самый тяжкий грех Полонского – опубликование «Повести непогашенной луны». Но за ним водятся и другие грехи: он наскакивает на генерального секретаря РАПП Авербаха, состоящего в родстве с самим Ягодой, он «пустил мараль» на ценнейшего сотрудника ОГПУ критика Эльсберга. Лучше его убрать… Так спокойней…

Нет, недаром не только гениальный поэт, но и мудрый человек Борис Пастернак в стихотворении «На смерть Полонского», которого он нежно любил, в стихотворении, начинавшемся безоговорочно: «Ты был обречен», – назвал его «неосторожным ребенком».

По свидетельству Сергеева-Ценского, который присутствовал на юбилее «Нового мира», праздновавшемся в декабре 34-го года, и рассказал мне о нем, Калинин, приветствуя «юбиляра», рубанул с плеча: куда, мол, Ивану Михайловичу до Вячеслава Павловича! [58] Вот это был редактор!

Как бы то ни было, по народному выражению, Бог прибрал Полонского вовремя. До революции Полонский был меньшевиком. Во время гражданской войны заведовал

литературно-издательским отделом Политического управления Красной Армии, попросту говоря, служил у Троцкого, хотя потом к троцкистской оппозиции официально не примкнул. В литературе разделял взгляды Троцкого и Воронского. В своей второй речи на дискуссии 31-го года он сам же об этом напомнил: «Как квалифицировал ЦК позицию Троцкого, Воронского и мою? Как капитулянтскую». Самое же главное, он напечатал «Повесть непогашенной луны». В 37-м году одного этого было более чем достаточно, чтобы его расстрелять.

С Полонским у меня была одна-единственная встреча. Воронского я не видел ни разу. Но внутренний его облик с годами вырисовывался передо мной явственно.

На примере Воронского, пожалуй, легче, чем на чьем-либо еще, проследить духовный путь русского интеллигента – поначалу убежденного большевика.

Писательница Елена Михайловна Тагер незадолго до гибели Воронского в беседе со мной отозвалась о нем так:

– Александр Константинович – аввакумовского духа человек.

Это преувеличение. Аввакумовского неугасимого фанатизма Воронений не обнаружил: в конце концов он вышел из строя. Но в стан врагов не перешел.

Еще в Перемышле, читая статьи Воронского в «Красной нови», я подпал под его обаяние, Воронский, в отличие от большинства советских «крытиков», не был ни громилой, ни митинговым горланом. Он был настоящим критиком, критиком по призванию, хотя и стреноженным партийными путами, хотя в голосе его, бывало, нет-нет да и прозвучит властная нотка пусть мягкого, но все же начальника над писателями. Сперва он гордился тем, что на ногах у него путы, потом они стали тяготить его. Повелительные интонации исчезли.

В статьях Воронского чувствовалась любовь к литературе, и выражал он эту любовь свежими словами. Краски на иных из написанных им литературных портретов до сих пор не пожухли. Сущность Андрея Белого-прозаика сжато и очень верно определена Воронским с помощью метафоры самого Белого: «Мраморный гром». Так Воронений озаглавил свою статью об авторе «Петербурга».

Мне нравились прозаики и поэты, которые нравились Воронскому: Сергей Есенин, Алексей Толстой, Сергей Клычков, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Артем Веселый. Меня трогала та нежность, какую проявлял Воронений к Есенину. Я был всецело на стороне Воронского, когда он защищал Есенина от Бухарина, нападавшего после смерти поэта не столько на «есенинщину», сколько на самого Есенина, которого он изображал певцом

хулиганства.

Воронский держал курс на писательскую интеллигенцию – старую и молодую. Это укрепляло мои симпатии к нему. Книги так называемых «пролетарских» писателей – при всем моем тогдашнем интересе к литературной современности – вываливались у меня из рук. Воронский «недооценил» Серафимовича. Я «Железный поток» не дочитал – меня затошнило от стилистической безвкусицы автора. Воронский «недооценил» Фурманова. Я не смог дочитать «Мятеж» – мне было до того скучно, что однажды я над ним заснул. Я восторгался меткостью ударов, какие наносил Воронский шайке напостовских и налитпостовских бандюг. Главным образом за то, что Воронский защищал от них литературу, у него и отняли в 27-м году им же созданный с благословения Ленина журнал «Красная новь».

На короткое время Воронский примкнул к троцкизму. Я не думаю, чтобы Воронского прельстила экономическая и политическая программа троцкизма. Притягательная сила троцкизма для Воронского была в другом. Воронский был литературным единомышленником Троцкого. Троцкий еще при жизни Ленина поддержал Воронского и одобрил его за сближение со «стариками» и с «попутчиками». В фельетоне Валерьяна Правдухина, помещенном в первом номере «Красной нивы» за 24-й год под названием «Этюд о современных критиках», Воронскому была отведена роль гоголевского Остапа, рубящегося с налостовскими лихими ляхами. И несдобровать бы, мол, удалому Остапу, когда бы на выручку ему не подоспел Тарас-Троцкий[59]. В литературной борьбе политические противники менялись тогда местами: Троцкий был «правым», Бухарин – «левым». Троцкий с рыданием в голосе отслужил по Есенину панихиду. Бухарин нагадил на его могилу. В своих взглядах на политику партии в литературе Троцкий был близок к Ленину. Об этом прямо пишет Воронений в статье «О пролетарском искусстве и художественной политике нашей партии»[60]: «Всякий, кто вспомнит последние <…> выступления в печати тов. Ленина, обязан признать полный контакт их с точкой зрения тов. Троцкого». Осенью 33-го года проходила последняя «чистка партии». На Воронского опять наскочили: ты, дескать, братался и якшался с «попутчиками», ты недооценил значение пролетарской литературы. В ответ на вопросы Воронений преспокойно достал из внутреннего кармана пиджака письмо. Это письмо написал ему Ленин. Основная мысль Ленина: пролетариат еще не скоро выдвинет истинных художников слова, а потому он советует товарищу Воронскому ориентироваться на тех старых и молодых писателей-интеллигентов, которые хотя бы и не всецело, но приняли

Октябрьскую революцию. Сохранилось ли это письмо в архивах Комитета государственной безопасности?..

Но, конечно, не только общность литературных взглядов приманила Воронского к Троцкому. По всей вероятности, он думал: «Лучше уж Троцкий, чем Сталин». Так рассуждал не он один. Так, вне всякого сомнения, рассуждала Крупская, названная в «Правде» от 30 декабря 1925 года «виднейшим представителем левой оппозиции», пошедшая против самого близкого ей в партии человека – против Бухарина, которому тогда было выгодно блокироваться со Сталиным, и только после разгрома троцкистов резко качнувшаяся «вправо», к бухаринцам: лишь бы не Сталин! Толкнула Воронского в объятия троцкистов гибель его друга Фрунзе (он умер 31 октября 25-го года).

Уже в хрущевские времена Всеволод Вячеславович Иванов рассказывал мне, как Воронский прямо с похорон Наркомвоенмора пришел в один дом, где собрались особенно близкие ему писатели. Были там Всеволод Иванов, Пильняк. Других я не запомнил. Поведав писателям тайну гибели Фрунзе, Воронский сказал:

– Вот бы об этом написать! Кто из вас возьмется?

– Я! – живо откликнулся Пильняк.

Сюжет остался за ним.

Что знает человек о своей участи?..

В эту минуту тот, кто предложил сюжет, и тот, кто за него ухватился, были вряд ли близки к мысли, что оба себя обрекли, что застольная эта беседа – начало их конца, что от того дома, где они собрались, для них обоих протянулась прямая, хотя и не короткая дорога к Лубянке.

В пятой книге «Нового мира» за 26-й год появилась «Повесть непогашенной луны» Пильняка – повесть о том, как по приказу «не-горбящегося человека» здоровый командарм, вынужденный подчиниться партийной дисциплине, лег на операционный стол и как по распоряжению того же «негорбящегося человека» командарм был отравлен хлороформом. Воронений, связанный с Фрунзе узами единомыслия и душевной близости еще с дореволюционных времен, выведен в повести под прозрачным псевдонимом: Попов (Воронский был сыном священника). Свою повесть Пильняк посвятил» Вороненому, дружески».

Пятая книга «Нового мира» была конфискована, но какая-то часть тиража добралась до подписчиков. «Повесть непогашенной луны» вырезали, вместо нее вброшюровали рассказ Сытина.

На последней странице шестой книги напечатано:

Письмо в редакцию

В 5-й книге журнала «Новый мир» напечатана повесть Бориса Пильняка «Повесть непогашенной луны». Хотя в предисловии повести и содержится указание, что речь идет не о смерти тов. Фрунзе, но вся бытовая обстановка, некоторые подробности и т. д. говорят об обратном. Повесть держит читателя в уверенности, что обстоятельства, при которых умер «командарм», герой повести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопровождавшим смерть тов. Фрунзе, Подобное изображение глубоко печального и трагического события является не только грубейшим искажением его, крайне оскорбительным для самой памяти тов. Фрунзе, но и злостной клеветой на нашу партию ВКП(б).

Повесть посвящена мне. Ввиду того, что подобное посвящение для меня, как для коммуниста, в высокой степени оскорбительно и могло бы набросить тень на мое партийное имя, заявляю, что я с негодованием отвергаю это посвящение.

С товарищеским приветом *А. Воронений*

От редакции

Помещая письмо тов. Воронского, редакция вполне присоединяется к его мнению. Редакция считает помещение в «Новом мире» повести Пильняка явной и грубой ошибкой.

Редакция

Даже если не знать того, что предшествовало созданию повести, нельзя не прийти к выводу, что Воронский написал (а быть может, только подписал?) это письмо под нажимом высшей партийной власти. В самом деле: мог ли Пильняк не показать Воронскому повесть, в которой он его вывел и которую он ему посвятил? Ну хорошо, пусть легкомысленный любимец Воронского Пильняк допустил такую непростительную оплошность, не подумав, что подводит близкого ему человека. А что ясе Вячеслав Полонский? Полонский был человек порядочный, Полонский был соратником Воронского, Полонский был, в отличие от беспартийного Пильняка, тертый калач в партийной борьбе. Уж он-то во всяком случае согласовал печатание повести с Воронским. Да и потом: если бы Полонский напечатал «Повесть» без ведома Воронского, их дружбе пришел бы конец. А между тем, когда Воронскому, отрешенному от редактирования «Красной нови», негде стало печататься, Полонский распахнул перед ним двери «Нового мира». В первом номере журнала за 1928 год Полонский анонсировал статью Воронского «О художественной правде». Статья не увидела свет, но не по вине редактора. Продолжение и окончание

воспоминаний Воронского «За живой и мертвой водой» немного погодя появилось в «Новом мире». Примем во внимание еще одно обстоятельство: Пильняк печатает посвященную Воронскому повесть не в «Красной нови», которую редактирует Воронский, а в «Новом мире». Неужто это случайность, а не заранее обдуманный, рассчитанный ход? История «Повести непогашенной луны» – это история «заговора трех». По всей вероятности, заговорщики не предполагали, что повесть вырежут. Но все-таки они достигли цели: повесть до читателя дошла, даже до читателя провинциального. Стоило это им пока не так уж дорого: Воронский отделался отмежеванием, Пильняк – покаянным письмом в редакцию «Нового мира» (опубликовано в книге первой за 27-й год). А дело сделано. Что написано пером, того не вырубишь топором. Когда Сталин закрутил гайки, о «Повести непогашенной луны» боялись вспоминать, а не то что распространять ее. Но где-то у кого-то под спудом она долежала до времен «Самиздата».

За отстранением Воронского от «Красной нови» (1927) последовали исключение его из партии, арест, ссылка в Липецк. Потом – возвращение в Москву, но уже не на боевой пост, а в тихую заводь отдела классики ГИХЛа (Государственного издательства художественной литературы).

Что Воронский постепенно разочаровывался во всем, сжигал все, чему поклонялся, еще до ссылки в Липецк, это доказывает его редакторская деятельность.

В 23-м году Воронский напечатал в «Красной нови» стихотворение Есенина «Я обманывать себя не стану…» с весьма прозрачным намеком на Чека («Не расстреливал несчастных по темницам…»), в 25-м – «Стихи о соловье и поэте» Эдуарда Багрицкого: о соловье, пойманном и засаженном в клетку советской печати. В 27-м году, когда Воронский был выведен из редколлегии им созданного первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь», он успел напечатать рассказ Сергеева-Ценского «Старый полоз» и начало его романа «Обреченные на гибель», а ничего более антисоциалистического в художественной литературе» издававшейся в Советском Союзе, тогда не было.

Я спросил у бывшего литературного секретаря редакции «Нового мира» (при Полонском и Гронском) Николая Павловича Смирнова» как мог, по его мнению, Воронский напечатать «Старого полоза» и «Обреченных».

– Воронский шел ва-банк, – ответил Смирнов. В 32-м году Грифцов поделился со мной впечатлениями от Воронского:

– Странный коммунист этот Воронский! Сравнительно много

знает, у него есть даже статья о Прусте. (Прустианца Грифцова это особенно приятно поразило.) И потом, он пользуется каждым удобным случае», чтобы дать понять, как «шло ему давно прошедшее время, несмотря на тюрьму и ссылку, и как скверно живется теперь.

Насмотревшись на гепеушников, Воронский в книге «Желябов», вышедшей в 34-м году в серии «Жизнь замечательных людей», думается, неспроста обращает внимание читателя на благородство начальника Одесского жандармского управления Кнопа:

«Кноп доносил в Петербург: “Умолчание им (Желябовым. – *Н. Л.)* фамилий лиц, упомянутых в шифрованном письме, носит отпечаток преувеличенного рыцарского увлечения относительно понятий о чести…” Кноп ограничился отдачей Желябова “на поруки”».

Испытав на себе отношение гепеушников к ссыльным, Воронский в книге «За живой и мертвой водой» вспомнил исправника, сквозь пальцы смотревшего на роман его дочери со ссыльным Воронским. Вспомнил дочь исправника Ину, раскрывшую Воронскому и его товарищам по несчастью провокаторшу и вовремя выкравшую у отца бумаги, уличавшие некоторых ссыльных в принадлежности к боевым дружинам, в террористической деятельности.

Побывавшие в советской тюрьме, в ссылке, читая «Желябова» и «За живой и мертвой водой», не могли не сказать себе: такие люди, как жандарм Кноп, как исправник и его дочь, в гепеушной среде немыслимы. Да, при царе сажали в одиночки и ссылали в рудники врагов самодержавия, расстреливали и вешали участников вооруженных восстаний, экспроприаторов и бомбистов. Военно-полевые суды, возникшие во время эпидемии убийств, справедливо карая тех, кто метал бомбы в сановников, кто стрелял в них из-за угла, кто устраивал вооруженное ограбление почты и приканчивал совсем уж ни в чем не повинных бедняков-почтальонов и кучеров, допускали чудовищные ошибки. Но самая непоправимая судебная ошибка и «липа» – это «две большие разницы». Воронский в своих воспоминаниях не рассказал ни об одном сфабрикованном жандармами деле. Посидев на Лубянке и добывав в советской ссылке, Воронский удостоверился, что в ОГПУ все, от членов коллегии до мелкой следовательской сошки, заняты мыслью, как бы побольше напечь «политических преступников». Я уже упоминал, что первое «дело» самого Воронского было на скорую руку состряпано Аграновым.

Да и весь подтекст книги Воровского «За живой и мертвой водой» подтверждает верность непосредственных впечатлений

Грифцова от Воронского.

«Раньше, – пишет Воронский, – пленительными неясными предвосхищениями уносился я в будущее. Ныне я томим прошлым»[61].

«Вспоминая годы ссылки и то время, я вижу прежде всего моих соратников, совольников и друзей. Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне их. Мои лучшие помыслы до сих пор связаны с ними»[62].

Историк русской литературы, член основанного Во ронским литературного объединения «Перевал» (преимущественно состоявшего из молодежи) Николаи Вениаминович Богословский, с которым мы познакомились и подружились после ежовщины, передавал вше содержание некоторых своих разговоров с Воронским, относящихся к началу 30-х годов. Богословскому было ясно, что Воронский шел от материализма к идеализму. Отход Воронского от материализма намечался, впрочем, уже в 20-е годы. Об этом свидетельствует его взгляд на подсознание как на материнское лоно творчества. О том же свидетельствует его «молчание – знак согласия» на проповедь его учеников-перевальцев – проповедь «надклассового гуманизма».

Богословскому запомнились слова Александра Константиновича:

– Надоел мне этот Гоффеншефер! Только и знает… – и тут Воронский изобразил гнусавую скороговорку Гоффеншефера, – «Поль Лафарг, Поль Лафарг!»

С горечью говорил Воронский о себе:

– Вот и я захотел быть губернатором в литературе! Так мне и надо!

Богословский захаживал к нему в издательство. Однажды он присутствовал при такой сценке: младший редактор, один из тех, о ком говорят: «дурак дураком и уши холодные», – просунул голову в дверь кабинета Воронского:

– Ляксан Константины»! На партсобрание пора!

– Скажите, что я – за! – ответил сиволдаю большевик-подпольщик и стал запихивать рукопись в портфель. – Разойдись, Израиль, по своим шатрам! – с гримасой скуки обратился он к самому себе, а затем – к Богословскому:

– Пойдемте домой, Николай Вениаминович!

Богословский точно запомнил еще одну фразу Воронского. Они вдвоем провели полдня на Москва-реке. Купались, загорали. Речь у них зашла о Сталине. Воронский говорил о нем как о царе Ироде. Потом мрачно задумался. И вдруг – с явственно враждебным оттенком в голосе:

– А что вы думаете? Ленин был тоже очень жестокий

человек!..

А ведь, вспоминая себя в период между революцией 1905 года и первой мировой войной, Воронский писал: «Я…не мог забыть, что Марья Ильинишна – сестра Ленина, человека, больше и дороже которого для меня никого не было»[63].

А ведь в 22-м году в статье «Памяти В. Г. Короленко» Воронский с гордостью признавался, что он оправдывает казни, чинимые «красными». Значит, он оправдывал и расстрел эсеров, бок о бок с которыми еще так недавно горе горевал на тюремных нарах и в ссылках? Значит, он оправдывал тех, кто убил подростка-наследника и живьем сбросил в шахту великую княгиню Елизавету Федоровну? Значит, он оправдывал расстрел Гумилева? Значит, он оправдывал расстрелы людей, повинных только в том, что они – дворяне, фабриканты, купцы?..

А ведь в 25-м году в статье «Советская литература и белая эмиграция» он с простодушным до жути восхищением изрекает: «Революция – прекрасная мясорубка».

В 22-м году в статье «Евгений Замятин» Воронский сравнивает его с пассажиром, случайно попавшим на корабль Советской республики, не знающим, «куда несется корабль, к какой гавани пристанет, да и пристанет ли».

Воронский валит со своей, еще хмельной революционным хмелем, головы на здоровую, трезвую, ясную голову Замятина. Замятин уже тогда понимал, что корабль, на который он попал в самом деле случайно и с которого он сойдет при первой возможности, причалит во всяком случае не к царству свободы. Воронского же этот корабль привел прямехонько к воротам Лубянки. Беда Воронских, Бухариных, Рыковых в том, что, разрушая до основания старый мир, они действовали по плану, вычерченному с почти геометрической точностью, а вот мир новый мерещился им смутно. Вспоминая большевистскую свою молодость, Воронский пишет об этом прямо: «…я творю волю неведомых и неукоснительно идущих к своей разрушительной цели людей»[64].

Беда Воронских в том, что они слишком поздно прозревали. Только когда революция начала срезать самих сеятелей, они, подобно Хоме Бруту, сказали себе: «Эге́, да это ведьма». Афоризм Георгия Авксентьевича Траубенберга относится не только к меньшевикам и эсерам, но и к Воронским:

– Надо быть вовремя умным.

Это трудно. Это очень трудно. Это едва ли не самое трудное в жизни. Но для политического деятеля это необходимо. Иначе сам провалишься в яму и других за собою потащишь.

А между тем Воронского еще когда предостерегал его

товарищ по дореволюционной ссылке Новосельцев:

«– …как бы шиворот-навыворот не вышло? Бывало это в истории, доложу вам, совсем даже не раз и не два… За позднее познание истины всегда платят полновесной ценой…»[65].

…После постановления ЦК о ликвидации РАПП (1932 год) в литературе чуть-чуть прояснело. Однако люди дальновидные предсказывали вслед за Соломоном Ривкиным: будет еще хуже.

Писателей объединят в общий союз, чтобы легче было за ними следить.

Мракобесие не рассеялось, оно принимало разные обличья. В 32-м году по случаю сорокалетия литературной деятельности Горького пронесся шквал переименований: Художественный театр – имени Горького, хотя там имела успех только одна пьеса Горького – «На дне»; Нижний Новгород – уже не Нижний Новгород, а Горький; Тверская улица в Москве – улица Горького. При всех обстоятельствах не терявшие чувства юмора москвичи продолжили переименования:

– Слыхали? Новые постановления ЦИКа? Ну как же! О переименовании народного артиста Станиславского в Сталинславского, народного артиста Немировича-Данченко в Кагановича-Данченко и о переименовании всей нашей жизни в максимально горькую? А Демьян Бедный обиделся: почему это все Горький да Горький, а в его честь ничего не переименовывают? Ну и решили, чтобы его ублаготворить, переименовать памятник Пушкину в памятник Пушкину имени Демьяна Бедного, Писатели растлевались на глазах. Сегодня один «перестроился», завтра, смотришь, другой. Кое-кого, для ускорения процесса перестройки, вызывали на Лубянку и нагоняли в штаны холоду. Уже в 26-м году, во время генеральной репетиции «Дней Турбиных», вызвали Булгакова. Булгаков выдержал допрос.

Он сдался под самый конец жизни, написав художественно слабую и политически наивную, не угодившую Сталину пьесу о нем «Батум»; пьесу не поставили, и писательское имя Булгакова осталось незапятнанным. Другие «раскалывались» при первом же вызове. Кто «перестраивался», кто шел в осведомители. Иных сажали, потом выпускали, и люди выходили оттуда рабами. Особенно легко «приручались» юнцы, выпорхнувшие в жизнь, когда не только евангельские заветы были разорваны в клочья, но и ветхозаветные скрижали разбил молот революции.

Павел Васильев в 31-м году недолго посидел на Лубянке. В 33-м году в первомайском номере «Известий» я прочел его «Песню Первого мая». Это, кажется, единственная во всей истории человечества песнь во славу тюремщикам и тюрьме.

Васильев пил не только

За молнии, бьющие по крестам,
И молнии
В проводах над «Динамо»,

но и

За молодость нашу, за ГПУ,
За соловьев и политотделы[66].

И наконец,

…за те замки,
Которые караулят Торнтона[67].

Чужой беде не радуйся, голубок…

Осенью 33-го года, проходя в писательскую столовую на Тверском бульваре, я услышал голос Клычкова, стоявшего на лестнице и кому-то изливавшего свое возмущение:

– Он еще подлее Пашки Васильева. А уж Пашка-то мерзавец из мерзавцев. Ведь я с ним последним делился.

Ключ к случайно до меня долетевшим словам Клычкова я нашел не скоро, в шестой книге «Нового мира» за 1934 год, где напечатаны клочки из стенограммы состоявшегося 3 апреля 33-го года в редакции журнала вечера, посвященного творчеству Павла Васильева. (В сокращенной стенограмме опущены выступления Пастернака, Клычкова – о них упоминается в выступлениях других участников вечера, которые с ними полемизируют).

Павел Васильев говорил так: «Тут – советское строительство, а с Клычкова, как с гуся вода… Разве Маяковский не пришел к революции и разве Клюев не остался до сих пор ярым врагом революции?.. Клычков должен сказать, что он на самом деле служит по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией – значит выступать против революции».

Павла Васильева не спасли ни песнь во славу тюремных за́мков и замко́в, ни публичный донос на Клычкова и Клюева. В 37-м году ГПУ, НКВД тож, в знак благодарности за тост отлило для него, двадцатишестилетнего, пулю.

…На первом и втором курсах я учился в институте прилежно, и лишь очень немногие предметы вызывали у меня брезгливую

скуку, которую мне до времени удавалось, однако, преодолевать. Я скоро притерпелся к городской жизни, хотя и не врос в нее. Бед особых усилий впрягся я в студенческий воз. И только в начале третьего курса почувствовал, что хомут натер мне шею. Утратив провинциальное благоговение перед всем столичным, поняв, что нас учат «чему-нибудь и как-нибудь», что преподаватели языковых дисциплин и рады бы дать нам больше знаний, да часов у них кот наплакал, я стал добрую половину рабочего времени отдавать переводам, которые мне заказывали в издательствах и редакциях журналов. Я с прежней увлеченностью занимался на семинаре Грифцова по художественному переводу, а кое-кому отвечал нашармака́.

Пока вузовская общественная работа была мне в новинку, я ею не тяготился. Теперь и она мне осточертела.

На романском отделении нашими профсоюзными вождями были комсомольцы Тарабанова и Сабур. Они раздували пламя «социалистического соревнования» и «ударничества», заносили студентов с лучшими «показателями» успеваемости и общественной работы на красную доску, «прогульщиков» – на черную. Диамат (диалектический материализм) преподавал у нас некий Патарая, являвший собой странную смесь чисто восточного идиотизма с восточным лукавством, говоривший по-русски с анекдотическим акцентом. Все у него непонятно откуда «красной нитью вытэкало», но так никуда и не притекало. Речь его была по-восточному пышно расшита эпитетами и кое-где озвучена рифмами. О Троцком он говорил так:

– Этот нэпочтэ́ннэйщий, сукинсы́ннэйщий, сановнэ́йщий, свиновнэ́йщий, злока́чествэннэйщий дявол…

Нам скоро стало ясно, что Патарая знает русский язык лучше, чем старается показать. Иной раз он якобы оговаривался, но в это время в его бараньих глазах зажигались насмешливые искорки. Так он на одном из собраний «оговорился», произнося фамилии председательницы и заместителя председателя нашего профцехбюро.

Товарищи Тарабарщина и Сумбур… – начал Патарая, и его прервал одобрительный хохот зала.

Действительно, оба несли вечно тарабарщину, у обоих в голове был сумбур. Диаматчик этим нарочитым коверканьем фамилий неумышленно дал общую и очень верную характеристику положения дел в институте.

Лекционный метод в те времена был признан «реакционным». Профессора и преподаватели все же читали лекции, но контрабандой, до первого доноса кого-либо из студентов. Нас целых два года принуждали заниматься по методу «бригадно-

лабораторному». Бригады на заводах и фабриках, бригады в колхозах, писатели бригадами выезжают на новостройки, бригадами сочиняют книги о гигантах пятилетки и о концлагерях. Бригадный метод чуть было не просочился и в художественный перевод. Академику Матвею Никаноровичу Розанову заморочили голову, и он при мне развивал идею коллективного перевода «Фауста». Ка́к бы его «ударная бригада» перевела «Фауста», можно судить по дивным перлам, рассыпанным на страницах первого тома юбилейного тридцатитомного собрания сочинений Гете.

Как прекрасною с мужчиной,
Половиною – жена,
Так прекрасной половиной
Нашей жизни – ночь дана.

Это – четверостишие из «Филины» Гете в переводе Кочеткова.

К счастью для русского читателя, затея перевода «Фауста» мощными силами розановской бригады не осуществилась. Впоследствии нас с лихвой вознаградил за эти скуловоротные вирши перевод Пастернака.

Да, так вот, в студенческие мои годы одним из очередных помешательств власти было помешательство на бригадах. Раз всюду бригады, значит, даешь бригады и в вузах!

Наш курс делился на бригады. Студентам вменялось в обязанность «прорабатывать материал» коллективно. Бригады должны были вести строгий учет коллективных занятий и представлять рапортички в «производственный сектор» профцехбюро. Отвечать преподавателям бригада выдвигала кого ей было выгодно – того, кто тверже знал предмет. Лодырям была лафа. Хорошо, что на нашем курсе подобрались юноши и девушки, хотевшие учиться. Наша бригада так ни разу и не собралась. Но дневники коллективных занятий наш бригадир вел исправно. Мы по-товарищески помогали отстающим, но занимались порознь.

Нас морили так называемыми социально-экономическими дисциплинами. Мы изучали политическую экономию, историю Запада (понимай: историю революционного движения на Западе), историю государства и права, историю ВКП(б), историю Коминтерна, экономическую политику советского государства, диалектический материализм, исторический материализм, ленинизм. Все это, кроме истории ВКП(б), вылетело у меня из головы, как скоро я покинул институтские стены, и ни на что мне в жизни не пригодилось. Дабы «политехнизировать» нас – политехнизация школ и вузов была декретирована уже тогда, –

нам читали машиноведение. Зато нас лишили курса истории русской литературы и даже курса истории западной литературы – они не вмещались в учебный план, перегруженный «матами». Нам читали курс истории только французской литературы, но и этот куцый курс не был доведен до конца по причине «марксистской невыдержанности» профессоров.

Бессмысленна была и наша практика на первом курсе. По окончании первого семестра нас послали налаживать «ликбез» на московских фабриках и заводах. Это называлось «культпрактикой». Но что мы за две недели могли «наладить»? По окончании второго семестра нас послали на фабрики и заводы уже как физическую силу. Это называлось «рабочей практикой». Целый месяц мы вертелись у рабочих под ногами. Иные нас жалели, другие ворчали. Мне повезло: я устроился на практику в типографию «Известий». От того дома, где я жил, до типографии было два шага ходу. При типографии была приличная столовая, намного лучше студенческой, – меня туда прикрепили. Практика моя заключалась в том, что я сидел в «плоскопечатном» цеху, выравнивал стопы газетных листов, которые выбрасывала машина. Когда в машине что-то «заедало» и она начинала рвать листы, я беспомощно оглядывался на бригадира, балагурившего с работницами, и, силясь перекричать машинный гул, звал его на выручку. Никто мне не показал, как надо выключать рубильник. Да и листы я подравнивал по неопытности неаккуратно. После меня иной раз приходилось перекладывать целую гору. Мне не влетало. Какой с меня спрос? Типография не платит мне ни копья. Никому в институте не пришло в голову попросить, чтобы нас устроили хотя бы в корректорскую, – поработать под наблюдением опытных корректоров нам, будущим переводчикам, было бы небесполезно. Но именно о пользе дела никто и не помышлял. Студенты распределены по предприятиям, все проходят практику, Наркомпрос может быть доволен, а что студенты околачиваются и слоняются без дела – эка важность!

У группы студентов, в том числе и у меня, появилась возможность устроиться на настоящую практику там, где мы могли применить наши скромные знания и приобрести навыки. Но, чтобы перейти с «рабочей» практики на специальную, требовалось разрешение директора. Мы пошли к нашей директорше – Ольге Григорьевне Аникст, матери историка английской и американской литературы Александра Аникста, Эта партийная аристократка, жена члена коллегии Госплана РСФСР, постоянно ездившая за границу (в конце концов ее попросили оставить институт), щеголявшая во всем заграничном, что не мешало ей на студенческих собраниях, где она изредка

показывалась, строго осуждать студентов, главным образом студенток, за «обрастание», встретила нас надменно и отказала нам в нашей просьбе.

– Нет, нет, товарищи, вам необходимо перевариться в рабочем котле, – сверкая золотом верхних вставных передних зубов, на которые с трудом наползала губа» заключила она.

После четвертого семестра полагалась еще и» колхозная» практика, но, когда мы перешли на четвертый семестр, этот вид практики был отменен и нам заменили ее специальной.

По окончании каждого семестра и учебного года кафедры устраивали итоговые заседания с участием преподавателей и студентов – «академуполномоченных», следивших за успеваемостью товарищей, «профуполномоченных», ответственных за «общественное лицо» курса, парторгов и комсоргов. На этих заседаниях студенты ставили отметки профессорско-преподавательскому составу, заявляли, кем и за что они довольны, кем и за что недовольны. Не потрафивших студентам увольняли, в лучшем случае переводили на другой курс, на другое отделение.

И вдруг в сентябре 32-го года последовало «историческое» постановление ЦИК СССР о высшей школе, в котором пространно доказывалось, что дважды два – не три и не пять, а четыре. Лекционный метод реабилитировался, практика упорядочивалась, роль преподавателей повышалась. Пришел конец студенческим самосудам над ними. Пришел конец «коллективным зачетам». Снова вводились государственные экзамены, дипломные работы.

Но мне довелось жить более или менее нормальной студенческой жизнью всего один год. Почти все гуманитарные вузы были тогда трехгодичные. Индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, гигантский размах социалистического строительства, темпы, темпы, темпы, в связи с этим – острая нехватка специалистов. Если фабрики и заводы будто бы выполняют пятилетку в четыре, а то и в три года, то уж гуманитарные-то вузы могут и должны «уложиться» в три.

Конечно, нас «вынимали из печки недопеченными»: ведь в течение даже этих трех лет наше институтское начальство меньше всего беспокоилось о том, чтобы студенты высшего учебного заведения, готовящего переводчиков и преподавателей иностранных языков, знали иностранные языки. От языкового материка в плане оставалась узенькая полоска – берега его размыл марксизм-ленинизм, преимущественно сталинизм. Хотя такого предмета у нас не было, но «труд» Сталина «Вопросы ленинизма» мы должны были знать вдоль и поперек, на марксизм

и ленинизм смотреть сквозь сталинскую призму. Каждый раздел программы по социально-экономическим дисциплинам начинался с пункта: «Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин о…».

Мы тратили уйму времени на собраниях, заседаниях, совещаниях, «слетах ударников», а так как занятия в институте были вечерние, то беседы наши нередко заходили за ночь, и мы пехом добирались до дому. У нас отнимали время субботники. У нас отнимали время митинги, на которых надлежало то требовать расстрела рамзинцев, то требовать от «товарища Бухарина» полного признания всех его ошибок. (Я покорно и поначалу даже не без любопытства ходил на всякого рода сборища, увильнул только от «антивредительского» митинга, и ноги моей никогда не было на митингах антирелигиозных.) А вот какие из нас выйдут работники – это уж от дирекции лежало далеко-далеко за пределами вверенной ее попечению области, и потому совсем не болело.

По школе я плакал горькими слезами. Покидая институт, я облегченно вздохнул. Моя alma mater – не московское высшее учебное заведение, а перемышльская средняя школа.

Мои связи с товарищами и товарками по институту оборвались вскоре после того, как я сдал последний экзамен. В течение трех лет я словно ехал домой в поезде дальнего следования. Соседи по купе у меня подобрались славные. Мы не ссорились – напротив, мирно беседовали о трудностях пути, обсуждали достоинства и недостатки проводников, но в откровенности не пускались, задушевных разговоров не вели, оказывали друг Другу мелкие услуги, но едва поезд замедлил ход перед конечной станцией, как мы засуетились, стали собирать вещи, двинулись к выходу, чтобы поскорей занять очередь к такси, в перронной толчее тотчас потеряли друг друга из виду, да, признаться, и не оглядывались, а после не искали встреч. Только с одной подругой я виделся до тех пор, пока нас не развела судьба. Но я подружился не только с ней, а и с ее родителями. Я бывал у нее в доме, пока его не развалили ежовщина и война.

Состав студентов Московского института новых языков был разношерстный, но в целом мало для меня интересный. На моем курсе и на старших курсах преобладала московская «золотая молодежь», не попавшая в другие вузы по «социальному происхождению»: дети юристов, экономистов-плановиков. Эта публика «правой ногой не сморкалась, левой не утиралась». Боже упаси – она тщательно наводила глянец на себя и по внешнему лоску судила о других. На первых порах меня к ней потянуло. Но мне не потребовалось много времени, чтобы под гримом

«интеллигентности» разглядеть мещанство, чтобы под маской начитанности разглядеть нахватанность.

От этих я скоро отстал, но не пристал и к другим – к «парттысячникам», то есть к входившим в состав тысячи партийцев, которых партийные организации ежегодно командировали в вузы для увеличения партийной прослойки, к «тысячникам» – комсомольцам, которых, для увеличения комсомольской прослойки, тоже принимали в вузы по командировке и тоже без экзаменов. Среди них были и неплохие «ребята» и «девчата». В отличие от папенькиных и маменькиных сынков, они – в большинстве своем провинциалы – мужественно подголадывали, жили не в отдельных и даже не в коммунальных квартирах, а в набитом битком общежитии на Стромынке. Девушки ходили в чиненых юнгштурмовках, в дешевых платьишках, в засаленных, давно потерявших форму шляпенках, в стоптанных туфлях и ботинках, скромно укладывали свои патлы на прямой или косой пробор. «Сильный» пол был еще небрежнее в своем убранстве, нежели «слабый». Меня, «интеллигентного пролетария», связывали с ними их презрение к бытовому благополучию и полнейшая беззаботность по части того, какое впечатление производят незатейливые их уборы. Но вот беда: мне не о чем было с ними говорить. Среди них было немало помышлявших только о карьере, но были и твердо убежденные, что мы строим социализм, что партия ведет нас куда надо и как надо, что раскулачивание необходимо, что Рамзин действительно вредитель, а Бухарин действительно правый оппортунист и капитулянт. Меня отпугивала от этой породы людей ее малограмотность, ее ограниченность, ее тупость, ее узколобость.

Женя Тарабанова уверяла меня:

– Пушкин – не паэт. Дворянин не может быть настоящим паэтом. Ведь у него же дворянская идеология. Вот Жаров, Безыменский – это паэты!

Ну так что же: я вышел из института с пустым «чемоданом»? Нет, все-таки не с пустым.

Начать с того, что я узнал много фактов из истории ВКП(б), тогда еще не так немилосердно искажавшейся, как всего лишь несколько лет спустя, а история ВКП(б) – это один из важнейших разделов русской истории XX века. Я научился читать трудные для понимания книги иностранных авторов, почти обходясь без словаря. Я писал матери письма по-французски. На третьем курсе я, исполняя поручения издательств и редакций журналов, переводил с французского и испанского статьи и рассказы, переводил на французский язык письма французским писателям, артистам, художникам, театральным деятелям. К концу

пребывания в институте по договору с издательством «Academia» перевел три пьесы Мериме. (Эти мои переводы до сих пор переиздаются.) Тем, что я освоился с французским языком, я в изрядной мере обязан опытным преподавательницам, методисткам, авторам трудов по грамматике и лексикологии французского языка Марии Августовне Уэн, Адриенне Адриановне Провандье-Сырейщиковой, Люсили Жильбертовне Поммер. Федор Викторович Кельин преподавал у нас испанский язык разбросанно, бессистемно; чувствовалось, что преподавать ему скучно, – этот рысак до самой смерти возил воду. И все-таки если бы наш декан Владимир Ефимович Грановский не настоял на превращении французского отделения в романское и не пригласил преподавать испанский язык Кельина, я бы, наверное, не перевел «Дон-Кихота».

И мне стоило поступить в институт новых языков и вытерпеть всю хаотичность и нелепость институтской жизни только ради того, чтобы поучиться у Леонида Петровича Гроссмана и Бориса Александровича Грифцова и свести с ними близкое знакомство.

Внешность Гроссмана останавливала взгляд. Меня Бог ростом не обидел, но когда я стоя разговаривал с Леонидом Петровичем или шел рядом с ним, сам себе я казался лилипутом, а Леонид Петрович – Гулливером. Вышине Леонида Петровича соответствовали крупные черты лица и большая голова, которую, казалось, с трудом поддерживало узкое туловище, и оттого она у него покачивалась при ходьбе или клонилась набок. Общее впечатление благородной внушительности усиливала тогда уже сильно прохваченная сединой волнистая чернь волос. Когда он задумывался, его большие, черные, слегка навыкате, глаза принимали строгое выражение. А в бесхитростной улыбке, приоткрывавшей верхний ряд зубов, неровных, как у ребенка, у которого еще не выпали молочные зубы, вытесняемые постоянными, было что-то детское.

Леонид Петрович читал у нас теорию литературы. Определяя варваризмы и прозаизмы, метафоры и метонимии, Леонид Петрович засыпал нас приводимыми на память цитатами из русских классиков, преимущественно – из поэтов. По одному тому, как он читал стихи и прозу, было видно, что он не просто любит – что он боготворит русскую литературу. Русская литература была для него храмом, и он не позволял даже легкой шутки над его святынями. Не помню, по какому поводу, я прочел наизусть не глумливую, а шутливую пародию на Пушкина из сборника «Парнас дыбом»:

Одна в глуши лесов сосновых

Старушка дряхлая жила
И другом дней своих суровых
Имела серого козла.
Козел, томим духовной жаждой,
В дремучий лес пошел однажды;
И растерзал его там волк.
Козлиный глас навек умолк.
Остались бабушке лишь *ножки*
Утехою минувших дней,
И память о козле больней,
Лишь поглядит на козьи рожки.
Одна, одна в лесной глуши
Тоскует о козле в тиши.

Леонид Петрович не сделал мне замечания – слишком для этого он был деликатен. Он ответил мне стихами из «Моцарта и Сальери»;

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.

Гроссман был не способен на резкую отповедь. Когда бойкий, но пустопорожний фельетонист Левидов сказал ему по поводу какой-то фразы Достоевского:

– До чего ж это по-идиотски звучит!

– Леонид Петрович мягко возразил:

– У Достоевского это звучит не по-идиотски.

Гроссман читал лекции глуховатым, негибким баском, слегка в нос, с одесским акцентом, но то, что у другого лектора воспринималось бы как притупляющие внимание недостатки, у него как-то не замечалось. Недостатки лектора Гроссмана поглощала захватывающая дух широта знаний, поглощала свобода, с какою лилась его плавная, живописная речь, поглощал его тихий восторг перед русским словом, перераставший в восторг перед Россией.

Он читал, по своему обыкновению скандируя слоги, четко выговаривая согласные, стихи Алексея Конст. Толстого:

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,

Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свет полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!

А я, глядя на его откинутую голову и вдруг влажно засиявшие год стеклами пенсне глаза, думал: «Да этот одесский еврей с его нерусским выговором куда русее всех русских западников и социалистов!..»

…После одной из лекций Гроссмана я подошел к нему в коридоре и признался в моем влечении к Достоевскому.

Леонид Петрович с радостным изумлением склонил ко мне свою вершину.

– Вы любите Достоевского, да? – как бы желая услышать от меня подтверждение, спросил он. – Вы меня очень обрадовали. Любяшчих Достоевского теперъ наперечет. В сущности, это даже небезопасно, одну мою знакомую студентку исключили из вуза только за то, что она изъявила настойчивое желание специализироваться по Достоевскому.

С этого дня мы душевно сблизились.

Самыми большими любимцами Гроссмана были Пушкин и Достоевский.

Мне запомнились его слова:

– Даже у Достоевского иной раз не находишь того, что потом непременно найдешь у Пушкина.

Тогда я эти слова принял на веру. Теперь я в этом контексте Пушкина и Достоевского частенько переставляю местами.

Гроссмана травили и до и после Ликвидации РАПП, и до и после войны, вышибли из института новых языков, в 34-м году поначалу отказали в приеме в Союз писателей, после войны вышибли из Московского университета, ославили «космополитом» и «низкопоклонником перед Западом» (нашли кого!), редко и неохотно печатали. На него с насмешливого «высока» посматривали формалисты, придиравшиеся к каждой допущенной им фактической неточности (как будто они сами были свободны от ошибок!), не прощавшие ему «красивостей», к которым его в самом деле подчас тянуло, стремления елико возможно скорее, по его собственному выражению, «воспарить над материалом», из-за каковой поспешности он иногда терпел аварии, и не желавшие видеть его исследовательский, ораторский и писательский талант, его дар говорить об отвлеченных

предметах так, что, слушая его, затаивали дыхание студенты, актеры, посетители публичных лекций, дар писать об отвлеченных предметах с порою могучей силой образности, с мастерством резчика по слову.

Гроссман находил нравственную поддержку не в литературной среде, а в аудиториях и у читателей. Литератору Гроссману легко дышалось лишь в начале и в конце пути. Но он не утратил ни жизнерадостности, ни исследовательской энергии, ни действенной благожелательности к одаренной молодежи, ни любопытства к новым явлениям в искусстве и литературе. Он любил театр и, пока не слег, старался не пропускать ни одной премьеры. Он притягивал к себе своей благожелательностью и широтой кругозора. Вильям-Вильмонт рассказывал мне, что ему стоило съездить в ялтинский Дом Творчества только ради общения с Гроссманом, который тоже там тогда отдыхал. Вильмонт работал над статьей о Достоевском и Шиллере. Они с Гроссманом не могли наговориться. И сколько Гроссман дал ему ценных советов!..

В 1963 году Михаил Михайлович Бахтин прислал мне в подарок свою только что вышедшую книгу «Проблемы поэтики Достоевского», Я с гордостью за своего учителя убедился, что Бахтин, ученый с мировым именем, высоко ценит работы Гроссмана о Достоевском, в иных случаях отдает ему предпочтение перед другими русскими достоевистами, видит в нем первооткрывателя некоторых особенностей поэтики Достоевского. «Л. П. Гроссмана нужно признать основоположником объективного и последовательного изучения поэтики Достоевского…» – пишет Бахтин. Он приводит длинную цитату из книги Гроссмана «Поэтика Достоевского», кончающуюся так: «Достоевский <…> смело бросает в свои тигеля все новые и новые элементы, зная и веря, что в разгаре его творческой работы сырые клочья будничной действительности, сенсации бульварных повествований и боговдохновенные страницы священных книг расплавятся, сольются в новый состав и примут глубокий отпечаток его личного стиля и тона».

«Это великолепная описательная характеристика жанровых и композиционных особенностей романов Достоевского», – подводит итог Бахтин.

Изыскания и находки Гроссмана, так же как и Долинина, легли в основу академического полного собрания сочинений Достоевского.

Под конец жизни он мне сказал:

– Для работы над Достоевским теперь мне не надо ходить по библиотекам – у меня все тут: и русская, и иностранная

литература о Достоевском.

Выход книги Бахтина совпал с переизданием книги Гроссмана о Достоевском в серии «Жизнь замечательных людей». Я поздравил Леонида Петровича по телефону. Он пригласил меня к себе на Пречистенку. Он жил много лет в двухэтажном флигеле во дворе бывшей Поливановской гимназии (вход с Малого Левшинского переулка), – там я бывал у него еще студентом.

Я сказал Леониду Петровичу, что нынче у него двойной праздник: во-первых, переиздание его книги, что непреложно свидетельствует об ее успехе, а во-вторых, выход книги Бахтина. Праздник Бахтина – это и его праздник, потому что хотя Бахтин кое-где и спорит с ним как равный с равным, но признает в нем землепроходца.

На протяжении всего моего многолетнего общения с Леонидом Петровичем я ни разу не уловил в его голосе ни одной хвастливой, тщеславной, самомнительной нотки. Тут Гроссман улыбнулся своей детской, на этот раз чуть-чуть недоверчивой и все же счастливой улыбкой.

– У вас в самом деле создалось впечатление, что Бахтин выделяет меня среди достоевистов? – спросил он. – Мне тоже так показалось, во я боялся ошибиться.

Мы с Леонидом Петровичем распили бутылку грузинского вина, потом долго, со вкусом пили чай (он даже вечером любил пить крепкий, душистый).

Последний мой разговор с Леонидом Петровичем утвердил меня в мысли, что этот мягкий в обхождении с людьми человек непоколебим, как гранит, в своих литературных взглядах. Он говорил мне, что по-прежнему высоко ценит книгу о Достоевском Акима Львовича Волынского и считает себя его учеником, по-прежнему видит в Бакунине один из прототипов Ставрогина. Доводы противников, в частности – Вячеслава Полонского, не переубедили и не поколебали его, и он снова вернулся к этой теме в биографии Достоевского (ЖЗЛ). Остался он на прежних позициях и как биограф Сухово-Кобылина. В 30-х годах против Гроссмана выступил его двоюродный брат, тоже Гроссман, считавший, что Луизу Диманш убил не Сухово-Кобылин, а крепостные. По этому поводу юморист Эмиль Кроткий сочинил эпиграмму на мотив пушкинского «Ворона»:

Гроссман к Гроссману летит,
Гроссман Гроссману кричит:
Гроссман! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?

Гроссман Гроссману в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Труп француженки убитой.

Леонид Петрович стоял на своем: Сухово-Кобылину с помощью связей удалось замять дело. Если дореформенный суд обелил крепостных, значит, они невиновны.

На мой вопрос, о ком Леониду Петровичу хотелось бы написать теперь, он ответил:

– О Блоке – для «Жизни замечательных людей».

Эта его мечта не сбылась.

Свою книгу о Достоевском он подарил мне в тот вечер с надписью:

«Дорогому Коле Любимову, моему ученику и другу. Л. Гроссман».

Вскоре после нашей встречи Леонид Петрович заболел и уже не осилил болезни. Я справлялся о его здоровье по телефону. В последний раз, когда я ему позвонил, Леонид Петрович был так слаб, что не мог взять трубку. Я попросил ухаживавшую за ним женщину сказать Леониду Петровичу, что звонит Коля Любимов и просит передать ему сердечный привет. Женщина меня знала.

– Ах, это Коля Любимов? – переспросила она. – Сейчас передам, сейчас передам… Леонид Петрович рад, что вы ему позвонили, только вот сам еще слаб, трудно ему говорить… Велит сказать, что благодарит вас за память и кланяется… Леониду Петровичу лучше… Бог даст, скоро поправится…

Мне было ясно, что эти две фразы женщина прибавила, чтобы подбодрить умирающего…

…Когда Борис Александрович Грифцов читал лекции по западной литературе в Институте имени Брюсова и на Высших литературных курсах, впоследствии упраздненных, послушать его сбегались студенты и младших и старших курсов. Они называли его «Гений с лицом демона». Гением он не был – он был просто очень талантливым человеком. Лицо его принимало порой уничижительное, презрительное, насмешливое, скептическое, смешливое выражение, но демонического в нем не было ничего.

Грифцов возился со мной. Когда я перевел для «Academia» Мериме, он «прогрифцовал» все три моих перевода.

У меня сохранилась рукопись моего перевода комедии «Небо и ад» с поправками Грифцова и с его краткой оценкой на первой странице над заглавием:

«Сделав небольшие поправки, вполне можно отдавать в набор этот отличный перевод.

5.5.33.

Б.Грифцов».

Со способными студентами, проявлявшими особенно живой интерес к его предмету, Грифцов охотно беседовал на литературные темы, рассказывал им о своих итальянских впечатлениях. Неутомимый в ходьбе, он обычно возвращался из института, помещавшегося то на Варварке, то на Маросейке, то в Малом Черкасском переулке, то на Чистых прудах, к себе домой в Чернышевский переулок пешком. Мы провожали его и по дороге забрасывали вопросами. Ответы Грифдова на вопросы об его отношении к русской современной литературе были почти всегда издевательски уничтожающи. Его суждения отличались нарочитой резкостью. Он пускал в ход сильные противоядия, чтобы вытравить из нас дурновкусие. Особенно доставалось от него Пильняку и Олеше. Вероятно, они казались ему наиболее для нас опасными. Развенчивать Федора Гладкова, Чумандрина, Панферова или Ставского ему, конечно, не приходило в голову, тем более что он и сам-то их не читал.

Собрав наши работы, я опускал их в почтовый ящик, висевший на двери его квартиры, – мне это поручалось, потому что я жил неподалеку от него. Я поднимался по лестнице на второй этаж. Меня обдавало примусной вонью из коридора, в который переходила верхняя площадка. Ступать по этой лестнице, дыша ароматом коммунальной квартиры, думать: «А вдруг дверь откроется, и выйдет Борис Александрович – вот было бы хорошо! Нет, пусть лучше не выходит – страшно!», дрогнувшей рукой опускать листочки в ящик с надписью: «Б. А. Грифцов», – какое это было блаженство!

Студентом второго курса я был допущен в «святая святых», а затем стал частым его посетителем – стоило мне позвонить по номеру: 5-50-21.

«Святая святых» представляло собой закуток, отгороженный от тесной прихожей тонкой переборкой. В кабинете у Бориса Александровича негде было повернуться. Его письменный стол был завален книгами, рукописями и переводами студентов, две стены от пола до потолка заставлены полками с книгами. На третьей стене с единственным окном висели три портрета: портрет хозяина работы Ульянова, портрет Брюсова и портрет Пруста.

Брюсова Грифцов считал своим учителем. Брюсов был для него не только большим поэтом, но и крупным мыслителем.

Статью Брюсова о Гоголе «Испепеленный» он ставил выше всего, что было сказано о Гоголе. Он утверждал, что Брюсов открыл новый период в истории русской литературы, что он повысил вес художественного слова, повысил ответственность писателя перед словом, что в эпоху Брюсова даже непосвященным стало ясно, что есть поэзия и что есть стихослагательство.

Приятие Брюсовым Октября, его вступление в Коммунистическую партию Грифцов, должно быть, пережил в свое время болезненно, но не отрекся от учителя. Когда же я его спросил, зачем это Брюсову понадобилось, он ответил так:

– Брюсов стал коммунистом в пику «Русским ведомостям».

О несочувствии Грифцова официальной идеологии я догадывался по отдельным его суждениям и сообщениям, в частности – по его рассказу о том, как он познакомился с публицистом, искусствоведом и критиком Михаилом Петровичем Неведомским (Миклашевским).

Оба одно время преподавали в Тверском педагогическом институте. Знакомы они были шапочно. Но вот как-то они в ожидании начала своих лекций сидели в преподавательской. На столе кто-то забыл «Русскую историю в самом сжатом очерке» Покровского.

– Скажите, пожалуйста, какого вы мнения об этой книге? – неожиданно обратился к Грифцову Неведомский.

– Большей мерзости я за всю свою жизнь в руках не держал, – ответил Борис Александрович.

– В таком случае позвольте пожать вашу руку! – воскликнул Неведомский.

Так возникла их многолетняя дружба.

Грифцов давал мне читать свои книги: «Искусство Греции», «Рим», написанную вместе с Муратовым монографию о художнике Ульянове, «Теория романа», – и даже такие свои работы, которые, если б какой-нибудь недоброхот о них вспомнил, могли бы ему повредить: книгу «Три мыслителя» (о Розанове, Мережковском и Льве Шестове), статью «Судьба Константина Леонтьева» в «Русской мысли» и ругательски-ругательную статью в журнале «София» о письмах Белинского. Подарил он мне изданный после революции в Берлине свой автобиографический роман «Бесполезные воспоминания» (книга не сохранилась, но надпись я запомнил: «Николаю Михайловичу Любимову эту много веков тому назад написанную книгу») и последнюю свою книгу, «Как работал Бальзак», с надписью:

«Если эта книга устанавливает три манеры Бальзака, то Вам, Николай Михайлович, чрезмерно заботливо следящему за слабым

творчеством ее автора, может быть, будет небесполезным и такой авторский комментарий: она написана в третьей, и, очевидно, последней, грифцовской манере.

Сент. 1937 *В. Грифцов*».

Грифцова воспитали символизм и формализм. От иных формалистических крайностей он так и не избавился. Он заходил за черту, которой и не думал переступать в своих стиховедческих трудах Андрей Белый. Раз по наблюдениям Белого четырехстопный ямб у Лермонтова недостаточно гибок, значит, Лермонтов – слабый поэт; Лермонтов – незавершенный прозаик – таков был основной тезис доклада, который делал Грифцов в Государственной академии художественных наук и который, разумеется, не имел успеха.

Однажды, когда мы с Грифцовым гуляли вдвоем по Москве, он, размышляя вслух, привел в пример Ал. Ник. Толстого:

– Алексею Толстому, вернее всего, в детстве сказал мальчишка: «Если ты и впрямь барчук, сбегай, принеси пряничка, тогда хитрость покажу». Эти слова долго лежали в памяти Толстого и долежались до того дня, когда Толстой подумал, что приблизительно так мог сказать малолетнему Петру Меншиков. Вот с чего у писателя начинается работа над вещью, а не с «идейного замысла».

Я уже тогда мысленно не согласился поставить Каролину Павлову выше Лермонтова – поставить единственно потому, что у Лермонтова нет таких смелых ритмических ходов в ямбе, как у нее:

Для полугородских полей…

Впоследствии я освободился от того сковывающего, что было во влиянии Грифцова на меня. Но в пору моего переводческого ученичества даже его ультраформализм шел мне на потребу.

Грифцов любил пооригинальничать. Он пытался доказать мне, что поэмы Баратынского выше поэм Пушкина, что романы Константина Леонтьева выше романов Тургенева. Я остался при своем мнении. Но благодаря тому, что меня с трех сторон подталкивали Гроссман, Грифцов и Багрицкий, я вошел в дотоле неведомый мне мир поэзии Баратынского, Языкова, Павловой. Грифцова привел к Павловой Брюсов: ему, как и Брюсову, близок был взгляд на поэзию, в широком смысле слова, как на *ремесло,* хотя бы и *святое.* Недаром высшей похвалой в устах Грифцова было: «Здорово сделано!». И это Грифцов открыл мне Случевского, прочитав наизусть стихотворение, которое, как я

догадался потом, должно было быть особенно близко Грифцову, ибо оно отражало трагедию его личной жизни:

Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.
Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия…
Другого не было пути…
И я прощу, и ты прости.

Грифцову нравилось казаться холодным и надменным насмешником. Надменен он был, впрочем, только с ему равными и с теми студентами, которых он презирал за тупоумие или за подлость. Впечатление человека недоброго, какое Борис Александрович производил на людей, не коротко с ним знакомых, довершала усмешка, обнажавшая запломбированные кривоватые зубы, и привычка, обращая к слушателям горделивый профиль, с какой-то зловещей медлительностью потирать руки. Даже в том, как он, и без того невысокий, впалогрудый, сутулился, ежился, ощущалось желание обособиться. Но у этого «сухаря» глаза были веселые, даже озорные, и человек он был сердечный.

Незадолго до окончания института я прогневал партийных, комсомольских и профсоюзных вождей нашего отделения тем, что властью «профуполномоченного» не пустил свой курс на очередной субботник, потому что нам нужно было готовиться к экзамену по истории ВКП(б). Мы пошли на субботник, но после экзамена. Когда громом ударило постановление ЦИК СССР о высшей школе, воспрещавшее переобременять студентов общественной работой, я в шутку сказал одному из главных общественных деятелей нашего переводческого факультета:

– Попили нашей кровушки, будя!

Спустя несколько месяцев эта моя шутка всплыла, и ей придали антисоветский смысл.

И, конечно, одной из пружин воздвигнутого на меня гонения была самая обыкновенная, неприкрытая зависть. На комсомольском собрании один графоман, некий Быстряков, пристававший то к Грифцову, то к Кельину, чтобы они прочли его многоверстную поэму, с простодушным возмущением говорил о том, что я, интеллигент, не комсомолец, «пробрался» в редакции журналов, что меня печатают. На том же собрании меня объявили «чуждым элементом». Но когда дело дошло до нового директора Константинопольского, он дал ему «задний ход», а не в меру

ретивых вождей щелкнул по носу. Он рассудил, что я поступил разумно, не пустив, вопреки постановлению профцехбюро, свой курс на субботник накануне экзамена по такому важному предмету, тем более что мы потом отработали, моей фразе о «кровушке» не придал значения, а то что я, еще студент, печатаюсь, поставил мне в плюс: это, мол, и для меня практика, и марку института повышает. Но, пока директор не крикнул своре вместо ожидаемого ею: «Ату!» – «Куш!» – Борис Александрович руководил мною и наставлял, как и что отвечать на допросах.

На подготовку к государственным экзаменам и на писание дипломных работ нам дали месяц. Я все-таки опасался, что меня срежут по ленинизму. Грифцов разделял мои опасения. Я уехал на месяц в Перемышль и особенно усердно готовился к экзамену по ленинизму. Чтобы в случае чего защитить меня, Грифцов на правах главы «ведущей» кафедры присутствовал при последнем смотре нашей политической зрелости. Никто не задал мне ни одного каверзного вопроса. Я – единственный на всем курсе – получил «очень хорошо», что равнялось теперешнему «отлично».

По окончании экзамена Грифцов подошел ко мне и, скрывая свое торжество под ехидной усмешкой, не преминул кольнуть меня;

– Вот только вы кстати и некстати употребляли «теперь».

Тогда еще студенты не «защищали» дипломных работ, а давали их на отзыв преподавателям.

Для того чтобы специализироваться по художественному, или, как в то время называли его, литературному, переводу, нужно было разрешение четырем студентам, в том числе – мне. Остальные специализировались по политико-экономическому переводу и давали свои работы на отзыв Николаю Николаевичу Русанову, который вел у нас этот предмет.

Борис Александрович сказал мне, что если я представлю ему перевод «Неба и ада» Мериме с подробным предисловием переводчика, то это его вполне удовлетворит как дипломная работа.

В нашем институте он заведовал кафедрой перевода, читал теорию перевода и вел семинар по художественному переводу.

В теоретические дебри он нас не заводил. Он ограничился несколькими вводными лекциями, преподал азбуку художественного перевода, а потом стал чередовать лекции по французской литературе XIX и XX веков, восполняя таким образом пробел в нашем учебном плане, с переводческим семинаром. На лекции Грифцов вырисовывал творческий облик французского писателя, раскрывал его стилевой принцип, затем предлагал нам для перевода отрывки из его романа, повести или

рассказа. Переводили мы дома, сдавали свои тетрадки и листочки Грифцову, он их читал, а на следующем занятии разбирал, да так тщательно и придирчиво, что в наш студенческий речевой обиход вошло даже новое слово: «прогрифцовать» чей-нибудь перевод. Этот глагол понравился Борису Александровичу. Он подарил мне и моим двум товарищам письма Флобера в своем переводе и надписал: «…для коллективного грифцования».

Мы учились плавать, не стоя на берегу, а барахтаясь в воде. На глубоких местах Грифцов протягивал нам руку. Мы убеждались наделе, что искусство перевода, как всякое искусство, требует изобретательности, изворотливости, что почти каждое правило требует исключений.

В выборе авторов для перевода Грифцов был иногда субъективен. Он терпеть не мог Мопассана, обзывал его пошляком, эротоманом, терпеть не мог Гюго, обзывал его напыщенным болтуном и водолеем, не дал нам перевести из них ни одной фразы. Зато из Бальзака и Пруста мы перевели три больших отрывка, из Шатобриана, Шарля-Луи Филиппа и из Жироду – два.

С неохотой я переводил только Бальзака. Следующие строки из письма Тургенева – Вейнбергу от 22 октября 1882 года доставили мне впоследствии злорадное удовлетворение: «Бальзака я никогда не мог прочесть более десяти страниц сряду, до того он мне противен и чужд».

По заказу я Бальзака не переводил никогда.

Вживание в отрывок из «Госпожи Бовари» (дуэт Родольфа и Эммы, прерываемый речью приехавшего на сельскохозяйственную выставку советника) и в отрывок из «Под сенью девушек в цвету» Пруста (описание моря, увиденного из окна гостиницы) много-много лет спустя облегчило мне работу над ними, когда я переводил «Бовари» и «Девушек» целиком.

При разборе наших работ Грифцов проявлял язвительную беспощадность, но его ехидство почему-то не обижало нас. Он часто говорил, что нет ничего страшнее серого перевода. Пусть в переводе будут смысловые неточности, даже грубые ошибки, – их легче всего углядеть и устранить. Пусть перевод грешит излишней цветистостью языка. С течением времени вкус и опыт научат убирать лишние мазки. Только не серость! Только не безликость! И только не буквализм! Только не – «с глазами, наполненными слезами»!

Это не мешало ему поднимать меня на смех за русопятство, но мое самолюбие не страдало: я смеялся над собой таким же веселым смехом, как и мои товарищи. Я чувствовал, что Грифцов любит меня как студента, только любовь свою выражает

своеобразно: школит и жучит часто, а хвалит редко, но если уж хвалит, то в сильных выражениях.

Грифцов лепил из меня переводчика и на лекциях, и на семинаре, и беседуя со мной у себя в кабинетике.

Я выдвинулся у него не сразу – и, как это я понял много позднее, не по своей вине.

Для начала Грифцов предлагал нам переводить отдельные фразы. Это была его единственная педагогическая ошибка. Перевод отдельных фраз мне редко когда удавался. Фраза живет в контексте. Вырванная из него, с обрубленными сучьями и ветвями, она засыхает, как дерево. Уже приобретя опыт, я пытался, вчитываясь в произведение, к которому мне предстояло подобрать русский стилевой ключ, переводить фразы из разных глав и частей. И не было случая, чтобы потом, дойдя до какой-либо из этих фраз, я не переводил ее заново, чтобы я не отказался от заготовки. Вырастая из контекста, фраза требовала иного звучания. На занятиях у Грифцова дело у меня пошло на лад, как только он от фраз перешел к связным отрывкам.

С чувством слова я, по-видимому, родился. Грифцов обострил его во мне. Грифцов взрастил его во мне. Он вышучивал меня только когда я в своих русификаторских увлечениях доходил до комических перехлестов, но тут же оговаривался, что мальчишеское озорство у меня пройдет; перемелется – мука будет, а зерна, мол, у меня много. Он давал волю клокотавшей во мне и рвавшейся наружу стихии просторечия.

Если б он ставил ей запруды, я не перевел бы ни «Дон-Кихота», ни «Гаргантюа и Пантагрюэля».

Под тем, что Грифцову представлялось неудачным в наших переводах, он проводил уничижительную волнистую линию, над тем, что вызывало его одобрение, ставил косой крестик. И как раз чаще всего я получал крестики за налитые соком русские слова.

Я написал о принципах перевода драматургии вообще, о стиле драматургии Мериме, который я сблизил со стилем пушкинской драматургии (предельный лаконизм, выразительность скупых подробностей), и о принципах ее перевода в частности.

Насмешки Грифцова не прошли для меня даром. Спустя много лет Борис Александрович, наверное с удовлетворением, прочел бы в статье Ник. Ник. Вильям-Вильмонта о моем переводе «Гаргантюа и Пантагрюэля», что автор статьи называет меня «суровым мастером».

Я любил Бориса Александровича, как редко кого любил еще в жизни. Моя благодарность ему умрет только вместе со мной. Каждое его слово было мне как подарок, и я не в силах отказать

себе в радости привести здесь его по-грифцовски краткий отзыв о моей работе, переписанный мною слово в слово:

«Перевод комедии “Небо и ад” выполнен с большим талантом и как раз так, что он вполне оправдывает и осуществляет положения статьи, приложенной к переводу, – статьи очень содержательной, свидетельствующей и о теоретической зрелости т. Любимова. Русский перевод комедии Мериме, напечатанный лет 10 назад и принятый к постановке в театре Вахтангова, вполне грамотен, но безличен. Заслуга т. Любимова в том, что, переводя точно, он дает каждому персонажу свой характерный язык. Особенно выразительны реплики брата Бартоломе, построенные переводчиком в пародическом тоне, отлично выдержанном и колоритном. Перевод т. Любимова был мною проверен в черновике. В нем не оказалось ошибок. И мои (самые незначительные) поправки сводились лишь к стилистическим частностям.

Институт смело может рекомендовать Т. Любимова для ответственной работы по литературному переводу.

Очень хорошо.

Зав. кафедрой перевода *В. Грифцов*».

Оправдал ли я надежды Грифцова – судить не мне. Но пожелание его сбылось: почти всю свою переводческую жизнь я выполнял *ответственную* работу (то есть трудновыполнимую). В доказательство сошлюсь на «Декамерон» Боккаччо, «Дон-Кихота» и «Странствия Персилеса и Сихизмунды» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, «Брак поневоле» и «Мещанина во дворянстве» Мольера, трилогию Бомарше, «Коварство И любовь» Шиллера, «Хронику царствования Карла IX» Мериме, «Красное и черное» Стендаля, «Госпожу Бовари» Флобера, «Милого друга» Мопассана, трилогию о Тартарене, «Королей в изгнании» и «Сафо» Доде, «Лестницу славы» Скриба, «Легенду об Уленшпигеле» де Костера, «Монну Ванну», «Синюю Птицу» и «Обручение» Метерлинка, «Дантона» Ромена Роллана, «В поисках утраченного времени» Пруста.

Несколько месяцев спустя со мной случилось несчастье. Борис Александрович направил мою мать с запиской к своему другу Неведомскому, у которого были связи в высших сферах:

Дорогой Михаил Петрович!

Помогите Елене Михайловне Любимовой так, как помогли бы мне.

Б. Грифцов.

Тогда же Борис Александрович доверительно сообщил моей матери, что его вызывали на Лубянку и предлагали сотрудничать. Грифцов отговорился тем, что живет крайне замкнуто и почти ни с кем не видится. Это была истинная правда: работал он с утра до вечера, из дому выходил по делам, на вечернюю прогулку да изредка в гости к писателю Ивану Алексеевичу Новикову, автору книги, которую очень любил читатель 30–40 годов, – «Пушкин в изгнании». Я бывал у Грифцова часто и только однажды видел у него приглашенных: в тот вечер будущий академик Виктор Владимирович Виноградов читал отрывки из своей книги о языке Пушкина.

И все-таки Грифцов мог опасаться повторных вызовов, а в ежовщину – ареста.

– Все мои друзья очутились за границей, – говорил он мне.

Он имел в виду Муратова, оставшегося ближайшим его другом после того, как к Муратову ушла его первая жена, Бориса Зайцева, высланных советским правительством за границу Бердяева и Осоргина.

Быть может, у Бориса Александровича независимо от страха за себя и семью исподволь развивалась душевная болезнь. Но страх, несомненно, ускорил распад его личности. В ежовщину он изъяснялся с помощью официозных слов даже у себя в кабинете, даже со мной. Малейшее проявление вольнодумства раздражало его.

Как-то я сказал, что учитель Николая Островского – бульварный писака Брешко-Брешковский и что «Рожденные бурей» – это роман Брешко «Шпионы и герои», но только двадцать пятого сорта.

– Если вы так думаете, вам нечего делать в литературе! – с побелевшими глазами крикнул Грифцов.

После таких приступов он всякий раз смущенно сникал. Болезнь прогрессировала. Борис Александрович постепенно терял дар речи. От былого ядовито-холодного, от недавнего вспыльчивого Грифцова ничего не осталось. В прихожую выходил встречать меня благодушный старичок и, размягчено улыбаясь, тряс мою руку – тряс, тряс и все не мог остановиться, пока меня не выручала его жена.

В столовой, за чаем, он обращался ко мне:

– Сколько… сколько… сколько… – повторял он и яростно тер себе лоб, а я старался догадаться, о чем он хочет спросить: сколько глав «Дон-Кихота» я перевел, сколько мне лет…

И вдруг Борис Александрович, сделав над собой крайнее усилие, произносил скороговоркой:

– …Сколько у вас детей?

Нужно было чем-нибудь удивить его – только тогда он единым духом произносил целое предложение.

Хорошо и давно знавший Грифцова критик Константин Григорьевич Локс, когда мы, идя вдвоем из издательства, заговорили о Борисе Александровиче, поставил его болезни своеобразный диагноз:

– Грифцова запугали, и он стал писать и говорить не своими словами. Он постепенно утратил настоящие слова, а потом и вообще утратил речь.

Грифцов высмеивал Леонида Гроссмана, главным образом – его пристрастие к «высокому слогу», справедливо, но чересчур злобно критиковал его исторические романы, не оставлял в покое даже его наружности.

На похоронах Грифцова были его родственники, двое его учеников – Наталья Ивановна Немчинова и я – и двое из его бывших коллег по Институту имени Брюсова и по институту новых языков: Георгий Аркадьевич Шенгели и Леонид Петрович Гроссман.

…Студенческий свой досуг я посвящал театру и современной литературе. Я старался не пропускать литературных вечеров.

Слышал, как Алексей Толстой читал в Политехническом музее только что напечатанные им главы второй книги «Петра». Толстой читал по-особенному – то почти на церковный распев: «Кричали петухи в мутном рассвете… Неохотно занималось февральское утро. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон»; то аппетитно, вкусно смакуя бытовые подробности, смакуя сдобный разговор. Когда читал смешные места, сам оставался серьезным, а публика покатывалась. У сидевшего в президиуме Пильняка от смеха очки съезжали на кончик носа.

Побывал я на вечерах Кирсанова и Сельвинского в Клубе ФОСП (Федерации объединений советских писателей) на Поварской (теперь там Правление Союза писателей СССР).

Сельвинский читал так, что даже его стихи из «Электрозаводской газеты», в которых я потом не мог отличить, где же кончается графоман я где начинается халтурщик, слушатели принимали восторженно. Дикция у Сельвинского была такая, что хоть сейчас на сцену. Когда он читал «Балладу о барабанщике», казалось, что кто-то выбивает четкую дробь:

Барабаны в банте,
Славу барабаньте,

Барабарабаньте
Во весь. Свой. Раж.
Ни
В Провансе —
Ни
В Брабанте —
Нет барабанщиков
Таких. Как. Наш.

У Сельвинского был обаятельный тембр голоса. Цыганская его хрипотца струною гитары рокотала в «Цыганских рапсодиях»:

Гей-та гойп-та гундаа́ла
Задымило дундаа́ла
Прэндэ-андэ-дэнти-воля
Тнды Р-руды ду́ндаала.

А несколько лет спустя он пел включенный им в стихотворение «Охота на нерпу» куплет из итальянской песенки «Marechiare» не хуже иных профессиональных певцов.

Чернявый карапуз Кирсанов заставлял забывать о своей невыгодной наружности и легкой гнусавости. Он, как и Сельвинский, был мастером эстрадного жанра в поэзии, но только менее изощренный и не с таким широким голосовым диапазоном. Он читал «Германию», вернее, почти всю ее пел на мотив «шимми», и я слышал, как прусским шагом проходит по Берлину полк:

Фридрих Великий,
подводная лодка,
пуля дум-дум,
цеппелиннн…
Унннтер-ден-Линнинден,
пружиннной походкой
Полк
оставляет
Берлиннн.

А чуть погодя – жалобный, унылый звук флейты:

Стены Вердена
в зареве утр…

Пуля в груди —
костеней!
Дома, где Гретхен
и старая Mutter, —
Кайзер Вильгельм
на стене…

После перерыва – тягучее обсуждение. Одинаковой окраски слова сыплются шелухой. От них спирается воздух. И только когда на эстраде вырастает высокий, костлявый пародист Архангельский с лицом, похожим на череп мулата, слушателям дышится легко.

Архангельский, равный Ираклию Андроникову в искусстве перевоплощения, жестче и тоньше Андроникова. С помощью художественных средств, характерных для пародируемого автора, Архангельский намекает на события литературной жизни, в которых участвовал пародируемый, и выставляет это его участие в смешном виде. Он доводит до абсурда его стилевую систему. Иные из его пародий убийственны. Он пародирует Фадеева так, что его пародия превращается в пародию на Льва Толстого, но только вступившего в Коммунистическую партию и марксистски подкованного: слова взяты Архангельским из советского лексикона, синтаксис и интонация – толстовские.

На эстраде Архангельский начинает с краткого предисловия:

– Товарищи! Я принадлежу к тому немногочисленному, уже вымирающему племени, которое не умеет выступать в прениях. (Смешок в зале.) Поэтому разрешите мне вместо выступления прочитать пародию.

– Просим! Просим!

Неизмеримо больше, чем современная литература, значил для меня театр, и потом я дам себе полную волю о нем вспомнить.

Нет, мне есть за что помянуть добром студенческие мои годы! И великим, тогда еще недоосознанным мною, не всею моею душою прочувствованным, но осиявшим всю дальнейшую жизнь мою счастьем было то, что я жил не в студенческом общежитии, среди тарабарщины и сумбура, а в доме Ермоловой.

Москва, 1971–1986

В доме ермоловой

Душе, по старине, еще надежд полна,
Но только прошлое ей мило —
И мнится: лишь для тех ей жизнь была дана,
Кого она похоронила.

Бунин

Моя крестная мать – дочь артистки Ермоловой, Маргарита Николаевна. В Перемышле я видел Маргариту Николаевну и ее сына Колю ежедневно, но только на портретах, висевших у нас в столовой. И полюбил я их с тех самых пор, как начал вникать в рассказы моей матери о московской ее жизни. Я рассматривал в маминых альбоме «фотографические карточки, запечатлевшие Ермолову в ролях.

Я еще в детстве слыхал и читал о чуде минувшего века – о том, как ославленная бездарностью, пугливая, угловатая шестнадцатилетняя дочь суфлера своим исполнением Эмилии Галотти покорила Москву.

И вот что еще я слыхал: с того дня утекло много воды, порывы новых, сильных и молодых ветров врывались в русское искусство. Малый театр глох, как запущенный сад, но любовь зрителей к Ермоловой, пока она не оставила сцену, отливов не знала, ибо игра Ермоловой – это огонь, который память не давала задуть бурунам и ураганам; это то, что вторгалось в жизнь человека, и человек сбрасывал в тартарары, сжигал дотла свое благополучие, и его уже не страшили ни острог, ни изгнанье, ни келья монаха.

Летом 26-го года я увидел фотографию, на которой Ермолова снята В роли Офелии. Такими трагическими глазами никто потом со сцены на меня не смотрел.

Я был запоздалым гостем на празднике русского театра. Я пришел, когда иные из самых ярких его огней потухли, иные догорали, лишь по временам взметая к самому небу грозные, ликующие, погребальные пламена. И только редкие-редкие светила находились в самом зените. Ермолову я на этом празднестве не застал. И лишь на короткое время явилась она мне в последнем действии трагедии своей жизни.

Осенью того же года я впервые приехал в Москву. И впервые мать привела меня на Тверской бульвар, в дом № 10, в дом, владелицей которого была тогда Ермолова, в квартиру № 11, где жила она со своей дочерью и со своим другом, посвятившим ей жизнь, – Александрой Александровной Угрюмовой. (Внук в то время учился на медицинском факультете Ленинградского университета.)

Маргарита Николаевна спросила мать, хочет ли она повидать бывшую Колину учительницу, на несколько дней приехавшую со своим сыном. Ермолова неожиданно ответила, что хочет.

Маргарита Николаевна и Николай Васильевич повели нас к ней через комнаты, которые казались мне дворцовыми залами.

И вот мы в комнате Ермоловой. Киот. Теплящаяся лампада. На ночном столике томик Островского в издании «Просвещения». Седая, стриженая, благообразная фельдшерица в белом халате. Из ранних осенних сумерек, уже забравшихся в углы комнаты, на нас глядят тусклые глаза полулежащей старухи в белом чепце.

Внезапно тусклые глаза вспыхивают. И я сразу узнаю Офелию. Да, это Офелия, но только дожившая до глубокой старости.

Ермолова, улыбаясь, знаками подзывает мою мать – поближе, поближе! – притягивает к себе ее голову, смотрит ей прямо в глаза и целует.

– Милая!.. – полушепчет Ермолова. – Я ведь забыла… Но теперь я все, все вспомнила!..

Из глаз ее хлынули слезы.

Успокоившись, она расспрашивает мою мать, как ей живется, останавливает взгляд на мне, говорит несколько ласковых слов.

Долго сидеть у Марии Николаевны нельзя – она быстро утомляется.

Ермолова крестит меня, потом мою мать.

– Милая… Господь с вами… Будьте оба счастливы… Будьте счастливы… если только в этой жизни можно быть счастливыми…

……..

И до и после этой встречи моя мать делилась со мной впечатлениями от игры Ермоловой – а она все-таки видела одну сцену из «Орлеанской девы» в торжественном спектакле-концерте, видела Ермолову в Настасье Филипповне, в лучших ролях ее осенней поры: в Беате из пьесы Зудермана «Да здравствует жизнь!», в Кручининой из «Без вины виноватых», в фру Альвинг из «Привидений», в Агнессе де Крусси из пьесы Бернстейна «Израиль», слышала, как она читала стихи в концертах.

Ермолова обладала умением бледно, даже совсем слабо

написанную роль претворять в незабываемый, истинно художественный образ. Этому свидетельству моей матери я находил потом подтверждение в самокритичных признаниях драматургов, в воспоминаниях театроведов и театралов. Игорь Владимирович Ильинский говорил мне, что когда он, пятнадцати-шестнадцатилетний сорванец, слушал, как Ермолова читала стихи Щепкиной-Куперник «Песня бельгийских кружевниц», к его горлу подступили рыдания. А ведь стихи словно нарочно составлены из одних клише:

Тяните, тяните
Кровавые нити
И пойте великую песню свою:
О Бельгии верной,
О жертве безмерной,
О славных, о павших в неравном бою.

«Все правильно, но до чего же бездарно!» – как заметил по другому поводу Горький. Однако, слушая Ермолову, читавшую рифмованное изделие Щепкиной-Куперник, никто не оставался безучастным к судьбе попираемой немецким сапогом Бельгии. Если оперная, романсная или песенная музыка прекрасна, то безвкусные или неуклюжие словосочетания стушевываются.

Рисовала мне моя мать внутренний облик Ермоловой, каким он слагался перед ней постепенно.

Как-то Ермолова приехала навестить дочь и внука, живших тогда отдельно, но застала в квартире только мою мать. Она подошла к письменному столу Маргариты Николаевны, взяла лежавшую на столе книгу. Увидев, что автор книги – Арцыбашев, молча пошла мыть руки[68].

Из дома Ермоловой моя мать всякий раз уходила с ощущением, что это не дом Ермоловой, что Ермолова здесь чужая. Отсутствующая, отрешенная, сидела она за обедом, за чаем. Ей словно всегда было холодно, и она зябко поводила плечами, куталась в платок. Морщилась как от боли, когда хозяйничавшая за столом ее золовка, Мария Петровна Шубинская, славившаяся своей скаредностью, обращалась к гостям с вопросом:

– Вы, конечно, больше не хотите чаю?

Когда я переехал в Москву, рассказы Маргариты Николаевны внесли во впечатления моей матери существенную поправку. Дело было совсем не только в том, что уклад жизни тверских дворян Шубинских, от которого припахивало головлевщиной и пошехонской стариной, был чужд Ермоловой. Ермолова была

нелюдимка от природы. После революции, когда шубинский дух выветрился из ее дома – муж Ермоловой, Николай Петрович, адвокат-октябрист, эмигрировал, Мария Петровна скончалась, – Ермолову по-прежнему тяготили встречи и беседы с людьми, не принадлежавшими к тесному кругу ее знакомых:

– Маму часто навещал Станиславский, и она всегда была ему рада, но ей трудно было поддерживать разговор. Константин Сергеевич посидит-посидит – видит, что мама играет в молчанку, – и идет ко мне. Но к Станиславскому-то она относилась прекрасно, а вообще актеров, актерскую среду не любила. Знаешь ее афоризм? «Актеры – это не люди».

Няня Маргариты Николаевны, а впоследствии – Коли, «Васильевна», дожившая долгий свой век сперва у нее, потом у него, передвигавшаяся с помощью костылей, но удивительно моложавей! с гладким румяным лицом, спросила меня:

– Ты не знаешь, где сейчас Горький? Он жив? Я ответил, что здравствует, живет постоянно в Италии. Васильевна ушла в воспоминания… В то лето, когда Ермолова в Ялте подружилась с Горьким, она при Васильевне, жившей в Крыму с ней и с Маргаритой Николаевной, сказала Горькому:

– Фу, Алексей Максимыч, какой у вас скверный портсигар!

– А вы подарите получше, – нашелся Горький. Ермолова съездила в Симферополь и привезла Горькому в подарок серебряный портсигар.

Маргарита Николаевна дополнила рассказ Васильевны.

Осенью Горький без предупреждения пришел к Ермоловой. В тот день ей нездоровилось, и она велела лакею говорить всем подряд, что она никого не принимает. Лакей Горького не пустил. Узнав об этом, Ермолова пожалела, но Горького к себе все-таки не позвала. Маргарита Николаевна объяснила это так: Ермолову сдружил с Горьким их общий хороший знакомый, доктор Средин, и встречалась она с ним чаще всего у Средина. А как будет чувствовать себя Горький в особняке Шубинских? Травленым зверем? Или затеет «скандал в благородном семействе»? Не лучше ли поставить точку на этом знакомстве, пока его ничего еще не омрачило, тем более что вряд ли ему суждено развиваться? Но в антракте спектакля «На дне» в Художественном театре Ермолова, в восторге от пьесы, от игры, увидев Горького, с той порывистой непосредственностью, какая вдруг появлялась у нее, когда ей хотелось кого-то поблагодарить за только что ею пережитое сорадование актрисы, так вся и потянулась к нему. Горький сухо с ней поздоровался и отошел.

О нелегком детстве Маргариты Николаевны кое-что рассказала в своих воспоминаниях Щепкина-Куперник.

Вот уцелевшие строки из неопубликованных воспоминаний самой Маргариты Николаевны:

«Много лет спустя я узнала, что мое прощание с матерью было роковым для нее. Она видела, как я страдаю от разлуки с ней, и мои слезы заставили ее изменить совершенно линию ее жизни: она хотела уйти от моего отца к человеку, которого полюбила безграничной любовью – на всю жизнь… Но наше прощание с ней, мое отчаяние заставили ее отказаться от этого решения. Отец, совершенно не любя меня и не интересуясь моей жизнью, отказался отдать меня ей, и это заставило ее изменить ее решение и остаться со мной. Она понимала, что атмосфера дома Шубинских уже тогда была трудная и сложная, и для такого ребенка, каким была я, с моей замкнутой и вместе с тем переполненной сложнейшими чувствами детской душонкой, пребывание в «нашем» доме без нее могло быть пагубно… и она не ушла от отца и не оставила меня. Отец предоставил ей полную свободу в ее чувствах и стремлениях… и я, ничего не подозревая и не зная, какую жертву принесла для меня моя мать, нашла ее по приезде в Москву такой же замкнутой, взволнованной в глубинах ее существа, загадочной для меня и, как всегда, безгранично любимой. Мне было тогда 8 лет. О той драме, которую пришлось пережить матери, я узнала только через десять лет, в течение которых я уже не раз задумывалась о том, как одинока моя мать и, мне казалось, несчастлива. Я понимала, что у нее дома нет личной счастливой жизни. Но мне казалось, что ее и не может быть, что она, как какое-то божество, в жизни идет над всеми людьми, окружавшими ее, и равного ей человека, которого она могла бы полюбить, быть вообще не могло.

Но та жертва, которую она принесла для меня, не отдалила ее от меня, и та зима, которая наступила после ее отъезда летом из деревни, даже как-то сблизила нас. Я уже бывала в театре. Ходила на каток с мамой и теткой. Училась хорошо, думая о том, чтобы доставить ей приятное, говорила по-французски.

Мать входила во все, что касалось моей жизни, моих болезней, и чувство мое к ней разрасталось, и я чувствовала, что мать начинает понимать меня».

В молодости Маргарита Николаевна полюбила артиста Юрия Михайловича Юрьева, своего соседа по тверскому имению. Мария Николаевна восстала против стремления дочери и Юрьева соединить свои жизни: ведь «актеры – это не люди». Маргарита Николаевна, помня жертву, принесенную ради нее матерью, пожертвовала ради нее своей любовью.

Прошли годы, и Юрьев в откровенном разговоре с глазу на глаз признавался Маргарите Николаевне, что ее отказ выйти за него замуж разбил ему жизнь. У Маргариты Николаевны после вынужденного отказа Юрьеву открылась чахотка. Профессор Павлинов нашел, что ей надо ехать в Крым, а для постоянного наблюдения за ее здоровьем порекомендовал своего бывшего ученика – терапевта Василия Яковлевича Зеленина. Зеленин вскоре сделал Маргарите Николаевне предложение. Ермолова обрадовалась: врач, милый, положительный человек, креатура Павлинова…

Василий Яковлевич и Маргарита Николаевна поженились.

– Ничего хорошего из этого брака не получилось, – вспоминала Маргарита Николаевна.

Она вышла замуж за Василия Яковлевича не по любви, а уступая просьбам матери и, как тогда говорили, par depit (с горя). Василий Яковлевич нравился ей как человек, ее трогала его любовь к ней.

После свадьбы Василию Яковлевичу день ото дня тяжелев становилось общение не только с Шубинским, но даже с Ермоловой. Его больное разночинское самолюбие искало поводов для обид. Он не хотел понять, что Ермолова тоже чужая в семействе Шубинских. Свое раздражение он переносил и на нее. Боясь, как бы сын, знавший лучшие роли бабушки наизусть, участвовавший в домашних спектаклях вместе с Димой Качаловым и Колей Рыжовым, сыном артистов Малого театра Ивана Андреевича и Варвары Николаевны Рыжовых, не пошел по бабушкиным стопам, он говорил непременно в присутствии Маргариты Николаевны:

– Ты эту актерскую дурь брось. Ты вот математику учи.

Незадолго до первой мировой войны Маргарита Николаевна и Василий Яковлевич разошлись. Расставались они медленно и трудно. Василий Яковлевич продолжал любить Маргариту Николаевну; Маргарита Николаевна ценила прекрасные душевные свойства Василия Яковлевича. Особенно тяжело воспринимал разлад между ними их сын Коля, которому было тогда лет двенадцать. Несмотря на то что Василий Яковлевич не сочувствовал устремлениям сына, которого влекло к театру и литературе, несмотря на то что он нередко срывал на нем действительные и мнимые обиды, Коля страстно любил отца. Уход отца он переживал не по-отрочески мучительно. Если бы Василий Яковлевич знал, что когда его сын, бредивший театром, сызмала пристрастившийся к музыке и пению, которыми услаждали его слух певцы и музыканты на домашних концертах у матери и бабушки, и однажды, еще в младенческом возрасте, при

звуках «Херувимской» обернувшийся к няне Васильевне, часто водившей «Колюшку» в церковь, и с сияющими глазами воскликнувший к великому ее конфузу: «Няня, няня! “Забыты нежные лобзанья” поют!» – после чего близстоящие молящиеся, давясь хохотом, один за другим начали выходить из храма; написавший не по-школьному серьезное сочинение о Тютчеве и поразивший им учителя флеровской гимназии; сочинявший фантазии, стихотворения в прозе, – если бы Василий Яковлевич знал, что когда его сын «вырастет большой», то долго будет думать, кем ему быть – священником или врачом; что по стезе священнослужителя он не пойдет только оттого, что природа отказала ему в проповедническом даре, и поступит на медицинский факультет, и что в университете он задумается над тем, в качестве кого он принесет больше пользы людям: в качестве венеролога или психиатра, и впоследствии станет выдающимся психиатром, главным врачом психиатрической больницы в Псковской губернии, кандидатом медицинских наук, автором двенадцати научных работ, и что только война помешает ему защитить докторскую диссертацию, которую он в 41-м году уже начал писать!

В 18-м году большевики посадили Василия Яковлевича, хотя ни к какой политической партии он не принадлежал и политической деятельностью никогда не занимался. Маргарита Николаевна носила Василию Яковлевичу в тюрьму передачи. Встреча Маргариты Николаевны и Василия Яковлевича по его освобождении была одной из их последних встреч. Немного погодя Маргарита Николаевна уехала вместе с Колей, с Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник и ее мужем Николаем Борисовичем Полыновым на юг. Киев, Одесса, Крым… Гражданская война отрезала их от Москвы на три года. Василия Яковлевича мобилизовали в Красную Армию; он поехал на фронт военным врачом, заразился сыпным тифом и умер.

Вкрапливаю сохранившиеся странички из обрывочных зарисовок, которые Маргарита Николаевна мне подарила и которым дала заглавие и подзаголовок: «Трагическая идиллия (Одесса)». Время действия – то же, что и у Бунина в «Окаянных днях»: 1919 год.

«Нас в то время посещало много народу, и по вечерам у нас образовался “клуб” завсегдатаев. Приходил Бунин с женой… у Бунина было такое лицо, какое должно быть именно у писателя: тонкие черты худого умного лица, большие светлые глаза, высокая, худощавая фигура, красивые тонкие руки.

Вера Николаевна – милая женщина, с очень бледным лицом,

почти матовым, – напоминала не то Мадонну, не то старинный портрет… Носила шляпку с длинным синим вуалем, который складками обрамлял лицо, и еще больше от этого напоминала известную картину в галереях, особенно в каком-то повороте…

Бунин болел революцией и большевизмом. В. Н. была его сиделкой, его рабой; любовь ее была беспредельна. Иван Алексеевич ходил к нам, чтобы не сидеть дома, чтобы видеть людей и получать слухи о положении вещей. Он жил этими слухами, и настроение его менялось смотря по тому, что говорили. Если люди приходили и говорили о поражении большевиков, о таинственной эскадре, появившейся на горизонте, И. А. оживлялся… большие потускневшие глаза его прояснялись, он живо и образно рассказывал нам за чайным столом из прошлого своей литературной деятельности, делился впечатлениями пережитого, говорил возбужденно, точно человек, долго молчавший и вдруг получивший возможность говорить… рассказ его был ярок, выражения образны, сравнения попадали прямо в точку, и в голове слушателей возникал точный и исчерпывающий образ того, что хотел сказать Бунин. О каком-то редакторе, которого он недолюбливал, он с растяжкой повествовал: “Вхожу я в редакцию… смотрю – сидит… вытянутая физиономия… знаете, такой лошадиный череп валяется под кустами”… Бунин был едок, иногда желчен… спорил нервно и зло и не всех располагал к себе, и сам относился к людям по выбору – одних допускал до себя, других не замечал, третьих ненавидел и презирал. Чувства его были ярки и мучительны; он часто впадал в крайность, до мелочности, особенно когда было задето “святое” его души. Выл до болезненности мнителен… мы знали, что из брезгливости он сам не пил молока, не ел молочного и не давал В. Н. Они питались хлебом, картофелем и овощами, и В. Н., вероятно, не выдержала бы этого режима, если бы долго продержались большевики. Бунин редко выпивал у нас стакан пустого чая и не дотрагивался до монпансье, которое подавали за неимением сахара.

Ко мне И. А. относился с большой симпатией, которая существовала между нами как молчаливое взаимное соглашение. Я жалела его и любила за его талант и внутренне была готова прощать ему все его недостатки… они не раздражали меня, и он, вероятно, это чувствовал[69]».

«Наша странная жизнь, оторванная от действительности, шла точно в сказке… только страшные события, разыгрывавшиеся вокруг, вырывали нас из этой страшной сказки и наполняли *душу ужасом, от* которого мы еще неудержимее стремились друг к

другу. В городе шли аресты… в квартире, где снимали комнаты Кам., произошло убийство: зарезали хозяйку квартиры, богатую вдову, имевшую бриллианты; целью убийства был грабеж.

По улицам постоянно встречались толпы арестованных “буржуев”, которых вели куда-то.

О “ЧЕКА” говорили с содроганием. На Екатерининской площади, рядом с домом, где жил К., было главное отделение чрезвычайки… и по ночам был слышен непрерывный шум мотора и дрожание заведенного автомобиля… его заводили нарочно, чтобы заглушить расстрелы в подвальном этаже учреждения.

Красный призрак террора носился над Одессой, и чело его становилось все грознее и грознее, в то время как на Елизаветинской улице благоухали доцветающие поздние акации».

«Одесса» июль 19 года»[70].

Лето было замечательное, солнце вставало и закатывалось на безоблачном небе весь июль, время было переведено на два с половиной часа, и вчера были длинные, светлые и медленно таяли в золоте и багрянце заката Жары не было совсем, трава не желтела. По утрам и по вечерам дул свежий ветерок с моря, в комнатах было прохладно и не душно, на ночь открывали окна, делалось совсем свежо и пахло морем и цветами.

Море днем было тихое, бледно-голубое; низкие, бледные берега уходили вдаль, как на старых картинах. Природа кругом была безмятежна и лучезарна.

Люди – изнемогали.

В городе был террор и голод. За громадные деньги покупали на рынке хлеб, редиску, сметану, картофель, доставали молоко: мясо было, но купить его было почти невозможно.

В ресторанах, пансионах и меблированных комнатах кормили неизменно кабачками, фаршированными пшеном, кулешом из картофеля, свеклы и кусочков сала.

Террор был в разгаре, и настроение у всех понижалось с каждым днем; спасала только мысль, которая была у всех нас в глубине души: “не может быть…”. Никто не верил в прочность власти, все жили и ждали.

Еще теснее сплотилась наша компания. Иван Алексеевич с женой каждый вечер приходили к нам. Она – покорная и ясная, он – смятенный, в тоске, и всегда с вопросом в глазах: “Что же?., когда же?..” Худое лицо его, большие светлые глаза с каждым днем делались тревожнее, глубже, острее. Он не мог работать, не мог оставаться дома.

Во второй половине июля – без всяких видимых оснований – стали поговаривать о десанте, особенно одно время: кто бы ни

пришел – знаете, говорят: через два дня или завтра, послезавтра – десант…

– Кто… что., почему?

– Ну да я вам говорю – десант.

– Да какой десант?

– Ну какой – с моря, конечно!..

Наконец, мне это надоело, и я сказала: “если завтра еще кто-нибудь придет и мне “десантнет”, спущу прямо с лестницы”, а у самой душа истерзалась: говорят – веришь, начинаешь надеяться, – если нас возьмут, значит можно будет соединиться с Семеном Владимировичем. Начинаешь представлять себе до тех пор, пока кто-нибудь не принесет какой-нибудь вести о чудовищном расстреле, опять упадет все в душе, как спущенные паруса, и не можешь ни во что верить, и охватят безнадежность и отчаяние.

Помимо личной нашей судьбы, которая все повесила в воздухе неопределенно и непрочно, я страдала от атмосферы террора в городе. Я чувствовала физически ужас, который испытывали люди, и не видя – видела кровь, и не слыша – слышала вопли, стоны, выстрелы расстрелов…

Электричество не горело, я не спала по ночам, после 11 часов воцарялась жуткая тишина, только время от времени был слышен спешный ход и гудок автомобиля… ближе… ближе., “где-то остановится…” Часто останавливался напротив. Это был большой дом с хорошими квартирами, населенный местными инженерами, юристами, деловыми людьми.

Раздавался ужасный стук в железные ворота, слышно было, как гремели ключи, хлопала тяжелая дверь… Потом наступала тишина, часа через два опять хлопала дверь, автомобиль уезжал. Наутро узнавали, кто арестован. Так – каждую ночь, иногда – без автомобиля – раздавались шаги, стук в ворота, голоса, потом опять тишина и опять шаги: увели кого-нибудь.

Несмотря на мое запрещение, все чаще и чаще приходили люди и говорили о десанте. Ш. клялся, что его приятель видел английский миноносец на Одесском рейде.

В первых числах августа Б-ко неожиданно прилетел в обеденное время с вестью: Добровольцы берут Николаев!

Все закричали, замахали руками:

– Что за вздор? Не может быть!..

– Даю вам слово.

Никто не верил.

На другой день – ничего.

На следующий день Николай Борисович пришел к обеду и сказал, что в городе упорно говорят о падении Николаева в самом

близком будущем. Мы с Таней даже рассердились: так тяжело было переходить от одного настроения к другому:

– Нет, нет, это вздор, только дураки верят…

Н. Б. тоже рассердился:

– Ну, значит, так навсегда и останемся здесь с большевиками.

– И останемся…

Даже не хотелось разговаривать, потому что в сердце где-то, помимо разума, начинала вылезать надежда: а вдруг…

К вечеру появился Шм., радостный и веселый:

– Слышали?.. Белые под Николаевом, через день он падет, и они будут наступать на Одессу. Мы сопротивляться не можем, у нас нет флота, один крейсер с моря раскатает весь город.

Хотелось крикнуть: молчите… молчите… И опять смятенье в душе. Вечером легли спать, не спится, все мерещатся шаги, стук в ворота в переулке, опять шаги, чей-то глухой вопль.

Одесса уже была объята смятеньем. Николаев пал. Добровольцы шли сушей, и падение Одессы было неизбежно. По городу опять залетали автомобили, народ в смятенье побежал по главным улицам, в учреждениях была паника, собирали спешно бумаги, часть жгли, часть увозили с собой. Ответственные работники наскоро тут же переодевались и выходили неузнаваемыми из учреждений. Солдаты спешно снимали телефонные провода.

В 4 часа пришел Бунин, возбужденный и радостный: “Пойдемте смотреть, как из ЧК бегут большевики”. Мы дошли до угла Елизаветинской и остановились против ЧК, Оттуда спешно выходили люди в странных сапогах и картузах, нанимали извозчиков и быстро уезжали куда-то. Вышел молодой человек, туго подпоясанный, одетый в белую рубашку, которая пузырилась на нем от большого количества бумаг, запиханных за спину и за пазуху; он сел на велосипед и укатил, тревожно озираясь. Извозчики летели по улицам, подгоняемые седоками; чекисты, переодетые в платья простолюдинов, быстро покидали уже не охраняемое здание “Чрезвычайки” и куда-то утекали. На лицах была тревога.

К вечеру в городе наступила жуткая тишина.

“Говорят, сегодня ночью возьмут Одессу…” – я уже не возражала. Никто не ложился спать, все “ждали”. Так быстро и внезапно наступило падение Одессы, что никто не мог представить себе, как оно совершится. Мы стояли на балконе и смотрели вниз, в черноту ночи.

Издалека послышались звонкие, четкие шаги патруля: несколько человек шли по Елизаветинской от Соборной площади, останавливаясь у домов. У нашего дома тоже остановились: “Есть

оружие? Пароль?”.

Молодой человек, охранявший наш дом со времени прихода большевиков, ответил пароль из двух слов. Брякнула винтовка, щелкнул курок.

– Что же это?

– Ну что, конечно, переодетый доброволец из контрразведки охранял наш дом и был субсидируем Юл. Льв., – сказал А. Ив. с торжеством в голосе.

– Та-а-к…

Стало еще жутче. Патруль шел и опрашивал охрану у каждого дома, и везде отвечали: есть – и пароль. У кого не было оружия, тому давали винтовки.

– Что же теперь будет?

– А вот увидите, – Ал. Ив. говорил как будто en connaissance de cause[71]. Патруль прошел, и опять стало непонятно тихо и черно, даже звезд не было на небе, впервые за все лето.

Мы подождали еще и пошли спать. Утром рано нас разбудили: “Вставайте, добровольцы входят в город”.

Мы стали поспешно одеваться и все вышли на балкон. Было теплое серое утро, на балконах соседних домов развешивали гирлянды зелени, ковры, ставили в кадках цветы. Люди шли по тротуару спешно и радостно. Со стороны по Елизаветинской слышны были звуки военной музыки. Скоро показался на белой лошади ехавший впереди отряда офицер, за ним добровольцы, трехцветные флаги, знамена, украшенные цветами, музыканты играли гимн, толпы людей бежали за ними с криками “Ура!” и сливались с толпами на тротуарах. “Ура” бесчисленных голосов катилось за отрядом. Многие со слезами падали на колени, из толпы бросали на дорогу ветки и цветы.

Отряд неспешно ехал по Елизаветинской.

Я плакала, переживая свое освобождение, и радость расстилалась по душе. У себя в комнате мы обнялись с Таней и на коленях благодарили судьбу.

Это было действительно освобождение из плена. Опять оживали надежды, опять мы могли стать самими собой. Хотелось жить, еще больше любить друг друга. От мысли, что, может быть, скоро я узнаю о Семене Владимировиче, может быть, увижу его, слезы лились сильнее.

В 12 часов пришел ликующий Бунин и предложил идти в город. Я пошла. Толпы людей наводняли улицы и площадь, незнакомые обнимались и говорили со слезами на глазах: “Христос воскрес”. День разгулялся.

В час был назначен молебен в Соборе, в 2 часа – в Университете и во всех церквах. Бунин пошел в Собор, мы с Таней

к двум часам пошли в Университет. Там собралась вся интеллигенция, уцелевшая в Одессе, все встречались радостно и растроганно. Церковь была украшена цветами, женщины были в белых платьях, с розами в руках. Когда батюшка со слезами на глазах произнес: “Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь”, – все до одного упали на колени, плакали и повторяли: “Христос воскрес”. Солнце светило в открытые окна, и было так странно видеть нарядную толпу, военных и власти в мундирах и погонах после всего, что пришлось пережить за последние месяцы в Одессе. В университетскую церковь пускали только по билетам, она была переполнена, но несметные толпы молились в соборе и на площади, где собрались все, не попавшие в храмы.

Иван Алексеевич все утро ходил по городу, первый вошел в Собор и оттуда вышел с хоругвью во главе крестного хода.

Весь день совершались в церквах молебствия.

Мы с Таней, успокоенные и радостные, легли спать, потушили огонь. Напротив в доме кто-то великолепно играл на рояле бетховенскую сонату, и видно было, что чья-то душа торжествовала в звуках свое освобождение.

Первые дни ликования в Одессе по случаю взятия ее добровольцами сопровождались в силу неизбежности террором С их стороны, хотя и несравненно более слабым, чем со стороны большевиков в течение их пребывания в Одессе. Прежде всего были задержаны и тут же расстреляны палачи, среди них особенной жестокостью отличались Маруся и Негр, бывший царский повар. Маруся была девушка 18 лет, хорошенькая. Кроме них видной фигурой Чрезвычайки был так называемый Христос, человек средних лет, с лицом, похожим на изображение Христа. Его искали, но, кажется, так и не нашли. Когда вели на казнь Негра и Марусю, мне случайно пришлось быть как раз у Екатерининской площади, которую я не могла перейти. Несметные толпы собрались на площади и на прилегающие к ней улицы. Когда издали по толпе пробежало слово “ведут”, люди буквально застонали и зарычали от ненависти и едва не разорвали палачей».

Осенью 1921 года дочь и внук воссоединились с Ермоловой. В первые годы революции Станиславского страшила судьба Марии Николаевны. Он знал ее непрактичность, знал ее щедрость. Вместе со своим заместителем по Оперной студии, Федором Дмитриевичем Остроградским, он долго думал, как бы, придравшись к 50-летнему юбилею ее жизни на сцене (1920 год), обеспечить ей старость. И придумал. Этот факт, известный мне со

слов Маргариты Николаевны, доказывает лишний раз, что, когда являлась необходимость прийти на помощь кому-либо из тех, кто был Станиславскому дорог, он сразу становился – в высшем смысле – человеком от мира сего. Правительству была послана бумага с просьбой «подарить» Ермоловой дом ее и Шубинского, национализированный в начале революции. В день юбилея Ермоловой подарили ее дом, и жильцы стали платить за квартиру ей. Платили они безропотно до тех лор, пока в 21-м году не вернулась Маргарита Николаевна и не взяла управление домом в свои руки. После ее возвращения кучка недовольных во главе со старшим сыном бывшего повара Шубинских Ивана Холмакова, Сергеем, начала травлю Маргариты Николаевны. Им не давали покою два обстоятельства: принцип частного владения в доме Ермоловой оставался в силе; Ермолова с дочерью и Александрой Александровной Угрюмовой занимает многокомнатную квартиру. (Николая Васильевича как внука октябриста и эмигранта Шубинского вычистили из Московского университета и только благодаря заступничеству Наркомздрава Семашко, доказывавшего, что Зеленин – не только внук Шубинского, но и внук народной артистки Ермоловой и сын врача Зеленина, служившего в Красной Армии и погибшего на фронте, приняли в Ленинградский университет.)

До кончины Ермоловой травля Маргариты Николаевны выражалась в угрожающих письмах к ней Сергея Холмакова. А когда Ермолова умерла и дом по наследству перешел к Маргарите Николаевне, бунтари осмелели. Партизанщина переросла в войну. Письма, адресованные Маргарите Николаевне, сменились статьями и заметками в газете «Рабочая Москва» и журнале «Жилтоварищество». Статья в журнале была озаглавлена «Дочь великой Ермоловой». В статье Маргариту Николаевну называли «эмигранткой», «белогвардейкой», «контрреволюционеркой», «классовым врагом». Опровержения нигде не приняли.

В разговоре с Николаем Васильевичем представитель Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) прямо дал понять, что бороться с Холмаковыми нелегко.

– Что вы хотите? – сказал он. – У меня в портфеле лежит донос Холмаковых на Рыкова (Рыков был тогда еще председателем Совнаркома СССР). Там написано, что дом этот Ермолова получила неправильно, что ей оказал протекцию в пьяном виде Рыков, которого нарочно для этого случая напоили.

В марте 29-го года, на другой день после того, как Луначарский на торжественном заседании в Малом театре, посвященном памяти Ермоловой, назвал Малый театр не только

Домом Щепкина, но и Домом Ермоловой, у дочери Ермоловой, как у лишенки, отобрали хлебные кар» точки.

Юристы Коммодов и Левашов добились восстановления Маргариты Николаевны в правах, ей была назначена персональная пенсия, но дом пришлось вернуть. Маргарита Николаевна безвозмездно передала дом Московскому совету, а Моссовет, в свою очередь, предоставил Маргарите Николаевне квартиру из четырех комнат (двух больших и двух маленьких) в пожизненное безвозмездное пользование.

Тогда по Тверскому бульвару ходили трамваи. Направляясь к Никитским воротам, они останавливались у Камерного театра (теперь там Театр имени Пушкина), потом – у «Памтима», как называли москвичи памятник Тимирязеву. Тем, кто ехал на трамвае к дому Ермоловой – к дому номер одиннадцать, приходилось или идти пешком вперед от Камерного театра, или возвращаться пешком от Никитских ворот.

Однажды, когда вся эта жилищная эпопея уже кончилась, Сергей Холмаков неловко спрыгнул с трамвайной подножки как раз напротив дома № 11 и разбился насмерть.

Осенью 30-го года мне прислали в Перемышль извещение, что я принят в институт, но предупреждали, что общежитием институт не обеспечивает.

Первое полугодие я прожил у двоюродных сестер моей матери, тети Кати и тети Лили, вместе с единственным пятнадцатилетним сыном тети Лили Володей, ютившихся в одной комнате в большом доме на углу Александровской площади и Бахметьевской улицы. Понятно, я их стеснял. Долго злоупотреблять их радушием было бы бессовестно. Тогда никто почти в Москве не сдавал комнат – как огня, боялись «финов» (финансовых инспекторов). А бешеные деньги у моей матери не водились. Хоть уходи из института…

И вот тут меня выручила Маргарита Николаевна. Она предложила мне поселиться в коридоре между шкафами. По моему студенческому билету меня прописали в качестве постоянного жителя у нее в квартире.

В конце коридора, слева, была дверь в комнату Александры Александровны Угрюмовой. Александра Александровна ходила мимо диванчика, на котором я спал и на котором в свободные от института вечера занимался и читал. Днем *я* занимался в читальных залах или в комнате Александры Александровны, служившей в бухгалтерии Малого театра.

Как красят человека добросердечие, ум, вкус, обаяние!

Маргарита Николаевна была высокого роста, хорошо

сложена, но она была некрасива: узкие, довольно глубоко сидящие глаза, широкие ноздри, «кошачий» овал лица… Но мягкие ее движения и быстрая походка были грациозны. Она всегда была к лицу причесана, одевалась, не приноравливаясь к моде, а приноравливая моду к своей фигуре, к своему возрасту, душилась изящными, как сказал бы Вертинский, духами. В ее маленьких глазках лучился теплый ум. В ее улыбке было столько дружелюбия! В ее слабом, иногда вдруг прерывавшемся глуховатом голосе слышалась такая широкая душа! И этот ее милый, негромкий, всегда естественный и оттого заразительный смех!..

Скоро, очень скоро Маргарита Николаевна стала старшим моим другом, самым тогда близким моим другом во всей Москве. Ей, и только ей, захотелось мне поверить мою первую сердечную невзгоду. С ней, и только с ней, делился я первое время своими личными переживаниями. Она, как никто, умела понять человека в его слабостях, в его пороках, в его проступках и прегрешениях и помочь ему выпутаться. Она оценивала поступки человека, оказывала ему нравственную поддержку и поступала сама, как ей подсказывали ее глубокий ум и умное сердце. Прописных истин она не выносила. Свое отношение к ним она обычно выражала так:

– Это все от чистого разума.

И безнадежно махала рукой.

Самое верное суждение о себе я слышал из уст Маргариты Николаевны:

– Ничего не имея, ты от революции очень много потерял.

Я исповедовался ей в таких грехах, какие скрывал даже от родной матери. Родная мать признала бы меня безусловно виновным, а потом амнистировала бы, но, и амнистировав, не поняла бы меня так, как понимала, всегда считая меня заслуживающим снисхождения, мать крестная.

У нее хватало терпения разбирать мои юношеские стишки, она не пропускала в них ни одной стилистической погрешности, не пропускала ни затычек, ни трафаретов. Она читала вслух то, что мне было еще не доступно без комментариев. Несколько вечеров читала она мне своего любимого «Фауста». Она ходила со мной в театры, в Музей Александра III (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), в реставрационные мастерские. Она познакомила меня с Юрьевым, с Марией Павловной Чеховой, с Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник и ее мужем, ленинградским адвокатом Николаем Борисовичем Полыновым, с Василием Ивановичем Качаловым и его женой – режиссером Художественного театра Ниной Николаевной

Литовцевой, с историком романских литератур профессором Алексеем Карповичем Дживелеговым, с одним из самых талантливых адвокатов советского времени Николаем Васильевичем Коммодовым, с академиком Матвеем Никаноровичем Розановым, с его братом Иваном Никаноровичем, который, еще гимназистом начав собирать прижизненные сборники русских поэтов от Кантемира до своих современников, составил грандиозное и уникальное книгохранилище, с академиком Евгением Викторовичем Тарле, с художником Михаилом Васильевичем Нестеровым, с директором музея «Мураново» Николаем Ивановичем Тютчевым, с доктором медицины, профессором-кардиологом Олегом Ипполитовичем Сокольниковым, с историком русской литературы и русского театра Сергеем Николаевичем Дурылиным, с Надеждой Андреевной Обуховой.

Маргарита Николаевна оказывала на меня влияние и нравственное, и эстетическое. Многое от ее жизнеощущения, от ее отношения к людям, трезвого и снисходительного, постепенно передалось мне. Она научила меня понимать живопись, раскрыла передо мной всю наивность моих «передвижнических» критериев. Ее суждения о художниках были еще глубже и точнее, чем о писателях. Так, о портретной живописи позднего Нестерова она отозвалась с исчерпывающей лапидарностью.

– Благородный выход из положения.

Некоторые мои литературные пристрастия, в которых я тогда признавался неохотно из боязни показаться заскорузлым провинциалом, – например, к Короленко – она во мне укрепила. На иных писателей, которых я по молодости лет еще недооценивал, она заставила меня посмотреть другими глазами. Одним из ее любимейших русских писателей был Сергей Тимофеевич Аксаков. Она утверждала, что самое трудное в искусстве слова – это вот такая аксаковская простота, сквозь которую видно все.

На Пушкине, Достоевском и Чехове наши вкусы сошлись сразу. Каждая мелочь пушкинской жизни вызывала у Маргариты Николаевны живой интерес. Она говорила о Пушкине как о родном по крови и духу человеке, которого она, кажется, только вчера утратила. Из романов Достоевского чаще всего обращалась к «Идиоту» – отчасти, быть может, под влиянием игры матери в инсценировке. Привязанность ее к Чехову становилась все тесней и тесней. В последние годы жизни Маргариты Николаевны я нередко заставал ее с «марксовским» томиком рассказов и повестей Чехова или с томиком его писем в руках, Я подарил Маргарите Николаевне составленную Н. И. Гитович «Летопись

жизни и творчества Чехова», и Маргарита Николаевна читала ее, как школьники читают Конан Дойля и Дюма.

Лев Толстой вызывал у нас разногласия. У меня уже тогда было двойственное к нему отношение. Я и теперь убежден, что короче и точнее всех определил Льва Толстого московский священник, преподававший Закон Божий в арсеньевской гимназии, где училась моя мать. Одна из одноклассниц матери затеяла с законоучителем спор об учении Толстого. Батюшка терпеливо выслушивал ее, мягко возражал. Наконец терпение его лопнуло, и он прекратил дискуссию.

– Хоть он и гениален, а все-таки сумасброд, – выразил он свое отношение к Толстому.

Маргарите Николаевне было чуждо толстовство, но Толстого-художника она принимала почти безоговорочно. Я из мальчишеского озорства, «назло» поклонникам Толстого, как кому-то «назло» долго не читал Марселя Пруста Бунин, в чем он, употребив именно это выражение, признался в письме профессору Бицилли, долго не читал «Анну Каренину». Прочел я ее уже в студенческие годы, живя у Маргариты Николаевны.

Маргарита Николаевна все стыдила меня: как это я, начитанный в общем «мальчик», смею не читать «Анну Каренину»?

– Это позор, просто позор!

Тем, что я сдался и долго потом не мог выйти из магического круга, каким меня очертил Толстой, я доставил Маргарите Николаевне истинную радость.

– Наконец-то! Слава Тебе, Господи! – с насмешливо-облегченным вздохом говорила она.

С 34-го по 36-й год мы с Маргаритой Николаевной не виделись. Когда я вернулся в Москву, Маргариту Николаевну неприятно поразили крайности моего тогдашнего увлечения символистами. К мережковским рацеям о Гоголе, которые я долго ей разводил, она отнеслась более чем скептически.

– Ну, а Гоголя-то ты любишь? – внезапно прервав мои акафисты Андрею Белому-прозаику, которого я называл «Гоголем XX века» (эх, молодо-зелено!), с обидой в голосе спросила она, но скоро смягчилась, удостоверясь, что старый друг для меня и тогда был все-таки лучше новых двух.

Как и Ермолова, Маргарита Николаевна плакала в Художественном театре на представлении «Дяди Вани» и «Трех сестер», но вершинами русской драматургии оставались для нее «Ревизор» и творчество Островского, а над этими вершинами одиноко высилось недосягаемое, по ее мнению, «Горе от ума».

Раньше, чем от Грифцова, я услышал о Прусте от Маргариты

Николаевны.

– Это Пруст! Совершеннейший Пруст! – часто говорила она, имея в виду свою домашнюю работницу и ее сходство с Франсуазой.

Далеко не все – в частности, любовь к живописи и любовь к Прусту – проросло во мне быстро. Но несомненно, что семена эти бросила в мой внутренний мир Маргарита Николаевна, так же как особым интересом к истории последних десятилетий царской России я обязан ее окружению.

Рассказы Маргариты Николаевны о русских и иностранных актерах и певцах заменяли мне летопись московского и петербургского театров. Маргарита Николаевна вела эту устную летопись с конца минувшего века. Первое время я на многие явления театральной жизни не мог не смотреть ее глазами. Я всей грудью вбирал в себя театральный воздух ее квартиры, где актеры, музыканты, певицы и режиссеры соревновались в тонкости понимания и свежести восприятия искусства с искушенными, избалованными, но не снобиствовавшими слушателями и зрителями.

Маргарита Николаевна совсем не была рутинеркой. Доказательство тому – ее культ Пруста, которого она читала и перечитывала по-французски. Но, натура в глубине скорее пассивная (вспыльчивость, порывистость, беспокойная суетливость – это была ее оболочка, но никак не сущность), она довольствовалась тем, что когда-то нашла, и потом уже если и делала для себя открытия, то чисто случайно.

Как у Ермоловой, пассивность уживалась в ней с неподатливостью, устойчивостью влечений и тяготений. Николай Васильевич пытался приохотить Маргариту Николаевну к прозе Андрея Белого, но на Маргариту Николаевну даже его «агитация» не подействовала.

Я дал ей почитать Бабеля. Она сказала, что у него парик, искусственный румянец и фальшивые зубы.

Современная русская литература не интересовала Маргариту Николаевну. Только сборник «Из шести книг» Анны Ахматовой (1940) стал в буквальном смысле настольной ее книгой: он лежал на ее ночном столике.

Надо заметить, что в отношении к современной литературе Маргарита Николаевна была не одинока. Когда я переехал на постоянное жительство в Москву, меня поразило равнодушие московской интеллигенции даже к выдающимся явлениям в искусстве слова. Я бывал в «хороших домах» и нигде не слышал разговоров ни об Алексее Толстом, ни о Сергееве-Ценском, ни о Шолохове, ни о Пришвине, ни о Багрицком, ни о Бабеле, ни об

Артеме Веселом, ни о Всеволоде Иванове, ни о Пильняке, ни о Леонове, ни об Олеше, ни о Пастернаке, ни о Маяковском, ни о Сельвинском, ни о Тихонове, ни о Федине. Уездная перемышльская интеллигенция набрасывалась на свежив номера «Красной нови» и «Нового мира», знала даже такого «неширпотребного» писателя, как Клычков. Москвичи в свое время отчитали двух советских Вербицких – Пантелеймона Романова и Сергея Малашкина, посмеялись над будто бы «смешными» рассказами Зощенко, погоревали над стихами Есенина, повосхищались заимствованным остроумием и заимствованной чувствительностью романов Эренбурга и на этом успокоились. Только одна моя знакомая семья – семья окулиста профессора Одинцова – из года в год выписывала «Новый мир». Равнодушие старшего поколения можно объяснить тем, что оно так устало от недавно пережитого и все еще переживаемого, что ему и читать об этом не было охоты. Но с таким же безразличием я столкнулся и в стенах института. В 20-х годах молодежь пообсуждала в стенах вузов и школ «Исанку» Вересаева, поплакала над Есениным, прорычала Маяковского, теперь ее тянуло к Багрицкому, а из прозаиков – ни к кому. Я, читавший «Литературную газету» от корки до корки, следивший не только за новинками прозы, поэзии, драматургии, но и за боями Полонского с бандюгами из РАПП, за оппозицией Литфронта, выглядел в глазах моих товарищей чудаком и маньяком. Современной литературой тогда интересовались, главным образом, писатели, те, что были над ними начальниками, студенты литфаков, литкружковцы. В Клубе ФОСП на вечерах поэтов народу было полно, но этот «народ» составляли опять-таки братия пишущая и братия непишущая – те, кого Лев Кассиль метко назвал «девушками при…», со своими кавалерами. В 60-х годах все перевернулось. Нынче читают и жук, и жаба, читают все подряд. Отсюда – паводок кривотолков. Булгаков, видите ли, всю жизнь нищенствовал, его пьеса «Багровый остров» так и не пошла, хотя Главрепертком целый год боролся за ее снятие со сцены Камерного театра и Таирова долго еще ею попрекали, Пастернак жил затворником, палец о палец не ударил, чтобы помочь Цветаевой; Станиславский – это был Сталин в Художественном театре, ему и на том свете не отмолить греха перед Булгаковым, ибо он, в течение нескольких лет дравшийся за сохранение в репертуаре, а потом – за восстановление «Дней Турбиных», посмел невзлюбить слабосильную пьесу Булгакова «Мольер» и после долгих и бесплодных пререканий с автором не снял пьесу, а всего лишь отошел от работы над ней. Нет уж, лучше совсем не слыхать звона, чем слышать, но не знать, откуда и какой это звон,

и пробавляться тем, что сороки на хвосте принесут.

В свое время Маргарита Николаевна прошла мимо почти всех символистов. Только Верлена она часто перечитывала по-французски и с любовным вниманием рассматривала «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского. В книжном шкафу у нее стоял алконостовский Блок, но я не помню, чтобы она хоть раз сняла его с полки.

Все виды искусства много говорили душе Маргариты Николаевны. Она любила пение и музыку, особенно – фортепьянную. Старалась не пропустить ни одного концерта пианиста Софроницкого.

Каких только певцов не слыхала она – и в опере, и в концертах, и у себя дома – от Девойода и Баттистини до приятеля ее отца Шаляпина и до Собинова! И все-таки обожала Козловского:

– Иной раз поет отвратительно, и вдруг возьмет такую ноту, что в антракте я как девчонка несусь к нему с излияниями восторга!..

А про Шаляпина говорила так:

– Шаляпина как артиста я не могу сравнить ни с кем, кроме моей матери, и по гениальности таланта, и по полноте перевоплощения. Время и пространство никогда не были в театре помехой только для них.

Казалось бы, после Ермоловой все трагические артистки должны были вызывать у Маргариты Николаевны презрительное раздражение.

А вот посмотрела она в фильме «Идиот» Борисову, да еще в ермоловской роли, и сказала:

– Что из Борисовой выйдет – судить пока еще трудно. Но что у нее задатки настоящей трагической актрисы – это для меня несомненно.

Любимыми актрисами и актерами Маргариты Николаевны были столпы Малого театра: Ольга Осиповна Садовская, которую она всегда называла тотчас после матери, Медведева, Лешковская, Федотова, Никулина, Горев, Ленский, Михаил Провович Садовский, Макшеев, Музиль. О Музиле она говорила, что стакан его был невелик, но что он пил из него До дна:

– Он был актер на сравнительно небольшие роли. Но эти небольшие роли он играл так искренне, с такой захватывающей силой чувства, с какой никто после него их уже не играл. Ты не можешь себе представить – и это нельзя передать, – как он, играя Нарокова в «Талантах и поклонниках», читал свои стихи Негиной! Читал просто – кажется, так бы и всякий прочел. А ведь вся зала – ну буквально вся зала плакала!

Я пересказал Маргарите Николаевне эпизод из закулисной жизни Малого театра, описанный в воспоминаниях Леонидова… После спектакля публика шумно рукоплескала сыну и дочери Ольги Осиповны Садовской, игравшим главные роли, а Ольга Осиповна в одном выразительном восклицании излила мужу, Михаилу Прововичу, свое негодование:

– Тоже нашли кому хлопать…

Леонидов, комментируя этот эпизод, утверждал, что Садовская не могла преодолеть свою слабость – она-де завидовала даже родным детям.

Маргарита Николаевна решительно восстала против подобного толкования:

– Леонидов, должно быть, плохо знал Ольгу Осиповну и ничего в ней не понял. Я ни от кого в Малом театре не слыхала, чтобы Ольга Осиповна кому-нибудь позавидовала. Какая там зависть!.. Ты говоришь, Шаляпин назвал ее «архигениальнейшей»? Вот, вот, вот, совершенно верно! Эта архигениальнейшая актриса была не завистлива, а требовательна – к себе и ко всем. Ее, наверно, искренне возмутило, что публика выражает восторг таким бездарностям, как Пров и Елизавета. Она вообще была без иллюзий и насчет своих деток не заблуждалась.

Приверженность к Малому театру не мешала Маргарите Николаевне отзываться и на искусство «художественников»: на искусство Лилиной, которой она отводила первое место среди актрис Художественного театра, Книппер, Савицкой, Бутовой, Самаровой, Халютиной, на искусство Москвина и Артема, в таланте которого она видела сходство с дарованием Музиля, на искусство Станиславского и Качалова.

Перед Станиславским она преклонялась. Чаще называла его «Константин Сергеевич», и когда произносила его имя и отчество, то вся как-то светлела.

Станиславский пригласил ее на репетицию «Бориса Годунова» в Оперной студии его имени.

– Как Константин Сергеевич показывает! – после говорила она. – Это не менее гениально, чем его Доктор Штокман или Крутицкий из «На всякого…». А в этих ролях он был действительно гениален. Недаром мама, посмотрев «Штокмана», писала Средину, что «Алексеев играет как великий артист». Глядя на Константина Сергеевича в ту минуту, когда он показывает, и камни заиграют и запоют.

А вот книгу Станиславского «Работа актера над собой» она называла «пособием для бездарностей»:

– Талантливых людей, которые уверуют в учение Станиславского, она может погубить. Разве такая книга чему-

нибудь научила бы мою маму, Ольгу Осиповну, Горева, Ленского, Музиля?.. Да они бы ее и читать не стали.

Тут Маргарита Николаевна расходилась с Николаем Васильевичем. Николай Васильевич прочел книгу Станиславского глазами психиатра и назвал Станиславского великим психологом, великим знатоком души человеческой. Вообще о «Работе актера над собой» я слышал самые разноречивые толки. Дживелегов, когда ему нужно было пояснить, что это, мол, сущая белиберда, говорил:

– Ну, это вроде системы Станиславского!

А мейерхольдовец Ильинский, прошедший сквозь все «биомеханики», признавался мне, и не раз, как много дало ему учение Станиславского.

– Так, как публика любит Качалова, она любила только мою мать, – придя с качаловского концерта, сказала Маргарита Николаевна.

Многократно возвращаясь к теме «Качалов-человек», она утверждала – и подкрепляла свои утверждения примерами, – что такую отзывчивость, как у Василия Ивановича, она вообще редко встречала, а уж среди актеров – в особенности; что хотя Василий Иванович смолоду не гнушался, да не гнушается и теперь, земными радостями и утехами, в сущности, он самый настоящий христианский подвижник.

На день 70-летия Станиславского и 50-летия его творческой деятельности (14 января 1933 г.) Качалов откликнулся в печати стихотворением в прозе. Я пересказал Маргарите Николаевне то место, где Качалов цитирует «Облако в штанах» Маяковского, относя его слова к Станиславскому:

У меня в душе ни одного седого волоса!

Маргарита Николаевна улыбнулась:

– Вот ведь Качалов – всегда как-то по-особенному скажет или применит слова кого-нибудь другого. И на похоронах моей матери самая оригинальная по мысли была речь Качалова. Ты читал в газетах его речь? Он говорил, что сейчас Ермолова играет, может быть, самую великую из предназначенных для нее ролей: ей пришли поклониться представители самых разных театральных течений, сегодня она всех нас сплотила.

Однажды за утренним чаем:

– Какое хамье – молодежь Художественного театра!

– Это вы о ком, Маргарита Николаевна?

– Да вот хотя бы Ливанов… Такое хамье, такое хулиганье, именно хулиганье!.. Вчера, когда ты был на лекциях, я ходила к

Качаловым. И Ливанов туда явился. Не понимаю, как Качаловы могут принимать его у себя и сажать за стол – ведь он сейчас же ноги на стол!..

А спустя некоторое время, побывав в Художественном театре на «Страхе» Афиногенова:

– Ах, до чего талантлив Ливанов, до чего талантлив! Из молодых он лучше всех в «Страхе». Азиат: глаза, как у тигра, кошачьи ухватки… Его просто забыть нельзя… Должно быть, он самый талантливый из молодежи Художественного театра… Нет, вот еще Хмелев… Какой он весь подлинный в Алексее Турбине! Этот скорбный, ушедший в себя взгляд!.. Я таких белых офицеров из интеллигентных семей видела как раз в Киеве… Но где же Хмелев-то их видел?.. Вот что значит дар Божий: чего не могло уловить зрение, то подсказывает сверхчутье. А как хорош в «Днях Турбиных» Прудкин! Вот именно с таким «адъютантом его светлости», какого он играет, я была знакома в Киеве.

О Марии Федоровне Андреевой:

– Таланта там не было никакого. Она была очень красива на сцене, на редкость красива – и только.

Из молодых «художественниц» Маргарита Николаевна отличала Соколову. Она была очарована ее игрой в «Днях Турбиных» и в «Елизавете Петровне» Смолина. О «Днях Турбиных» она говорила, что, когда их смотришь, кажется, что воскресли лучшие времена Художественного театра, что в спектакле все прекрасно и что она готова лишний раз пойти на «Турбиных» хотя бы для того, чтобы послушать, как оркестр играет за сценой «Яблочко». Терпеть не могла Маргарита Николаевна Еланскую, особенно в «Грозе» и в «Горячем сердце» Островского и в «У врат царства» Гамсуна, находила ее игру фальшивой от первой до последней ноты, а, посмотрев «Воскресение», развела руками:

– Что такое с Еланской? Потрясающая, толстовская Катюша!

– Что ж ты не посмотришь» Воскресение»? – укоряла она меня. – Там плох Нехлюдов-Ершов. Ему просто повезло. Качалов часто болеет, а у Ершова – внушительная фигура, уменье держать себя на сцене. Вот он и стал дублером Качалова – и выдвинулся. Нехлюдов, он никакой, но тут нужно войти и в его положение: его заставляют изобразить то, о чем читает Качалов, да еще как читает!.. Но вообще «Воскресение» – отличный спектакль. Сцены в суде, в тюрьме… Все так ярко, правда во… Слабы революционеры, но тут уж Толстой виноват. И Еланская хороша – вот что самое поразительное! «Воскресение» ты посмотри непременно.

В дореволюционном Художественном театре Маргарита Николаевна видела много. Ей нравились верностью

художественной правде и такие спектакли, которые заметного следа в его истории не оставили: «Иван Мироныч» Чирикова, где она выделяла Лужского, исполнителя заглавной роли, и Литовцеву, игравшую его жену, и «Дети солнца» Горького, где она выделяла Качалова-Протасова и опять-таки Литовцеву в небольшой роли горничной. Зато «Юлия Цезаря» ругала на чем свет стоит:

– Постановка великолепная, а из актеров одного только Качалова можно было смотреть. Для Качалова Цезарь – это tour de force[72]. Ведь он же его играл совсем молодой, а Цезарь был у него бесконечно усталый, пресыщенный, опустошенный. Зато уж Вишневский – Марк Антоний, Константин Сергеевич – Брут (при упоминании Станиславского у Маргариты Николаевны звучала нотка почтительного сожаления) – это было такое позорище, просто позорище! Как они оба стихи читали! «Довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться…»

Я не от одной Маргариты Николаевны слышал нелестные отзывы об игре Вишневского. Полагаю, однако, что его хулители не правы. Что ни говори, дореволюционная Россия полюбила же Дядю Ваню в исполнении Вишневского Испанист Кельин, поклонник Художественного театра, в особенности – Качалова, собиравший литературу о нем, открытки, на которых Качалов был снят в жизни и в разных ролях, восхищался тем, как в «Царе Федоре» Вишневский – Борис Годунов под величественностью осанки и внешней верноподданностью царю и царице давал почувствовать напористость, наглость, с какою он шел к намеченной цели. Моя мать говорила, что его Кулыгин из «Трех сестер» – это тип, и притом очень русский. Качалов полагал, что Вишневский останется непревзойденным Кулыгиным[73]. Мне запомнилась азиатская живописность поз Татарина-Вишневского из «На дне» и та мусульманская самоуглубленность, с какой он молился в четвертом действии. О каждом, кто играл Татарина после Вишневского, можно было сказать: «Федот, да не тот». И в «Страхе» мне запомнилась острохарактерная фигура Захарова-Вишневского. И в «Мертвых душах» его полицмейстер был плутягой и пройдохой, но по-гоголевски беззлобной и какой-то даже уютной. Словом, мне думается, что истина где-то посредине и что эту «срединную» истину, пожалуй, вернее всех выразил в монографии о Художественном театре Николай Ефимович Эфрос, считавший, что героические и трагические роли, вроде Марка Антония, пушкинского Бориса Годунова или Давида Лейзера из «Анатэмы» Леонида Андреева, были Вишневскому не по плечу и что театру не следовало их ему поручать: основное дело Вишневского – такие роли, как Татарин или Кулыгин.

Политические взгляды Маргариты Николаевны, в отличие от эстетических, не отличались твердостью. И тут она оказалась менее прозорливой, чем Ермолова, воспринявшая большевистскую революцию как антихристово царство жестокости и разрушения и, подобно «омскому каторжанину», сразу «на всем поставившая крест». Слабейшее место в воспоминаниях Маргариты Николаевны о матери – это ее рассуждение о революции как о возмездии за попранные права. А ведь писала она воспоминания после нескольких процессов, после коллективизации, в пору гонения на церковь, в ту пору, когда лик большевистской революции обозначился четко, когда стало яснее ясного, что, как сказал Бунин *еще* в *23-м* году – а понял тотчас после революции, новые хозяева принесли с собой «смерть и ужас, грабеж, надругательства, убийства, голод и лютое рабство для всех поголовно, кроме самой подлой черни».

Пытаясь что-то оправдать в новом укладе, Маргарита Николаевна вступала в противоречие с жизнью и с самой собой. Она говорила, что революция была необходима хотя бы потому, что институт прислуги должен быть упразднен. Между тем сама до конца своих дней без домашней работницы почти не обходилась, и, как видим, этот институт не упразднен до сей поры, хотя после революции прошло уже более полувека. Какое там! Столь многочисленного «обслуживающего персонала», как у нынешних «руководителей партии и правительства» не было, пожалуй, ни у кого из «их величеств», не говоря уж о «высочествах».

В 36-м году Маргарита Николаевна пыталась заставить себя поверить, что «сталинская конституция» открывает новую, более гуманную эру. Жизнь поспешила вдребезги разбить ее самоутешительные иллюзии. И уж после ежовщины она ни на какие удочки, в том числе и на хрущевскую, на которую клюнули многие интеллигенты, не попадалась. Но и под самоутешением у нее жила грусть.

Как-то, в начальную пору нашего знакомства, я провожал Маргариту Николаевну в такси на Николаевский (Ленинградский) вокзал, и в машине она заговорила о том, как я душевно ей близок:

– В одном отношении ты мне еще ближе, чем мой Коля. Коля пытается перебросить мостки от себя к новой жизни, что-то оправдать, что-то понять и принять. Может быть, он по-своему и прав. Так легче. Ты хоть и моложе его, но, как и я, как и Татьяна Львовна, решительно говоришь новой жизни: «Нет!»

Мне думается, что в Маргарите Николаевне было все-таки больше «ермоловского», чем «шубинского». Я уже говорил о

пассивности ее натуры. Маргарита Николаевна была застенчива. Интересно с ней было вдвоем или когда у нее собирались закадычные ее друзья, а в более или менее многолюдном обществе она тушевалась, тускнела. Она любила вспоминать, как ее отец, когда его представляли московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, небрежно бросившему: «А, да, знаю, вы – муж Ермоловой…» – мгновенно отпарировал: «Нет, ваше высочество, Ермолова – моя жена».

Маргарита Николаевна никогда бы так не нашлась.

И юмор ее расцветал в интимном кругу. А юмор у нее был опять-таки чисто ермоловский, брезговавший сальностями, но любивший сочное вольнословие. Для Маргариты Николаевны, как в былое время для бабушки, Николай Васильевич собирал коллекции невинно-раблезианских шуток, загадок и анекдотов.

Меня еще не было в Москве, когда скончалась Ермолова, когда пришла весть из-за границы о том, что погиб под поездом там же, где в 16-м году погиб Верхарн, Семен Владимирович Лурье. Кончина Николая Васильевича, умершего 42-х лет от дистрофии в дни ленинградской блокады, не сломила Маргариту Николаевну, но согнула. Смерть друзей она принимала спокойно.

Когда умер Тарле, я позвонил ей и начал с робких утешений.

– Что уж тут горевать, – сказала Маргарита Николаевна, – это неизбежно, годом раньше, годом позже… Скоро и я там буду…

С годами наша с ней дружба росла.

В письме к моей матери от 5 сентября 55-го года я писал:

«…поздним вечером собираюсь к Маргарите Николаевне, которая сейчас относится ко мне с такой нежностью, с какой, пожалуй, не относилась и в 30-х годах».

А в открытке от 7 октября того же года:

«Вчера обедал у Марг. Ник. и просидел с ней вдвоем 4 часа кряду. Она сказала, что счастлива, что я у нее бываю».

В двух письмах Маргариты Николаевны к моей матери я нашел строки о себе.

25 марта 59-го года Маргарита Николаевна писала моей матери в Калугу:

«На днях был Коля, просто невероятно интересно рассказывал…» 14 февраля 1960 года:

«Я очень была рада, когда узнала, что Коля едет к Вам… Я его очень люблю…»

Что уж я там мог такого интересного наговорить! Чаще всего я говорю плохо – «Ору – а доказать ничего не умею!» Но это «завышение отметки» ценно для меня как показатель нашего с Маргаритой Николаевной нерасторжимого сродства душ.

По советской номенклатуре, Маргарита Николаевна была

всего лишь «домашняя хозяйка». Но она была прекрасным и талантливым человеком. Талантливых деятелей искусства и науки единицы. Духовная жизнь страны в большей мере держится на талантливых людях, пока страна ими не оскудеет. Этой своей талантливостью и добротой Маргарита Николаевна притягивала к себе многих. Она делала добро по-ермоловски: легко и вместе с тем властно.

Когда я вечером приходил из института, она бросалась на кухню разогревать мне ужин. Как раз в ту пору домработницы у нее не было. Продукты отпускались тогда по карточкам, в весьма ограниченном количестве, и меня стесняло, что Маргарита Николаевна что-то отрывает от себя, что она мне готовит. В ответ на мое вранье, что я сытно поел в институтском буфете, я слышал ласково-безапелляционное:

– Без всяких разговоров!

Вот так, не допуская отнекиваний, обрывая выражения благодарности, Маргарита Николаевна совала беднякам деньги, ухаживала за больной прислугой. «Преломи и даждь», без оттяжки, без промедления, – это было символом ее веры. И так же щедро излучала она душевное тепло, так же была щедра на ободряющие, выпрямляющие человека слова.

Вот несколько строк из случайно сохранившегося у меня письма Нины Николаевны Литовцевой к Маргарите Николаевне от 1 февраля 1937 года:

«Друг мой дорогой, спасибо тебе за память и за ласку, которую я всегда от тебя получаю. Я очень, очень ее ценю, гораздо больше, чем это показываю».

И в заключение:

«Ты очень многим людям нужна, а это очень сильный стимул для желания жить».

К концу жизни у Маргариты Николаевны открылся тот же недуг, что и у Марии Николаевны: постепенное омертвение памяти и сознания.

В год ее кончины – в январе 1965 года – я записал в дневник:

«Был у Марг. Ник. Есть чутошные просветы в ее сознании:

– Все – все равно.

– Живу как придется. Не ты ведешь жизнь, а жизнь ведет тебя.

– Меня окружают люди, которые живут здесь, а мысли их далеко.

Как прежде, ласково взяв меня за руку и, как прежде,

доверительно:

– Это я только тебе могу сказать… – знакомые, много раз мною от нее слышанные, такие мне дорогие слова…

И снова – бессвязная невнятица…»

Перед всеми родными, перед всеми друзьями я хоть в чем-нибудь да виноват: не скоро, а то и вовсе не складывал не́любья с сердца, недопомог, недоблагодарил, недопонял, недовыслушал, недолюбил… И, что ни год, тяжелее груз сознания вины, теперь уже непоправимой. И особенно больно сжимается сердце при мысли, что перед Маргаритой Николаевной я так и остался в неоплатном долгу.

Кабы можно, братцы, начать жить сначала!

В 29-м году перед открытием театрального сезона газеты сообщили, что в труппу Московского Малого театра вступил народный артист РСФСР Юрьев.

Юрий Михайлович Юрьев был и артистом, и директором Александринского театра. В 28-м году первое, что бросилось ему в глаза, когда он после летнего отдыха перешагнул порог театра, это приказ о том, что он снимается с поста директора, а на его место назначается Николай Васильевич Петров. Давно ползший в директора, Петров внушил начальству, что Юрьев противится внедрению советского репертуара и затирает молодежь. В те годы для руководителя театра это были едва ли не самые грозные обвинения! Оскорбленный Юрьев ушел из Александринки совсем. Его пригласил Малый театр, но жить в Москве ему было негде. Маргарита Николаевна предложила ему занять в ее квартире две большие комнаты с условием: чтобы он платил за их отопление и освещение, и Юрьев со своим приемным сыном Виктором Яльмаровичем Армфельтом в 29-м году переехал в Москву. Виктор Яльмарович поступил в Оперетту и занял первое положение: пел Джима в «Роз-Мари», Боккаччо. Маргарита Николаевна втиснулась в комнатушку об одно окно, упиравшееся в противоположное крыло дома, где размещалась гинекологическая лечебница. Ее комнатушка находилась по другую сторону от коридорчика, дверь в дверь, ведшую в юрьевские апартаменты, между кухонькой и отделенной от нее клетушкой для прислуги и самой дальней от входной двери комнатой, которую занимала Александра Александровна. Впрочем, сузившись до размеров одной комнаты, стены которой были увешаны портретами Марии Николаевны в жизни и в ее основных ролях, квартира № 10 все-таки оставалась квартирой

Ермоловой. Здесь каждая мелочь напоминала о царице русской сцены.

Когда вы входили к Юрьеву, вам казалось, что вы попали в музей. Старинная, красного дерева, обитая синим штофом, располагающая к покою и неге, домовитая мебель – это не то, что современные «гарнитуры», на которых чувствуешь себя так же удобно и уютно, как собака, сидящая на заборе; старинный рояль, фарфоровая горка, хрустальная горка, книжный шкаф с брокгаузовским Пушкиным, Шекспиром и Байроном, на стенах – ленты, венки, портреты знаменитостей, среди них – Шаляпин, подаривший свою карточку «милому Юрчику»… Первая комната – столовая, отделенная штофной гардиной от спальни. Другая комната, бывшая спальня Ермоловой, выходящая окнами на Тверской бульвар, – кабинет, где Юрий Михайлович учил роли.

Одним из самых редкостных, драгоценных экспонатов музея был сам Юрий Михайлович. На карточках, где он снят молодым, он и лицом, и сложением похож на античного героя. Я познакомился с ним в ту пору, когда его черты утратили античную правильность, фигура утрати-ла летучесть, которую отмечают театральные критики и мемуаристы, видевшие Юрьева в классических, то есть в лучших его ролях. Остался в нем барин. Юрьев и сливался с обстановкой своей квартиры и еще резче вырисовывался на ее фоне. Эта его мягкая, изящная барственность проступала и в посадке головы, и в чуть-чуть небрежном тоне, и в манере говорить сквозь зубы, с легким носовым произношением, придававшим какую-то особую прелесть его речи, и в манере, слушая собеседника, не надменным, но величественным движением откидывать голову, и в манере носить шляпу и слегка опираться при ходьбе на трость, и в манере держать между пальцев левой руки папиросу.

Грифцов, говоря со мной об Алексее Толстом, вспомнил, что ему при НЭПе случилось ехать с Толстым по Волге на пароходе. Когда они оба в одном из приволжских городов сошли на берег, бабы, со всякой снедью толпившиеся у самого причала, расступились при виде Толстого и заокали:

– Ох ты, барин-то како-ой!

Барственность Толстого была иная, чем у Юрьева: громко о себе заявляющая, наянливая до беззастенчивости – и потому часто переходившая в свою противоположность. И все-таки мне думается, что и при виде Юрьева бабы расступились бы с тем же восклицанием.

Юрьев не желал – да если бы и захотел, все равно не смог бы – приспосабливаться к духу тогдашнего советского времени, менять привычки; он не хотел «опрощаться» даже внешне. Не

изменял он и своим прежним дружеским привязанностям.

Он носил на пальце кольцо с великокняжеской короной – подарок великого князя Дмитрия Павловича, одного из убийц Распутина. На кольцо обратил внимание член бюро ленинградского обкома партии Позерн и с упреком в голосе спросил Юрия Михайловича, зачем он его носит.

Юрий Михайлович так ответил Позерну:

– А представьте, вы мне тоже что-нибудь подарите. А потом произойдет переворот. Что же, я должен буду прятать ваш подарок?

Юрьев любил устраивать то, что Виктор Яльмарович называл grand-galas. На юрьевские ужины, по тем полуголодным временам преизобильные и роскошные, приглашались директор Малого театра Владимиров, секретарь дирекции Малого театра Федоров, режиссер Малого театра Константин Павлович Хохлов, «первый любовник» в трухше Малого театра – кокетливый, заласканный, самовлюбленный «Севочка» Аксенов, популярные в те годы солисты Большого театра – тенор Жадан и баритон Норцов. Очень редко и позднее всех появлялся Качалов, снимавший в передней оленью доху.

В один из таких зашедших далеко за ночь званых вечеров мой молодой сон, который можно было бы пробить лишь с помощью тяжелой артиллерии, внезапно нарушил неслыханной чистоты и нежности звук: это за столом у Юрьева пел «Хотел бы в единое слово» Иван Семенович Козловский.

Как-то, уже в четвертом часу утра, ворвался пьяный Климов и заорал на всю квартиру, что хотя, мол, Юрий, подлец, его и не позвал, но он, Климов, всегда унюхает, где пьют, от него не скроешься, он запах водки за тридцать верст учует, так что, Юрий-свет-Михалыч, хочешь не хочешь, а принимай и потчуй незваного, но дорогого гостя!

После того как Юрьев перешел в театр Мейерхольда, Владимирова, Федотова, «Севочку» и Хохлова как ветром выдуло из его квартиры. Их сменили Мейерхольд и Зинаида Райх, несмотря на свою красоту вызывавшая у Маргариты Николаевны отвращение своей безграничной вульгарностью и, как сказал о ней Игорь Ильинский, особенным, «цыганским нахальством». Мейерхольд – доживший до седин «муж-мальчик, муж-слуга из жениных пажей», – стоя перед ней на коленях, благоговейно снимал с ее ног ботики, а уходя, надевал и застегивал их.

Изредка появлялись или даже останавливались у Юрьева его знакомые петербуржцы: известный химик, муж артистки Тиме, блестящий собеседник Николай Николаевич Качалов, актер Александринского театра, развязный, бесцеремонный Студенцов,

автор либретто оперетты «Холопка» Евгений Геркен с голым, аристократически дегенеративным черепом и аристократически невнятным произношением, раскатывавшимся на «р» и не признававшим «л».

Адвокат Карабчевский присутствовал на спектакле, которым отмечалось 25-летие артистической деятельности Юрьева. Вспоминая этот его «юбилейный бенефис», состоявшийся в Александринском театре накануне февральской революции (шел «Маскарад» Лермонтова в постановке Мейерхольда и в декорациях Головина), он пишет («Что мои глаза видели», Берлин, 1921 год):

«Бенефициант был в ударе, и ему много аплодировали. Когда его чествовали при открытом занавесе, режиссер подал ему первым “подарок от государя императора”, второй – “от вдовствующей императрицы Марии Федоровны”».

Юрьев почти со всеми встречавшимися на его пути людьми был в милых отношениях. Любимец царского двора, он, не домогаясь благоволения новых вершителей судеб российских, расположил многих из них к себе – расположил, быть может, именно тем, что остался прежним Юрьевым. Его устойчивость – устойчивость отшлифованной самою природой гранитной глыбы – внушала доверие. Его колоритность тешила взгляд. Власти требовали от интеллигенции перекраски, но перекрасившиеся «страха и стомаха ради» в конце концов осточертели властям, и на Юрьеве их глаз отдыхал.

Благоприятелей у Юрьева было много, а вот близких друзей – во всяком случае, в Москве, – за исключением Маргариты Николаевны, ни одной души. Я не помню, чтобы кто-нибудь зашел к нему запросто, поболтать. Даже его троюродная сестра и бывшая соседка по имению Нина Николаевна Литовцева-Качалова хоть и часто бывала в доме Ермоловой, но приходила к «Маргарите», а не к «Юре», а «Юру», если оа заходил в комнату «Маргариты», с интересом расспрашивала, как идут репетиции у Мейерхольда.

Однажды мы с Маргаритой Николаевной разговорились о Юрьеве. Маргарита Николаевна сказала, что по натуре Юрий Михайлович отзывчив, но что его доброта разбилась о человеческую неблагодарность. В давно прошедшие времена зять Юрьева проиграл в карты крупную сумму казенных денег. Чтобы избавить его от позора, от разорения, от наказания по суду, Юрий Михайлович надавал векселей, залез в долги по уши. Выплачивал он их много лет, работая как вол, не гнушаясь халтурой. Семья, которую он выручил из беды, проявила к нему полное равнодушие. И Юрьев очерствел. Любовь и заботу он

сосредоточил на Викторе Яльмаровиче. До конца и во всем откровенен Юрьев был с Маргаритой Николаевной. Его большая дружба с Мейерхольдом была дружбой творческой. Душу свою Юрьев перед Мейерхольдом не распахивал – как вследствие своей замкнутости, так и вследствие мейерхольдо-райховского эгоцентризма. Но когда Мейерхольду понадобилось дружеское участие Юрьева, Юрьев откликнулся.

Новый 35-й год Юрьев встречал с Маргаритой Николаевной и с Мейерхольдом. Во все продолжение встречи лицо Мейерхольда казалось застывшей маской отчаяния. Почувствовав, что Мейерхольду хочется остаться с Юрьевым наедине, Маргарита Николаевна скоро ушла к себе. Мейерхольд поведал Юрьеву свою душевную драму: он ревновал жену к Цареву, не стал встречать с ней Новый год, говорил Юрьеву, что ему незачем жить, что единственный для него исход – самоубийство. Юрьев возился с ним как с малым ребенком, утешал, ободрял, разубеждал. Гулял с ним по ночной Москве, снова привел к себе, пытался уложить спать, опять пошел с ним бродить и, только когда Мейерхольд кое-как успокоился, белым днем довел его до дому и распрощался.

Мейерхольда потянуло к Юрьеву в минуту жизни трудную. А потом Юрьев-человек, да и Юрьев-артист, опять надолго перестал быть ему необходим. Мейерхольд ради пагубной, ослепившей его страсти к Райх жертвовал всем, вплоть до своих творческих замыслов, всем вплоть до искусства. Заманив к себе в театр такого актера, как Юрьев, перешедшего к Мейерхольду не только потому, что Юрьев ни с кем так не любил работать, как с Мейерхольдом, но и потому, что беспартийный и оттого особенно трусливый чинуша Владимиров составлял современный репертуар Малого театра преимущественно из тухлых отбросов, от которых воротили носы даже принюхавшиеся к тухлятине руководители других театров, – перешедшего не без колебаний, ибо Малый театр был его колыбелью, – Мейерхольд насулил ему постановку байроновского «Сарданапала» и еще невесть чего. Из всех своих обещаний Мейерхольд выполнил одно: Юрьев сыграл у него Кречинского, которого он играл и в Малом театре. Мейерхольд обманул Юрьева не потому, чтобы он в нем разочаровался. Жизнь в его театре подчинялась сумасбродствам Зинаиды Райх, «единственной – ради кого стоит жить на этой земле», как написал на своем портрете, подаренном в 27-м году Андрею Белому, Мейерхольд, запечатлевший в этих словах свою трагедию – трагедию человека и художника. Спектакли, в которых главные роли играл бы Юрьев, ей были не нужны. Она завидовала не только успеху актрис (Бабанову из театра выжила она), но и

успеху актеров. Она собиралась играть Гамлета, она – женщина сверхбальзаковского возраста – хотела играть в пьесе Сейфуллиной девушку-колхозницу Наташу, и из-за этого летел «Борис Годунов» Пушкина, мечту о постановке которого давно носил в душе Мейерхольд. Сталин поспешил с закрытием театра Мейерхольда – театр развалился бы сам собой: актеры его покидали, публика к нему охладевала, прогалины в его зрительном зале все расширялись. Юрьев, впервые после переезда из Ленинграда показавшийся москвичам во всем своем блеске именно у Мейерхольда, в «Свадьбе Кречинского», вновь отчалил к берегам Александринского театра.

Впрочем, я убежден, что, если бы Юрьев играл у Мейерхольда роль за ролью, он все-таки переехал бы в Ленинград. В Москве Юрьев-артист не прижился. По свидетельству ученого секретаря Театра имени Мейерхольда Александра Вильямовича Февральского, Мейерхольд отозвался о пьесе «Земля дыбом» так: «Сволочь пьеса! А ставить придется». Так вот, играя в современных «пьесах-сволочах», Юрьев не мог понравиться московскому зрителю. Но он не волновал его и в шиллеровском маркизе Позе, которого он сыграл перед уходом в Малом театре, и в сценах из байроновского «Манфреда» и «Маскарада», с которыми он выступал в своих именных концертах. На публику веяло от Юрьева петербургским холодом, и публика так же холодно, хотя и почтительно, принимала его. Публика аплодировала не столько его исполнению, сколько ореолу вокруг его имени, созданному в Петербурге. Она видела перед собой причудливой формы, переливающуюся разноцветными огнями льдину. Это было внушительно, это было очень красиво, но это не трогало и не вызывало той бури восторга, какую поднимали на литературных вечерах Качалов и Леонидов. А театральная Москва не пришлась по вкусу Юрьеву. Я ни разу не слышал от него одобрительного отзыва о каком-нибудь московском спектакле. Предпочтение он всегда отдавал петербуржцам. Его не удовлетворяли ни московские артисты, ни московские поэты, читавшие с эстрады стихи.

– Мне не нравится, как Качалов читает Есенина: очень уж по-интеллигентски, – говорил он.

– Мне не нравится, как современные поэты читают стихи. Например, Василий Каменский… Что же это за чтение?

Дилинь-бом,
Дилинь-бом,
Загорелся кошкин дом,
Бежит курица с ведром,

Заливает кошкин дом.

Юрьев не различал звукообразов, выраставших из чтения поэтов. А за собой он не замечал, что декламационный пафос и голосовые раскаты и переливы заглушают и заслоняют звукопись и живопись поэта.

Из-за стены я часто слышал, как Юрьев разучивает для концерта стихи:

Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова…

Юрьев по многу раз повторял: «бурлива», – беря то выше, то ниже, то скандируя слоги: «бур-ли-ва», – то растягивая «и»: «бур-ли-и-ива», – и наконец останавливался на каком-нибудь звуковом варианте. Мне было ясно, что Юрьев тщится изобразить голосом взвихренность Невы, но я не понимал, почему его удовлетворяет именно этот звуковой вариант: в таком произнесении Нева, на мой слух, не становилась «бурливей». Слушая Юрьева, я следил за модуляциями его мощного, с бархатцей, голоса, а наводнения не видел и не слышал. Когда же «Медного Всадника» читал Яхонтов, у которого мысль, чувство и зрительный образ были сращены со звуковой оболочкой, то я слышал не голос чтеца, а злобный рев волн и видел *омраченный Петроград*.

Юрьев никогда не читал ни своим гостям, ни у кого-либо в гостях. Он особенно волновался на своих концертах, больше, чем на спектаклях. В антракте он менял сорочку, и ту, что снимал, можно было выжать. Однако интимная обстановка волновала его еще сильнее, чем битком набитый зрительный зал. Люди, мало знавшие Юрьева, были уверены, что он кривляется, не сдаваясь на уговоры и просьбы что-нибудь почитать. Но это было не ломанье – это была невозможность преодолеть себя.

Юрьев часто употреблял шутливо-грубые выражения. Не повышая голоса, а лишь с ноткой капризного ребенка, он говорил прислуге:

– Поля! Ну что же вы, сукина дочь, обед не подаете? Я из-за вас на спектакль опоздаю.

– Поля, чертова сволочь! Куда вы задевали мои запонки?

«Сукина дочь», еле повертываясь, еле перевертываясь и фыркая в кулак, принималась искать запонки или вплывала в столовую, неся тарелку с супом.

При мне Юрьев ни разу не вышел из себя, ни на кого не накричал. Я вообще не слышал от него резких суждений о людях. Он был благожелателен от природы, что явствует из его «Записок», в которых он показывает людей с лучшей их стороны. Вот обижался он, как избалованный мальчик. Однажды пришел откуда-то поздним вечером и потребовал, чтобы Поля налила ему чаю непременно в его любимую чашку с мушкой, оставшуюся от фамильного сервиза. Как на грех, чашка куда-то запропастилась. Юрий Михайлович облокотился на буфет в коридоре и заплакал.

– Я – Народный Артист, а мне не могут отыскать мою любимую чашку с мушкой! – причитал он.

Юрьев пылил, когда что-нибудь оскорбляло его вкус артиста. Художник Юрий Матвеевич Казмичев присутствовал при том, как Юрьев, смотревший спектакль Александрийского театра «Ревизор», вознегодовав на пошлую игру актера, игравшего Хлестакова, среди действия встал и, проговорив: «Ч-черт знает что! Возмутительно!» – направился к выходу. Мне Юрьев рассказывал, как он расшумелся, когда к нему в антракте подлетел газетный интервьюер спрашивать его мнение о каком-то спектакле грузинского театра. Юрьев разбранил спектакль, но интервьюер пристал к нему как банный лист: ну хоть одно доброе слово, а то ведь неудобно: идет декада грузинского искусства, а лучший артист Ленинграда ушел после первого акта, ничего не сказав. Канючил, канючил, пока, наконец, Юрьев не отмахнулся.

– А, да пишите в конце концов что хотите, только отстаньте!

С этими неосторожными словами он прошествовал к выходу.

Через день, лежа в постели, Юрьев раскрыл свежий номер газеты и в нем узрел целый дифирамб, который он будто бы пропел «в беседе с нашим корреспондентом» цветущему пышным цветом грузинскому национальному искусству.

Юрьев во *имя прекрасного* шел *против течения.*

Уже когда он снова играл в Александринском театре, в один из его наездов в Москву я встретился 6 ним у Маргариты Николаевны. Речь зашла о положении в современном театре.

– Юрий Михайлович! Скажите мне, пожалуйста, откровенно, – обратился я к нему, – как вы находите: кто лучше как руководитель театра – Виктор Крылов (весьма посредственный драматург, заведовавший репертуарной частью петербургских императорских театров) или Вивьен (тогдашний художественный руководитель – «худрук» – Александрийского театра)?

– Конечно, Виктор Крылов, – не задумываясь, ответил Юрьев. – У Крылова все-таки была любовь к театру, он думал и о театре, а Вивьен думает только о собственных званиях и орденах.

Юрьев слишком усердно полировал поверхность роли, и это мешало ему поглубже заглянуть в образ, лишними украшениями он себя обеднял. И все-таки было бы заблуждением думать, что убор и отделка являлись для него самоцелью. Он добивался балетной пластичности движений и поз; ему хотелось, чтобы голос у него звучал как у солиста оперы; он стремился быть эффектным на сцене. Но он был убежден, что именно так надо служить Искусству. А Искусство было для него Религией. Религию же он рассматривал как некий высший род Искусства. В начале революции он и Шаляпин познакомились с настоятелем одной из петроградских церквей, стремившимся к тому, чтобы дух православия был облечен в достойную его форму. По его просьбе у него в храме Шаляпин пел с хором и читал паримии и Апостола, а Юрьев читал часы, кафизмы, шестопсалмие и канон.

Юрьева особенно раздражала не неумелость и даже не халтура, а лжеискусство. Как он вскипел, когда Виктор Яльмарович пытался доказать, что «Гамлет», поставленный Акимовым у вахтанговцев, – любопытный, новаторский спектакль, что пора превратить мочаловско-качаловского принца с мировой скорбью в душе и с поднятыми горё очами в простого смертного, наделенного практическим умом и цепкой хваткой, потому так искусно разрывающего хитросплетенную паутину придворной интриги, что он сам – плоть от плоти мира происков, козней и вероломства.

Спор возгорелся в начале ужина. Юрий Михайлович, выпив две рюмки водки, обычно становился красен, как спелый помидор. Тут он не пропустил еще ни одной, а на щеках у него вспыхнул пожар.

– Не понимаю, как ты это можешь защищать, Виктор, – вертя головой (это был у него признак сильного волнения), заговорил Юрьев. – Так поставить «Гамлета» – это все равно что напакостить в храме!

Спор длился долго и под конец по русскому обычаю перерос в спор о смысле жизни, о судьбах России и всего мира.

– Я верю в Добро, я верю в конечное торжество Добра на Земле! – упрямо рокотал Юрьев.

…В 32-м году, весной, в Великую Субботу, Юрьев, столкнувшись со мной в коридоре, сказал:

– Я прямо из церкви: прикладывался к плащанице. Долго стоял. Я не ожидал, что будет столько народу… Ничего не могут поделать с религией!.. Как это все-таки отрадно!..

…В быту Юрьев казался обломком московской барской старины. Как артист, он, прошедший школу Малого театра, был чужд Москве: он гармонировал с Петроградом, с его «строгим,

стройным видом».

…Литературовед и театровед Константин Николаевич Державин, рассказывая мне о похоронах Юрьева, многолюдством заставлявших вспомнить похороны Достоевского, закончил свой рассказ такими словами:

– Вместе с душой Юрия Михайловича отлетела и душа Петербурга.

Виктор Яльмарович Армфельт, швед по национальности, сын шталмейстера графа Армфельта, лицом был похож на Шаляпина. Постанов головы, разрез глаз, форма носа – все как у Шаляпина, только не такое крупное. Быстроту и легкость движений воспитали в нем морской кадетский корпус и служба на корабле. Генеральную уборку комнат на Тверском бульваре производила не Поля, а Виктор Яльмарович, и это был труд не из легких. Как-то Маргарита Николаевна поделилась с Виктором Яльмаровичем ужасной новостью, что в коридоре за портретом она обнаружила клопов.

– Что же вы удивляетесь, Маргарита Николаевна? – хладнокровно заметил Виктор Яльмарович. – У нас тут скоро змеи заведутся.

И вот, чтобы в этакой скученности и тесноте и впрямь не завелись змеи, Виктор Яльмарович лазил по стремянкам, как по вантам, а когда он орудовал шваброй, мне казалось, что он надраивает палубу.

В отсутствие Юрьева до меня доносились из его кабинета рулады, которые выпевал Виктор Яльмарович: «*Ла-ла́ ла-ла́-ла, ла-ла́, ла-ла́-ла»,* – арии, которые он разучивал или повторял. Но служба в оперетте была для него только службой, общественным положением. Маргарита Николаевна говорила о Викторе Яльмаровиче, что он вынужденно пошел не по своей дороге, что, не случись революции, быть бы ему дипломатом. Насчет дипломатии судить не берусь, а что он сам или его родители напрасно выбрали для него военно-морскую карьеру, это стало для меня бесспорным после наших с ним первых же долгих бесед. На мой взгляд, в лице Виктора Яльмаровича Армфельта русская культура потеряла историка «страшных лет России», историка, которому сама судьба набила полны карманы фактов и которого она наделила умом ясным и проницательным.

В отличие от большинства актеров Виктор Яльмарович много читал, с особым интересом – исторические мемуары, преимущественно – мемуары, охватывающие эпоху Александра Второго – Николая Второго.

Кого он только – вблизи или хотя бы вдали – ни видел из

членов царской семьи, из придворной камарильи, включая Распутина, из высших чинов армии и флота! Он слушал Ленина, произносившего речь с балкона особняка Кшесинской.

Летом 17-го года Виктор Яльмарович ушел из Петрограда в плавание, вернулся уже не в Россию, а в РСФСР и узнал, что его отец, мать и сестра благополучно эмигрировали в Финляндию. Виктор Яльмарович подал прошение, чтобы ему разрешили выехать к семье. На прошение ему ответили арестом, а Петроград переживал в то время зиновьевщину, по своему кровавому размаху не уступавшую ежовщине, как не уступал ежовщине «красный террор», душегубствовавший в России с 18-го по 21-й год, избивавший даже тех, кто совершенно случайно подвернулся под руку, и заслоненный в нашей памяти 36–38 годами. И вот морского офицера, сына шталмейстера, графа, только за то, что он посмел попроситься к родителям, уже совсем было подвели под расстрел. Кто-то об этом узнал и сообщил Юрьеву. Юрьев был хорошо знаком с отцом Виктора Яльмаровича, помнил мичмана и немедленно нажал кнопки. Однако связи Юрьева до самых высших сфер не доходили. Юрьев обратился к Горькому и Шаляпину, и дружный их натиск возвратил Армфельту свободу.

Виктор Яльмарович уже в конце жизни рассказывал мне:

– Горький много для меня сделал, но Чека все тянула. Шаляпин, как был, в «кустодиевской» шубе и шапке, ворвался на Шпалерку, к моему следователю, наорал на него – и вытребовал меня. Заявил, что уйдет отсюда только вместе со мной. Вызволил и повел к Юрию Михайловичу. Раньше я не был знаком с Шаляпиным, но весь этот день мы с ним не расставались, бродили обнявшись по питерским улицам… С этого дня до дня его отъезда за границу длилась наша дружба… У Шаляпина была нежная, чуткая душа… Ему не надо было объяснять – он и так, без слов, по глазам понимал, что у вас на сердце.

Юрий Михайлович предложил Виктору Яльмаровичу поселиться у него, У Виктора Яльмаровича был не сильный, но приятный баритональный тенор, выгодные для актера внешние данные. Он начал брать уроки пения, Юрий Михайлович занимался с ним актерской техникой и в конце концов устроил в какой-то – не помню – ленинградский музыкальный театр. А затем Виктору Яльмаровичу пришлось перейти в Московский театр оперетты.

Я присутствовал при многих вечерних ожесточенных словопрениях между Юрием Михайловичем и Виктором Яльмаровичем. Юрий Михайлович наливался кровью, выражал свои мысли сбивчиво и путано, повторялся, и все-таки видно было, куда он гнет. Он утверждал, что хотя большевики

столкнули Россию в пропасть, но что рано или поздно она из пропасти выберется: неправда и злоба не могут воцариться навек. Ценою неисчислимых жертв Россия пробьете я к Добру и Правде.

Когда Виктор Яльмарович волновался, его и так-то белые пухлые, как у женщины, щеки белели, словно на жгучем морозе. Говорил он не менее запальчиво, чем Юрьев, но он выстраивал свои аргументы в полном боевом порядке. Речь у него текла свободно, не зная ни излучин, ни порогов, ни мелей.

– Все это мы уже слыхали! Слыхали в Художественном театре, на представлении «Трех сестер»: из уст Вершинина! Все вы мечтали о том, что через тысячу триста лет жизнь станет счастливой. Вы прекраснодушно разглагольствовали, а большевики тем временем дело делали – и добились своего. И теперь уж поздно – ваши карты биты. Ты чего, собственно, хочешь? Слюнявой, сопливой России с Керенскими и Родичевыми? Покорно благодарю! Большевики навели в России порядок. Жестокий? Согласен. Но всякий порядок лучше анархии. Бесхребетности кумиров русской либеральной интеллигенции я, если хочешь знать, предпочитаю целеустремленную волю Ленина.

Я чувствовал, что Виктор Яльмарович говорит искренне. Да и какая корысть была ему лицемерить перед Юрием Михайловичем, перед Маргаритой Николаевной и передо мной? Но я недоумевал, откуда это у Виктора Яльмаровича. Таких речей мне от русского интеллигента, да еще от аристократа, дотоле слыхивать не приходилось.

Я разгадал эту загадку, после того как послушал стихийно возникший диспут между Виктором Яльмаровичем и Евгением Викторовичем Тарле.

Тарле, тогда только что освобожденный досрочно, вернулся из алма-атинской ссылки, подолгу жил в Москве, в общежитии Дома ученых, и часто навещал Маргариту Николаевну.

В один из вечеров, когда в комнате у Маргариты Николаевны сидел Тарле, Маргарита Николаевна позвала выпить чаю (Юрьев в тот вечер играл) Виктора Яльмаровича и меня. Позвала и потом сама была не рада.

Разговор почему-то зашел о Николае Втором. Тарле нарисовал портрет Николая Второго по трафарету: безвольный, слабоумный, привел Россию к гибели.

Щеки у Виктора Яльмаровича побелели, и началась дуэль.

С Юрием Михайловичем Виктор Яльмарович спорил азартно, горячо, в его светлых глазах отражалась скорбь. На Тарле он обрушил всю отпущенную ему природную ярость.

Он доказывал, что нельзя на Николая Второго, человека, кстати сказать, совсем не глупого, любившего искусство,

хорошего пианиста, тонко чувствовавшего и исполнявшего Шопена, валить все. В гибели России виноваты министры, чиновники, генералитет, духовенство, а главное – безответственные демагоги, думские крикуны и хрипуны, себе же на горе натравливавшие на власть темный народ, виновата либеральная профессура, упивавшаяся своей болтологией.

Перипетии спора не отложились в моей памяти – осталось лишь общее от него впечатление.

Тарле спорил, подавляя клокотавшее внутри раздражение. Только ястребиные его глаза остро посверкивали недобрым огнем. Виктор Яльмарович не скрывал, что ему ненавистен противник. Не называя его по имени, он, оскорбляя либеральную профессуру, оскорблял Тарле, но Тарле перчатки не поднимал. Он делал вид, что не воспринимает слов Виктора Яльмаровича как выпад против него лично.

Победил Виктор Яльмарович. Тарле смолк – смолк не потому, чтобы ему хотелось прекратить спор, а потому что ему «крыть было нечем», потому что Виктор Яльмарович забил его фактами. У Виктора Яльмаровича было огромное преимущество: он знал двор и придворную среду изнутри, знал великое множество характерных подробностей, черточек и штришков, словечек и фраз, которые историку подчас бывают нужнее крупных событий.

На другой день я сказал Виктору Яльмаровичу:

– Вчера я аплодировал вам в душе.

Виктор Яльмарович задорно и довольно усмехнулся.

– А что? Как вы находите: отделал я вчера профессора? Это вот именно таким господам мы с вами обязаны тем, что живем в казарме, идейной и бытовой. Вместо того чтобы сплотиться с властью против общего наиопаснейшего врага – против большевиков, они ежедневно, ежечасно подпиливали сук, на котором сами же, сволочи, со всеми удобствами расположились. Да Шекспир со своими «Гамлетами» и «Лирами» – мальчишка и щенок. Ему и не снились трагедии, которые теперь ежедневно разыгрываются в России.

Два года спустя, читая статью Гершензона в «Вехах», я вспомнил слова Виктора Яльмаровича.

И уж после кончины Виктора Яльмаровича я вспомнил его слова, когда читал статью Бердяева «Духи русской революции».

«Слишком многое привыкли у нас относить за счет самодержавия, все зло и тьму нашей жизни хотели объяснить, – писал Бердяев в 1918 году. – Но этим только сбрасывали с себя русские люди бремя ответственности и приучили себя к безответственности. Нет уже самодержавия, а русская тьма и русское зло остались. Тьма и зло заложены глубже, не в

социальных оболочках народа, а в духовном его ядре. Нет уже старого самодержавия, а самовластье по-прежнему царит на Руси, по-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка по-прежнему является устоем русской жизни, ее основной конституцией».

Что бы сказал Бердяев, поживи он в России 30–40—50—60–70 годов?

И вспомнил я слова Виктора Яльмаровича *о* «слюнявой» сопливой, керенщине, когда в книге Абдурахмана Авторханова «Происхождение партократии» все вокруг меня озарила великая мысль о том, что Керенский, сняв Лавра Георгиевича Корнилова и обратившись за помощью к Советам рабочих депутатов, допустил ошибку, «равной которой не знает история России».

Первым страшным наказанием, коим «посетил Россию Господь», была гибель Петра Аркадьевича Столыпина. Вторым – гибель Лавра Георгиевича Корнилова. Убили Корнилова в 1918 году под Екатерино-даром, и —

Закружились бесы разны,
Словно листья в ноябре…

…А пока Виктор Яльмарович сражался с Тарле, для меня все яснее становился он сам. Я понял, что надрывный его «большевизм» порожден тоской по бесконечно дорогой ему прежней России.

Если ту Россию вы не сумели сохранить, если вы вовремя не были умными, так уж тогда все пропадай пропадом. Дали вам большевики под зад коленом – ну и скатертью дорожка. Пусть уж все будет новое, ничем не напоминающее былое. Нет ничего отвратительнее ваших временных правительств, «государственных» и «демократических» совещаний, предпарламентов, учредительных собраний. Нет ничего отвратительнее ни павы, ни вороны, ни Богу свечки, ни черту кочерги. Нет ничего отвратительнее середки на половинке, ни двух ни полутора, ни того ни сего. Тем более что ни то ни се неминуемо превращается черт знает во что. Таков был подтекст споров, которые Виктор Яльмарович через голову ни сном ни духом не повинного в распаде России, всегда за тридевять земель стоявшего от политики Юрьева вел с противником воображаемым. Он наскакивал на Юрия Михайловича за неимением настоящего противника – и скоро остывал. В лице Тарле он столкнулся с представителем враждебного ему

общественного слоя – и уж на нем отвел душу.

В 33-м году в Москве проходила паспортизация.

В начале революции паспорта были отменены и объявлены одним из орудий угнетения масс, полицейского сыска и прочего, и тому подобного. Теперь в стране снова вводили паспорта – вводили главным образом с целью выявления «чужаков». В 29–30 годах из Москвы выселили сперва бывших торговцев, потом – духовенство. Столбцы тогдашних газет были заполнены ликующими сообщениями о том» что в таком-то районе столицы выселение «нетрудовых элементов» идет бойко, и тревожными – о том, что в таком-то районе выселение идет недопустимо медленными темпами. На этом не успокоились. Решили пропустить население не сквозь решето, а сквозь сито. Лиц, которым отказывали в московском паспорте, просили об выходе из пределов столицы за столько-то километров. Прежде чем получить или не получить паспорт, москвич должен был пройти проверку: его допрашивал милицейский чин в присутствии управдома. Милицейские старались огорошить вопросами. По Москве ходила устная пародия на проверку. Мне запомнился один из пародийных вопросов: «Во сколько этажей был дом у вашей бабушки?» Потом я убедился на опыте, что пародия представляла собой почти протокол. Еще на злобу дня по Москве был пущен стишок:

У лукоморья дуб срубили,
Златую цепь в торгсин снесли,
Кота в котлеты изрубили,
Русалок паспорта лишили,
А леший сослан в Соловки.

Жаловаться, хлопотать – во всяком случае, на первых порах – не имело смысла.

Когда я принес в секретариат Крупской письмо перемышльской учительницы-пенсионерки с просьбой о том, чтобы ей выдавали лаек наравне с работающими учителями, мне задали вопрос:

– Это не насчет паспорта? Надежда Константиновна никаких жалоб на отказ в московском паспорте не принимает.

Я вкратце изложил суть просьбы, секретарша, сказав: «А, ну тогда я передам», – приняла у меня прошение. Крупская быстро откликнулась, сломила сопротивление перемышльских «снабженцев», и у слепой старухи, полвека прослужившей в начальной школе, забота о хлебе насущном отпала.

Дошла очередь и до дома Ермоловой. Мы все, жители

квартиры № 10, явились в наше отделение милиции на Тверском бульваре. Юрьев получил паспорт без проверки и вне очереди.

Вызвали меня. Я пошел почему-то «без страха и сомненья».

– Вы зачем это приехали в Москву? – с грубой издевкой задал мне вопрос милицейский.

– Учиться.

– Кто это вас приглашал?

– Я не знал, что для этого требуется приглашение. Подал документы, выдержал экзамен – меня приняли.

– Ваш отец был поп, кажется?

– Это вам только кажется. Посмотрите повнимательнее мои документы.

– Идите. Вас вызовут.

По тону краткого допроса я заключил, что мне выдадут паспорт не долее, чем на полгода, тем паче что мне оставался какой-нибудь месяц до окончания института. Заключил – и не огорчился. Утешало молодое «Авось!».

У нас был хороший управдом. Когда меня вызвали и вручили паспорт, я увидел, что он действителен по май 36-го года. Три года – это был тогда максимальный срок долготы паспорта.

Домой я возвращался с Виктором Яльмаровичем. Он тоже получил трехгодичный паспорт.

Дома Виктор Яльмарович позвал меня к себе.

– Давайте выпьем за советский паспорт, черт бы его побрал! – в радостном возбуждении, какое испытывает человек, мимо которого беда прошла стороной, предложил он.

Начиная с 32-го года я, подходя к телефону, все чаще слышал в трубке голос, говоривший на ломаном русском языке:

– Пошалюста: Йюрий Михалить!

Я для порядка осведомлялся:

– А кто его спрашивает?

– Доктор Штельцер, – отвечал голос.

В передней я несколько раз сталкивался с «солитером» в пальто и в шляпе. Это и был сотрудник германского посольства в СССР доктор Штельцер.

Когда Юрьев звал к себе Штельцера и других сотрудников посольства на ужин, он приглашал и заведомого «сексота» барона Штейгера на тот случай, чтобы барон доложил в ОГПУ, что никаких предосудительных разговоров у Юрьева за столом не велось. Устраивал у себя Юрьев званые вечера с немцами в ответ на банкеты, которые тогда довольно часто устраивало германское посольство. Приглашались на банкеты в посольстве и московские артисты. Юрьева звали всегда вместе с Армфельтом. Бывали в посольстве и «художественники». Германский посол в СССР фон

Дирксен, которого Гитлер перевел в Японию, дал прощальный ужин. На этом ужине надрызгался Москвин.

– Старик! Старик! – через весь стол кричал он фон Дирксену. – Не езди в Японию – там тебе тигры голову отгрызут.

В сентябре 33-го года после вечернего спектакля в Оперетте Виктора Яльмаровича задержали при выходе из театра. В щегольских заграничных лакированных ботинках и дорогом костюме вошел он в камеру на Лубянке. Позднее один заключенный, пребывавший в той камере лубянской предварилки, так называемого собачника, куда ввели с воли Армфельта, рассказывал мне, что ни у кого из арестованных не было такого убитого вида, как у Виктора Яльмаровича. На все вопросы сокамерников он, не поднимая уроненной на руки головы, отвечал:

– За меня хлопочут. За меня хлопочут.

Виктора Яльмаровича скоро перевели во внутренний изолятор Лубянки-2.

Виктор Яльмарович не ошибался. За него действительно хлопотали. Юрьев разговаривал со следователем, с прокурором, был на приеме у главного прокурора ОГПУ Рубена Катаняна, нажимал, где только мог. Хлопоты успехом не увенчались. Виктора Яльмаровича обвинили в шпионаже и дали по тому времени огромный срок – восемь лет концлагеря. Тогда больше десяти лет тюрьмы или концлагеря не давали – за десятью годами следовал расстрел.

Обвинение Армфельта в шпионаже было построено только на том, что он сказал весной 33-го года на банкете в германском посольстве во всеуслышание.

Кто-то из сотрудников посольства, чуть ли не сам посол, обратился к гостям:

– Вас можно поздравить, господа: в стране стало легче с продуктами.

Находившийся в подпитии Виктор Яльмарович возразил:

– Ну это только в Москве. А попробуйте отъехать километров на десять – все то же самое.

На банкете присутствовал барон Штейгер…

Юрий Михайлович засыпал Виктора Яльмаровича посылками, и продуктовыми, и вещевыми; ездил к нему на Медвежью гору, где Виктор Яльмарович пел и играл в театре; после того как пришел конец ежовщине, добился пересмотра его дела. Виктора Яльмаровича перевезли в Москву, и ход допросов вселил в него надежду, что его освободят, Но запахло войной, пересмотр отменили, и Виктор Яльмарович снова очутился в концлагере. Осенью 41-го года кончился его восьмилетний срок, но он ходил в

«немецких шпионах», и его не только не выпустили, но заслали зимой на лесоповал. Целый день работай до полного изнеможения, а вечером возвращайся в холодный барак, где промокшая от пота одежда за ночь не успевала высохнуть. Однажды Виктора Яльмаровича вынули из петли и повели к лекпому. Виктор Яльмарович отдал лекпому все, что осталось у него из хороших вещей, и лекпом дал ему направление в больницу. В больнице признали, что он в самом деле болен и нуждается в стационарном лечении.

Блаженство… В палате тепло. Вместо нар – койки. Чистое белье. Сносно кормят. Как-то Виктор Яльмарович задремал, и вдруг – что это? Чудится ему или вправду? Кто-то спрашивает:

– Где Армфельт? Где Армфельт?

Главный врач больницы Армфельт, бывший киевлянин, заинтересовался своим однофамильцем. Выяснилось, что они дальние родственники. Встретились впервые в лагере. Главврач оставил Виктора Яльмаровича при больнице, а по окончании войны Виктор Яльмарович был освобожден без права проживания в N-ном количестве городов. Юрьев обратился к правительству с просьбой вернуть ему приемного сына. Просьбу Юрьева удовлетворили. В 46-м году Виктор Яльмарович получил постоянную прописку в Ленинграде.

У Юрьева был рак печени. Угасал он медленно, почти безболезненно, не зная, что у него рак, – помогали какие-то «колдовские травы». В 48-м году он скончался на руках у Виктора Яльмаровича.

В день похорон Юрьева сбившийся с ног Виктор Яльмарович не успел даже наскоро перекусить. Ему не хватило денег на расходы, и он занял у домработницы с тем, что, как только его введут в права наследия – а Юрий Михайлович завещал ему все деньги и все имущество, – сейчас же ей отдаст. Дома был накрыт стол для поминального обеда. После похорон от Александро-Невской лавры две легковые машины с ближайшими родственниками и знакомыми Юрьева направились к его дому. Только машины остановились, как подошли люди в штатском и попросили приехавших показать документы. Всех проверяли бегло, а Виктору Яльмаровичу предложили выйти из машины и следовать за ними… Шпалерка, затем – московская Таганка. Сварганили новое дело, и – Караганда… Виктор Яльмарович вспоминал, что особенно угнетал его долг Насте, которая дала ему взаймы деньги, скопленные трудом всей жизни.

Виктор Яльмарович написал из Караганды Маргарите Николаевне и Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник. Между ними завязалась редкая, по условиям лагерного режима, переписка.

Они посылали ему денег, посылали посылки.

В 54-м году Виктор Яльмарович был освобожден, но еще не реабилитирован. Жил в селе, прилегавшем к имению Юрьева в бывшей Тверской губернии, ставил спектакли в театре, который построил на свои деньги для колхозников Юрьев. Затем последовала реабилитация и введение в права наследия. Многие вещи Юрьева находились в ленинградских музеях, остальные исчезли. Виктор Яльмарович никаких претензий по поводу вещей не заявил, полагая, что им место в музее, а что с воза упало, то пропало. У Юрьева оказалась на сберкнижке изрядная сумма. Виктор Яльмарович, получив эти деньги, первым делом вернул Насте долг с большущими процентами, хотя она от них и отказывалась. Потом разыскал в разных городах тех, с кем особенно близок был в лагерях, и всем помог.

В 56-м году я залетел днем к Маргарите Николаевне и, так как я пользовался привилегией входить к ней «без доклада», только постучавшись, прошел прямо в кабинет и увидел ее и мужчину, сидевшего ко мне спиной. Я сейчас узнал крутой упрямый скандинавский затылок, подстриженный бобриком. Наверно, такое же чувство испытывали люди, увидевшие воскресшего Лазаря.

– Виктор Яльмарович!..

Мы долго не могли оторваться друг от друга.

Получив документ о реабилитации, Виктор Яльмарович решил поселиться в Москве – здесь у него оказалось больше знакомых. Мы с Маргаритой Николаевной написали в соответствующую инстанцию свидетельские показания, что Армфельт с 29-го по 33-й год был постоянно прописан в Москве. До получения жилплощади Виктор Яльмарович снял комнату на Большой Молчановке у дочери профессора Максима Петровича Кончаловского.

Мы с ним перезванивались и часто виделись. Он приходил ко мне и запросто, и как званый гость. Сколько я ни вслушивался в него, я не улавливал в нем надлома. Его все интересовало. Он накинулся на журналы и книги, посещал премьеры, вечера в Доме актера. Только однажды я различил в его голосе горькую ноту:

– Погубили полжизни, отняли лучшие годы, а потом реабилитировали «за отсутствием состава преступления». Что ж, и на том спасибо.

Больше я ни одной жалобы от него не слыхал.

О лагерном житье-бытье он вспоминал неохотно, и я не растравлял вопросами его ран. Рассказал он мне о том, как попал в лагерную больницу. И еще в моей памяти удержались два его рассказа.

Перегоняли из одного лагерного пункта в другой его, бывшего коммуниста, на воле занимавшего высокий пост, и троцкиста. Из-за обычной советской бестолочи, распространяющейся и на армию, и на лагеря, их неизвестно почему целый день продержали на берегу реки в ожидании перевоза.

Троцкист, весь кипя от злобного нетерпения, обратился к бывшему поборнику генеральной линии партии:

– А ведь если бы наша взяла, мы бы вас всех сюда засадили!

– А если бы наша взяла, – в таком же ритме подхватил Виктор Яльмарович, – мы бы и вас, и вас сюда засадили!..

Перед концом ежовщины в лагерь, где тогда отбывал свой срок Виктор Яльмарович, нагрянула комиссия. Тех, у кого были особенно мрачные пункты обвинения, перевели в особый барак и начали вызывать по одному. Вызванные не возвращались. Они выслушивали новый приговор, и их «хлопали». Вызывали по алфавиту, но Виктора Яльмаровича почему-то пропустили. Каждый час, каждую минуту он ждал вызова. Внезапно перед всеми, кто еще находился в «приятном» ожидании, распахнулись двери барака, и они были водворены на прежние места: ежовщина кончилась. После стало известно, что приехала новая комиссия и «хлопнула» эту – за «превышение полномочий».

«Один день Ивана Денисовича» не удовлетворил Армфельта, более того: раздражил. Он назвал его лимонадом. По его мнению, Солженицын напрасно избрал героем рассказа из лагерной жизни крестьянина. В лагерях во сто раз тяжелее приходилось интеллигенту. Крестьянин привык на воле к тяжелому физическому труду, к суровому быту. В лагерях к повседневным тяготам для крестьянина прибавляется подневольность, отрыв от семьи. А для интеллигента тяжесть неволи и разлуки увеличивается от множества бытовых лишений и непосильного труда. И еще Виктор Яльмарович упрекал Солженицына в том, что он почти не коснулся самого, с его точки зрения, страшного: бесперспективности «зековского» существования. «Зеки», сидевшие за ту или иную «политику», знали не только то, что по отбытии срока их ожидает пожизненное поселение в глухих углах Сибири (за побег с поселения – 20 лет каторги). Они знали, хотя их об этом и не уведомляли, что, не дай Бог, новая война – те из них, кто не отбудет лагерного срока, подлежат уничтожению.

Отец Виктора Яльмаровича дожил до радостной вести об освобождении сына, но не свиделся с ним. Не свиделась и сестра. Племянница (дочь сестры) приезжала к нему из Финляндии, несколько раз посылала ему приглашение, но его так и не пустили в Финляндию ни на один день.

Виктор Яльмарович с детства не был на юге. А тут ему представилась возможность купить дачу в Гудауте. Он с наслаждением купался, загорал. Когда он осенью приехал в Москву, с ним случился удар. Оправился он сравнительно легко, только стал приволакивать ногу. Я за ним заходил (он, и получив комнату, остался на Большой Молчановке, так как нуждался в уходе), и мы с ним под руку шли на Тверской бульвар к Маргарите Николаевне – на более дальние походы он уже не решался. От Маргариты Николаевны я доводил его до дому. После второго удара у него отнялись ноги. Я навещал его, приносил свежие номера журналов. Потом узнал, что третий инсульт отнял у него дар речи. И тут уж я не мог заставить себя пойти к нему. Наш общий знакомый, врач по образованию, укрепил меня в моем малодушном, эгоистическом решении: он говорил, что Виктору Яльмаровичу вредны посетители. Виктор Яльмарович все понимает, смотрит телевизор, слушает радио, но не может ни говорить, ни читать. Совет врача оправдывал меня в моих глазах, но, положа руку на сердце, я должен признаться, что мною в большей мере руководила боязнь, что мои нервы не выдержат.

Наконец, летом 69-го года врач сказал, что теперь можно навестить Виктора Яльмаровича, что посетители уже не так волнуют его и расстраивают.

Хозяйка квартиры, ухаживавшая за Виктором Яльмаровичем, была почти глухонемая: она очень плохо слышала и невнятно говорила. Виктор Яльмарович прекрасно слышал, но почти ничего не мог произнести: он знаками давал ей понять, что кто-то звонит или стучит в дверь.

Когда я вошел к Виктору Яльмаровичу, он, чисто выбритый, полулежал в постели. Увидев меня, заулыбался, протянул ко мне обе руки и заплакал.

Пока я сидел у него, он держал мою руку в своей, гладил ее, порывался поцеловать и, слушая мой часовой монолог, все плакал и плакал…

Потом я еще несколько раз был у него, и один, и с моими старшей дочерью и сыном. Они выкладывали ему литературно-театральные новости, я рассказывал о моей поездке в Питер (так любил называть Виктор Яльмарович свой родной город), о том, что был на могиле Юрия Михайловича, хвалил памятник, который по заказу Виктора Яльмаровича выполнил Аникушин.

За Виктором Яльмаровичем был отличный уход. В комнате не чувствовалось запаха больного-хроника. Постельное белье у него было идеальной чистоты. К нему приходила массажистка. За ним постоянно наблюдал врач. Мне еще раньше говорила Маргарита

Николаевна, да и самому нетрудно было догадаться, что бедная глухонемая влюблена в Виктора Яльмаровича. В ее уходе за ним чувствовалась не добросовестность наемницы, но забота любящего существа.

Зимой 69–70 годов Виктор Яльмарович скончался. Хозяйка пережила его ненадолго.

Я не напрасно так боялся первой встречи с больным Виктором Яльмаровичем. Видеть на его умном лице работу мысли, видеть, как он мучительно силится выразить то, что думает (он только в третью встречу мог повторить за мной каким-то загробным голосом: «Ко-ля Лю-би-мов…» – и, показав на женский портрет, висевший над его кроватью, произнести: «Сестра…»), видеть слезы, неудержимо льющиеся из глаз этого человека, которого я помнил по-северному сдержанным, по-петербургски суховатым, кипятившимся только во время споров, который только однажды плакал при мне навзрыд – когда в начале 30-х годов из Финляндии пришло письмо с известием о кончине его матери, – видеть все это и с ободряющей улыбкой произносить монолог без пауз было и впрямь нелегко.

Человек, как известно, ко всему привыкает. Последующие наши свидания уже не вызывали у меня острых приступов душевной боли. Но когда я после первой моей встречи с онемевшим Виктором Яльмаровичем шел один по проспекту Калинина, по этой так называемой «вставной челюсти» Москвы, по проспекту, который в тот вечер показался мне каким-то особенно отвратным в убогом своем американизме, я не рыдал, а выл, как воют по покойнику бабы, и грозил кулаком неизвестно кому. На меня смотрели. По всей вероятности, принимали за пьяного. Переборов себя, я вспомнил Некрасова:

> Кто ж защитит тебя?

Этот человек на земле уже незащитим.

> Только во мне шевельнутся проклятья —
> И бесполезно замрут!..

Москва – Переделкино – Москва, 1971–1978

В гостях

…разве в старости печальной
Всему прошедшему не жить?

Случевский

Ранняя погожая осень 1926 года. Синие и золотые дали, проносящиеся в окне вагона. Моя мать и я, застенчивый семиклассник, сходим с дачного поезда на одной из ближайших к Москве станций по Савеловской железной дороге. Нас встречают Маргарита Николаевна и Николай Васильевич. Я в первый раз в Москве – если не считать того, что в Москве я имел удовольствие родиться, но двух недель от роду был без всякого ведома моего и согласия увезен в пределы Калужской губернии, – и все мне здесь внове. Я веду строгий учет, сколько раз я проехался на трамвае, сколько – на автобусе. Впервые еду я в дачном поезде, да и вообще-то мне редко до сих пор случалось ездить по железной дороге, а если и случалось, то не дальше, чем от Калуги до Малоярославца. Да и на даче-то я никогда прежде не был: дача – это для меня понятие отвлеченное, почти такое же, как американский небоскреб или рыцарский замок.

– Татьяна Львовна ждет нас на даче, – сообщила Маргарита Николаевна.

Значит, мне предстоит первая встреча с писателем!..

Я читал рассказы и стихотворения Щепкиной-Куперник, читал ее пьесу «Барышня с фиалками», но упивался я ее переводами из Ростана. Уже слова, которыми начинается пролог к «Шантеклеру»:

…Занавес – волшебная стена… —

действовали на меня завораживающе. Окруженный природой, я любил пьесы-сказки, пьесы с лесным запахом палого листа и грибной плесени, пьесы, в которых принимают участие животный и растительный мир. Вот почему я часто перечитывал «Потонувший колокол», «Синюю Птицу» и «Шантеклера». За два года до моей поездки в Москву Татьяна Львовна прислала мне переведенную ею повесть Поля и Виктора Маргерит «Жизнь

открывается» с надписью, в которой было выражено пожелание, чтобы передо мной открылась жизнь светлая, радостная и плодотворная… Это была первая бандероль, адресованная лично мне, и это. был первый автограф, положивший начало моей коллекции писательских автографов. Нечего и говорить, как я им гордился, с каким священным трепетом всматривался в не очень разборчивый, весь из то крупных, то мелких штрихов, почерк Татьяны Львовны. Собираясь в Москву, я знал, что Татьяна Львовна проводит лето с Зелениными на даче Ермоловой во Владыкине, мечтал о встрече с ней, но по свойственной мне уже тогда мнительности боялся, что встреча почему-либо не состоится.

Мы приближаемся к домику, стоявшему на опушке леса. В окно с улыбкой смотрит на меня маленькая женщина, которую я бы узнал сразу, даже если б не был заранее предупрежден, что Татьяна Львовна во Владыкине. К книге рассказов Щепкиной-Куперник, которую мне подарили, был приложен ее портрет в молодости, и я узнал Татьяну Львовну по портрету – годы тогда еще мало изменили ее.

– Здравствуй, мой знакомый незнакомец! – близоруко щурясь, обращается ко мне Татьяна Львовна.

Одета она со строгим изяществом. И это замечаешь сразу. А вот на то, что она низкорослa, коротконога, что у нее крупный нос и маленькие глазки, которые прищур превращает в щелочки, не обращаешь внимания. Глаза у нее маленькие, но умные, улыбка приветливая, голос приятный, манера говорить мягкая.

«Знакомый незнакомец» полонен. Он смотрит на Татьяну Львовну во все свои по-ребячьи жадные до новых впечатлений глаза, ловит каждое ее слово.

…Целый день мы провели во Владыкине, гуляли в поле, где уже лениво кружилась, серебрясь на солнце, паутинка и нехотя ложилась на кусты, и в притихшем, думавшем свою невеселую предзимнюю думу, уже залистопадившем лесу. Моя мать не расставалась с Маргаритой Николаевной – они не видались пять лет, а я разрывался между Татьяной Львовной и Николаем Васильевичем. С ним мне было, пожалуй, даже еще интереснее, потому что он был в курсе последних литературно-театральных событий, мог рассказать мне о своих впечатлениях от недавних премьер – от «Николая I и декабристов» с Качаловым в заглавной роли, впервые после революции выступавшим в новом спектакле Художественного театра, от премьер Малого театра – пьесы Смолина «Иван Козырь и Татьяна Русских» и «Аракчеевщины» Платона, которую Николай Васильевич охарактеризовал кратко, но выразительно – «гнусь»; а Татьяна Львовна, как я скоро

заметил, в ту пору жила вчерашним днем литературы, искусства и жизни.

С печальной полуулыбкой говорила она моей матери:

– Вы, Елена Михайловна, Маргарита и я – мы же с вами пережитки, милые, но пережитки.

Она спросила, кем я хочу быть.

– Писателем, – выдавил я из себя, робко покосившись на мать.

– Что ж, дело хорошее. Но только если ты действительно хочешь быть писателем, то не иди на литературный факультет. Вот тебе мой сказ. Во-первых, литературы в высших учебных заведениях сейчас нет – литература низведена до степени служанки «обществоведения». Во-вторых, если у тебя есть к этому призвание, то оно непременно даст о себе знать, а другая профессия тебе не только не помешает, не повредит, а наоборот – поможет. Она расширит твой кругозор, наделит тебя необходимым для писателя жизненным опытом, столкнет со множеством разнообразных типов. Чехов не был бы Чеховым, а Гарин – Гариным, если бы не их медицина и инженерство. У тебя есть влечение еще к чему-нибудь, помимо литературы?

Я заикнулся о химии. Меня тогда манил к себе ее таинственный и вместе с тем строго расчисленный мир, мир ее фантасмагорических красок и едких запахов; мой мальчишеский слух радовала звуковая экзотика ее формул и названий, и я даже, преодолевая медвежью свою неуклюжесть, рискуя перебить пробирки и колбы, ассистировал во время опытов Георгию Авксентьевичу.

– Валяй, химиком будь, – подхватила Татьяна Львовна. – Только не учись быть писателем. Тем более что этому все равно выучиться нельзя.

Приведенный разговор запомнился мне от слова до слова не только потому, что это был мой первый разговор с писателем, разговор, заставивший меня тогда же призадуматься над своей дальнейшей судьбой и отрешиться от некоторых наивно-прямолинейных представлений. Впоследствии, наблюдая Щепкину-Куперник вблизи, я понял, что ее совет не был поучением ментора. Она высказала мне в тот день заветное свое убеждение. Как ни любила она литературу, театр, музыку, живопись, все же самой сильной ее привязанностью была жизнь: люди с их взлетами и падениями, исканиями и чаяниями, и «вечная краса» природы – облака, своим стремлением вдаль напоминающие человеку о том, что жизнь есть вечное движение, разливы вечерних зорь, голубоватое мерцание звезд, колдовство лунного света и – цветы… В царстве природы это были самые

большие ее любимцы, это были для нее одушевленные существа, наделенные чудодейственным даром радовать, исцелять, животворить. Она не могла на них наглядеться, она понимала их неслышный для других язык, их благоуханный напев – у каждого особенный, свой. И то, что ее пленяло, она сравнивала с цветами как с высшим проявлением земной красоты. В 1945 году я обратился к Татьяне Львовне с просьбой перевести несколько стихотворений испанского лирика Антоньо Мачадо для предполагавшегося к изданию однотомника его произведений. Она прислала мне открытку, извещавшую о том, что работа окончена. «Когда переводила, – пишет Татьяна Львовна, – было такое чувство, будто рву душистые цветы (11 апреля 45-го года). Не случайно чаще, чем к кому-либо еще из прозаиков послереволюционной эпохи, Щепкина-Куперник обращалась к тайновидцу и собеседнику русской природы – Михаилу Пришвину. Впоследствии они познакомились, и читательская симпатия Татьяны Львовны к Пришвину обогатилась симпатией к нему как к человеку. Пришвин подарил Татьяне Львовне четырехтомное собрание своих сочинений с душевной дарственной надписью.

Щепкину-Куперник никогда не покидало отчетливое сознание, что жизнь – это первоисточник, что все, что ни есть непреходяще прекрасного во всех областях искусства, все, что ни есть непреходяще ценного в науке, – все от жизни и благодаря ей. И как же была общительна Татьяна Львовна! Какая великая охотница была она до встреч с людьми разного чина и звания! В конце 30-х годов, когда Татьяна Львовна окончательно поселилась в Москве, в квартире Маргариты Николаевны, у них можно было встретить Михаила Васильевича Нестерова, своими суровыми, изучающими глазами приглядывавшегося к каждому человеку как к возможной натуре, читавшего в этой квартире первые наброски своих «Давних дней», переливавшиеся самоцветами русской речи и обличавшие в авторе не только художника кисти, но и художника слова. И Евгения Викторовича Тарле, лицом и посадкой головы напоминавшего хищную птицу с бусинками настороженных глаз, одного из самых остроумных собеседников, каких мне довелось слышать на своем веку, знавшего за собой это качество и даже подобравшего для него шутливое название – mantere de tarier[74]; обнаруживавшего свои познания так, что они никого не подавляли, а лишь радостно изумляли (и чего только ни знает этот человек!); каждый раз извлекавшего что-нибудь новое из коробов своей памяти («У меня не память, а мусорный ящик, там все можно найти», – слышится мне его точно по рельсам бежавшая речь); целыми абзацами

цитировавшего наизусть Чехова; заливавшегося детским смехом над чеховскими шутками. Уже распрощавшись, стоя в передней, он по некоей ассоциации вдруг вспоминал, как один профессор-историк пал жертвой своего пристрастия к метафорам и сравнениям.

– «После смерти Людовика Благочестивого, – изрек профессор, – Франция висела на волоске, и этим волоском был Карл Лысый».

Или же нанизывал целую низку анекдотов о писателе Василии Ивановиче Немировиче-Данченко, по причине необузданности своей фантазии и склонности к преувеличениям прозванном в литературных кругах Неверовичем-Вранченко: будто бы Василий Иванович рассказывал, как его принимал незадолго до своей гибели президент Французской Республики Карно, как президент, предугадывая трагический свой конец, прослезился, обнял его и, расчувствовавшись окончательно, промолвил:

– Cher Basile! C'est peut-etre notre demiere rencontre[75].

Будто бы Василий Иванович, после того как Дорошевич в печати поднял его на смех за то, что тот в своих путевых заметках об Испании утверждал, что видел в Испании голубую лошадь, добродушно оправдывался:

– Ну что пристал! Добро бы я про целый табун голубых лошадей написал, а из-за одной лошади, ей-ей, не стоило поднимать шум.

Будто бы Василий Иванович, повествуя о своем участии в марокканском походе французских войск, подробно останавливался на следующем драматическом эпизоде:

– Я отстал от своей части и вдруг – о ужас! – вижу, что меня окружает стая гиен. К счастью, поблизости оказалось дерево. Я повис на суку. Внизу отвратительно воют гиены. Представляете себе мое положение? Солнце палит нещадно. Я еле держусь. Пальцы немеют. Перед глазами все плывет. Внезапно силы оставляют меня, и я падаю…

– И что же? – спрашивают взволнованные слушатели.

– В клочки, в клочки!

Наконец, будто бы в кабинете у Василия Ивановича висел портрет Скобелева в гробу с собственноручной надписью усопшего полководца участнику Шипки и Плевны, живописавшему в своих очерках Балканский поход: «Дорогому Василию Ивановичу Немировичу-Данченко на добрую память. *Генерал Скобелев*».

В этом же доме можно было встретить Алексея Карповича Дживелегова, «Карпыча», как дружески ласково, и за глаза, и в

глаза, называла его Татьяна Львовна, с такими красочными подробностями повествовавшего за ее чайным столом об Италии эпохи Возрождения, как будто он сам жил в этой стране и именно в эту эпоху, жил вот в этом самом замке и принимал участие в сердечных делах герцога феррарского или миланского; профессора Дживелегова, которого заслушивалось на его лекциях не одно поколение студентов и в которого влюблялись все до одной студентки – до того неотразим был породистый этот красавец с уже не по возрасту легкой, устремленной вперед походкой; человека, за всю свою жизнь никому не «давшего подножку», не нажившего себе, кажется, ни одного врага, обезоруживавшего возможных врагов своей органической благожелательностью, с заботливым вниманием относившегося к молодежи, смело выдвигавшего совсем еще юные силы (я с шутливой нежностью называл его: «отец и благодетель»), оказывавшего людям духовную и материальную помощь незаметно, просто, легко, как все, что он делал; человека, влюбленного в искусство Возрождения и словно впитавшего в себя его жизнерадостность, завещавшего, чтобы на его похоронах не было «ни печали, ни воздыхания». И бывшего московского священника Сергея Николаевича Дурылина, не выдержавшего искуса советской ссылки и расстригшегося (сын философа Булгакова хорошо сказал, что священничество было для Дурылина увлечением, но не призванием), после чего он был прощен, из ссылки возвращен и сопричислен к лику советских театро– и литературоведов, стал «театральным батюшкой», как прозвал его Нестеров; Сергея Николаевича Дурылина, на лице которого меня всегда неприятно поражали блудливые глазки попа-расстриги, легковесного и легкомысленного и в мировоззрении своем, и в творчестве, и в поведении (однажды он тиснул в какой-то газете – кажется, в «Вечёрке» – статейку о концерте Журавлева, о концерте, который не состоялся: Сергей Николаевич расхвалил концерт, сидя у себя в Болшеве, не подозревая, что концерт отменили по болезни чтеца, и ввел в заблуждение газету), говорившего обо всем тоном проповедника, обращающегося к пастве с амвона, выслушивавшего своих собеседников, с наигранно скромной многозначительностью опустив очи долу, словно это были его исповедники, хотя бы эти «исповедники» точили лясы и переливали из пустого в порожнее, и все же человека далеко не заурядного, небезлюбопытного, бравшего собеседника в полон широтой познаний и широтой интересов. И знаменитого адвоката, в 28-м году на «Шахтинском процессе» защищавшего пятерых подсудимых, в 31-м году защищавшего профессора политической экономии Финн-

Енотаевского на «процессе Союзного бюро меньшевиков», в 37-м году – Пущина на процессе Пятакова и Радека, профессора Плетнева в Московском городском суде, а в 38-м – доктора Казакова и профессора Плетнева на процессе Бухарина и Рыкова, – Николая Васильевича Коммодова, грузноватого бонвивана с лукавинкой в проницательных глазах, поражавшего самобытностью своего находчивого ума, не рассыпавшего в речах цветов адвокатского красноречия, презиравшего патетические штампы и фиоритуры, действовавшего на слушателей несокрушимым спокойствием уверенного в своей правоте человека, неумолимой логикой, непогрешимой стройностью и четкостью мысли. Когда кого-либо из близких или дальних знакомых Маргариты Николаевны и Татьяны Львовны грозил поглотить левиафан советской государственности, они направляли этого человека к Коммодову, и тот делал все от него зависящее, чтобы выручить просителя из беды. В 1938 году, в разгар ежовского террора, по усиленной просьбе Маргариты Николаевны, Коммодов выехал защищать в провинцию. Дело было явно проигрышное, Коммодов согласился защищать, только чтобы уважить просьбу Маргариты Николаевны. Во время судебного заседания Коммодов зачем-то обратился к председательствующему: «Товарищ председатель суда!». Председатель решил блеснуть своей юридической эрудицией. На недавнем процессе Радек в последнем своем слове сказал: «Товарищи судьи…». Председательствующий Ульрих поправил его: «Подсудимый Радек, не “товарищи судьи”, а “граждане судьи”». Так вот, председатель судьбища, на котором предстояло произнести защитительную речь Коммодову, грубо оборвал его и потребовал, чтобы тот обращался к нему, к членам суда и к прокурору только со словом «гражданин»: дескать, гуси свинье не товарищи. Коммодов, с трудом сдерживая радость, заявил в ответ, что он, разумеется, подчинится требованию гражданина председателя – в чужой монастырь со своим уставом, мол, не суются, хотя в Москве на всех больших процессах, на которых ему приходилось защищать, и верховный прокурор, и председатель суда называли его: «товарищ защитник» или «товарищ Коммодов», а он их соответственно – «товарищ председатель суда» или «товарищ верховный прокурор» (Коммодов назвал громкие процессы и ряд по тому времени громких фамилий), но оставляет за собой право по приезде в Москву доложить непосредственно Народному Комиссару юстиции о странных нововведениях в суде этого города. Председатель сник. Подсудимому вынесли оправдательный приговор, на чем и настаивал в своей речи Коммодов. Взглядом не окинуть всех, кого

он выручил, вызволил, спас.

Старшее поколение адвокатов, в том числе – муж Щепкиной-Куперник, Николай Борисович Полынов, смотрело на Коммодова сверху вниз: он, мол, не жжет глаголом сердца людей. Им, воспитанным на красноречии Плевако и Карабчевского, претила «математическая сушь» речей Коммодова. Маргарита Николаевна говорила, что Коммодов умница: не такие теперь сердца у судейских и присяжных, никакой глагол их не прожжет; если что на них и может подействовать, так это именно непреложность математически точных доказательств. Но, защищая на процессе Бухарина и Рыкова «врачей-убийц», Коммодов неожиданно изменил своей обычной манере и вышел за рамки дозволенного советскому адвокату, защищавшему «политических преступников». Разумеется, он не отрицал мнимых «вин» своих подзащитных. Попробовал бы он отрицать!.. Но вот, однако же, на чем он остановил всеобщее внимание:

– …Ягода прибегнул к самому действенному средству, он пригрозил и сказал: – Я не остановлюсь перед самыми крайними мерами, чтобы заставить вас служить мне.

Коммодов предлагал судьям вообразить, что́ должны были испытывать Плетнев я Казаков «в ту зловещую минуту, когда они остались с глазу на глаз в кабинете с Ягода».

– Им поставлен был прямой вопрос. Они понимали прекрасно, что угроза, которая стоит перед ними, реальная угроза. Больше того, и Казаков и Плетнев прекрасно понимали, что Ягода не может не привести своих угроз в исполнение.

Товарищи судьи, в этих условиях они должны были давать ответ немедленно. Бежать некуда. Размышлять некогда. Вот минута, в которую решается судьба человека. А в это время зловещим взглядом смотрит на них Ягода. Мне представляется, что этот роковой сверлящий взгляд подавлял их сознание, парализовал волю, убивал чувство.

Когда я читал эту речь Коммодова, мне невольно вспомнилось пушкинское:

> …человека человек
> Послал к анчару властным взглядом…

Прося сохранить Казакову и Плетневу жизнь (Плетневу ее временно сохранили), Коммодов бросил загадочную, многосмысленную фразу:

– Порой страдания бывают единственной формой правды…

Я думаю, что речь в защиту Плетнева и Казакова прошла для Коммодова безнаказанно единственно потому, что бывший

заместитель председателя ОГПУ, бывший Народный Комиссар внутренних дел, бывший «генеральный комиссар государственной безопасности» Генрих Григорьевич Ягода сидел в то время на одной скамье с Плетневым и Казаковым. Сталин, удовлетворенный тем, что Коммодов лишний раз выпалил по Ягоде – а палил Коммодов по нему с явным удовольствием, – не заметил, что Коммодов на мгновение приоткрыл дверь за кулисы того театра, художественным руководителем которого был сам Сталин, а очередными «режиссерами» – Ягода, Агранов, Ежов, Берман, Берия, Меркулов, Абакумов и тутти кванти… Коммодов наводил читавших и слушавших его речь на крамольные мысли: допустим, что знаменитый профессор-кардиолог Плетнев, стольких поставивший на ноги, умертвил Горького. Однако хорош строй, при котором могут пролезать на должность правителя государства в государстве такие субъекты, как Ягода, толкающие врачей на убийство большого писателя, и притом – на самое подлое из убийств! Ведь не мы же облекли Ягоду «полною мочью»! И сколько подобных разговоров было, наверно, в кабинете у Ягоды, и скольких он сверлил жутким взглядом! Нет, что-то неладно «в Датском королевстве»…

После «процесса Союзного бюро меньшевиков» Маргарита Николаевна попросила Коммодова объяснить ей, что, собственно, такое этот процесс. Коммодов ответил ей так:

– Однажды Чайковский, живя у себя в Клину, вышел погулять. На речке бабы полоскали белье и пели песню. И вот из этой незатейливой мелодии у Чайковского родилась целая симфония. Вот что такое «процесс Союзного бюро меньшевиков».

– Если б вы знали, что я только знаю! – болезненно морщась, как бы физически страдая от этих мучительно тягостных знаний, незадолго до смерти говорил он лечившему его профессору Олегу Ипполитовичу Сокольникову.

…В этом же доме можно было встретить пианистку Марию Соломоновну Неменову-Лунц, устраивавшую для Татьяны Львовны и Маргариты Николаевны домашние концерты. И шекспироведа Михаила Михайловича Морозова, этого «замоскворецкого мавра», как прозвал его ядовитый Грифцов, временами бросавшего на вас тот чудом сохранившийся у него младенчески изумленный взгляд, который запечатлел на портрете «Мики Морозова» Серов, увлекательно, темпераментно и как о близком знакомом рассказывавшего о Шекспире. И режиссера Художественного театра Нину Николаевну Литовцеву-Качалову, наделенную мужским складом ума и глубиной художественного восприятия, высказывавшую совершенно самостоятельные суждения о явлениях литературы и искусства.

Заговорили при ней однажды о пьесе Булгакова «Мольер».

– Спектакль, по правде сказать, вышел у нас неудачный, – заметила она. – Ну да ведь и пьеса… Бывают такие салаты, с виду пышные, всего как будто много, тыкаешь, тыкаешь вилкой – ничего подцепить не можешь.

И в этом же доме можно было встретить Надежду Андреевну Обухову, умевшую с каждым человеком, даже мало ей знакомым, тотчас найти общий язык, казалось бы, привыкшую к поклонению и все же не могшую сдержать простодушной веселости, искрившейся в ее глазах, когда собеседники восторгались ею.

В одну из встреч (1955 год) я поднял бокал и предложил выпить за радость, какую Надежда Андреевна доставляет нам не только своим искусством, но и самим своим существованием на земле, за счастье подумать, просто порою подумать, что среди нас живет Обухова.

Казалось бы, ну что ей мой тост, хотя бы произнесенный от полноты души человеком, не знавшим певицы прекраснее ее, не знавшим певицы, у которой был бы такой не только задушевный, но и живописный голое, как у нее? Подобных тостов она, уж верно, слышала многое множество. И все-таки она улыбнулась мне смущенно-благодарной улыбкой.

Малое время спустя я признался ей, что все люблю в ее исполнении – люблю или до слез восхищения, или до слез, какими плачут люди, когда пение приводит им на память что-то особенно драгоценное в их отдаленном прошлом; но что наиболее сильное впечатление производит на меня, как она поет «Молитву» Булахова на слова Лермонтова («В минуту жизни трудную…»). Рассказал ей, что слушавший вместе со мной ее концерт в Клубе писателей поэт Петр Семынин после «Молитвы» заметил:

– Обухову послушаешь – в Бога поверишь.

Надежда Андреевна заметила, что ей тоже по-особому дорога эта вещь, и тут же вспомнила такой случай:

Однажды ее домоправительница объявила, что Надежду Андреевну просит к телефону митрополит Крутицкий Николай.

– Я решила, что меня по обыкновению разыгрывает Ванечка Козловский. Иду к телефону и не знаю, на какой ноге танцевать. Оказаться в дурах не хочется, с другой стороны – а вдруг это и правда митрополит?.. Но по неподдельной серьезности тона, каким со мной заговорили по телефону, я сразу учуяла, что «розыгрышем» здесь и не пахнет. Митрополит Николай сказал, что позволил себе позвонить мне, потому что не мог не поблагодарить меня за то, как я исполняю лермонтовскую «Молитву», и что он в своих проповедях часто на меня ссылается,

говорит прихожанам, что вот так и надо молиться, как молится Обухова, когда поет лермонтовское стихотворение: с не знающей сомнений верой, с тихими слезами умиления, которые рождает эта вера, и с глубоким облегчением, которое наступает вслед за умиленностью. Можете себе представить, как я была изумлена, взволнована и тронута этим звонком. Я спросила: «А где же вы, владыка, меня слышали?» Митрополит Николай мне на это ответил: «Мой сан не позволяет мне присутствовать на ваших концертах, Надежда Андреевна, но я непременно слушаю вас, когда вы «В минуту жизни трудную…» исполняете по радио.

После войны все чаще стал бывать у Татьяны Львовны и у Маргариты Николаевны сначала как «лейб-медик», а потом и как друг дома терапевт-кардиолог Олег Ипполитович Сокольников. Этот Божьей милостью талант в медицине отказался поставить свою подпись под заявлением, порочившим его любимого учителя профессора Плетнева и требовавшим расправы над ним. Сокольников был заткан на медицинские задворки и даже после смерти Сталина, хотя о нем и вспомнили и с задворок вытянули, все-таки не занял того положения, на которое были все права у этого человека, сочетавшего широту и долготу опыта и ниспосланный ему дар. В годы гонения его выручала лишь частная практика у состоятельных людей.

С малознакомыми ему пациентами он был внешне суховат, но суховатость эта была следствием, как ни странно, застенчивости, которую он до старости не мог в себе преодолеть, несмотря на постоянное общение с людьми, и следствием боязни, как бы не подумали, что он ищет популярности, что он заигрывает с больными.

Острый нос и прищур глаз придавали его лицу чуть-чуть надменное выражение. Но в этом обманчиво высокомерном прищуре мне удавалось углядеть цельную, ничем не разбавленную доброту. Когда он входил ко мне и Я еще только помогал ему снять его пальтишко на рыбьем меху, которое он носил и зимой, я уже выздоравливал. Татьяну Львовну и Маргариту Николаевну он довел до глубокой старости, до того предела, за которым всякие ухищрения врачевального искусства обнаруживают полное свое бессилие.

Это был русский интеллигент наилучшей дореволюционной выделки – не только по непримиримой порядочности, но и по любознательности. Одно время он лечил обновленческого митрополита Александра Введенского, Человек верующий, православный, Сокольников не раз вступал в споры с «ересиархом» Введенским на догматические, главным образом – на историко-церковные темы. И Введенский сказал.

– Я знаю медицину как рядовой земский врач, а вы знаете богословие как рядовой священник с академическим образованием, Олег Ипполитович носил в себе неразлучную скорбь о всех, кого замучила Советская власть. Скорбь эта звучала в его суждениях, в его рассказах. Она проявлялась в том, как часто возвращался он мыслью к жертвам. Кажется, не было у меня с ним встречи, когда бы он не затронул этого предмета.

Как-то заговорили о Плетневе.

– Я был у Плетнева незадолго до его ареста, – стал вспоминать Сокольников. – И он мне сказал: «Недолго мне с вами осталось работать, Олег Ипполитович». – «Почему, Дмитрий Дмитриевич?» – «Вы не знаете Сталина. Он меня непременно уничтожит за то, что мне известно, что Орджоникидзе застрелился, а Куйбышев и Горький отравлены».

В другой раз зашла речь об одном московском священнике.

– Его брата, тоже священника, в Соловецком лагере сбросили с колокольни, – вынул из своей памяти Олег Ипполитович.

Скорбь о погибших проявлялась то во внезапных, по-мужски скупых слезинках, медленно скатывавшихся из-под его очков, словно первые капли дождя по оконному стеклу, то в приливах ненависти к мучителям и к тем, кто пустил в ход колесо адской машины.

– Я не удержался – полюбопытствовал, зашел в мавзолей, – рассказывал он глуховатым своим баском с легким носовым произношением, сидя у Маргариты Николаевны за ужином вскоре после смерти Сталина. – Лежит рябой секимбашка, а рядом параноик… Конечно, параноик, – подхватил он конец своей фразы. – Только такой классический параноик, как Ленин, способен был написать о том, что производить опыты революции *приятно*. Нет, вы только подумайте: какой маниакальный злодей! Пускаться на опыты, не зная, а что же там, за морями крови, которые ты, изверг, прольешь?..[76]

На похоронах Олега Ипполитовича переводчица Наталья Григорьевна Касаткина разговорилась с двумя старушками. Оказалось, что это родственницы Плетнева. Одна из них сказала:

– Олег Ипполитович пострадал за нас. Он был единственный на всем белом свете, который не только не отвернулся от нас, но и до конца жизни нам помогал…

…И все же Татьяна Львовна этим обществом не довольствовалась. Несколько раз обращалась она ко мне с просьбой:

– Приведи ко мне кого-нибудь из своих знакомых – только чтобы был интересный человек, у которого я могла бы поучиться и что-нибудь еще почерпнуть. Только, пожалуйста, мужчину –

бабьё мне, признаться сказать, надоело.

Я выполнил поручение Татьяны Львовны неудачно. Привел к ней моего друга, острослова и весельчака, но конфузливого до болезненности в незнакомом ему обществе, – последнего обстоятельства я не принял в расчет. Мой друг просидел весь вечер молча, за чаем разгрыз шоколадную конфету, не зная, что она с вареньем, варенье потекло на скатерть, приятельница Татьяны Львовны любезно подала ему намоченную водой салфетку – вытереть руки, а мой друг, придя в крайнее замешательство, вместо рук давай вытирать салфеткой скатерть и размазывать по ней варенье.

Татьяна Львовна любила цитировать стихи:

И капля вод полна трагедий,
И неизбежностей полна.

И она вглядывалась в каждую каплю, рассматривала ее под микроскопом. Особенно любила она беседовать с молодежью. Сколько «исповедей горячих сердец» выслушала она! Скольких она обласкала, скольких в тяжкую и решительную минуту удержала и поддержала – добрым словом, дельным советом!

Татьяна Львовна талантливо и умно прожила свою жизнь. Она быстро ориентировалась в обстановке. Глаза у нее были близорукие, а душа и ум дальнозоркие. Адвокат Павел Николаевич Малянтович, при Временном правительстве – «временный» министр юстиции, поддавшись интеллигентским иллюзиям, попытался втянуть в политическую деятельность своего приятеля Николая Борисовича. Тот заколебался.

– Никуся! Только через мой труп! – ультимативно заявила Татьяна Львовна, и эта ее прозорливость уберегла Николая Борисовича от той участи, какая постигла Малянтовича в ежовщину.

Жизнь прожить – не поле перейти. Налаживать, а главное сохранять и поддерживать отношения с людьми – это большое и сложное искусство. Татьяне Львовне тайны этого искусства были доступны. Она настойчиво проводила – и в разговорах и на деле – мысль, что не следует требовать от человека того, что он при всем желании дать не может, что чрезмерность требований влечет лишь к недоразумениям и ссорам, что от человека надо брать «по способностям», иной раз закрывая глаза на его недостатки и снисходя к его слабостям, но при этом непременно отдавая себе отчет – во имя чего. Мысль эту она обычно иллюстрировала шутливыми, однако достаточно наглядными примерами:

– Через несколько дней после нашей свадьбы я попросила

Николая Борисовича вбить в стену гвоздь – мне хотелось повесить чью-то – теперь уж не помню – карточку. Результат вышел плачевный: гвоздя Николай Борисович так и не вбил, стену испортил, поранил и ушиб себе пальцы и в довершение всего загремел со стула, мимоходом свалил мою любимую вазу и разбил ее вдребезги. С того злополучного дня я никогда больше не обращалась к Николаю Борисовичу с подобными просьбами. У него был миллион достоинств, и за них ему, право, можно было простить его неловкость.

Или:

– До революции у нас в Петербурге служила кухарка, готовила великолепно, но в один прекрасный день я обнаружила, что она меня систематически обсчитывает на кругленькую сумму. Я вызвала ее, с цифрами в руках доказала, что она поймана с поличным, и объявила: «Вы понимаете, что у меня есть все основания выгнать вас вон: вы – воровка. Без рекомендации вы никуда не сможете поступить. Но кухарка вы хорошая, и мне жаль с вами расставаться. Вот что я вам предлагаю: обсчитывайте меня, но не больше, чем на такую-то сумму. Если же я замечу превышение, то пеняйте на себя». – «Позвольте, говорит, барыня, я подумаю». – «Сделайте одолжение». – Через час является: «Барыня! Я надумала остаться у вас. Только отпустите меня прежде на Валаам – помолиться и покаяться в грехах». – «Сделайте одолжение». С той поры, когда я *замечала* малейшее нарушение нашего уговора, мне достаточно бывало взглянуть на нее и сказать: «А не пора ли вам на Валаам?» – и все входило в берега. А ведь если бы я ее выгнала, то внакладе осталась бы и я: лишилась бы отличной кухарки, другую такую могла бы и не найти.

Снисходительна Татьяна Львовна была, однако, до известного предела. Она сама никогда за всю свою – порой нелегкую – жизнь не становилась поперек дороги ближнему своему и не терпела этого в других, как не выносила она и человеческой неблагодарности. На своем переводе «Короля Лира», вышедшем в 38-м году, она сделала мне такую надпись: «Дорогому мальчику (мальчику было тогда уже, однако, двадцать шесть лет!) с надеждой, что он никогда не будет ни Реганом, ни Гонерилием».

Отзывчивость Щелкиной-Куперник была отзывчивость действенная. Помогала она людям не только словами участия, пониманием, но и делом – хлопотами, заступничеством, деньгами. Неизвестно, дотянули бы некоторые ее друзья до конца сталинской каторги и ссылки, если бы не ее помощь, а оказывала она ее в самые лихие времена – и до, и после войны.

Литератор даже не с юных, а с детских лет, Щепкина-

Куперник не знала, что такое кастовая замкнутость, цеховая обособленность. Мимо нее не проходило ни одно значительное политическое событие, ни одно мало-мальски важное научное открытие. Еще при нашей первой, «владыкинской», встрече, она говорила мне о своем увлечении радио и о том, что именно радио подсказало ей тему для недавно написанной ею пьесы «Голубой цветок». А радио тогда еще только-только начинало входить в обиход. Впрочем, впоследствии, когда радио у нас в стране пополнило собой список египетских казней, Татьяна Львовна значительно к нему охладела и снимала дачи с условием, чтобы радио говорило шепотом.

Вторая моя встреча с Щепкиной-Куперник состоялась спустя несколько дней после первой в доме Ермоловой на Тверском бульваре. Здесь я осмелился показать Татьяне Львовне тетрадку с моими детскими стишками. Она тут же, при мне, начала их читать. Читала внимательно, терпеливо. Чтобы произнести приговор, ей достаточно было полистать тетрадку, но добросовестность была у нее в крови. По временам она роняла скупые замечания:

– Ну, я вижу, Игоря Северянина ты любишь больше, чем я.

– А вот это уже свое, – наконец сказала она, явно обрадовавшись, и прочитала два стихотворения вслух.

Однако эта похвала принесла мне горькое разочарование. Мою четырнадцатилетнюю «любовную» и «медитативную» лирику, на которую я ставил свою главную ставку, Татьяна Львовна, по-видимому, отвергла, а стихи, которым я не придавал никакого значения и включил в свой рукописный сборник для полноты, стихи про моего кота-игруна и про медведя, ломящего сквозь чащу осеннего леса по густо нападавшему листу, одобрила.

Лишь много спустя я понял правоту Татьяны Львовны: то были стихи безыскусственные, но по крайности никем не подсказанные, выросшие из непосредственных наблюдений, и в них и впрямь была капелька «своего».

– Умей смотреть и умей слушать – это самое главное для писателя, – сказала мне в заключение нашей беседы Татьяна Львовна. – Остальное приложится.

Осенью 30-го года я приехал в Москву учиться. Был неповоротлив, несмел. Ходил в высоких сапогах, привлекая к себе презрительные взгляды некоторых моих товарищей и – что было мне особенно обидно – товарок по институту. Вскоре из Ленинграда в Москву приехала ненадолго Татьяна Львовна, и я снова увиделся с ней в том же самом ермоловском доме, в квартире Маргариты Николаевны. Робел я перед Татьяной

Львовной ничуть не меньше, чем во Владыкине, и, хотя выглядел рядом с вей здоровенным детиной, мысленно смотрел на нее снизу вверх. Я задал ей с места в карьер трафаретный вопрос: над чем она сейчас трудится?

– Я только что закончила повесть для юношества о Розе Люксембург и привезла ее в Москву, – ответила Татьяна Львовна, – но боюсь, что пошлют меня с этой повестью к чертовой матери.

Кто читал дореволюционную Щепкину-Куперник и не знал ее лично, *те* пожалуй, усомнятся, могла ли она так выразиться. Однако ее разговорный язык отличался, и порою резко, от того, каким написана почти вся ее дореволюционная проза. В своих повестях и рассказах она сажала себя на языковую диету. Она словно дала обет во что бы то ни стало писать «красиво».

В разговоре она не чуралась вульгаризмов, не чуралась просторечия, нет-нет да и ввертывала вкусное народное словцо, по-московски вкусно его произносила или снижала эвфемизмы, к которым прибегали ее собеседники. «Красивость» лишь порой заплывала в поток ее устной речи. Та многоцветная языковая стихия, откуда целыми пригоршнями черпали Островский и Лесков, была отнюдь не чужда устной речи Щепкиной-Куперник. Кстати сказать, Островский принадлежал к числу любимых ее писателей. Словечки его героев не сходили у нее с языка. Я подолгу гащивал на даче у Маргариты Николаевны и Татьяны Львовны – то в Голицыне, то в Малаховке, и Татьяна Львовна часто обращалась ко мне, как тетка к Аркашке Счастдивцеву:

– Не пора ли тебе, душе своей погубитель, чай пить?

– Шел бы ты, душе своей погубитель, перед обедом погулять.

Уютная, гостеприимная хозяйка, в иных случаях обнаруживавшая незаурядное кулинарное мастерство, она давала изготовленным ею блюдам «раешные» названия, то ли подслушанные у народа, то ли придуманные ею самой в подражание народным:

– Кушайте, пожалуйста, гости дорогие! Вот рагу «Не пожелаешь и врагу».

Повесть о Розе Люксембург не была напечатана. Пьеса «Голубой цветок» тоже не увидела свет. Не увидел свет, несмотря на хлопоты Тарле, и второй том «Дней моей жизни». Еще во Владыкине в 1926 году, в разгар НЭПа, Татьяна Львовна говорила мне:

– Моя песенка спета. В прошлом году я ездила на пароходе по Волге. Редактор одного ленинградского журнала предложил мне написать очерки о моей поездке. Я подумала, подумала – и отказалась. О чем бы я должна была писать? О том, что народ

спивается, о том, что в сущности все осталось по-прежнему: новые господа кутят в ресторане, а голь ютится в третьем классе, и в ресторан ей дороги нет – там «которые почище». Вот тебе и равноправие. Стоило ли совершать революцию?

Но в конце-то концов, не прошли бы эти очерки, так прошло бы что-нибудь другое, менее острое. А могли бы пройти и они. При НЭПе появлялись в печати произведения, бившие не только по частностям, по бытовым неурядицам, но и по системе, по строю. Достаточно вспомнить повести и рассказы Сергеева-Ценского. Со Щепкиной-Куперник дело обстояло иначе. До революции у нее был свой – довольно многочисленный – читатель. Этого читателя она потеряла. Жаровы и Безыменские писали по способу: «штамп хорошо, а два лучше». Но это уже были клише нового, казенно-советского образца. Почти все дореволюционные стихотворения Щепкиной-Куперник сотканы из «красивых» банальностей. В дореволюционные времена такие стишочки могла еще выдержать бумага парфюмерного «Пробуждения», могли еще выдержать сборные солянки «чтецов-декламаторов», но их уже невозможно себе представить ни на страницах «Октября», ни на страницах «Красной нови» и «Нового мира».

Новый читатель мог соглашаться или не соглашаться с идеей вересаевского романа «В тупике», мог рассматривать рассказы Зощенко как клевету на советскую действительность, роман Лидина «Отступник» как клевету на советскую молодежь, но все это он читал. Гимназисток же, у которых под подушкой лежал роман Щепкиной-Куперник «Счастье», сменили школьницы, читавшие то, что им полагалось по программе, или «Дневник Кости Рябцева» Огнева, или «Исанку» того же Вересаева, и обсуждавшие их на диспутах. Те столичные и провинциальные дамы, которые обожали рассказ Щепкиной-Куперник «Фофочка», уехали за границу, либо умерли от голода, от всего, что довелось им пережить в годы гражданской войны. Совбарышни и совдамочки накидывались на «Без черемухи» и «Вопросы пола» Пантелеймона Романова. Некогда популярная писательница Щепкина-Куперник была выброшена из литературной жизни. При НЭПе можно было писать о многом, но *так,* как писала когда-то Щепкина-Куперник, писать было уже нельзя, и в глубине души она сама это сознавала. Щепкина-Куперник – человек выросла из своей прозы и поэзии, как вырастают из одежды. Ее дореволюционное творчество было теперь в высшей степени *demode.* Случайно уцелевшие ее сборники перечитывали случайно уцелевшие ее поклонники, преимущественно – поклонницы. И вот тут-то сказались присущие Татьяне Львовне мужество и

находчивость.

Привыкшая к полной материальной обеспеченности, она стойко переносила лишения в первые годы революции. Налеты фашистской авиации на Москву причиняли ей боль, она страдала за Москву и москвичей, но я ни разу не видел на ее лице выражения страха, боязни за себя – она только крестила на ночь мелкими крестиками все уголки той комнаты, где спали она и Маргарита Николаевна, и звала «заштатного» батюшку служить молебны, и молебны эти служились в той самой комнате, где когда-то служили их для Ермоловой, которая, по свидетельству ее дочери, слушая их, страстно плакала, как плакала только на сцене и никогда не плакала в жизни.

Подобно тому как обесцвеченный язык повестей и рассказов Щепкиной-Куперник не соответствует ее разговорному языку, языку колоритному, точно так же дореволюционная писательница Щепкина-Куперник, порой до приторности сентиментальная, не дает представления о ней как о человеке – человеке редкостной выдержки. Вообще говоря, Щепкина-Куперник – человек куда крупнее и шире Щепкиной-Куперник – писательницы. Твердость духа проявляла она и в своих глубоко личных, женских драмах. Глядя на Татьяну Львовну и Николая Борисовича, можно было подумать, что это безоблачно счастливая, дружная пара. Но – «капля вод полна трагедий». Николая Борисовича, статного, голубоглазого, с седой прядью над правым виском (я знал его уже седым как лунь), в молодости до того похожего на Метерлинка, что одна его знакомая, гуляя в антракте в фойе Художественного театра, выразила удивление, почему в галерею драматургов попал Полынов, до самой его смерти осаждали дамы, и осаждали отнюдь не без успеха. Татьяна Львовна как-то призналась Касаткиной: «Я всю жизнь ухаживала за моим мужем, а он ухаживал за другими женщинами». О том, чего это стоило Татьяне Львовне, знала только ближайший ев друг Маргарита Николаевна. А на людях она делала хорошую мину при плохой игре. Она даже принимала у себя некоторых поклонниц Николая Борисовича, была с ними светски любезна. И в этом опять-таки сказывались ее ум и такт. Устраивай она своему Нике сцены – кто знает, может быть, и рухнула бы их семейная жизнь. Тем, что она смотрела сквозь пальцы на его похождения, в иных случаях растягивавшиеся на годы, притворялась, будто они ей безразличны, ибо она-де уверена в прочности его чувства к ней, а его победы ей даже льстят, она только еще сильнее привязывала его к себе. Смерть его (1939) она переживала тяжело, так тяжело, что это даже явилось неожиданностью для близких. К кончине Николая Борисовича Татьяна Львовна была давно уже

подготовлена. Врачи еще в 1927 году дали ему десять лет жизни. Он протянул двенадцать. После его кончины, как это часто бывает, на все мелкое, все мучительное, что подчас возникало между ними, опустилась пелена – выступило то, что обличало в нем человека незаурядного: его ум, вкус, талант адвоката, принципиальность, сердечность. А ведь в избалованном этом сибарите, который однажды в Тарусе, когда мы целой компанией прохладным вечерком посиживали в саду, так взглянул на бывшую артистку Малого театра Надежду Александровну Смирнову, небрежно бросившую ему: «Старик! Принесите мне мой плед – что-то сыро становится», – так взглянул, словно она попросила достать с неба луну, в этом покорителе бесчисленных женских сердец и правда жила участливость, только он чаще проявлял ее по отношению к дальнему, оттого что любить дальнего легче, чем ближнего. Но в этом роде любви Полынов бывал порою прекрасен.

В Москве он останавливался всегда у Маргариты Николаевны. Зимою 32–33 гг. он приехал из Ленинграда мрачнее тучи. В Ленинграде он защищал одно тяжелое дело. Тогда еще свирепствовал так называемый закон от 7 августа 1932 года – закон об охране государственной и общественной собственности. А у нас, после того как воцарился Сталин, вся политика партии и правительства начала отчетливо делиться на два основных периода: после какого-либо грозного постановления – «куча мала», а когда уже куча дорастала до небес и уже некуда было валить, следовало отступление с барабанным боем: мы-де, руководители, тут ни при чем, это перегибы. Подзащитные Николая Борисовича колхозники-правленцы и учитель, исполнявший по совместительству обязанности колхозного счетовода, попали как раз в самую «кучу малу» после обнародования «закона от 7 августа»: за несколько сорванных по дороге колосков вас могли тогда упечь в концлагерь. В Ленинградском облсуде старания Николая Борисовича не увенчались успехом. Приговор первой инстанции оставили в силе: учитель был приговорен к расстрелу, колхозники – к десяти годам концлагеря. Жены валялись у Николая Борисовича в ногах, умоляя спасти мужей. Московский адвокат Малянтович, чтобы Николаю Борисовичу специально не ездить в Москву, предложил выступить вместо него в Верховном суде. Николай Борисович решил выступить сам и тем еще утяжелил бремя своей нравственной ответственности за судьбы подзащитных. Но Николай Борисович боялся, что Малянтович может проиграть из-за того, что не знает так дела, как знает он, и тогда он этого себе не простит. Ну, а если он сам проиграет?..

В день приезда в Москву Николай Борисович несколько часов провел в Верховном суде, а вернувшись, снова углубился в изучение дела. Обычно словоохотливый, любивший рассказывать мне о своих встречах на юридической почве с писателями и литературными деятелями или послушать мои рассказы о том, чем сейчас дышит студенчество, на сей раз он был угрюм и молчалив. Утром встаю по-студенчески рано. Глядь-поглядь, а Николая Борисовича уже и след простыл: уехал в Верховный суд. Я тоже вскоре отправился в читальню, оттуда в институт. Возвращаюсь поздно вечером, а у самого на сердце кошки скребут – чем-то все кончилось у Николая Борисовича? Вхожу в столовую и с первого же взгляда понимаю все. Николай Борисович сияет, лучится, светится особым светом – светом блаженства спасать людей. Такой победы он и сам не ожидал: учитель, на которого были возведены обвинения тягчайшие, был признан невиновным и подлежал немедленному освобождению, колхозники осуждены на небольшие сроки, и то условно. Приехавшие следом за Николаем Борисовичем бабы снова валялись у него в ногах и пытались целовать ему руки, но уже – от радости. И вот, когда я думаю о Николае Борисовиче, я прежде всего вспоминаю его счастливое лицо в тот день, когда он отбил у каторги и у смерти невинных людей.

В мае 1941 года Татьяна Львовна подарила мне свою книгу прозы, открывавшуюся рассказом «Зачем билось ее сердце?». Надпись она мне сделала такую;

«Милый Коля, читая эти старые рассказы, вспоминай твоего старого друга Т, Щепкину-Куперник, которая сейчас не всегда знает, “зачем билось ее сердце”… 26/V 1941 Москва».

В этих строках – отзвук боли, которую ей причинила смерть спутника. Душевную свою рану она лечила целодневным трудом.

Мужество не покинуло Щепкину-Куперник и перед лицом творческой ее драмы. Она долго искала выхода из тупика – терпела неудачу то с повестью, то с пьесой, то с книгой воспоминаний – и наконец нашла. Не считая Ростана, собрание сочинений которого вышло в 1914 году целиком в ее переводе, до революции Татьяна Львовна переводила от случая к случаю. В 30-е годы она занялась стихотворным переводом профессионально.

Что помогло Щепкиной-Куперник, кроме таланта, стать первоклассным стихотворным переводчиком? Ну, конечно, способности к языкам, знание нескольких языков – французского, немецкого, английского, итальянского, испанского, польского и украинского. Чрезвычайно существенно то обстоятельство, что она побывала за границей – во Франции, в Англии, в Испании, что она видела краски и оттенки чужеземного ландшафта, наблюдала

чужеземцев в быту, вслушивалась в музыку их речи. И, что не менее существенно, Щепкина-Куперник никогда не полагалась на свой талант, на то, что рифмы жили с ней запросто еще в раннем ее детстве. До конца своих дней она работала с железным упорством и находила упоение в бою с далеко не всегда податливым словесным материалом, в том, чтобы преодолевать его сопротивление, в том, чтобы побеждать трудности, беспрестанно возникающие у художника взыскательного. Сварливая домработница Татьяны Львовны бурчала якобы себе под нос, однако достаточно громко, чтобы слышала Татьяна Львовна:

– Запрется на целый день со своим Шекспиром, ей и горя мало, никаких забот!

Впрочем, «запираться с Шекспиром» ей не следовало, как зря бралась она и за переводы Шевченко и Бернса. «Верхи» шекспировской поэзии, «низы» шекспировского матерного просторечия, народная песенность Бернса и Шевченко – это ей было не по зубам.

Лучшее в литературном наследии Щепкиной-Куперник – переводы комедий. Тут ей сослужило верную службу ее знание театра, то, что она дышала и воздухом сцены, и воздухом кулис, то, что она сама писала для театра. Вот почему театры так любят переводы Щепкиной-Куперник. Она внутренним своим слухом слышит, как будет звучать каждая реплика со сцены, и достигает разговорной непринужденности. Иные из диалогов в «Сирано», в «Мизантропе» (на мой взгляд, в одном из лучших русских стихотворных переводов Мольера, переводе живом, игровом, а ведь Мольер-то писал для сцены, чего соратники Щепкиной-Куперник, Брюсов и Лозинский, не сочли нужным принять во внимание), в комедиях Лопе де Вега и Кальдерона – это фехтование словом. А разве русская поэзия забудет когда-нибудь вот это:

Дорогу гвардейцам гасконским!
Мы дети одной стороны,
И нашим коронам баронским
И нашим мечам мы верны!..

Дорогу, дорогу гасконцам!
Мы юга родные сыны,
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены?

Каждую строчку пронизывает маршевый ритм. Неназойливая

инструментовка (гордое «о» в сочетании с трубным «р») поддерживает настроение, которым проникнуты эти стихи.

Когда-то критик Юзовский совершенно справедливо заметил в печати, что таких удач, как вейнберговское: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним» («Отелло»), – мы ни за какие переводческие коврижки не отдадим. Ни на что не променяем мы и «Дорогу гвардейцам гасконским» в переводе Щепкиной-Куперник, даром что «солнце в крови» она выдумала. В одном издании «Сирано» уже после смерти переводчицы редактор снял эти две строки: «Мы все под полуденным солнцем и с солнцем в крови рождены!» – на том, будто бы законном, основании, что они Ростану не принадлежат. И что же? Посыпался град возмущенных читательских писем. Эти строки сделались достоянием русской поэзии, их дважды отметил Горький: и в письме к Чехову, и в беседе с переводчицей, и когда редактор посягнул на читательскую собственность, читатель пришел в ярость. Выдумка выдумке рознь. «Солнце в крови» – это выдумка в духе и в стиле Ростана, как выдумал в духе и в стиле Бернса целую строфу переводивший «Джона Ячменное Зерно» Эдуард Багрицкий. Эти строки возникают как бы сами собой, они вырастают из контекста строфы.

Но в ранних переводах Щепкиной-Куперник много вольностей неоправданных. Когда же Щепкина-Куперник после долгого перерыва (если не считать отдельных случаев) в 30-х годах снова выступила как стихотворная переводчица, то стало ясно, что она органически усвоила принцип художественной точности. Поразительна и поучительна та работа, которую проделала над собой Щепкина-Куперник, а ведь ей уже тогда шло на седьмой десяток! Однако она не выплеснула с водой и ребенка, как это случается иной раз с людьми искусства, когда они производят в себе перестройку, она не впала в буквализм. Словесные россыпи, интонационные переливы, «легкой рифмы прелесть», театральность, сценичность комедийного диалога, свобода дыхания, естественность остроумных каламбуров – все это свое богатство она не только сохранила, но и приумножила. И вот возникли такие шедевры, как «Дама-Невидимка», «Учитель танцев», «Девушка с кувшином». Лучшие переводы из испанских драматургов, сделанные после нее, принадлежат тем переводчикам, которые пошли по ее стопам. Щепкина-Куперник уже в преклонных летах переживала свою вторую литературную молодость, и в этой второй ее молодости юная неутомимость и юная свежесть восприятия сочетались с требовательной зрелостью мастера.

За год до кончины Пастернака я попросил его перевести

трагедию Кальдерона «Стойкий принц» для готовившегося в издательстве «Искусство» под моей редакцией двухтомника его пьес. Борис Леонидович согласился.

– Знаете, что я вам скажу, – добавил он, – я как раз недавно смотрел по телевизору «Учителя танцев». Какой молодец Щепкина-Куперник! Вот именно так надо переводить испанцев, как переводит она, – с такой сногсшибательной, непостижимой легкостью! Ритм ее стиха – это вихревой ритм испанского танца. Перед тем, как засесть за «Стойкого принца», я перечту все ее испанские переводы.

Второй путь, который избрала после революции Щепкина-Куперник, – это путь литературно-театральной мемуаристики.

Первая ее попытка в мемуарном жанре – «Дни моей жизни» (1928) – в общем прошла незамеченной: «До того ль, голубчик, было?» Широкий читатель, только что переживший революцию и гражданскую войну, тогда еще не испытывал особого интереса к предреволюционному прошлому. Чехов – и тот казался тогда устаревшим. Когда Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна познакомили меня в начале 30-х годов с приезжавшей из Ялты в Москву Марией Павловной Чеховой и представили ей меня как поклонника Чехова, Мария Павловна довольно улыбнулась.

– Теперь такая редкость – встретить среди молодежи поклонника Антона Павловича! – сказала она.

Даже такой проницательный и вдумчивый критик, как Абрам Захарович Лежнев, в своей обзорной статье «Русская литература за десять лет»[77] поторопился прочитать Чехову отходную. Он считал, что Чехов перестал звучать, что «революционная гроза» заглушила «слабый голос» «Трех сестер». Луначарский в статье «К столетию Малого театра» писал, топорно по форме, вздорно по содержанию: «…чеховская сторона М. Х. Т. отражала собой упадочные настроения интеллигенции»[78]. К тому же, «Дни моей жизни» по сравнению с более поздними воспоминаниями Татьяны Львовны – «разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц».

Я уже отметил одну из характерных черт Щепкиной-Куперник как человека – ее такт. Такт проявляет она и как мемуарист. Она нигде не рубит сплеча. Она порицала тех мемуаристов и чеховедов, которые подгоняли живых людей под самодельную схемку, без учета сложности человеческой натуры и человеческих отношений, которые судили с кондачка, которые, по народному выражению, «в чужие жизни залезали, как в огород, нашкодят – и драла». Она решительно осуждала тех, кто видел в Александре Павловиче беспутного психастеника, а в Павле Егоровиче – заскорузлого купчину, ндраву своему препятствий не терпевшему.

– Чехов любил всех своих родных и каждого из них по-своему

ценил, – говорила она мне. – Он был человек щедрый, но не смиренный и не сентиментальный. Если б ему было тяжело с отцом, он бы миндальничать не стал: обеспечил бы ему безбедное существование, но жил бы порознь. Вспомни, что после смерти отца Чехов продал Мелихово – без Павла Егорыча мелиховская жизнь утратила для него свой уют, свой смысл.

В повестях и рассказах Щепкина-Куперник не давала воли своему юмору, она чересчур часто проливала в них филантропические слезы. В мемуарах она разрешила себе шутить, вспоминать забавные случаи.

Татьяна Львовна и сама любила пошутить и любила это свойство в других. Передо мной ее открытка от 12 октября 1943 года, со штампом «просмотрено военной цензурой». Адресована она Елене Николаевне Любимовой. Елена Николаевна – это моя дочь, которой как раз в тот день стукнуло два года. Текст открытки следующий:

«Дорогая Елена Николаевна, приходите к нам, прошу Вас, в воскресенье 17/X, часика в 4, очень хотим Вас видеть.

Прихватите и родителей, если хотите!

Любящая Вас

Т. Щепкина-Куперник»

В Евгении Викторовиче Тарле она ценила его юмор ничуть не меньше, чем острый ум и многообразие знаний. Приехав в 1932 году из

Узкого, она достала из сумочки его открытку и поспешила прочитать мне ее ради одной фразы:

«Боюсь, что Вы теперь изменяете мне в Узком с Матвеем Мухоморычем (так Тарле называл Матвея Никаноровича Розанова), но помните, что эрудиция шире у меня, а лысины у нас одинаковые».

Память у Татьяны Львовны была отличная вообще, на уморительные происшествия, на острые словца – в частности.

Вот некоторые из ее устных рассказов:

– Муж актрисы Яворской, князь Барятинский, поражал собеседников изречением: «Я люблю маленьких детей, когда они кричат». Все поднимали на него удивленные взоры, и он пояснял свою мысль: «Потому что их тогда немедленно уносят в другую комнату».

– Сын поэта Вейнберга, Евгений Петрович, сам не любил вспоминать о своей еврейской национальности и не любил, когда о ней напоминал ему кто-нибудь другой. Эту слабость знала за ним моя тетя Александра Петровна Щепкина, при встречах с ним

все время была начеку, как бы не допустить оплошности, и в конце концов это-то ее и подвело. Однажды, знакомя с кем-то Вейнберга, она его отрекомендовала: «Позвольте вам представить: Еврей Петрович Вейнберг».

… – Гощу я в Москве у Маргариты. Мария Николаевна еще жива. Однажды я собралась перед каким-то большим праздником к Елисееву. Захожу в комнату Марии Николаевны, спрашиваю, не нужно ли ей чего-нибудь. Мария Николаевна просит зайти по дороге в церковь и подать записочку о здравии. Возвращаюсь домой с покупками. Зачем-то полезла к себе в сумочку. Достаю какую-то бумажку. Что за оказия? Записочка о здравии, написанная рукой Марии Николаевны. Но ведь я помню ясно, как заходила в Страстной монастырь и подала записку. Что же произошло? Наконец догадываюсь. Я по ошибке вместо записки о здравии подала список того, что мне нужно было купить! Воображаю смущение батюшки! Ведь он мог по инерции перескочить с чьей-нибудь записочки на мою и огласить во всяком случае ее начало: «О здравии рабов Божиих Симеона, Петра, Ферапонта, балыка, огурчиков зеленых, икры зернистой… Гм!»

Татьяна Львовна давала людям меткие прозвища. У нее были две домашние работницы, одна – «живущая», другая – «приходящая». Обе особым душевным благородством не отличались. Живущая, Мария Петровна, получила у Татьяна Львовны два латинских наименования: Stervosa Grandiflora и Stervosa Purissima Prima. Другую, Анну Алексеевну, загадочно-молчаливую» изображавшую на своем злобном лице отрешенность от мирской суеты, она прозвала Nirvana Stervosendis.

Житейские невзгоды, большие и малые, Татьяна Львовна как бы заклинала юмором, И этот лечебный, хотя бы и мрачный, юмор она отмечала и ценила в других:

– В восемнадцатом году Рощина-Инсарова вышла замуж за графа Игнатьева. Убираю я ее к венцу, а она рассуждает вслух:

«Идиотка Рощина! Нашла время, когда за графа замуж выходить! Ведь их всех на телеграфных столбах вот-вот перевешают!»

В бесстыдно подлые дни октября 1941 года, когда большинство московских высокопоставленных «патриотов» удирало, не позаботившись о тех, кого они еще недавно заверяли в непобедимости Красной Армии и в своей собственной неустрашимости, Татьяна Львовна прочла мне свою эпиграмму:

«Умремте ж под Москвой,

Как наши братья умирали!» —
Сказал нам Алексей Толстой
И очутился… на вокзале.

Толстой здесь, разумеется, образ собирательный. Впрочем, Толстой, находясь в то время уже в Горьком, и в самом деле процитировал лермонтовские строки в статье «Москве угрожает враг» («Правда» от 18 октября 1941 года).

Этой осенью я несколько раз ночевал на Тверском бульваре. Просыпался рано, слушал первые сводки Совинформбюро.

– Немцы взяли Сталино, – однажды сообщил я Татьяне Львовне, едва она вышла из спальни.

– Лучше бы они взяли Сталина, не моргнув глазом, подхватила Татьяна Львовна.

Свое отношение к войне она выразила так:

– Сатана восстал на сатану.

Татьяна Львовна запоминала характерные жесты, обороты речи, особенности выговора. Я и сейчас слышу, как она воспроизводит интонации театрального критика Кугеля, отстаивавшего в Суворинском театре постановку одной пьесы и в запальчивости не осознавшего, как двусмысленно звучит его защитительная речь:

– Идеи, господа, это одно, господа, а дела, господа, это другое, господа!

Вспомнила Татьяна Львовна эту фразу в Тарусе в конце лета 1939 года, когда советское правительство заключило с фашистской Германией договор о ненападении, а вслед за тем и о дружбе.

Татьяна Львовна и в молодости, и в старости была мастерица на всякого рода мистификации. Одна из таких мистификаций недешево стоила ее подруге:

– Однажды я собралась ехать в Петербург, Жила я тогда в Москве с подругой. Но что-то завозились с проводами, не посмотрели на часы, приезжаем на вокзал – поезд уже ушел. А до следующего поезда еще долго. Нечего делать – поехали мы с подругой домой. Подходит время снова собираться на вокзал. Я говорю подруге: «Ты уж меня не провожай, я сама доберусь». Приезжаю на сей раз без опоздания, но что-то мне не захотелось ехать. Это был первый день Пасхи – во всем вагоне я одна, да еще проводник навеселе. Когда вводил меня в купе, он как-то нехорошо подмигнул мне и сказал: «Ничего, барышня! Со мной не соскучитесь». Я велела носильщику забрать вещи и – на извозчика. Но по дороге я решила устроить дома представление.

Позвонила и тут же сказала нашей Дуняше, чтобы она ничего не говорила моей подруге. В передней снимаю пальто, накидываю на себя черную шаль и этаким скорбным призраком вплываю в ту комнату, где сидит моя подруга, уверенная в том, что поезд мчит меня сейчас в Петербург, и молча, неотвратимо надвигаюсь на нее. – Тут на. лице у Татьяны Львовны мгновенно застывало торжественно-горестное выражение, и она показывала, как именно надвигалась она на подругу. – Подруга: «Ах!» – и в обморок.

Сама Татьяна Львовна редко попадалась на удочку. Однако она со смехом рассказывала, как подлавливал ее Николай Васильевич Зеленин. Он читал ей стихи и спрашивал:

– Чье это, Татьяна Львовна?

– Откуда ты выкопал такую дрянь? – в свою очередь спрашивала Татьяна Львовна.

– Это ваши собственные стихи, Татьяна Львовна, – отвечал Николай Васильевич.

Мне удалось однажды напугать Татьяну Львовну. Это было в начале лета 1938 года в Тарусе. На кровавом фоне ежовщины разыгрывалась вторая по счету комедия выборов. Я зашел за Маргаритой Николаевной, Татьяной Львовной и ее мужем, которые снимали дачу неподалеку от той, где жил я, и мы пошли «выбирать» Шкирятова. По дороге я совершенно серьезно сказал:

– Татьяна Львовна! Я на бюллетене зачеркну Шкирятова и впишу Щепкину-Куперник.

Впервые в жизни я увидел на лице Татьяны Львовны выражение неподдельного ужаса и горячей мольбы:

– Коля!.. Ради Христа!.. Ведь меня сейчас же схватят!

Профессиональный литератор, Татьяна Львовна не заразилась пороками литературной среды. Она перевела Бернса, но, когда с новыми переводами из Бернса выступил Маршак, она их приветствовала. Уже во всеоружии богатейшего опыта, она прислушивалась к указаниям редакторов, режиссеров, актеров, рядовых читателей, как бы молоды-зелены они ни были. Не пренебрегать ничем, что так или иначе может «способствовать к украшенью», – это был один из основных ее принципов и в литературе и в жизни. Мне, начинающему литератору, она показывала свои очерки, статьи, заметки тотчас по написании, летом 1939 года давала мне на прочтение главу за главой своей книги о Ермоловой, которую она тогда писала в Тарусе, заглушая работой душевную боль, и не просила, а требовала, чтобы я не стесняясь делал замечания, – ей хотелось проверить, какое впечатление производит то, что она пишет, на молодежь. Она возвела меня в сан своего «редактора» и, подарив мне в 1940 году

свой перевод комедии Шекспира «Веселые виндзорские кумушки», сделала на ней надпись: «Милому моему редактору, "Песьей голове" и придворному чтецу-декламатору, с благодарностью *Т. Щепкина-Куперник*».

Шуточное прозвище Песья Голова она дала мне по некоторой ассоциации с легендой о св. Христофоре. А придворным чтецом-декламатором назвала она меня потому, что время от времени я по ее просьбе наизусть читал стихи ей, Маргарите Николаевне и кое-кому из знакомых. В ту пору в Москве начал быстро входить в славу Сурен Кочарян. Как-то раз Евдокия Дмитриевна Турчанинова сказала Татьяне Львовне:

– Танечка! Послушай ты Кочаряна! Ах, как он читает! У него не голос, а целый оркестр!

Татьяна Львовна послушалась совета своей старинной приятельницы и убедилась в ее правоте. С тех пор я стал называться не только Песьей Головой и не просто «придворным чтецом», но и в честь Кочаряна – «придворным чтецом Любимьяном».

3 августа 1940 года Татьяна Львовна писала мне с Николиной горы в Тарусу:

«Дорогая Песья голова – последняя моя надежда рухнула с твоим письмом: значит, я эту книгу куда-то девала – а куда, и ума не приложу. Ну, нечего делать, в Москве авось разыщу где-нибудь в недрах наших шкафов, м. б. в буфете или в туалетном ящике – у нас бывает. Ну, милый – посылаю привет Тарусе… мне так грустно, что не увижу ее, не взгляну в ее голубые очи… И обидно, что не будет наших уютных чаепитий, а иногда и кое-чего другого – хорошая вещь зеленая настойка на смородиновом листе под винегрет – помнишь?.. Вместо Любимьяна нам тут читает стихи Маяковского, а то и Пушкина, Вас. Ив. Кач.[алов] – книги я беру у проф. Адоратского, и между прочим с большим удовольствием читаю нового для меня швейцарского классика (40-е годы) Г. Келлера. Это редкое ощущение: найти кого-то, кого не читал и кто дает пищу "уму и сердцу"…

Не думай, однако, чтобы я без удовольствия вспоминала Любимьяна и не ждала возобновления наших литер, вечеров. Передай наши приветы прежде всего Марг. Ром.[79], – а затем всем, всем, всем – особенно Над. Ал. и Соф. Вл., фамилии которых ты так непочтительно перепутываешь[80]. Ох, не сносить тебе своей песьей головы… Впрочем, как писалось в старину, целую тебя крепко и поручаю воле Провидения. Будь здоров, милый мой, не забывай твоих старых друзей. Т. Щ.-К.

Кланяйся бабке Наталье[81] и напиши, как живут все и чем тебя угощает С. Зах.»

В последней фразе намек на не чересчур тароватую общую знакомую, писательницу Софью Захаровну Федорченко.

«Любимьян» читал на Тверском бульваре стихи Есенина, Маяковского, Багрицкого, Пастернака, Ахматовой, Антокольского, Асеева, Светлова, Сельвинского, Луговского, Прокофьева, Павла Васильева, Ярослава Смелякова. Что-то нравилось Татьяне Львовне больше, что-то меньше, что-то совсем не нравилось, но интерес у нее вызывали все. При первых наших встречах я заметил, что Татьяна Львовна в общем равнодушна к своим современникам. Отзывалась она о них сдержанно. В 1926 году на мой вопрос о Есенине ответила, например, так:

– Талантлив несомненно. Если бы так рано не ушел из жизни, выписался бы в настоящего поэта.

А теперь Татьяна Львовна восхищалась им, говорила, что в своих последних стихах он достигает почти пушкинской элегической прозрачности. Особенно полюбилось ей его стихотворение «Отговорила роща золотая…». Я много читал ей Сельвинского. Под впечатлением от его «Цыганских вальсов» и «Рапсодий» Татьяна Львовна, не будучи знакома с Сельвинским, позвонила ему и, предупредив, что это разговор не деловой, а чисто лирический, сказала попросту, от души, что ей очень нравятся его стихи, и тотчас повесила трубку. Стихотворение Багрицкого «О поэте и романтике» вызвало у нее на глазах слезы.

– Довел старуху! – с шутливой укоризной обратилась она ко мне.

Внимание к современной литературе обострилось у Татьяны Львовны, думается, после того как она снова обрела свое место в искусстве, когда у нее прошло чувство горечи от сознания своей ненужности.

Художественное восприятие у нее было чуткое и емкое, она умела отделить субъективное ощущение от объективной оценки – свойство редкое вообще, у писателей в частности и в особенности. Объективность изменяла Татьяне Львовне в редких случаях. Как-то зашел при ней разговор о Николае Тихонове.

– Я была в Ленинграде на его вечере – и не могла досидеть и дослушать. На меня смотрели его холодные глаза убийцы. И этот хамский голос! Брр! До сих пор без отвращения вспомнить не могу.

По сугубо личным мотивам Татьяна Львовна не любила Вл. Ив. Немировича-Данченко, отрицала все его заслуги перед Художественным театром, не желала принять во внимание даже то, что ее любимого Чехова открыл и раскрыл театру Немирович.

Разумеется, и символизм, и акмеизм и тем более футуризм в целом остались Щепкиной-Куперник чужды. Но это не мешало

Татьяне Львовне отдавать дань уважения далеким ей художникам слова, дружить с Сологубом, с Городецким, с Игорем Северянином. О Федоре Сологубе она отзывалась так:

– Безгранично талантливый писатель.

Вот что рассказывала Татьяна Львовна о нем и его жене – известной в свое время переводчице Анастасии Николаевне Чеботаревской:

– Сологуб женился поздно, на немолодой, внешне неинтересной, невзрачной, всегда не к лицу, безвкусно одетой и все же очень милой женщине. И с ее и с его стороны это было глубокое чувство. Они производили впечатление трогательной, горячо любящей пары. До революции в Петербурге мы друг у друга бывали. Как-то раз Сологуб с Чеботаревской сидели у меня, и вдруг я заметила, что на лицо Анастасии Николаевны легла тень. Наконец, я не выдержала и спросила ее: «Что с вами? Вам нездоровится?» Оказалось, Анастасия Николаевна потеряла кольцо. Тут переменился в лице и Сологуб. «Вы не можете себе представить, как нам дорого это кольцо, – говорила Анастасия Николаевна. – Мне подарил его Федор Кузьмич. Для нас обоих это символ нашей любви». Я старалась их успокоить: «Бели вы потеряли кольцо у меня, то оно завтра же найдется. Я утром вызову полотера, и он все здесь перевернет вверх дном». Однако разговор уже не клеился – настроение у моих гостей было безнадежно испорчено. На другой день я действительно позвала полотера, и кольцо нашлось. Я помчалась к Сологубам. Радости их не было границ. Думала ли я тогда, что несколько лет спустя – осенью двадцать первого года – Анастасия Николаевна бросится с этим кольцом на пальце в реку и как будет страдать Сологуб, не только оттого, что Анастасия Николаевна в припадке умоисступления утопилась, но еще и оттого, что она унесла с собой символ их любви? Думала ли я, что еще через несколько месяцев Сологуб опознает труп своей жены, который прибило к берегу полой водой, по этому же самому кольцу на пальце?

В архиве Щепкиной-Куперник сохранилась драматическая сцена: ее сюжет – кончина Блока.

Я слышал от нее такой отзыв о Леониде Андрееве:

– Талант крупный, бесспорный, только рос криво, вот как криво растут иные деревья.

Высоко ставила она дореволюционного Бунина. А «Митину любовь» не приняла. Она показалась ей перепевом прежнего Бунина, повестью «ни о чем». С грустью говорила:

– Мы ведь с ним были друзьями. Вместе горе горевали в девятнадцатом году, при большевиках в Одессе. Я ездила потом во Францию, но зайти к нему не рискнула. Боялась, как бы он, не

глядя на мой почтенный возраст и принадлежность к прекрасному полу, с лестницы меня не спустил – только за то, что я осмелилась остаться в Советской России.

Боязнь Татьяны Львовны, к слову молвить, была далеко небезосновательной. У нее же *к* слышал рассказ Литовцевой после парижских гастролей Художественного театра в 1937 году:

– Бунин до сих пор совершенно нетерпим ко всему, что по эту сторону. В Париже мы с Василием Ивановичем навестили Саниных. Василия Ивановича попросили почитать стихи. Он начал читать Есенина. Бунин встал и, обращаясь к жене, сказал: «Пойдем. А то нас тут еще какой-нибудь гадостью угостят».

Вспоминала Татьяна Львовна и Клюева:

– Он у меня бывал в Ленинграде. Играл под «калику перехожего». Прощаясь, говорил: «Спасибо тебе, родненькая, что приветила меня, странничка убогого». Но пальца в рот ему не клади. Умен, хитер. Молчит, молчит, смиренный инок, а потом вдруг как рублем подарит. Только руками всплеснешь: откуда у этого олонецкого мужика кладезь учености?

Последней ее любовью в поэзии был Ходасевич. Я храню его стихотворения, которые Татьяна Львовна перепечатала для меня на машинке – «Про себя», «Обезьяна», «Странник прошел, опираясь на посох…».

Любопытно, что театральные вкусы Щепкиной-Куперник отличались гораздо большей консервативностью. Она заинтересовалась Маяковским, а вот позднего Мейерхольда не переваривала.

Почти все самые дорогие театральные воспоминания были связаны у нее с театром Ермоловой и Лешковской, Горева и Ленского. Художественный театр она так быстро приняла, думается, через Чехова. Художественный театр пленил ее, в первую очередь, чеховскими постановками, тем, как бережно подошел он к чеховской драматургии, с какой чуткостью уловил ее подводные течения, с каким несравненным артистизмом воспроизвел ее хрупкую прелесть. В Александринском театре у нее были свои симпатии, но Малого театра он ей не заменил. Комиссаржевская не была в списке ее любимых актрис. С вахтанговцами и с артистами Камерного театра она подружилась поздно, когда в Театре имени Вахтангова шел «Сирано», а в Камерном театре – «Дама-Невидимка» в ее переводе, но к тому времени Камерный театр перестал быть Камерным театром, да, в сущности, и Театр имени Вахтангова перестал быть вахтанговским. Мейерхольда же Татьяна Львовна ненавидела острой ненавистью. Когда заходила речь о нем, ее покидала обычная сдержанность. Мейерхольд для нее был погибшим и

лишь когда-то давно милым созданьем, милым в ту пору, когда он, артист Художественного театра, играл Треплева, Тузенбаха, Иоганнеса в «Одиноких». Блестящими она называла его постановки «Дон-Жуана» и «Маскарада» в Александринском театре. Но *тут* она ему и *славу пела.* Его вольное обращение с текстами классиков и все его нововведения представлялись ей злокозненной и пагубной ересью, холодным и расчетливым святотатством.

Я уже отмечал, что Татьяна Львовна была снисходительна и терпима до известного предела. Так в жизни, в отношениях с людьми, и так в искусстве. Она не отрицала большого режиссерского таланта в Мейерхольде, напротив: она говорила о нем с таким негодованием оттого, что ему было «много дано», она предавала его анафеме за избранное им направление в искусстве – направление, которое, как ей представлялось, несло искусству гибель.

Не менее резка была она и в оценке явлений, по ее мнению опошлявших искусство, стоявших за его пределами. Кроме брезгливого презрения у нее, естественно, ничего не вызывал Демьян Бедный, особенно после постановки его «Богатырей» в Камерном театре – издевательства над религиозными чувствами она не прощала. Она вообще не терпела поругания святынь – как небесных, так равно и земных. Весной 1937 года она при мне вернулась на Тверской бульвар вместе с Маргаритой Николаевной и Алексеем Карповичем Дживелеговым после генеральной репетиции «Анны Карениной» в Художественном театре. Все трое подвергли спектакль дружной и уничтожающей критике. Они считали неудачной волковскую инсценировку, за бортом которой оказались Левин и Кити, что нарушало толстовский замысел в самой его сердцевине. Им претила истеричность игры Тарасовой, они утверждали, что у Тарасовой нет решительно ничего от светской дамы, равно как у Прудкина нет ничего от графа и блестящего офицера, что образ Каренина, созданный Хмелевым, – это образ упрощающий, обедняющий, а следовательно, искажающий образ толстовский, что офицеры в массовых сценах – это лакеи из плохого дома и кухонные мужики, а почти все дамы – горничные, кухарки и судомойки. Все трое сошлись на том, что только Станицын-Стива – фигура из толстовского спектакля, и все трое предвосхитили таким образом суждения Тэффи, которые та высказала в фельетоне после того, как посмотрела спектакль во время парижских гастролей Художественного театра. Тогда я еще не знал, что на этой же репетиции был Игорь Ильинский и сказал своей спутнице о Тарасовой-Анне:

– Вот это уже черт знает что такое! (Слышал от самого Игоря Владимировича.)

В ином настроении вернулись при мне Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна из Художественного театра с генеральной репетиции «Горя от ума» (1938 год). Чацкого в этом спектакле стал снова играть Качалов. Спектакль в целом их обеих не возмутил, как «Анна Каренина», но и не удовлетворил. На сцене дореволюционного Малого театра в «Горе от ума» все было наваристей, гуще, сдобней и сочней. Зато Качалов превзошел их ожидания. Обеих в свое время не потянуло ни на «Бронепоезд», ни на «Блокаду», ни на «Врагов». Что за радость смотреть, как волноборец сидит на мели!.. После «От автора» в «Воскресении» Чацкий был для них вторым послереволюционным триумфом Качалова, Они лишний раз убедились, какой это тонкий художник. Обе отметили, что он не молодится в Чацком; не прибегает к помощи молодящего грима, не заботится о том, чтобы его жесты и движения были юношески порывисты и стремительны. Качалов берет другим, и это самое важное в Чацком, – утверждали они, – сердечным жаром, нетленною молодостью духа.

Татьяна Львовна рассказывала мне, что стихотворение «Гаданье», так до сих пор и не напечатанное, ей приснилось. Проснувшись, она его записала:

По реке сплывают тихо
Семь серебряных лампад.
Шесть плывут, седьмая гаснет —
И туманится твой взгляд.

По реке сплывают тихо
Три таинственных венка.
Два плывут, а третий тонет —
И в глазах твоих тоска.

Не гадай и не печалься,
Ведь всему приходит срок!
Все в конце концов исчезнет —
Жизнь, лампада и венок.

Жизнь автора этого стихотворения исчезла. Но не исчез ценный вклад Щепкиной-Куперник в русскую культуру, не исчезла память о ее жизни, жизни порой горестной, порой радостной, но всегда яркой и полной, жизни в труде, жизни в

творчестве, как не исчезло сделанное ею добро, ибо в мире действует не только закон сохранения энергии, но и закон сохранения добра,

Москва, январь – февраль 1964

Ветер с юга

И пред ним…
Мир встает огромной птицей.
Свищет, щелкает, звенит.

Эдуард Багрицкий

В один из ноябрьских дней 1931 года я очутился на лестнице самого высокого во всем Проезде Художественного театра (или, как он назывался раньше, Камергерском переулке), недавно отстроенного писательского дома, где мне прежде бывать не доводилось, и, потоптавшись у дверей квартиры, где жил незнакомый мне человек, которого я и видел-то до этого раз в жизни, и кое-как отдышавшись, нажал кнопку звонка.

Стихи я тогда уже дописывал. Внутренний беспокойный голос говорил мне, что для того, чтобы иметь право называться стихами, им не хватает самого главного: *свежести слов* и *простоты чувства.*

Притом, писать и прятать в стол без промелька надежды когда-нибудь вытащить написанное на свет Божий – занятие не из веселых. А мои стихи, как любили выражаться в те годы, были «не созвучны эпохе». К тому же меня все сильнее захватывали в институте лекции Грифцова по теории перевода, в особенности руководимый им семинар по переводу французской прозы. Однако мне все же хотелось услышать мнение поэта о моих стихотворных опытах, и притом поэта современного и по тематике, и по обращению со словом. Жертвой «нападения» я избрал Эдуарда Багрицкого, ибо к тому времени он стал самым моим любимым из современных поэтов. И далеко не только моим. Я не погрешу против истины, если скажу, что он был любимым поэтом моего поколения – того, которое в начале 30-х годов заполонило аудитории техникумов и вузов. Любовь к Маяковскому таяла, как снежная глыба при дружной весне. Любовь к Багрицкому росла на глазах. Еще при жизни Маяковского А. Лежнев писал о нем так: «Теперешний холодный ритор и резонер уж, конечно, не Маяковский “Облака в штанах” и “Флеи ты-позвоночника”. В формальном отношении он остался, быть может, на прежней высоте, но исчезло в его вещах то напряжение страсти, которое захватывало читателя. Маяковский морализирующий и халтурящий не может идти в сравнение с

Маяковским бунтующим, с Маяковским первых лет»[82]. У молодежи «лопались барабанные перепонки» от затянувшейся митинговой оратории Маяковского, гремевшей уже не по случаю крушения старого мира, а по поводу того, что литейщик Иван Козырев вселился в новую квартиру. Молодежи хотелось, Чтобы ее не столько поучали и призывали, сколько выражали ее раздумья, сомнения, колебания, ощущения, чувства. Она была рада, что поэзия ушла наконец в море, в лес, на птичий базар, – пусть себе идет куда угодно, только подальше от залы, где, сам того не желая, «прозаседался» все время ощущавший себя на трибуне Маяковский. С чем он боролся, на то и напоролся. Молодежь задыхалась в этих его четырех голых стенах с уже рваными и грязными плакатами и портретами «вождей». Ей хотелось, чтобы поэзии вернули пространство, многоцветное, неоглядное, где разбегаются глаза и где дышится вольно. Ей хотелось, чтобы поэзии вернули песенное ее начало. Вот почему ей полюбился поэт, которому были дороги «природа, ветер, песни и свобода». Еще существовали «бригады Маяковского», читавшие только его стихи и оглушительно скандировавшие: «Лев-вой! Лев-вой! Лев-вой!» Еще доживали свой век вихрастые одиночки, сотворившие себе из Маяковского кумира, старавшиеся обратить в Маяковскую веру встречного поперечного и отчитывавшие от его писаний инакомыслящих, рисковавших быть заживо погребенными под обломками сыпавшихся на них цитат. Еще находились рабфаковцы, вроде нашего Волынина, приземистого тупицы, приносившие к решеткам памяти Маяковского дрянь посвящений, выдаивавшие на вечерах в годовщину его смерти, а затем печатавшие в стенгазетах маяковскообразные вирши, в которых они разговаривали с Маяковским как прокуроры, притягивавшие его к судебной ответственности за самоубийство:

Товарищ Маяковский!
Ты не имел права
Так говорить
с рабочим классом.

И такому вот Волынину аплодировала при мне на вечере Маяковского, состоявшемся в апреле 1932 года в Институте новых языков, сестра поэта Людмила!

И все же властителем если не дум (ибо Эдуард Багрицкий, как, впрочем, я Маяковский, не был поэтом мысли в «баратынско-тютчевско-случевском» понятии, а когда пытался «мыслить социально-политическими категориями», неизменно терпел неудачу), если не дум, то чувств молодежи становился автор

«Арбуза» и «Думы про Опанаса». Показательно, что такой литературный и политический флюгер, как Константин Симонов, с юных лет державший нос по ветру, начал с подражаний Багрицкому.

В Перемышле я читал регулярно только один «толстый» советский журнал – «Новый мир», – начиная с 1928 года мне его выписывали в виде подарка ко дню рождения, в городской же библиотеке попадались лишь разрозненные номера «Красной нови», Я знал те стихотворения Багрицкого, которые он тогда печатал в «Новом мире»: первую часть «Трясины», «Cyprinus Carpio», «Стихи о себе», перевод «Веселых нищих» Бернса.

Но вот я в институте, на первом курсе. Как-то раз, придя на занятия, Леонид Петрович Гроссман достал из дамского портфеля, не гармонировавшего с огромным ростом его обладателя, миниатюрную книжицу и прочитал нам от первой до последней строчки «Думу про Опанаса». Тут-то я и ошалел. От этой короткой и в то же время на диво просторной, раскинувшейся вширь и уходящей в даль грядущих лет поэмы на меня пахнуло благоуханьем украинского степного раздолья, жарким и грозным ветром гражданской войны. Поэма вызвала во мне новый прилив пока еще заочной любви к Украине, в которую я влюбился сначала по рассказам моих родных и вслушиваясь в украинские песни, которые они мне напевали, затем – по «Вечерам на хуторе», «Миргороду» и думам Шевченко – составленная Виктором Острогорским и вышедшая в 1914 году хрестоматия «Родные поэты» с избранными переводами из Шевченко была моей настольной книгой с тех пор, как я выучился читать, Леонид Петрович спросил, не возьмется ли кто-нибудь из студентов написать реферат о стилистике «Думы про Опанаса». Вызвался я. И это был мой первый студенческий реферат.

На другой день я бросился покупать только что вышедший вторым изданием в ЗИФе[83] «Юго-Запад» и всю книгу, начиная с «Птицелова» и кончая «Папиросным коробком», прочитал на московских улицах, то бредя по тротуарам и натыкаясь на прохожих, посылавших мне вслед не слишком лестные эпитеты и не слишком добрые напутствия, то поджидая на остановке трамвая, благо ждать тогда приходилось ой-ой как долго. Эта книжечка и сейчас стоит у меня на полке, как и вышедшие в 1932 году «Избранные стихи» о дарственной надписью Эдуарда Георгиевича и с собственноручным его исправлением типографских недосмотров.

Многое в этой книжке оказалось надолго, а иное и навсегда близко моей душе. Прежде всего, нежная любовь к природе (эту нежность только усиливают, по закону контраста, грубоватость

выражений, стык поэтизмов с прозаизмами):

…соловей,
Глазастая птица, предвестница лета,
С тобою купил я за десять рублей —
Черемуху, полночь и лирику Фета!

(«Стихи о соловье и поэте»)

За этой «глазастой птицей» так и видишь сдержанную улыбку любующегося ею поэта. С такой любовной фамильярностью до Багрицкого никто из поэтов к соловью не обращался. Конкретность определения («глазастая птица»), бытовая подробность (десять рублей), свежесть интонации – все это возвращало опошленному донельзя соловью его исконные права на дружбу с поэзией.

Что же еще породнило мою душу с душой заново открытого мною поэта? Сознание своего разлада с эпохой, сознание своей ненужности («Мы – ржавые листья на ржавых дубах…»), сознание своего одиночества в многолюдном городе. С переездом в Москву мой уют *облетел*. Вот почему мне казалось, что в «Ночи» Багрицкий говорит как бы от моего имени:

И только мне десятый час
Ничего не приносит в дар…

Москва сидела на полуголодном пайке. Я обедал в студенческих столовых, от которых летом уже на тротуаре воняло тухлым мясом. И мотив голода, «сжимающего скулы», «зудом поющего в зубах» и «мыльною мышью падающего в пищевод», голода, с такой физиологической дотошностью описываемого Багрицким на фоне свирепых яств, бредовым, воспаленным видением возникающих перед ним, – этот мотив тоже будил во мне сочувственный отклик. Багрицкий писал «Ночь» в период НЭПа, когда контраст между голодом и чревоугодием был особенно разителен. Но и в пору моей молодости существовали – правда, сильно отощавшие и обтрепавшиеся – рестораны, разумеется, совершенно мне недоступные, откуда летними вечерами зазывно неслась бесшабашная музыка и долетал звон тарелок, до тошноты соблазнительный для тех, кто, как я, проходил мимо них домой, зная, что дома ждет его чай, сахар и двести граммов хлеба, оставшегося от суточного четырехсотграммового рациона, полагающегося по его жалкой

«служащей» карточке.

Подружившись с «Юго-Западом», я стал подражать Багрицкому. Когда я писал о том, как сочатся жиром торгсины, о том, как из ресторанов вырываются клубы потного смеха, когда я сравнивал себя с верблюдом, катавшим на Тверском бульваре в двух привешенных между его горбами люльках детвору и время от времени оглашавшим эту шумную и снежную Сахару тоскливым криком» словно он плакал по родине, – я облекал свои наблюдения и переживания в чужую одежду.

Некоторое время я смотрел на мир сквозь «Юго-Запад». Он радовал мой глаз и слух. Меня пленяла стремительная певучесть его стихов. И точно: у Багрицкого в «Юго-Западе» ничто не стоит на месте – все вихрится» все куда-то мчится, и сверкающий этот крутень звучит, поет…

Вот море подбрасывает на волнах шаланду:

По рыбам, по звездам
Проносит шаланду…

(«Контрабандисты»)

Вот крутятся колеса поезда и пыхтит паровоз:

В аллеях столбов»
По дорогам перронов —
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов.
Уже окунувшийся
В масло по локоть
Рычаг начинает
Акать и окать…

(«Весна»)

А вот слышится конский бег; на конях покачиваются всадники:

На плацу, открытом
С четырех сторон,
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон;
вот и закачались мы
В прозелень травы…

(«Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым»)

Или стук моторной лодки:

…Да слушать сквозь ветер,
Холодный и горький,
Мотора дозорного
Скороговорки.

(«Контрабандисты»)

Или влажный шум моря:

…Чтоб волн запевал
Оголтелый народ…

(Там же)

Так Багрицкий рисует не только словами, но и ритмом и звуком.

А какова у поэта наметанность глаза! Теперь, как ни посмотрю я на лист смородины, все мне представляется лягушечья лапка. А какое высокое напряжение в его эпитетах и метафорах! А мастерство, с каким Багрицкий сочетает в построении слитных образов неожиданность с характерностью, мастерство, с каким он сращивает очертания, движения, звук, запах и цвет, находя для всего этого единственно верные определения, которые ничем уже не заменишь, которые клещами не вырвешь из стиха!.. Вспененные и шумные волны сливаются у него в «свистящее мыло» («Арбуз»). Сравнить с этим «буруны, сединой гремящие певучей» из «доюгозападного» «Сказания о море…» или «мокрую дрожь деревьев» – о саде, исхлестанном дождем и раскачиваемом ветром, из «Папиросного коробка». Или: «…сизая плесень блестит и течет по мокрой и мыльной мочале…» («Папиросный коробок»). Или о выстреле:

И побежал, ветерком катимый,
Громкий, сухой одуванчик дыма.

(«Трясина»)

«Думу про Опанаса» я, готовясь к реферату, все перечитывал и перечитывал. В ней меня захватывали и тема, и развитие сюжета, и судьбы героев. Захватывал шевченковский ритм (только в этом ритме она и могла быть написана), на фоне которого вдруг возникает ритм солдатской песни с совершенно неожиданной концовкой («От приварка рожи гладки, поступь удалая, амуниция в порядке, как при Николае»), и все эти с корнями пересаженные из народной поэзии сравнения, олицетворения, повторы, подхваты, словесные, синтаксические и интонационные переклички, усиливающие песенность поэмы, и свобода сильного поэтического дыхания. Меня изумляло свойство поэта одним образом размотать в сознании читателя целый клубок ассоциаций («Украина – мать родная – билась под конями!»). «Как он умеет найти неожиданные черты сходства между, казалось бы, далекими явлениями! – думалось мне. – И раскрывает он это сходство, показывая предметы непременно в состоянии движения (Сабли враз перехлестнулись кривыми ручьями…)». Мое внимание привлекала и колоритность языка, не перегруженного, однако, украинизмами.

В поэме Сельвинского «Улялаевщина» строфа:

> Уляляев був такий: выверчено віко,
> Дірка в пидбородци, тай в ухі серга,
> Зроду нэ бачено такого чоловжа,
> Як той батько Улялаев Серга —

инородным телом не выглядит – таков вообще пестрый в его поэме словарь, такова его стилевая установка. Багрицкий, сдержанный в самых бурных проявлениях чувств, проводивший в своем поэтическом хозяйстве режим экономии, без помощи украинизмов воссоздает в одном четверостишии пейзаж Украины, ее аромат, указывает на одну из отличительных особенностей украинского народа – его певучесть – и выражает свою сыновнюю любовь к Украине:

Тополей седая стая,
Воздух тополиный…
Украина, мать родная,
Песня – Украина!..

Ей-Богу, в одной этой строфе больше настоящей любви к Украине, чем в «творях» иных тупорылых петлюровцев, именующихся «радяньскими письменниками»… Когда они посмотрели «Дни Турбиных», на них загорелись шапки – шапки Болботуна и Галаньбы. Вот почему они так возненавидели Булгакова.

Багрицкий был человек искренний, искренний во всех своих исканиях и заблуждениях. Он верил, что не только его сын Всеволод, вскоре после смерти отца лишившийся матери, которую засадили в концлагерь, убитый в начале войны на фронте, но и он сам «встал на пороге веселых времен» («Папиросный коробок»). «Угадал, Ларион!» – можно было бы сказать ему словами Мышлаевского из «Дней Турбиных». Он искренне хотел встать с веком рядом, искренне считал необходимым откликнуться на темы пятилеток.

В дневнике Всеволода Иванова есть страшная запись (16 ноября 1942 года): «Я боюсь, что из уважения к советской власти и из желания ей быть полезным я испортил весь свой аппарат художника».

Так могли бы сказать о себе почти все его современники, за малым исключением. Багрицкий этого исключения не составляет. Он повредил самое драгоценное, чем он владел, – свой талант. Стихами «Юго-Запада» и сейчас можно дышать. В мире «Победителей» и «Последней ночи» скучно и душно.

«Так изменился мир поэзии Багрицкого, – пишет критик Гринберг, во всей обворожительной наивности своего тупоумия полагая, что он поет позднему Багрицкому славу, – … и он превратился в радостный, просторный мир борьбы и труда, мир чекистов, механиков, рыбоводов, гидрографов, поэтов, пионеров, ветеринаров и других “работников страны”, мир дроздов, зябликов и пеночек»[84].

Вряд ли Гринберг, изготовляя в этой фразе рагу из чекистов и пеночек, понимал, что он не только настрочил злейшую пародию на себя, но что он этим кушаньем, к сожалению, в общем довольно верно определил идейную сумбурность «Победителей» и «Последней ночи». Что касается простора, якобы открывавшегося в этих книгах, то это простор случного пункта. Что касается радости, будто бы пронизывающей поздние стихи Багрицкого, то что же радостного, что лирический герой «ТВС» болен туберкулезом, что в бреду ему является такая мрачная фигура, как Дзержинский, который к тому же еще говорит о своем одиночестве («Оглянешься: а вокруг враги, руки протянешь: и нет друзей»), и о том, что даже ему, привычному палачу, чей рабочий стол – «в крови и чернилах», «не легка трехгранная откровенность штыка»? Что же в конце концов радостного в том, что пионерка Валя умерла, хотя бы и отказавшись надеть на шею крестик?

Писать об ударных заводах, о колхозах, где Багрицкий никогда не был, ему не позволяла писательская совесть. Ездить на заводы и в колхозы ему мешала болезнь, приковавшая его к тахте, да его и не очень туда влекло и тянуло. В разговоре со

мной он однажды чистосердечно признался, что рабочих он уважает, но что они его как поэта не интересуют, что крестьянин как социальное явление отталкивает его от себя собственническими инстинктами и политической бесхребетностью и что его идеал – «кустарь-одиночка»: часовщик-искусник, отказывающийся подписаться на заем, но и отказывающийся от премии (об этом часовщике, которого потом, разумеется, посадили, с восторгом рассказывал мне Багрицкий, и в этом восторге я услышал отголоски анархистских увлечений его молодости), ученый-практик, исследующий природу, ботаник, зоолог, агроном, ветеринар, лесовод, «молодой гидрограф – читатель мой»[85]. Шатающийся по дорогам и ночующий под заборами птицелов Дидель так и не утратил для Багрицкого своего обаяния. И вот Багрицкий начал с того, что по-своему откликнулся на тогдашние призывы одами в честь рыбовода и ветеринара[86]. В этих попытках рассказать стихами о разведении рыб и о случке рогатого скота выпирает рассудочное начало, столь вообще чуждое такому эмоциональному поэту, как Багрицкий. В них чувствуется «твердое задание» поэта самому себе не отстать от эпохи. Стихи эти не только грубо физиологичны – это еще полбеды. Гораздо хуже, что они, попросту говоря, скучны. И это – страшная месть поэзии за учиненное над ней насилие. Багрицкий восхищается молодым гидрографом, который, прочитав его «стишок», вырывает из книги лист, снимает пояс – и под кусток[87]. Право же, «странное уничиженье»! А когда поэт встречается со своим читателем, то оказывается, что говорить им не о чем. Стоило ли в таком случае этот глухонемой разговор перекладывать в стихи?[88] А в заключительных строках «Последней ночи» вновь появляется самоуничижительный мотив. Вот какой конец предвидит поэт для себя и для своих сверстников:

…наши товарищи, поплевав
На руки, стащут нас
В клуб, чтоб мы прокисали там
Средь лампочек и цветов…

Так за что же они боролись? Вот за это самое прокисанье? Позвольте: чем же этот мир клубов и лампочек лучше того, который «осыпался, отболев, скарлатинозною шелухой»? Стоило ли выживать?.. Жертвы, принесенные поэтом и его сверстниками, как видно, были принесены зря… Багрицкий думал отслужить молебен, а вышла панихида. Так случается со всеми художниками, когда они берутся за темы, которые им навязывают

или которые они сами навязывают себе. Рассудку еще можно что-то приказать, а чувствам не прикажешь. Им насильно мил не будешь. И они тоже мстительны, как мстительно искусство. Вещь начинает звучать фальшиво, концы не сходятся с концами – это «заговор чувств» против художника, переставшего к ним прислушиваться.

«Последней ночи» многое можно простить за картину этой самой последней ночи накануне первой мировой войны:

> И ночь, окружив меня
> Движеньем крыльев, цветов и звезд,
> Возникла на всех углах.
> …….
>
> Еще один крутой поворот —
> И море пошло ко мне,
> Неся на себе обломки планет
> И тени пролетных птиц.
>
> Была такая голубизна,
> Такая прозрачность шла,
> Что повториться в мире опять
> Не может такая ночь.
>
> Она поселилась в каждом кремне
> Гнездом голубых лучей;
> Она превратила сухой бурьян
> В студеные хрустали;
> Она постаралась вложить себя
> В травинку, в песок, во все…

«Человек предместья» в еще большей мере, чем «Последняя ночь», написан à thèse[89]. Но от пишущего, а Лёве требуется по крайней мере продуманность стройного плана, строгая ясность и последовательность хода мысли. А тут из-за чего, собственно, загорелся сыр-бор? Из-за того, что некий «человек предместья» выказал себя рачительным хозяином. Работал он «до скрежета, до ледяного пота». Начинал на голом месте, на пустыре, поросшем «нелюдимой крапивой». И нигде в поэме не сказано, чтобы он эксплуатировал чужой труд. Работали с утра до ночи он сам и – ему под пару – жена, перед которой «покорно мычат коровы». Почему же этому мастеру на все руки вещи, находящиеся за порогом его дома, должны быть «враждебны», как утверждает Багрицкий? Эдакие работяги, напротив, любят вещи, а вещи, в

свою очередь, так к ним и тянутся. «Как тебе тошно!» – восклицает поэт, а несколькими строфами ниже: «О благодушие! Ты растроган…». Опять конец с концом не сошелся. Ну хорошо, перед нами – собственник, скопидом, но ведь не эксплуататор же, не паук и не уголовный преступник. Не всем быть птицеловами Диделями. Да и на одних Диделях и на «пахарях без сохи»[90] любое государство, в том числе и «социалистическое», далеко не уедет. С ними как бы зубы на полку не положить. Дидели могут «песни петь и птиц ловить», а «пахари без сохи» вольны бродяжить, потому что «люди предместья» трудятся без устали. Единственная вина «человека предместья», о которой глухо говорится в поэме, это что он, стакнувшись с проводниками поездов дальнего следования, учиняет товарообмен. Но это еще не такое великое преступление, чтобы призывать в его дом чекистов. Так для чего же тогда их звать? Чтобы раскулачить «человека предместья»? Но даже по тогдашним свирепым установлениям он раскулачиванию не подлежал. Согласно тем же установлениям, раскулачивать лиц, наемного труда не применяющих, значило допускать «левацкий перегиб». Да и сам Багрицкий, сначала анонсировавший в «Новом мире» эту поэму под заглавием «Кулак», в конце концов напечатал ее в «Красной нови» под другим, более расплывчатым названием. Видимо, он сам понял, что под кулака его героя не подведешь. Так для чего же все-таки палить по мелкособственническим воробьям из гепеушной пушки? Чтобы всего-навсего спеть «солдатскую песню пира?» Чтобы только припугнуть хозяина чем-то вроде «кошачьего концерта»?.. Ну, а толк-то какой? Ну, продаст «человек предместья» лошадь, лишнюю корову, как и поступил прототип этой поэмы, бывший хозяин кунцевской квартиры Багрицкого, после того как прочитал о себе поэму своего бывшего постояльца. Что от этого выиграли Багрицкий и «страна строящегося социализма»?.. Аллегория и символ должны прочно стоять на земле, а иначе – vervallen die ganze Postroika[91]. Да и обличение собственнического мира не очень убедительно звучит у Багрицкого. Багрицкий был натура мятущаяся, противоречивая. В «Юго-Западе» он временами ощущает свою неприкаянность не как вызов, а как мучение, как проклятие. Вспомним все ту же «Ночь». В стихотворении «От черного хлеба и верной жены…» он говорит об утраченном уюте в тонах элегических. А в «Бессоннице» его дом невредимо пролетает сквозь *каторжную погоду,* сквозь *злой вой.*

Простодушный и кокетливый Уткин ставит все точки над i:

Счастлив я

И беззаботен!
Но и счастье
И покой
Я, ей-Богу, заработал
Этой раненой рукой.

Багрицкий ту же мысль растворяет в целой голубиной идиллии. Его ноги топтались по фронтам гражданской войны «от голубей до голубей». И он радуется вновь обретенному «покою», тому, что «травой восходит тишина». Но и в «Победителях» двойственность не изжита. В том-то и дело, что семейный, домашний уют, основанный на всяческом благополучии, поэту чем-то мил, до отвращения, как он выразился в «ТВС», но все-таки мил. В первом стихотворении из цикла «Стихи о себе» – «Дом» – метания поэта видны как на ладони. Сперва он шагает «через порог знакомый в звероподобные кусты», но среди беспризорных сосен ему становится страшно, и он через тот же знакомый порог шагает «в добротный залах дыма, в дымок младенческого сна…». Почему же тогда он воспрещает человеку предместья, не поэту с широкими духовными запросами, а простому смертному с ограниченным кругозором, стремиться к тому, чтобы обжить свой дом, чтобы у него все было «в порядке. Как следует. Под замком»? Что же, по мнению Багрицкого, он должен оставлять все нарасперти и ликовать, если его обворуют? Почему то, что у «человека предместья» – «добротная скука», у поэта – «добротный запах дома»? Стало быть, «что хорошо у Шоу, то у других – нехорошоу»? Что позволено попу, то не позволено дьякону?

В поэме «ТВС» поэт в бреду ведет беседу с призраком Дзержинского.

Во «Вмешательстве поэта» он присягает на верность:

Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы…

В «Человеке предместья» – та же погудка на слегка измененный лад:

…Отзовитесь, где вы,
Веселые люди моих стихов?

Прошедшие с боем леса и воды,
Всем ливням подставившие лицо,
Чекисты, механики, рыбоводы,

Взойдите на струганое крыльцо!

Почему, кстати сказать, Дзержинский, облитый таким зловещим светом в «ТВС», попал в разряд «веселых людей» – это, как говорится, «секрет изобретателя», это очередная «неувязка», характерная для позднего Багрицкого.

В романтике Багрицкого было что-то мальчишеское. Это она, если верить рассказу одессита, театрального художника Николая Ипполитовича Данилова, заставляла юношу Багрицкого идти где-то около всех вступавших в Одессу войск. Это она заставляла его в разговорах с друзьями сочинять подвиги, которые он будто бы совершил в Красной Армии. «Дорог на земле для романтики мало»[92]. В Совдепии наступили будни. «Знамена в чехлах и заржавлены трубы»[93]. Чекисты же влекли к себе Багрицкого тем, что они продолжали «бороться с врагами». С кем, собственно, они теперь боролись и какими средствами – в это он старался особенно не вникать. Он простодушно верил в то, что Рамзин, Ларичев и Федотов – вредители. Зажравшиеся карьеристы, зарабатывавшие себе «шпалы» и «ромбики» (тогдашние знаки различия) на кое-как состряпанных «делах», казались близорукому романтику Багрицкому на фоне экономистов-плановиков и товароведов карающими меченосцами пролетариата. Поэзия исчезает из советской жизни – о чем, как не об этом, написаны «Стихи о поэте и романтике»? Между тем в гепеушниках Багрицкому чудилась своеобразная поэзия. Это была для него романтика «бездны мрачной на краю», романтика «дуновения чумы».

Багрицкий не только добровольно впрягался в ярмо не органичных для него тем. Он отрекся не только от настроений «Юго-Запада», но и от его поэтики – и давай ломать свой голос, коверкать свою поэтическую природу, умерщвлять в себе романтика и певуна! Он искусственно затруднял свое ровное дыхание, запруживал течение стиха переносами:

И сруб мой хрустальнее слезы
Становится.
Только гвозди
Торчат сквозь стекло…

(«Итак – бумаге терпеть невмочь…»)

«…что если это проза, да и дурная?..»
А кое-где можно наткнуться и на такие вирши:

Настали времена, чтоб оде
Потолковать о рыбоводе,

(«Cyprinus Carpio»)

Откуда они? Из очередного наспех зарифмованного фельетона Демьяна Бедного? Случевский это явление предвидел:

Переживая злые годы
Всех извращений красоты —
Наш стих, как смысл людской природы,
Обезобразишься и ты…

Конечно, у Багрицкого и после «Юго-Запада» были прозрения, были озарения.

В «Думе про Опанаса» он раскрыл безысходный трагизм судьбы русского крестьянина:

Опанасе, наша доля
Туманом повита…
……
Опанасе, наша доля
Развеяна в поле…

Эти строки оказались пророческими. Оттого «Дума» жива и по сей день. В «ТВС» с математической краткостью и точностью сформулирован основной закон советского времени:

Но если он[94] скажет «Солги», – солги.
Но если он скажет «Убей», – убей.

Автору рассказа «Рычаги» Александру Яшину понадобилось пережить сталинское лихолетье, чтобы дорасти до понимания этого закона и в малой капле увидеть отражение строя отношений, сложившихся у нас в стране. Багрицкий учуял его в воздухе 30-х годов. Разница та, что Багрицкий пытался уверить прежде всего самого себя, а потом и читателей, что это закон справедливый. Но мы благодетельную его силу испытали на собственной шкуре, мы подставляем под них иной подтекст, мы принимаем их «с обратным знаком».

Взгляд поэта временами по-прежнему ошеломляет своей цепкостью:

Подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.

Когда доходишь до этого места в монологе Дзержинского, невольно хочется отвести глаза, как будто к ним вплотную приставили нечто до того в безжалостной своей яркости страшное, что зрение человеческое не выдерживает и в ужасе отшатывается.

А чего стоит фламандский образ из «Встречи»: «ноздреватые обрывы сыра»!

А вот как изображается в «Последней ночи» охота на фазана:

Фазан взорвался, как фейерверк.
Дробь вырвала хвою. Он
Пернатой кометой рванулся вниз,
В сумятицу вешних трав.

Поэт по-прежнему любит одушевлять и облекать плотью и кровью отвлеченные понятия:

Еврейские домики я прошел…
И в окнах была видна
Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.

Он не утратил умения сочетать необычное и характерное, сливать различные свойства предмета в единый движущийся образ, по-прежнему слова у него на совесть пригнаны одно к другому:

Коровы плывут, как пятнистый дым,
Пропитанный сыростью молока.

(«Весна, ветеринар и я»)

Эпитеты и глаголы порой столь же «эсхатологичны», как и в «Юго-Западе»: «звезды шарахались, трепеща…» («Последняя ночь»), «поток-мрака и неистового света…» («Февраль»).

По-прежнему поэт освежает слово, вставляя его в необычный контекст: «Бушлаты – настежь» («Февраль»). Это напоминает строчку из «Арбуза»: «Сквозь волны – навылет!»

Нежданно-негаданно прорвется лирическая песенная струя и

вдруг начинает бить торжествующе звонким потоком:

Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой,
Чтоб взять этот мир, как соты,
Обрызганные росой.
Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой.

(«Весна, ветеринар и я»)

Думается, что Багрицкий согласился писать либретто оперы об Опанасе отчасти для того, чтобы дать исход этой до конца его жизни клокотавшей в нем струе. И уж в либретто, благо к тому его обязывал жанр, он дал ей волю!

Перекличка часовых в либретто оперы «Дума про Опанаса»:

В зеленом садочке,
У Буга на взгорье,
Цвети, моя вишня, цвети!
На тихие воды,
На ясные зори
Лети, мое сердце, лети!

Звезда полевая
Над брошенной хатой,
Дождями размыты пути.
На пламя пожара,
На дым языкатый
Лети, мое сердце, лети!

Монолог Раисы из той же картины:

Так не думай. За туманом
Сгинуло былое,
Только птичий крик тачанок,
Только поле злое,
Только сабля запевает,
Только мчатся кони,
Только плещется над миром
Черный рой вороний!

Перекличка Павлы и Раисы;

Вся земля в предвесеннем дыме,
Бьют младенческие ручьи,
Колокольцами молодыми
Разливаются соловьи…

В берег грянули с размаху
Реки молодые.
Ржут, почуяв дух полыни,
Кони боевые.
Степь весенняя дымится
Рыжими цветами,
Закипает соловьями,
Клекчет беркутами.
И тачанки наши стонут,
И грохочут бубны,
И повстанцев погоняет
Дикий голос трубный.
……
Гей, весна! Стучат копыта!
Ветер! Ветер! Ветер!

Вот это настоящий Багрицкий. Это его поэзия… Воздух. Свет. Цветущий, поющий, душистый, вместе с ветром летящий навстречу простор.

И уже в предсмертных, в последних двух строчках недописанной поэмы «Февраль» мы вновь узнаем этот вольный и широкий разлив стиха, снова слышим знакомый нам по «Юго-Западу» голос поэта, у которого сердце в груди заходится от мучительного счастья жизни на земле:

Будут ливни, будет ветер с юга,
Лебедей влюбленное ячанье.

Но у позднего Багрицкого это всплески одиноких волн. Молодой прибой «Юго-Запада» отбушевал, утих. Это отсветы былых пыланий» лишь оттеняющие общий гнетуще угрюмый колорит. Это просверки солнца в затянутом тяжелыми, мутными тучами небе. Когда же Багрицкий, не потому» чтобы ему «так диктовало вдохновенье», как диктовало оно ему в «Юго-Западе», а потому что это требовалось от перестроившегося поэта» пытался доказать, что трудности преодолены, что в советском мире – все к

лучшему, какие скучные подбирает он слова, какие тусклые, будничные вымучивает сравнения! «Луна лейкоцитом над кругом двора», «ветер в лицо, как вода из ведра», «земля… как неструганая доска…»[95]. И, конечно, если в начале поэмы «ТВС» – мир «колюч»: «Камни – углы и дома – углы», – то в финале «звезды круглы и круглы кусты». Зрителям хорошо видно, как сзади дергают за ниточки марионеток. Великолепное искусство Багрицкого, образцы которого я приводил, выглядит здесь – в этом мелколесье мыслей и чувств – обидно ненужным. К своим новым героям Багрицкий не сумел внушить ни симпатии, ни интереса, ибо все они, за исключением Дзержинского, фигуры страшной, но по крайней мере колоритной, плоски, а то и вовсе безлики и безгласны. Как совершенно верно заметил в статье «Разговор в сердцах»[96] Абрам Захарович Лежнев, Багрицкий полинял. И напрасно Багрицкий напал на него во «Вмешательстве поэта». А напал-то он, может быть, именно потому, что правда, высказанная критиком, умевшим с хирургической точностью поставить диагноз болезни писателя, колола ему глаза.

…Ах, милый Абрам Захарович! Что вы мне так часто снитесь?.. Снится мне, будто вас «реабилитировали», но не посмертно, а при жизни, будто вы уже в Москве, и я вас почему-то долго разыскиваю, но наконец нахожу, а вы все такой же, привезли из концлагеря законченную рукопись книги о прозе Лермонтова, которую вам в 37-м году не дали дописать, и Цецилия Борисовна, умершая от белокровия в Караганде, тоже будто здесь, с вами, и только нет вашего здоровенного котищи, любившего спать на чистой скатерти, растянувшись чуть ли не во всю длину вашего обеденного стола. Маленький подвижный человечек с глазами, которые то светились огоньками иронии, то заволакивались какой-то мудрой многовековой печалью, вобравшей в себя ужасы погромов и тоску скитальчеств, с доброй застенчивой улыбкой, обнажавшей верхний ряд мелких и редких зубов; щупленький человечек с изрядной глушиной, от полемических ударов которого рапповские громилы (Зонин, Авербах, Ермилов, Гельфанд, Лузгин) летели, однако, «с катушек долой»; тихий и грустный человечек, умевший вышутить, высмеять, освистать злее, язвительнее, остроумнее, хлеще, пронзительнее, чем кто-либо другой из его современников; человечек, говоривший с немыслимым акцентом, словно он только вчера приехал из Жмеринки или из Гомеля, а писавший на богатом и гибком русском языке, блестящем даже до изыска, до щегольства; лучший из критиков послереволюционного времени, который ухитрялся так писать о стилистике, об эвфонии, о ритмике, что его книги читаются, как увлекательные романы;

критик, который, бывало, выскажет о современном писателе свое суждение – как в воду посмотрит; первый из русских критиков, разобравшийся в том, что же такое поэзия Пастернака, показавший самому поэту, в чем его несравненная сила и где он уязвим, а читателю помогший ориентироваться на этом новом материке; критик, удостоившийся похвалы из уст Зощенко: на вопрос корреспондента газеты «Литературный Ленинград», как смотрит он на состояние современной критики, Зощенко ответил, что он против огульного ее охаивания, поскольку у нас есть такие критики, как А. Лежнев…[97] Менее зорок он был *на первых порах* к литературе предреволюционной. В статье «Русская литература за десять лет» он свалил в одну кучу прозу Чехова, Леонида Андреева и Федора Сологуба и с безапелляционной недальновидностью по отношению к Чехову – правда, только к нему одному – утверждал, что эта проза «погибла безвозвратно». Нам теперь виднее и слышнее. Мы теперь понимаем, что Лежнев поторопился с выводами. Но ведь он писал эти строки, когда в ушах стоял еще гул обвала, когда еще не отсвирепствовал разрушительный вихрь революции, когда ниспровергательный порыв еще не ослаб. На человека, сколь бы ни был он самобытен, воздух времени не может не действовать. Годы шли, и Лежнев все дальше и дальше уходил от скоротечной современности в глубину вечного прошлого. Лучшая его книга – «Проза Пушкина». В ней он, кстати сказать, пишет о Чехове как о художнике, «вобравшем в себя лучшие элементы импрессионизма и доведшего пейзаж до… совершенства». И, конечно, если бы его жизнь так безвременно не оборвалась, он убедился бы в жизнеспособности не только Чехова и Бунина, но и Короленко, к которому он отнесся с легкомысленной пренебрежительностью, впрочем, опять-таки во многом объясняющейся духом того времени. Что же касается современников, то в них, повторяю, Лежнев ошибался редко, оттого-то многие его суждения сохранили свою силу и до наших дней. Ну, вот хотя бы эти две характеристики – характеристика Ильи Эренбурга-романиста и Ильи Эренбурга-очеркиста…

Отмечая «общедоступную сентиментальность» прозы Эренбурга, Лежнев далее пишет: «Эренбург временно исполнял у нас обязанности аббата Прево и Вольтера. «“Хулио Хуренито” был нашим “Кандидом”, а “Жанна Ней” – “Манон Леско”. И если русские “Кандиды” и “Манон Леско” получались нередко несерьезными, поверхностными, фельетонными, то большой беды в этом не видели: они были часто не менее занимательны, чем их европейские оригиналы»[98].

Или: «Когда я встречаю очень эффектную и самоуверенную

прозу (особенно, если это рассказы о фактах, о виденном), то я чувствую какое-то недоверие. Я боюсь слишком звонких афоризмов, слишком картинных сопоставлений, слишком выделанных контрастов. Я боюсь, что это – головные построения, конструкции, на которые пошло очень мало жизненного материала. Мне не нравится апломб автора, который, пробыв три недели в Испании или Чехословакии, думает, что до конца изучил эти страны и видит людей насквозь, со всей несложной механикой их поступков и мыслей. Это может быть остро, умно, темпераментно, но существует какая-то интонация достоверности, которую опасно терять, а тут она потеряна. Нельзя слишком пышно рассказывать о фактах»[99].

О Лавреневе:

«…расторопный литературных дел мастер»[100].

Это ли не литературный портретист?

А вот как он характеризует серийное производство «рабоче-крестьянской» литературы 20-х годов: «…идеологически выдержанные повестушки с открытием кооператива и любовной сценой в лесу, сделанные топорно, неуклюже и “Нарочито”, по знаменитому рецепту: 50 % сырой публицистики, 50 % лошадиной эротики, с прибавлением известного количества замысловатых матюгов (для “художественности” и чтоб отбить запах)»[101].

Характеристики стилевых принципов разных авторов у Лежнева по большей части образны, при всей своей сжатости они заменяют страницы сухих описаний. Пример из «Прозы Пушкина» (1937): «Дом Бальзака основательный, с резьбой и украшениями; в нем много комнат, жилых, рабочих, парадных, много мебели разнообразных, иногда причудливых фасонов; тяжелые буфеты ломятся от посуды, шкафы полны белья и платья, полки гнутся под весом книг; на стенах висят редкие, фантастической расцветки ткани, картины и фарфор невольно привлекают внимание, и хозяин, подвижной сангвиник, радушно встречает гостей, с увлечением рассказывая им о происхождении и характере каждой вещи. Дом Пушкина прочен, но на него пошло минимальное количество материала; издали он представляется как бы нарисованным, а не построенным, – так тонки его линии; в просторных комнатах много света, они кажутся почти пустыми, ибо в них имеется только необходимая мебель; она простой и удобной формы и сделана из лучших пород дерева; хозяина нет, но все для вас приготовлено…»[102].

Так о писателях мог написать только писатель.

По полемическим статьям Лежнева я составил себе о нем представление как о жизнерадостном крепыше и просто глазам

своим не поверил, впервые – в октябре 1933 года – увидев тщедушную эту фигурку в издательстве «Academia», где мы с ним и познакомились: «Да полно, тот ли это Лежнев, который написал цикл статей “Критика критиков”?..»[103]. В 1931–1933 годах его критических работ не печатали – в «Academia» он приносил свои переводы из Гейне. В одну из встреч я сообщил ему об одном из хамских выпадов против него в чьей-то – теперь уже не помню – журнальной статье. Лежнев, обнажив мышиные зубки, улыбнулся и, склонив по своей привычке голову набок, сказал:

– Я давно уже умег’ как кг’итик. Зачем они беспокоят мой пг’ах?

Только в 1934 году, незадолго до съезда писателей, Панферов привлек его к постоянному сотрудничеству в журнале «Октябрь», и там Лежнев печатал и критические и историко-литературные свои труды до ареста, последовавшего осенью 1937 года.

Летом 36-го года вышла книга Лежнева «Об искусстве», до этого печатавшаяся частями в «Красной нови» и в «Октябре». Я читал и перечитывал ее дома, брал с. собой, когда ехал по делам или к знакомым, и утыкал в нее нос, трясясь на задней площадке трамвайного прицепного вагона.

Осенью того же года я пришел вечером в Абраму Захаровичу (он жил до ареста в Сверчковом переулке), чтобы потолковать о его книге. Она у меня, по счастью, сохранилась – вместе с моими карандашными пометками на полях и с вложенным в нее листком, на котором я записал вопросы к автору. Ряд моих вопросов оказался плодом чистого недоразумения. Меня тогда особенно волновала проблема критерия художественности, и вот тут я, как выяснилось, понял Лежнева правильно.

– Вы очень верно меня поняли, очень верно, – с удовлетворением в голосе повторял он.

Я сказал Лежневу, что условно делю писателей на «реалистов в высшем смысле» (выражение Достоевского)[104] и на бытовиков, или, по выражению Вл. С. Соловьева, «приземистых» реалистов.

– Как, как? «Приземистых»? – улыбнувшись, переспросил Абрам Захарович. – Замечательно сказано!

– Я больше люблю «реалистов в высшем смысле», но, конечно, – тут же оговорился я, – скелеты леонид-андреевских абстракций (Андреев только и делал, что рубил деревья не по плечу) я не задумываясь променяю на сочность полнокровного купринского быта. Но Андреев не «реалист в высшем смысле». У подлинных «реалистов в высшем смысле» свои темы, свои идеи, которые, как вы пишете, «организуют реальность». У бытовиков таких тем, таких идей нет. Вот почему, если говорить о наших современных писателях, Сергеев-Ценский мне бесконечно ближе

и дороже Алексея Толстого, который сильнее всего во фламандской живописи.

– Ценский – великолепный писатель, – сказал Лежнев, – но мне ближе Алексей Толстой.

(Кстати: в «Об искусстве» есть две фразы, посвященные Алексею Толстому. Если не считать статьи Воронского о Толстом – «Журавли над Гнилопятами», – это лучшее, что написано об авторе «Детства Никиты»: «Хорошо поставленный голос у Алексея Толстого. Поэтому кажется, что он пишет так легко, с такой безошибочной, непроизвольной уверенностью, с какой дышат, ходят, жестикулируют».)

Теперь я уж не помню, что́ говорил Лежнев о своем пристрастии к Алексею Толстому, но думается, что в Толстом, главным образом, прельщало его то же, что и в Льве Толстом, только у Льва Толстого это свойство возведено в N-ную степень: искусство воссоздавать воздух жизни. Об этом свойстве Льва Толстого Лежнев пишет в книге «Об искусстве».

Мы заговорили о Багрицком.

– Багрицкий, как вы знаете, на меня рассердился, но ведь прав-то был я, – заметил Лежнев. – От Багрицкого останется первая книга, а «Победителей» и «Последнюю ночь» уже сейчас невозможно читать. Сколько там фальши, натуги! У него пропал голос.

Тогда мне показалось, что Лежнев сгущает краски, но с течением времени я убедился в его дальновидности: он замётил, что Багрицкий полинял в первых же стихах, написанных после «Юго-Запада». А дальше Багрицкий все быстрей и быстрей пошел под уклон.

Я и сейчас не согласен о Лежневым в одном пунктике. В «Об искусстве» он дает блестящую и в целом верную характеристику Валентину Катаеву:

«Вероятно, самый способный у нас писатель Валентин Катаев. Он написал большой производственный роман почти без материала – и роман этот читается с увлечением (Лежнев имеет в виду “Время, вперед!”. – *Я. Л.).* <…>

Многое в Катаеве становится понятным, когда прочитаешь его пьесы. Это – чистое умение, почти без примеси реальности. Это – формула смеха, не овеществленная и тем не менее действенная. Это – алгебра комизма, где на место буквенных величин еще не подставлены арифметические значения. Правду говоря, она несколько устарела и отзывает французским учебником. Но все выполнено с таким блеском, что начинаешь невольно верить, что за видимостью и впрямь что-то скрывается, хотя не скрывается ровно ничего и формула остается

бессодержательной и полой».

Я вступился только за «Квадратуру круга».

– Но ведь и она построена по рецепту французских водевилистов, – возразил Лежнев.

За что я до сих пор ценю «Квадратуру круга» – об атом я пишу дальше, в разделе моих театральных воспоминаний»

Меня тянуло перейти на стезю литературной критики и истории литературы, Я посоветовался с Абрамом Захаровичем. Он предупредил, что на этом пути меня ожидают тернии, и притом – в» изрядном количестве.

– Ко мне привыкли, – сказал он. – С меня социологизма не спрашивают. А к молодым требования строже. Вам будет трудно отбиваться от редакторов.

И закончил наставлением:

– Если все-таки уйдете из перевода в критику, никогда не пишите о тех авторах и о тех книгах, к которым вы равнодушны. Пишите о том, что вы любите или же ненавидите.

Я применил его совет к переводу. После того, как я заслужил право на выбор, я переводил только любимых авторов (Сервантес, Рабле, Мольер, Бомарше, Доде, Пруст) или только любимые произведения в общем нелюбимых авторов («Госпожа Бовари» Флобера, «Дантон» Ромена Роллана).

…И встреч-то у меня с Лежневым было наперечет, и говорить-то мне с ним пришлось хотя и подолгу, да считанные разы, а я все никак не могу привыкнуть к мысли о безвинной и глухой его гибели…[105]

В августе 1931 года я увидел самого Багрицкого. В Клубе ФОСП состоялся доклад поэта Семена Олендера об «упадке лироэпического жанра». В прениях среди других выступили представитель старшего поэтического поколения Сергей Городецкий, поделившийся своим опытом руководителя одного из заводских литкружков и предостерегавший *молодых* поэтов от словесных вычур («Ведь не скажут просто: “Я вышел на эстраду”, – нет, им непременно надо закрутить похлеще: “Стопроцентным броском выкинулся я на эстраду”, – сетовал Сергей Митрофанович), и крестьянский поэт Петр Орешин, до революции сокрушавшийся о том, что «наши песни не допеты, пляски не доплясаны», полагавший, что для деревенской бедноты только два пути: «Или воля голытьбе, или в поле на столбе», – вместе с Клюевым и Есениным обрадовавшийся революции как светлому мужицкому празднику: «Выходи, ржаная сила, жать богатый урожай!» – уверовавший в то, что русское революционное пламя перекинется на весь мир: «Гей, лети, ломи, шарашь глухую ночь!

Русь – кибитка под серебряной дугой. Путь копытами подкованными всклочь, взвейся месяцем в пустыне мировой», – впоследствии, как и Клюев, погибший в концлагере, но еще задолго до ежовщины затосковавший, разочаровавшийся, надломившийся и на этом собрании, глядя в зал мученическими глазами, закончивший выступление неожиданным в своей безнадежности полушепотом: «Мы устали… Мы устали… Дайте же нам отдохнуть, товарищи!»; и совсем еще юный Ярослав Смеляков, говоривший со сбивчивой пылкостью, восполнявший пропуски ассоциативных звеньев яростными взмахами правой руки, и Эдуард Багрицкий. Он пришел с опозданием и грузно опустился в одно из кресел президиума, сутулый, с поседелым крылом волос, нависавшим надо лбом. Глядел исподлобья, как будто сурово, а присмотришься – больше устало, нежели хмуро. Позднее я научился различать под внешней несомненной суровостью его взгляда на лету схватывающую зоркость и глубоко запрятанную, но столь же несомненную ласковость. А ведь если б не эта его жестковатая благожелательность, разве так льнули бы к Эдуарду Багрицкому самые разные люди?.. Время от времени он как бы судорожно вздрагивал – это астма сотрясала все его тело. О чем он говорил в своем коротком выступлении – признаться, я от волнения не запомнил. Помню только, что, когда он закончил выступление, аудитория, большинство которой составляла молодежь, дружно начала просить Багрицкого прочитать стихи. Багрицкий наотрез отказался.

…Итак, я стою у дверей его квартиры и, прежде чем позвонить, стараюсь отдышаться. Я так тяжело дышу, что, мне кажется, не услышу ни единого звука из предстоящего разговора. Впрочем, я все еще сомневаюсь, что разговор состоится. Может быть, Багрицкого нет дома. Может быть, он занят. Да, вернее всего, что занят. Так или иначе, он меня не примет. Ну с какой стати пустит он к себе в дом безвестного юнца, хотя пока что этот юнец не собирается отнимать у него больше пяти минут – он пришел только спросить, не может ли Багрицкий как-нибудь, когда у него будет свободное время, послушать его стихи… Очень скоро мне пришлось убедиться, что я был далеко не первый и не последний, кто вот так, «с ветру», даже не сговорившись предварительно по телефону, ломился в эту квартиру. К Багрицкому мог прийти кто угодно и когда угодно – известный поэт, молодой красноармеец, написавший свое первое стихотворение, пока еще не в ладу не только с версификацией, но и с орфографией, критик, врач, рыбовод, беспризорник, начинающий историк, собирающий материалы для своей первой

работы. Вечно у него бывала нетолченая труба народа, и всем он уделял внимание и оказывал помощь не «по обету», не напоказ, а в силу неукротимой любознательности, неукротимого интереса к каждому человеку, если только он не лоботряс, если только он мастер своего хотя бы и скромного дела, даже и не мастер, а хотя бы только подмастерье, но подмастерье смышленый и работящий, хотя бы и совсем новичок, но чего-то добивающийся в жизни, к чему-то стремящийся. В прошлом веке у московских студентов существовала поговорка: «Хожу в Университет, а учусь в Малом театре». Иные студенты литфаков могли тогда сказать про себя: «Ходим в вуз, а учимся у Эдуарда Багрицкого». Но все это мне довелось наблюдать потом, а пока что я в смятении. Во всяком случае, я уверен, что откроет мне домработница или кто-нибудь из родных. Ну, была не была! Молодость порывиста, молодость напориста, молодость бесцеремонна. Звоню. К моему радостному изумлению и вместе с тем к ужасу, отворяет дверь сам Багрицкий, просто одетый – так он одевался всегда, – и, спросив: «Вы ко мне?» (в этой квартире жил еще один писатель), – проводит к себе в комнату, из передней – налево. В комнате бросается в глаза благородная скромность обстановки. Справа, как войдешь, книжный шкаф. Слева от двери у стены, отделяющей кабинет от передней, тахта, над ней телефон. У тахты – вплотную к левой стене – рабочий стол, возле стола два стула. А дальше – до самой балконной двери – зелено-голубое царство аквариумов. В этой же комнате впоследствии некоторое время обитал попугай, внятно произносивший имя жены Эдуарда Георгиевича: «Лида!».

Багрицкий предложил мне сесть на стул, а сам принял, как я потом удостоверился, свою обычную позу: сел на тахту, поджал под себя ноги, слегка склонил голову набок… Болезнь старила его: он рано ссутулился, цвет его одутловатого лица был серый, время от времени он задыхался, дышал через опущенную в пузырек трубочку адреналином. Но глаза у него были пытливые и живые. Некоторые из писавших о нем сравнивали его с птицей. Он и правда напоминал круглоглазую нахохлившуюся больную птицу, глядевшую, однако, сторожко и любопытно.

Назвав себя, я сказал, что мне бы хотелось показать Эдуарду Георгиевичу свои стихи, и, если это возможно, я просил бы его назначить, когда мне прийти еще.

– А вы прочтите мне сейчас.

– Да я ничего с собой не захватил.

– Прочтите, что знаете наизусть.

Как на грех, ни одного из тех стихотворений, которые я собирался прочитать Багрицкому, я целиком наизусть не помнил. По выражению его лица я догадался, что это ему не понравилось.

Он назначил мне следующую встречу что-то очень скоро, дня через два, но отпустил не сразу. Стал расспрашивать, сколько мне лет, где я учусь, кто мои любимые преподаватели, одобрил то, что я изучаю иностранные языки и намерен в дальнейшем переводить художественную прозу. Особенно ему пришлось по душе, что я занимаюсь испанским языком, – в то время у нас владели им считанные единицы. Впоследствии он отечески радовался за меня, когда я подписал свой первый договор с издательством, и, отвечая по телефону своим знакомым, есть ли кто сейчас у него, из симпатии ко мне, хотя я еще только приступал к работе, повышал меня в чине:

– У меня сидит Коля Любимов, славный парень, переводчик Мериме.

Затем Багрицкий перешел к моим пристрастиям в области русской поэзии. Сначала повел речь о поэтах минувшего века, потом о современных – покойных и еще здравствовавших. Я робко заговорил о своей любви к Есенину. Есенина тогда почти не переиздавали, неохотно выдавали в библиотеках, да и то не во всех, на литературных концертах его произведения не исполняли, в печати упоминали редко, а если и поминали, то в большинстве случаев словом недобрым. Признался я в своей привязанности к Есенину, рискуя получить лихой нагоняй за то, что продолжаю любить как будто бы уже забытого, «упадочного» поэта. И вот тут при первом же нашем знакомстве мне открылась черта, крайне для Багрицкого характерная: его вкусовая широта, ничего общего, однако же, не имевшая с размагниченной снисходительностью, неизменно сочетавшаяся со вкусовой строгостью. Он словно боялся утратить хотя бы одну подлинную ценность, пренебречь хотя бы единым подлинно значительным явлением, пусть даже ему и не близким.

– А что же тут плохого, что вы любите Есенина? – услышал я неожиданный для себя ответ. – У него довольно много слабых, недоработанных строк, но поэт он все-таки настоящий, иногда мне даже кажется – гениальный. Хотя, говоря откровенно, мне лично он чужд, временами до того, что я совсем не могу его читать.

У меня отлегло от сердца. Я осмелел и сознался, что люблю стихи Ахматовой. Как ни странно, и это обстоятельство не уронило меня в глазах Багрицкого. Тогда я, уже совсем расхрабрившись, сказал, что из символистов чту не одних только канонизированных новейшей историей литературы Блока и Брюсова, что мне кое-что нравится даже у Бальмонта.

– Ну и на здоровье. У Бальмонта уйма дерьма, хоть обозами вывози, но когда разроешь – попадаются жемчужные зерна.

Помните: «Есть в русской природе усталая нежность…»?

И он прочитал мне «Безглагольность», назвал еще несколько стихотворений, в том числе – «Я мечтою ловил уходящие тени..», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…», а потом засыпал меня вопросами:

– Белого знаете? «Пепел», «Первое свидание»?

– А Иннокентия Анненского? Только «Кипарисовый ларец»? Мало. А Мандельштама? Отдельные стихотворения? Мало. Я их обоих знаю наизусть – от доски до доски.

– А Случевского читали? Ух, какой поэт!..

Прихожу в назначенный мне Багрицким день, в назначенный им вечерний час. У Багрицкого молодые поэты. Поговорили, пошумели и ушли. Я остался с Багрицким с глазу на глаз. Прочел ему стихи по разграфленной в клетку тетради.

– Идеология у вас в стихах отсталая, – чуть-чуть в нос, по-южному певуче, отчеканивая заударные слоги, заговорил Багрицкий. – Ну да Бог с ней… Какой я идеолог! Как из говна пуля!

Я фыркнул. Багрицкий усмехнулся детски-плутоватой беззубой усмешкой.

Вступление это опять-таки характерно для Багрицкого. Тут уместно вспомнить его слова о Вячеславе Полонском, сказанные им в разговоре со мной, когда мы познакомились ближе. Полонского он уважал, отлично с ним сработался (Багрицкий был консультантом редколлегии «Нового мира» по отделу поэзии). Вскоре после того как Лазарь Каганович снял Полонского с поста ответственного редактора, Багрицкий ушел из «Нового мира», разругавшись с преемником Полонского, одно время совмещавшим должности редактора «Известий» и редактора «Нового мира», затем, с 1934 года, когда в «Известия» назначили Бухарина, редактировавшим только «Новый мир», а в 1937 году поехавшим в места весьма отдаленные, с питомцем Института красной профессуры Иваном Михайловичем не то Федуловым, не то Федулкиным (Багрицкий и Олеша упорно называли его Федулкиным), избравшим себе звучный псевдоним Гронский. Причину разрыва с Гронским Багрицкий определил со свойственной ему лапидарностью: «Ррфф!.. Дурак! Ничего в поэзии не понимает!» Так вот что он между прочим сказал о Полонском:

– Вячеслав Павлович всем хорош, но когда он пишет о марксизме, нос эстета его выдает.

Багрицкого сейчас тоже выдал нос – нос прежде всего. Для автора поэмы о «Феликсе Эдмундовиче», члена РАПП, важна была все-таки не идеология – ее он готов был простить. В первую

очередь он решал, что перед ним – стихи или нечто стихоподобное. В моих стихах он без труда нащупал слабое место – подражательность.

– В первый раз, когда вы ко мне пришли, я попросил вас прочитать стихи на память. Вы отказались – вы их не помните. Я сразу увидел в этом недобрый знак, только вам тогда не сказал, чтобы не обескуражить. Свои стихи, *свои* в полном смысле этого слова, поэт не может не знать наизусть.

Но он тут же меня ободрил – при всей его внешней, безобидной и беззлобной резкости, при всем его пристрастии к круто просоленному словцу (один из моих раблезианских университетов я проходил у Багрицкого) в нем жила деликатность, в нем жила душевная мягкость.

– Я не гадалка, не пророк и не знахарь. Выйдет из вас поэт или не выйдет – сказать не берусь. Тут многое зависит от того, с какой беспощадностью вы будете работать над собой. Сама по себе подражательность – болезнь детская и не всегда опасная, проходит с возрастом и при большом желании излечиться. Это я знаю по себе, Вы говорите, вам еще девятнадцати нет? Ну, в ваши годы я писал не лучше вас:

В душе моей страсти кричат,
Как совы полночной порою.

Врезались мне в память отдельные его замечания, советы, признания:

– Если я задумал поэму, сначала я должен расставить фигуры, только после этого начинаю писать.

– Опытный охотник не бьет зверя в лоб – он обходит его стороной. Так и в поэзии: лобовая атака ничего не дает. Обойдешь явление стороной – скорее попадешь в цель.

– Вы боитесь слова и этим обедняете свои стихи. «Непоэтичных» слов нет – запомните это раз навсегда. Поэтичность слова зависит от того, как и где вы его употребляете. Безбоязненно употребляйте любые технические выражения, самые простые, самые обиходные слова… вплоть до матерных, – добавил он с вызовом.

В намеренном этом «перехлесте» сказалась ненависть Багрицкого к «красивости», ненависть, тем жарче накаленная, что он сам на первых порах заплатил «красивости» более или менее обильную дань.

– Стихи надо делать не так, – он пробежал пальцами по столу, – а вот так… – Пальцы медленно, преодолевая незримое сопротивление, сжались в кулак.

Этим жестом он выразил некоторые из своих основных стилевых принципов. Этим жестом он призывал к максимальной экономии выразительных средств, к максимальному уплотнению фразы, к композиционной слаженности и сцепленности, к точности словоупотребления, к борьбе со словами не обязательными, которые так легко выкинуть из песни, к борьбе со словами-затычками, к борьбе со словами-пустышками. Сама медлительность движения указывала на нелегкость борьбы, на длительность процесса вызревания.

Впоследствии, думая над жестом Багрицкого, я понял, что он относится не только к поэзии. И когда мне пришлось переводить гранильщиков и чеканщиков слова, я столько раз вызывал его в памяти, чтобы он уберег меня от словесной безответственности, от словесной развинченности, от словесной расхлябанности, от синтаксической рыхлости, при которой слова расползаются, как раки из корзинки! А в переводе это двойной грех, ибо оригинальный писатель отвечает по крайней мере только за себя, переводчик же отвечает перед читателями и за переводимого автора: он может приблизить иноязычного автора к читателю, может сдружить их, а может и развести в разные стороны. До переводов Маршака русский читатель любил отдельные стихотворения Бернса, любил, кстати сказать, благодаря тому же Багрицкому, «штору переводов «Джона Ячменное Зерно» и «Веселых нищих», но творчество Бернса он полюбил благодаря Маршаку. И разве русский читатель осязал поэтическую мощь «Фауста» до перевода, выполненного Пастернаком? До этого перевода он принужден был верить гетеанцам на слово, что «Фауста» создал человек, который «совершил в пределе земном все земное», создал не только гениальный мыслитель, но и гениальный поэт. Холодковский приготовил читателю суп, где капустные листья мыслей плавают в поэтической жиже, о перевод Брюсова можно сломать даже молодые, крепкие зубы.

Перебирая в памяти высказанные Багрицким в тот вечер суждения, я могу припомнить только одно несостоятельное; впрочем, несостоятельность эта открылась мне далеко не сразу – первое время я почти все, услышанное из его уст, принимал, не рассуждая, на веру.

– Вы берете Россию из вторых рук: у Некрасова и у Никитина, – заметил он по поводу одного моего стихотворения, – а ее надо брать из первых: у Клюева и у Городецкого.

Начать с того, что, если ты заимствуешь понимание или ощущение чего-либо, значит, ты черпаешь его уже не из первых, а из вторых рук. Затем, сказать, что Некрасов в смысле верности и цельности ощущения России – это вторые руки, а Городецкий –

первые, мог человек, Россию недостаточно хорошо знавший, да к тому же еще не свободный от литературного снобизма. Сколько Багрицкий ни «выдавливал из себя по калле» сноба, сколько ни боролся со снобизмом в других – в нем все-таки сидел сноб. Гершензон говорил о Леониде Гроссмане: «Леонид Петрович – человек бесспорно талантливый, но в нем все-таки чувствуется денди с Дерибасовской, и это ему очень мешает». Багрицкий, как, кстати сказать, и Гроссман, не был денди ни по рождению, ни по привычкам, ни по замашкам. Его «дендизм» сидел глубже. Он проявлялся в тематике и в лексике первых стихов, под денди гримировал Багрицкий в начале литературной жизни свое лирическое «я»:

Я, изнеженный на пуховиках столетий,
Протягиваю тебе свою выхоленную руку…

(«Гимн Маяковскому»)

«Дендизм» просачивался в его театральные вкусы. На вопрос кого-то из телефонных собеседников, чуть ли не Корнелия Зелинского, спрашивавшего, какого он мнения о только что прошедшей у вахтанговцев премьере «Егора Булычева», Багрицкий воскликнул:

– Потрясающе!

Критик Селивановский, написавший о Багрицком воспоминания, отмечает: «Социальная проблематика пьесы отодвинулась для него (Багрицкого. – *Н. Л.)* на второй план. Критики толкуют о капитализме, не обращая внимания на то, что Егор… не хочет умирать.

В образе Булычева и в трактовке образа у артиста Щукина его особенно поразила неистовая, биологически непреодолимая жажда жизни – во что бы то ни стало и наперекор всему»[106].

Селивановский хочет сказать, что тяжелобольному Багрицкому тема пьесы Горького и лейтмотив щукинского исполнения были особенно внятны. Всего вероятнее, что Селивановский прав. Но Багрицкий так восхищался спектаклем не только поэтому. Ведь в сущности ничего потрясающего в этом спектакле, если разобраться, не было. Что способствовало его успеху? Мода на Театр Вахтангова, считавшегося, как и театр Мейерхольда и театр Таирова, театром передовым, в отличие от будто бы окостеневших «ак'ов» (академических театров) – Малого и Художественного, которым в то время было еще далеко до омертвления. А Багрицкому не хотелось отстать от театральной моды. Он тоже снобистски противопоставлял театры Мейерхольда

и Вахтангова Малому и Художественному. Антокольский свидетельствует в своих воспоминаниях, что такой хулиганский спектакль в Театре имени Вахтангова, как поставленный Акимовым «Гамлет», «весьма пришелся ему по душе. Он хохотал, хлопал себя по ляжкам и, кажется, искренно радовался»[107]. Горьковский спектакль у вахтанговцев во что бы то ни стало должен был иметь успех у прессы и у законодателей советских вкусов, потому что эта пьеса Горького была написана им после того, как он завел шуры-муры с СССР и его надо было купить не только «дензнаками», но и лестью. А на поверку? Наиболее яркий в пьесе образ – образ Егора Булычева – это еще одна разновидность «купца, подтирающегося сторублевкой», как метко охарактеризовал излюбленный горьковский тип в одной из бесед со мной Константин Николаевич Державин. Сцена с трубачом фальшива в своей надуманности. Вся она режет слух не меньше, чем игра трубача. Мелания – антирелигиозный лубок. Все эти Алексеи и Антонины – такая «голубятина», что режиссура для «оживления персонажей» вынуждена была заставлять их без конца декламировать Игоря-Северянина. Больше им нечего было делать на сцене. Из актеров выделялся Щукин. Но его талантливое исполнение этой роли непомерно раздули. Одновременно с раздуванием успеха горьковской пьесы тут преследовалась еще одна цель: раздуть успех актера, выросшего и сложившегося в советскую эпоху, возвести его в степень лучших актеров театра дореволюционного, доказать, что земля советская может рождать «собственных Платонов и Невтонов». По окончании спектакля я, помню, подумал: «Да, хорошо. Но можно сыграть лучше». А разве такая холодно-кощунственная мысль могла бы залететь мне в голову после того, как я посмотрел Леонидова в роли Лопахина, или Москвина в роли Луки, или Качалова в роли Ивана Карамазова (хотя бы даже в концертном исполнении отдельных сцен), или Тарханова в роли Фурначева («Смерть Пазухина»), или Пашенную в роли Вассы Железновой, или Игоря Ильинского в роли Акима из «Власти тьмы»?

И опять-таки «дендизм» заставил Багрицкого разбушеваться в Художественном театре после утреннего «общественного просмотра» «Мертвых душ» (11 декабря 1932 года). В антракте мне запомнились до странности моложавое лицо Леонида Леонова, глаза умной и грустной жабы на уродливом лице карлицы Сейфуллиной; очки, наглая бородка и чувственные губы завсегдатая банкетов, премьер и вернисажей, ввертливого Абрама Эфроса; запомнился скользивший, поблескивая пенсне, по коридорам и фойе, всей своей в меру плотной фигурой устремленный вперед Дживелегов. Спектакль кончился. Публика

ринулась к раздевалке. На лестнице – Эдуард Георгиевич под руку с Лидией Густавовной. Нечистый дернул меня подойти и спросить, как ему понравилось.

Багрицкого точно прорвало.

– Ч-чепуха! Ер-рунда! Пьесы нет! Спектакля нет! Ер-рунда! – вопил он на весь театр. – Булгаков – талантливый драматург, но театр ему все испортил.

Багрицкий и тут был не прав. Легковесная опрометчивость его мнения была опровергнута самой жизнью. Широчайший зритель – и взрослый, и юный – принял спектакль и принимал его на протяжении десятилетий. А это что-нибудь да значит. Любопытно, что «распушил» спектакль на его обсуждении Андрей Белый, в котором до конца его дней сидел рядом с большим поэтом символистский эстет и декадент, противопоставил «Мертвым душам» в Художественном театре мейерхольдовского «Ревизора», заявив, что настоящего Гоголя можно увидеть только в спектакле Мейерхольда. В том же примерно духе, с высоты своего снобистского величия, высказывались и тогдашние театральные критики.

Зерно истины в бунте Багрицкого, однако же, было: *пьесы* «Мертвые души» действительно не получилось, но не получилось вовсе не потому, чтобы «рутинный» театр напортил талантливому Булгакову, а потому что поэма Гоголя в целом инсценировке не поддается. Именно в силу особенностей ее композиции заранее обречена на неуспех любая попытка сыграть Чичикова, ибо Чичиков в поэме всего рельефнее выступает в гоголевских описаниях и в том биографическом экскурсе, который предпринял Гоголь в конце первого тома и из которого явствует, как Чичиков «дошел до жизни такой». А в разговорах с губернатором и с помещиками его роль – служебная, подсобная: он выспрашивает, он выпотрашивает своих собеседников, его вопросы снимают один за другим покровы с их внутреннего мира. Оттого и в спектакле Художественного театра самой бледной фигурой – не по вине Топоркова – оказался Чичиков. Инсценировка отдельных эпизодов из «Мертвых душ» может удаться, и она удалась Булгакову. Из большинства персонажей «Мертвых душ» могут получиться при сценическом их воплощении живые люди, законченные образы, типы. Художественный театр достиг этой цели. Но пьеса распадается на эпизоды. А там, где Булгаков пытался не просто инсценировать, а именно строить пьесу, вышло «не из той оперы». Достаточно вспомнить сочиненный им и «пришитый» конец – сцену в тюрьме, звучащую резчайшим антигоголевским диссонансом: Чичикова местные власти упрятали в тюрьму, мытарят его там, а затем

выпускают за взятку. Это сцена из Щедрина, а не из Гоголя. Да, пьесы «Мертвые души» в самом деле нет. Булгаков и театр виноваты в том, что они с *заранее не обдуманным намерением* взялись сделать пьесу, и по этому векселю они не уплатили, но они нисколько не виноваты, что пьеса у них не вышла – она и не могла выйти при всем желании. А спектакль тем не менее был. Был благодаря магии гоголевского слова, почти везде бережно сохраненного Булгаковым, и благодаря игре актеров: Тарханова в роли Собакевича, Москвина, а позднее Ливанова в роли Ноздрева, Леонидова в роли Плюшкина, Станицына в роли губернатора, Кедрова в роли Манилова. Но эта в высшем смысле реалистическая игра по тогдашним смутным временам, в эпоху брожения не только умов, но и вкусов, когда агиточный примитив Любимова-Ланского мирно уживался с мейерхольдовскими выкрутасами и таировскими вытребеньками, казалась старомодной, отживающей свой век. Никаких харь, никаких уродливых масок. И точно: в спектакле Художественного театра никто никого намеренно не пугал, как не запугивал своих читателей и Гоголь. В искусстве, если начинать нарочно пугать, то страшно не бывает. Вспомним знаменитые слова Льва Толстого о Леониде Андрееве. А вот при чтении «Мертвых душ» становится страшно. Страшно было и зрителю спектакля. Страшно от по-разбойничьи дико округлившихся и засверкавших глаз Ноздрева (Ливанова), в котором вдруг, в критический момент, раскрывается не просто мошенник, а способный на все лиходей. Страшно от того иссушающего маниакального огня, который дотлевал и лишь по временам жутко вспыхивал в человеке-мумии – таким изображал Леонидов Плюшкина. Страшно потому, что губернатор и чиновники – такие в общем добродушные, милые люди, с которыми и в картишки приятно перекинуться, которые и угостить могут на славу, – страшно, ибо монстры – исключения, а это, значит, явление бытовое. (Вот так же страшны «Записки охотника» изображением *ужаса крепостной обыденщины.)* Страшно от всего спектакля, по-гоголевски смешного и в то же время заставлявшего вспомнить слова Пушкина: «Боже, как грустна наша Россия!» Вот эта столь трудно дающаяся простота исполнения, без нажима гротесковых педалей, не удовлетворила, разочаровала, рассердила Багрицкого. В ее глубину он не проник. Зрелый поэт Багрицкий не терпел завитушек и побрякушек. В театре они тешили его как малого ребенка.

Казалось бы, после второй моей встречи с Багрицким судьба имела полное право поставить точку. Ан нет! Отношения наши укрепились, встречи участились. Позвонишь, бывало, по

телефону. Раздается голос, похожий на крик охрипшего от многократного кукареканья петуха: «Алё!». Это Багрицкий, все-таки порой изнемогавший от наплыва посетителей, пытается говорить тонким женским голосом. «Можно попросить Эдуарда Георгиевича?» – «Он болен. А кто его спрашивает?» – «Любимов». – «А, Коля! Вы сейчас свободны? Приходите». Этот мгновенный переход от чужого голоса к своему обычному радовал меня неизъяснимо. Я мчался по Тверскому бульвару, по Тверской, затем – несколько шагов по Проезду Художественного театра, несколько шагов по двору – и бегом по лестнице.

Каждый разговор с Багрицким я, ненасытный и в ту пору уже бескорыстный любитель поэзии, преимущественно – русской (те немногие стихотворения, которые выходили из-под моего пера после беседы с Багрицким, решительно не удовлетворяли меня), ценил на вес золота, даже если с ним не вполне соглашался. Когда он читал стихи, я слушал разинув рот. Как человек, он был наделен большим, своеобразным обаянием. Как собеседник, был неистощим на прыскавшие соком шутки. Багрицкий устраивал для меня целые «литературные концерты». Видимо, ему хотелось, подобно тому, как ставят голос, поставить мне вкус в поэзии, независимо от того, выйдет из меня «профессиональный певец» или нет. При мне занимался он и с «начинающими» и с «продолжающими». Это была не квартира, а поэтический факультет для всех желающих. «Вы, нынешние, – тпру-тка!» – невольно приходит на память блистательная оговорка Варламова. Лекций он почти не читал. Это были семинары с доскональным разбором приносимых на его суд стихов – разбором строф, строк, образов, словосочетаний и отдельных слов – и с чтением стихов, которые он считал образцовыми, которые должны были наглядно показать, *как надо.* Читал он и свои стихи, как в целях педагогических, так и по желанию слушателей. Мне он читал их редко. Сколько, бывало, ни пристаешь и ни просишь, ответ один:

– Охота была… Дайте, лучше я вам хорошие стихи почитаю…

О своих произведениях он вообще отзывался непочтительно. Сообщив, что либретто «Думы» будет напечатано в альманахе «Год шестнадцатый», выходившем под редакцией Горького, он добавил:

– Горькому понравилась эта фиговина.

«Фиговина» ему, вероятно, была нужна, чтобы собеседники не подумали, что он хвастается горьковским одобрением, а между тем по глазам его было видно, что он сегодня «именинник». Начисто свободный от тщеславия, в общем равнодушный к похвалам критики, похвалу Горького он, чувствовалось, переживал как большое событие в своей жизни.

Багрицкий охладевал к произведениям, принесшим ему заслуженную известность. Он отмахивался, когда я начинал восхищаться «Думой», отмахивался, как от чего-то уже преодоленного и уже ненужного ему. Жалел, что в свое время включил в и без того спрессованный до отказа «Юго-Запад» стихотворение «Осень» («По жнитвам, подачам, по берегам…») – теперь он считал его слабым. За свою – правда, недолгую – литературную жизнь он издал три тоненькие книжечки – «Юго-Запад», «Победители», «Последняя ночь», в 1932 году выпустил в «Федерации» единственную итоговую книгу «Избранные стихи», где представил предыдущие сборники в значительно урезанном виде. Только после кончины поэта в читательский обиход вошли остававшиеся за бортом его сборников такие стихотворения, кейс еще одна «Осень» («Я целый день шатаюсь по дорогам…»), «Лето», «Возвращение», «Детство», «Стихи о поэте и романтике».

Единственно, чем чрезмерно строгий к себе поэт гордился – и гордился по праву, – это искусством чтения стихов. Удивительное дело! Когда он читал стихи, даже целые поэмы, он почти переставал задыхаться. Почти не слышно было этих его «Рффф!». Специфически актерского чтения, заглушающего музыку стиха, его ритм, мелодику, инструментовку ради узко и примитивно понимаемой смысловой выразительности, он не выносил. Когда я посмел сказать ему, что он читает стихи лучше Качалова, он возмутился.

– Рффф! Сравнили! Еще бы не лучше! Качалов не умеет читать новых поэтов – ни Маяковского, ни меня. Не умеет, а берется.

Актерскому чтению он противопоставлял чтение поэтов, но только тех, которые не впадают в другую крайность – «не бубнят по рифмам, как дятел», которые умеют сочетать музыкальность со смысловой выразительностью. Сам он читал именно так и эту именно особенность ценил в чтении Сельвинского и Кирсанова.

Багрицкий был искусным и неутомимым пропагандистом поэзии. В одну из первых наших встреч он спросил меня, как я отношусь к Пастернаку. Я ответил честно, что в стихах Пастернака меня поражают отдельные строки, отдельные образы, но что в целом он мне не понятен.

– Пастернак – хребет поэзии, – сказал Багрицкий. – Все мы пишем с оглядкой на Пастернака. Нам стыдно бывает перед ним за плохие стихи.

Так, с годами, Багрицкий сузил и уточнил свою известную формулу, которая в наши дни, после того как нелицеприятное время воздало «кое-муждо по делом его», в лучшем случае может вызвать снисходительную усмешку, в худшем – возмущение

кощунственностью сближения:

А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак…

(«Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым»)

– Да и что же в нем непонятного? – продолжал Багрицкий. И, полагая, что лучший агитатор – это верно интерпретированные стихи самого поэта, сейчас же предложил: – Дайте, я вам прочту… Ну вот, слушайте… «Определение поэзии»…

И он так прочел:

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.

Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку, —

так прочел, что казалось, будто стены комнаты неслышно рухнули, и мы вышли в открытый мир – вот так незаметно выходят в открытое море, – и поэзия смотрит на нас из каждой душистой копны, из каждого золотого снопа, из-за покосившегося плетня огорода, из сарая, откуда тянет слежавшимся сеном и мышиным пометом, с чердака, где пахнет теплой пылью, кирпичами дымохода, раскаленным от солнца железом кровли и еще чем-то таинственным и не поддающимся определению, из каждого комка земли на вспаханном поле, из каждой плодовой завязи, из цветка подорожника со следами дегтя от проехавших по нему колес, из каждой сухой лиловато-серой былинки, из каждой матово блестящей на солнце росинки, отовсюду – только оглянись, только вглядись…

Затем Багрицкий прочел «Высокую болезнь». Подчеркнув и выделив голосом финал этой поэмы о Ленине:

Предвестьем льгот приходит гений

И гнетом мстит за свой уход —

он подмигнул мне;
– Что? Здорово?.» По-пушкински сказано!

По его хитро прищуренному глазу и лукавой усмешке я понял, что как ни старался он убедить себя в благотворной непреложности совершающихся в стране событий, как ни вошел он по мхатовскому методу переживаний в роль «перестроившегося» поэта, а все же не ощущать мертвящей силы сталинского гнета он не может» как не может не замечать, что на поверхности нашей литературной жизни плавают нечистоты, о чем он уже заявлял недвусмысленно, швыряясь направо и налево своим излюбленным кратким» но достаточно сильным определением: «Рффф! Говно!», – применяя его и к Жарову, и к Безыменскому, и к Шухову, и к Киршону. Я подумал, что настроения, владевшие им в пору написания «Стихов о соловье и поэте», пожалуй что не выветрились из укромных уголков его существа. А ведь в послереволюционной поазии никому, кроме Багрицкого, не удалось так картинно представить продажность искусства в советских условиях, никому не удалось найти для выражения скованности советского поэта такие простые, такие прямые, такие незаменимые слова, никому не удалось сказать об этом с такой взрывчатой силой отчаяния:

Куда нам пойти? Наша воля горька!
Где ты запоешь?
Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот» наш посвист
Распродан с лотка
Как хочешь —
Распивочно или на вынос?
Мы пойманы оба,
Мы оба – в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера…

Ты выслушан,
Взвешен,
Расценен в рублях…
Греми же в зеленых кустах коленкора»
Как я громыхаю в газетных листах!..

Если бы Эдуард Багрицкий написал только «Стихи о соловье

и поэте», то и тогда нам было бы за что помянуть его «незлым тихим словом».

Мы пережили рапповщину. За сколькими художниками слова навсегда замкнулись ворота Лубннок и Шпалерок! А сколько их на наших глазах переродилось и выродилось» скольких подкупили» скольких растлили! Мы пережили длившуюся годами расправу над Булгаковым. Мы пережили расправу над Зощенко и Ахматовой. Мы пережили расправу над Пастернаком. Над иными чинилась расправа незримая – тем в горло засунули кляп» тех задушили тишком. Мы все еще каждодневно испытываем на себе «заботу» партии об искусстве. Поэтому сейчас «Стихи о соловье и поэте» звучат неизмеримо трагичнее, чем они звучали в сравнительно безмятежный период НЭПа. Багрицкий не был склонен к отвлеченному мышлению. Но, как всякий поэт Божиею милостью, он был наделен даром если не предвидения, то предчувствия. Тогда еще люди искусства не были так закабалены, – в Багрицком говорило не» осознанное предчувствие того, что их ждет впереди. Точно так же от событий, происходящих в «Думе про Опанаса», протягиваются нити к коллективизации, к раскулачиванию, к вымариванию Украины, осуществленному Сталиным в 1932—33 годах, и, наконец, к раскрестьяниванию России:

Опанасе, наша доля
Развеяна в поле!..

Однажды я не выдержал и спросил Багрицкого напрямик:

– Вы уже больше не напишете таких стихов, как «О соловье и поэте»?

Багрицкий серьезно задумался.

– Черт его знает!.. Может быть, и напишу…

И опять знакомая детски-лукавая беззубая усмешка и хитроватый прищур.

Этот разговор состоялся значительно позднее публикации триптиха «Последняя ночь».

А с каким упоением, несколько раз подряд, навзрыд распевал он мне Мандельштама:

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня;
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.

За музыку сосен савойских, полей Елисейских бензин,
За розу в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин…

Так можно читать стихи, близкие твоей душе своею «строчечной сутью».

В пропаганде поэзии, в пропаганде того или иного поэта Багрицкий больше всего доверял, во-первых, своему вкусу, умению выбрать для чтения то, что сразу возьмет слушателя в полон, а во-вторых, своему голосу, восстанавливавшему то, что ты не разглядел при чтении глазами, допевавшему то, чего ты не расслышал внутренним своим слухом. Мне он читал тех поэтов, которых я или совсем не знал, или знал худо, или в силу вкусовой недоразвитости недооценивал. Как-то раз он спросил меня, читал ли я Баратынского. Мне был известен Баратынский хрестоматийный, то есть как раз не характерные и не лучшие его вещи, вроде «Где сладкий шепот моих лесов?..»» Я уж не говорю о фольклоре, о русских поэтах XVIII века, но и книги поэтов прошлого столетия, и книги поэтов начала нынешнего века в большинстве случаев представляли собой до возникновения горьковского детища – «Библиотеки поэта» – библиографическую редкость. К таким дорогим «букинистическим» книгам рядовому любителю поэзии приступу не было. Ему оставалось только смотреть да облизываться, да пробавляться еще не окончательно дотрепавшимися в частных собраниях приложениями к «Ниве» или хрестоматийными и антологическими крохами. Собрания сочинений, даже таких первоклассных поэтов, как Баратынский, можно было найти преимущественно в больших книгохранилищах больших городов.

Багрицкий попросил меня достать из шкафа гржебинский однотомник Баратынского и раскрыл его на «Последнем Поэте»:

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
……..
…Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно,

И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Затем этот однотомник я с разрешения хозяина унес на несколько дней домой, и к числу моих «вечных спутников» в русской поэзии вскоре прибавился Баратынский.

Полонского я знал опять-таки хрестоматийного, Полонского – автора «Орла и змеи», «Бэды-проповедника», того, которого насмерть задекламировали на литературных вечерах в дореволюционной провинции. Багрицкий показал мне Полонского – свежего лирика с негромким, но своим голосом, особенного, «цыганского» тембра.

Улеглася метелица… путь озарен…
Ночь глядит миллионами тусклых очей…
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!

покачиваясь всем корпусом в лад напеву, читал, или, вернее, пел Багрицкий, и я видел перед собой искрящееся снежное поле, я ехал в санях и сквозь полудрему слышал визг полозьев и заунывный звон колокольчика.

Багрицкий читал мне стихи из «Яри» Городецкого – книги, которую он очень любил:

Ой, стрела ты нестреляна,
Золоченая стрела!
Ты куда летишь, каляна,
Из Перунова угла?

В первых двух строках слышался широкий песенный, славословный зачин, переходивший потом в предостерегающее: «Ты куда летишь…», и дикой силой наливалась следующая строфа:

Ой, стрела ты золочена,
Не лети, остановись!
В терем Змея Самосона
Огневицею помчись.

Сквозь грозную удаль, с какою Багрицкий читал эти стихи, мне мерещилась языческая дремучая Русь. В моем внутреннем слухе тугим и упругим звоном звенела пущенная из лука стрела.

«Семинар по Городецкому» Багрицкий закончил выводом:

– Перед ним действительно сверкнули обрывки какого-то великого эпоса, как он сам пишет в предисловии к «Яри», и он открыл для русской поэзии неведомый ей раньше мир. В «Яри» и «Перуне» весь Городецкий.

Однажды он прочитал мне целиком поэму Андрея Белого «Первое свидание». Дочитав до конца:

> И под березкой кружевною,
> Простертой доброю рукой,
> Я смыт вздыхающей волною
> В неутихающий покой —

он с каким-то досадливым восхищением стукнул кулаком по столу и воскликнул:

– Вот! Больше из четырехстопного ямба ничего нельзя сделать…

Я основательно знал Бунина в объеме марксовского собрания плюс «Господин из Сан-Франциско» и уже тогда испытывал на себе очарование его прозы, Бунина-поэта на время заслонили от меня символисты. Раскрыл мне на него глаза Эдуард Багрицкий.

Бунин был одним из его любимых поэтов XX века. Марксовское собрание сочинений Бунина стояло у него в книжном ряду с Марксовским же собранием сочинений другого его любимца – Случевского. В его чтении особенно запомнился мне «Сапсан». Некоторыми существенными своими чертами поэзия позднего Бунина, отошедшего от элегического тона и от манеры не вполне самостоятельного сборника «Листопад», где еще перекликаются голоса Полонского и Фета, не могла не быть близка Багрицкому. Такое стихотворение, как «Песня» («Я простая девка на баштане…»), мог бы написать автор «Юго-Запада». То, что сам Бунин определил как «сладостную боль соприкасанья душой со всем живущим» («Памяти друга»); бунинское бесстрашие во введении прозаизмов: «Опять вставай, опять возись с тазами! И все при этом скудном ночнике, с опухшими и сонными глазами, в подштанниках и ветхом сюртучке!» («Дворецкий»), «…а он дремал, седой, зобастый, круглоглазый» («Сапсан»), «Там табунятся волчьи свадьбы, там клочья шерсти и помет» («Сапсан»), «Долина серая, нагая, как пах осла» («Имру-

Уль-Кайс»); та ненасытная жадность, с какою Бунин схватывал взором краски и очертания: «…лунный лик… серебристым блеском ртути слюду по насту озарял» («Сапсан»); та пристальность, с какою Бунин всматривался в детали («Когтистый след сапсана на снегу»); бунинское свойство – показывать явление с неожиданной стороны, иногда через сугубо прозаическую деталь, снимающую налет тривиальной экзотики, под которой мы уже перестаем различать само явление (начало стихотворения «Стамбул»: «Облезлые худые кобели с печальными молящими глазами…»); накал бунинских эпитетов; бунинские метафоры и сравнения, построенные по принципу «сжатого кулака»: «кипящий снег» – о вспененных волнах, нос корабля «в снегу взрезает синий купорос» («Полдень») – все это, несомненно, привлекало творческое внимание Багрицкого. В пору его созревания, в пору освобождения от манерной литературщины поэзия Бунина должна была оказать ему помощь.

…Когда Багрицкий читал стихи о природе, к моему восхищению неизменно примешивалось чувство горечи. Путь к непосредственному общению с природой был ему уже заказан. Он уже не видел, как по весне идет в наступление «свирепая зелень», не слышал, как «гортань продувают ветвей новоселы» («Весна»), не «выслеживал тропы зверей и змей» («Стихи о себе», П). С переездом из Кунцева в Москву ему пришлось расстаться с собаками. Остались только аквариумы. Эдуард Георгиевич называл себя ихтиологом. В самом деле, познаниями в этой области он обладал обширными, не дилетантскими. Я видел, с какой деловитой торжественностью кормил он обитателей своих аквариумов. В эти минуты он казался мне не то колдуном, знающим «слово», которого слушается подводное царство, не то каким-то добрым существом, возникшим из этого самого царства, «из коряг, из камней, из расселин» («Весна») и обладающим властью над ним. Но для того, кто когда-то с мальчишески веселым задором объявлял:

Я сегодня
Не поэт Багрицкий,
Я – матрос на греческом дубке…
Свежий ветер закипает брагой,
Сердце ударяет о ребро…
Обернется парусом бумага,
Укрепится мачтою перо… —

(«Возвращение»)

возни с аквариумами было все же до боли мало.

Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой…

В этом «Ах!» мне слышится не только наслаждение нежащим теплом весеннего солнца, изменчивыми красками и соленым гулом моря, но и грусть поэта при мысли, что наслаждение это ему недоступно…

Я никогда не говорил с Багрицким о Маяковском. Я его о нем не спрашивал – я питал к Маяковскому полнейшее равнодушие, даже без оттенка враждебности, а Багрицкий не читал мне его и не заговаривал со мною о нем ни разу. Я убежден, что он платил Маяковскому дань уважения, но не любви. Уж больно разное у них мироощущение, разный круг наблюдений, разные поэтические системы, разные стилевые установки, разные приемы и средства. Стихотворение «Гимн Маяковскому» нимало этому не противоречит. Во-первых, оно написано в 1915 году, когда Багрицкому было всего только двадцать лет; во-вторых, тогда был расцвет творчества Маяковского, Маяковского – трагического лирика; в-третьих, Багрицкий в «Гимне» говорит не столько о его стихах, сколько о внешнем его облике, о его позе, а позе Маяковского, эпатировавшего ненавистных Багрицкому буржуа, он не мог не рукоплескать. Наконец, создав нереальный образ самого себя («Я, изнеженный на пуховиках столетий…»), Багрицкий эстетизирует и образ Маяковского. В самом деле, что общего между живым Маяковским и «божественным сибаритом», как величает его автор «Гимна»?

Отношение Багрицкого к Сельвинскому и Тихонову общеизвестно. Он объявил о нем во всеуслышание в «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым Конструктивизм давно уже приказал долго жить, а Багрицкий все еще сохранял к Сельвинскому пиетет как к мэтру. Имея в виду «Электрозаводскую газету», я сказал Багрицкому:

– Сельвинский последнюю поэтическую совесть потерял.

– Сельвинский еще себя покажет, – слегка смущенно возразил Багрицкий. – Он сейчас опять хорошие стихи пишет. Скоро они появятся.

С крепнущим год от года сочувствием Багрицкий следил за Антокольским. Рассказывал, как ему пришлось «драца» (это был один из часто употреблявшихся им глаголов, и произносил он его по-южному, не «дратца», а «драца») за то, чтобы его поэма «Армия в пути» была напечатана в «Новом мире», «Армия в пути» говорила поэтическому сердцу Багрицкого и темой (восстание

гёзов), и фламандским колоритом.

Багрицкий еще не видел новой книги стихов Антокольского «Коммуна 1871 года», а я успел ее купить и выучить наизусть «Вступление». Как я ни упирался, Багрицкий заставил-таки меня прочитать его вслух, несколько раз прерывал чтение одобрительными репликами, а по окончании чтения сказал:

– Здорово! Молодец Антокольский! Все крепче и крепче пишет!

Талантом сорадования судьба не обделила Багрицкого.

Что касается младших его современников, то при мне больше всего было у него в доме разговоров о Павле Васильеве и о Заболоцком; предпочтение он отдавал Заболоцкому.

– Павел Васильев работает на уже много раз использованной интонации Клюева и Есенина, а Заболоцкий работает на гораздо более свежей интонации – на интонации Хлебникова, – утверждал он.

Павла Васильева он резко порицал за буйные выходки во хмелю, за его непривлекательное окружение. Багрицкий ненавидел всяческие проявления богемного духа, всяческую разнузданность; он служил примером для молодежи не только как большой поэт, но и как человек безупречно высокой морали. Кстати сказать, самый крепкий напиток, который употреблял Эдуард Георгиевич, был нарзан. Особенно претило Багрицкому в Васильеве то, что Васильев «пьет и хулиганит не так, как Есенин, который не мог обойтись без пьянства и без буянства, а с расчетом: я, мол, пьяница, хулиган, а вот, видите, постепенно, под влиянием коммунистической критики, перестраиваюсь», – Скоро в редакции «Октября» будет предсъездовское поэтическое совещание, – говорил летом 33-го года Багрицкий. – За Васильева есть кому заступиться – вокруг него образовался «женский кооператив не застройки, а перестройки» (намекал он, главным образом, на статьи Елены Усиевич о Васильеве), а за Заболоцкого – во всяком случае, в Москве – некому (Заболоцкий подвергался тогда ожесточенным нападкам критиков, в частности – той же Усиевич, за поэму «Торжество земледелия»), и я буду драца за Заболоцкого.

Он терпеть не мог литературных склочников, а драчунов любил.

В то же лето 33-го года, последнее его лето, он мне сказал:

– В Ленинграде есть такой ученый – Гуковский. Не слыхали, нет?.. Он недавно издал Державина – это первый выпуск горьковской «Библиотеки поэта». Если еще поймаете в магазине – купите. Мне об этом Гуковском выдавали за верное: если вы ему скажете, что ставите Пушкина наравне с Державиным, то он с

вами и разговаривать не станет. А если вы осмелитесь ему сказать, что старите Пушкина выше Державина, то он с вами потом не поздоровается. Я думаю, что это вранье, а жаль, если вранье. Вот так и надо любить *своего* поэта.

Багрицкий даже в годы «юности мятежной» ни с каких кораблей классического наследия не сбрасывал. И оно, это наследие, явилось для него противоядием: от иных декадентских и модернистских ядов оно его избавило, от иных помогло излечиться. Сад русской классической поэзии был ему знаком весь – до единого деревца, до единого кустика и цветка. Необыкновенная его память удерживала целые куски из «Слова о полку Игоревен, «Моление Даниила Заточника» все целиком. Чего только он ни помнил наизусть из «Кобзаря», хранившегося в его небольшой библиотечке, состоявшей почти сплошь из сборников стихов! Поэзия Багрицкого отлично помнит свое родство с классической поэзией и не считает нужным скрывать его. Багрицкий не создавал новых размеров, но в пределах размеров традиционных он находил новые ритмические возможности. Он не козырял изысканной рифмой, часто и вовсе предпочитал рифмованному стиху белый – отсутствие рифмы он возмещал словесным чеканом, гибкой ритмикой и изощренной инструментовкой. Его звукопись не навязчива. Она не расщепляется, не выделяется – она аккомпанирует. Багрицкий не занимался словотворчеством, но по-своему сочетал слова, и уже запыленные слова – как будто их сбрызнуло дождем – вновь обретали изначальный свой блеск. Как всякий большой поэт, Багрицкий был новатором – иначе он не оставил бы в поэзии такого заметного следа; но его трудоемкое новаторство не лежит на поверхности, оно все ушло внутрь, в глубь стиха, оно работает на мысль, на чувство, и оттого верхоглядам его и не приметить.

Много было разговоров о «неоакмеизме» Багрицкого – разговоров, в сущности, зряшных. Правы были критики, доказывавшие, что акмеистическое бездушие как нельзя более чуждо такому страстному поэту, как Багрицкий. Сам Багрицкий не отрицал известной (крайне ограниченной) положительной роли акмеизма в том, что он объявил борьбу символистским штампам. Багрицкий ценил – и ценил высоко – отдельных поэтов, в свое время примкнувших к акмеизму, но не за то, что они исповедовали акмеистскую веру, а за то, что они – настоящие поэты. На мой вопрос, кого Эдуард Георгиевич считает ближайшими, непосредственными своими учителями, он назвал как раз двух бывших акмеистов – Зенкевича и Нарбута. О Михаиле Александровиче Зенкевиче он говорил с сердечностью необычайной – так говорят об учителе благодарные ученики.

Стихи Нарбута и – в особенности – Зенкевича показывают, насколько разноголос был акмеистический стан. Эти стихи темпераментны. В них – «плоти запах», языческое ликование при виде всякой земной твари, упоение животворящим буйством стихий. В мастерской этих близких ему по духу поэтов Багрицкий учился, в частности, натюрмортной и анималистической словесной живописи.

Что у меня потом возникли вкусовые расхождения с Багрицким – это естественно. Я дивлюсь тому, как их мало. И с годами все растет моя благодарность этому человеку за то, что он укрепил во мне любовь к поэзии, распахнул передо мной ее дали.

Багрицкий осуществлял свое «вмешательство поэта» всеми доступными ему способами. Он влиял на развитие поэзии не только как поэт, но и как издательский редактор (он работал в издательстве «Федерация»), как консультант поэтического отдела «Нового мира» и как педагог. Естественно, он ближе всего принимал к сердцу интересы поэзии. Но ему дорога была вся современная литература. Он был «болельщиком» и прозы, и драматургии. Он был патриотом современной литературы, радовавшимся всем ее подлинным радостям и имевшим мужество не закрывать глаза на ее неудачи, как бы прискорбны они ему ни были. Не дожидаясь выхода отдельных книг, он читал прозу в журналах, что называется – с пылу, с жару.

В 1933 году, не успели разослать подписчикам третью книгу «Красной нови», как Багрицкий уже накидывался на меня:

– Прочли в «Красной нови» «Корень жизни» Пришвина? Нет? Безобразие! Прочтите немедленно. За одну главу из «Корня жизни» всего вашего «Петра» можно отдать, – добавил он. (Перед этим я пропел дифирамб первым главам второй части романа А. Н. Толстого «Петр Первый», появившимся в «Новом мире».)

Багрицкому ли было не любить Пришвина?.. Но если что не приходилось Багрицкому по нраву, если он в чем-либо усматривал безответственность, халтуру, скок «галопом по Европам» – тут уж автор только держись: ох, и доставалось ему от него на орехи! Так, его возмутили путевые очерки Пильняка «О'кэй», в 1932 году печатавшиеся в «Новом мире»:

– Ничего не увидел в Америке. Сплошное верхоглядство. Сплошное самолюбование. Самоупоенное, воинствующее невежество. Только и умеет плеваться. Разве можно так писать о стране, как-никак создавшей немало культурных ценностей, которой мы кое-чем обязаны?

Современных ему критиков Багрицкий презирал чохом, скопом, огулом. Исключение сделал только для недавно вернувшегося из эмиграции князя Дмитрия Петровича Святополк-

Мирского, сына известного министра, делателя «весны», недолгой, как все русские политические «весны». В первый и последний раз я услышал из уст Багрицкого совет – прочитать статью: он указывал мне на статью Мирского о Джойсе в альманахе «Год шестнадцатый».

Святополк-Мирский пленил Багрицкого своей образованностью («Он с одинаковым знанием дела сегодня напишет вам статью о Свифте, а завтра – о стихах Сумарокова», – говорил о нем Багрицкий.) Святополк-Мирский сразу поставил ставку на Багрицкого, выделив его из всех современных советских поэтов. Багрицкому, при всей его скромности, это не могло не быть лестным: чай, ведь это не свой парень, не какой-нибудь Корнелий; Мирский – человек посторонний, непредубежденный, свежий, представитель другого, старшего поколения, да к тому же еще столп учености – не чета рапповским недоучкам вроде Трощенок и Селивановеких. Мирский умел быть обаятельным. Когда он приходил в редакцию или в издательство, по его черной с проседью бороде всегда можно было определить, что его сиятельство изволили кушать за завтраком. Разговаривая с официальными лицами, Мирский мог преспокойно застегивать штаны. Федор Викторович Кельин называл его «римской матроной, купающейся при рабах». Как на рабов Мирский смотрел на редакционно-издательское начальство. А в гостях у писателей, которых он уважал, он тешил взоры строгой изысканностью туалета. На одном из совещаний в редакции журнала «Интернациональная литература» ответственный редактор Динамов обратился к Святополк-Мирскому как к варягу: «Поучите нас, Дмитрий Петрович! Мы что-то запутались». Дмитрий Петрович встал, положил ногу на стол и начал «поучать». В сущности, это было *сечение, каким секут повсюду дураков.* Уверяли, будто одналсды у Мирского с директором Государственного издательства художественной литературы Накоряковым, прозванным «Чили-чили» за то, что он чуть ли не к каждому слову прибавлял заумное это присловье, состоялся нижеприводимый разговор:

– А, Дмитрий Петрович! Милости прошу!

Мирский молча кивает головой.

– Садитесь, Дмитрий Петрович.

Мирский так же молча садится.

– Вы обещали нам рукопись представить. Так как же, чили-чили, принесли?

– М-м-м, – мычит Мирский, недовольно качнув головой.

– А скоро будет готова?

– М-м-м, – и снова резкий поворот головы.

– Ну, через полгода, чили-чили, сдадите?

– М-м-м, – неопределенно мычит Мирский.

– А сейчас что же, договорчик пришли заключить?

– Угу, угу, – с готовностью закивал головой Мирский.

– Авансовый?

– Угу, угу! – еще решительнее и уже радостно закивал головой Мирский.

А в обстановке неофициальной можно было залюбоваться благородной простотой обращения, какую обнаруживал Святополк-Мирский, и заслушаться увлекательных его рассказов.

Когда князь выразил желание посетить Багрицкого, Лидия Густавовна пришла в ужас.

– Я не знала, как быть, – рассказывала она мне. – Думаю: провалюсь сквозь землю от стыда. Вы знаете, какая у нас обстановка, какая у нас сервировка. И что же вы думаете? Этот самый князь Святополк-Мирский, чуть ли не Рюриковой крови, из рода, древнее романовского, оказался скромнее скромного – дай Бог, чтобы наши потомственные пролетарии были так деликатны. С ним сразу чувствуешь себя легко и свободно, как со старым близким знакомым.

До революции Святополк-Мирский выпустил книгу стихов. Гумилев писал о ней: «Как будто он боится еще признать себя поэтом, и пока мне не хочется быть смелее его»[108]. Во время гражданской войны Святополк-Мирский служил в марковских частях. В эмиграции он постепенно «левел», вступил в английскую компартию. Горький перетянул его в СССР. Мне неизвестно, как писал Мирский за границей. Его статьи, которые он печатал уже здесь, – это статьи лакействующего барина, барина неглупого, даже тонкого, просвещенного, но пропитавшегося лакейским духом. Работой над слогом он себя не утруждал. Тут он опять-таки проявлял себя как матрона, купающаяся при рабах, – дескать, все сожрут. Писал он словно грязными чернилами, в которых плавают мухи, и отважно сажал кляксы. Вот образец его роскошного слога: «При всей своей узости <…> программа акмеизма оказалась не по плечу упадочной русской буржуазии. Лучшие ее стороны оказались жизнеспособны только в руках поэтов-интеллигентов, нашедших новый источник сил в пролетарской революции»[109]. Поэты держат в руках жизнеспособные стороны – это достойно кисти Елены Усиевич! Вскоре после возвращения князя из-за границы Корнелий Зелинский решил устроить у себя «гран-гала», чтобы Мирский и людей посмотрел и себя показал. На гран-гала был позван и Багрицкий. Он рассказывал мне, что там произошло. Enfant terrible, Мариетта Шагинян, не поздоровавшись с Мирским,

так прямо и бахнула:

– Зачем вы, собственно, к нам пожаловали? Вы, вероятно, типичный русский интеллигент, которому почему-то показалось, что здесь лучше. А вернее всего, вы просто-напросто английский шпион.

– Вы ошибаетесь, – хладнокровно отпарировал Святополк-Мирский. – Я не интеллигент, более того: я всегда ненавидел таких интеллигентов, как вы. И мой путь к революции и к Ленину – это путь русского барина, но никак не интеллигента.

Ответ Мирского так понравился Мариетте Шагинян, что когда – летом 1934 года, уже после смерти Багрицкого – Мирского начали травить Юдин и Фадеев, она, сглуху не разобрав, что за Мирским стоит Горький, которого она терпеть не могла, вкупе с Федором Гладковым и Бруно Ясенским выступила на страницах «Литературной газеты» в его защиту.

При Горьком съесть Мирского не удалось. Юдин и Фадеев им подавились. Горький настаивал на том, чтобы ему разрешили отхлестать за Мирского Юдина и Фадеева в докладе на съезде писателей. Горького уламывали. Отовсюду уже съехались на съезд делегаты и иноземные гости, а съезд, и так уже много раз откладывавшийся, пришлось отложить еще на несколько дней. Наконец с Горьким заключили условие, что он ничего об инциденте с Мирским на съезде не скажет, но зато Пашка Юдин, игравший большую роль в оргкомитете Союза писателей, близкого участия в делах Союза принимать не будет.

Горький, однако, не угомонился. 24 января 35-го года в третьей газетной статье из цикла «Литературные забавы» он напомнил о Святополк-Мирском:

«Товарищи, в нашей среде очень много пошлого и глупого, – все это нужно вытравить из нашей среды! Был, например, такой случай. Д. Мирский, отлично грамотный человек, умный критик, член английской компартии, совершенно правильно указал в печати, что “Последний из Удэге” не украшает советскую литературу. Суждение это общепризнанно, ничего обидного в нем не содержится, сам автор этой книги тоже знает, что она очень плоха. Но Д. Мирский разрешил себе появиться на свет от родителей-дворян, и этого было достаточно, чтобы на него закричали: как может он, виновный в неправильном рождении, критиковать книгу коммуниста?.. Событие смешное, но и печальное».

Александр Злодеев Мирскому это припомнил.

После смерти Горького Мирский осиротел. Влиятельного заступника у него уже не было. Он растерялся, заметался, хотел показать что он beaucoup plus royaliste que le roi même[110]. Успев

еще при Горьком наясить себе врагов резкостью критических суждений, чувствуя, что кольцо недоброжелательства смыкается вокруг него все теснее, – ему уже дали прозвище «князь Мерзкий», – он решил отыграться на русских классиках, на них показать свою «ррреволюционность».

В статье «Война и мир» («Литературный современник» № 11 за 1935 год) Мирский обозвал Достоевского «ренегатом и клеветником в грандиозном масштабе», отличавшимся «вдохновенной изобретательностью во лжи», построил концепцию, согласно которой почти вся русская литература XIX века только и думала о том, как бы услужить самодержавию: «Первый и единственный успех антинигилистического блока» (терминология – прямо из свежих советских газет) – «тургеневский Базаров, сыгравший огромную роль в подготовке колеблющейся части общественного мнения к разбойничеству над Чернышевским». (Какой дивный русский язык!) «Реакционные романы Писемского, Гончарова, Лескова… даже “Дым” и “Новь” были жалкими аркебузами против “мощной артиллерии” Чернышевского с его “Что делать?” и Щедрина». «Для продолжения борьбы нужны были другие средства, нужно было перевооружение на ходу. А старая гвардия дворянско-буржуазной литературы оказалась на это неспособной. Тут-то и выдвигаются Достоевский и Толстой». «Достоевский шел от демократии к реакции. Толстой – от крепостничества к крестьянству».

Выпады против опального Достоевского никого из ортодоксов не задевали. Но еще в 34-м году в пушкинском томе «Литературного наследства» появилась статья Мирского «Проблема Пушкина», в которой он употребляет такие выражения, как «лакейство» Пушкина, «пушкинский сервилизм». Вот уж с больной-то головы на здоровую… В творчестве Пушкина последних лет нельзя, видите ли, отделить «уже смердящего дворянина» от «великого поэта буржуазного освобождения». Даже в самый разгар вульгарного социологизма так о Пушкине никто говорить не смел, а тем более – в преддверии столетия со дня гибели поэта, когда уже достаточно резко означился поворот к нему «сфер». Года через два после опубликования «Проблемы Пушкина» Мирскому влетело за эту его оскорбительную по форме, марксистскую по содержанию галиматью. На обсуждении статьи князец заявил, что он-то, мол, больше, чем кто-либо в СССР, любит Пушкина, но что это он писал в назидательных целях для советской молодежи. Тут уже со страниц «Правды» последовал окрик другого перебежчика – Заславского. Его сиятельство достукался: Пушкина был вынужден взять от него под защиту пес, которого «Правда» время от времени спускала с

цепи. «Ваня… Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!»

А в 1937 году, когда ежовская коса косила писателей одного за другим, очень скоро добрались и до Мирского. Против него выступил все тот же Юдин, вспомнил его белогвардейское прошлое, вспомнил его «клеветническую», «вредительскую» статью о Фадееве, ему поддакнул сам Фадеев, и Мирский был схвачен. Говорят, на Лубянке его нещадно били. Вспомнил ли он, сидя в тюремной камере, рассуждение из своей статьи, что, дескать, лучшим качеством советского человека долго еще пребудет бдительность чекиста и красноармейца?.. Умер он в лагере от истощения. Один из писателей рассказывал в моем присутствии на заседании приемной комиссии Московского отделения ССП, что Мирский написал в лагере книгу по истории русской поэзии. Они оба попали в больницу. Он выжил, Мирский скончался. Умирая, Святополк-Мирский передал рукопись товарищу по несчастью. Рукопись пропала.

Багрицкий редко говорил о себе, о своих близких, даже о сыне. Я как-то ему рассказал о своей дружбе с матерью, о том, что мы переписываемся ежедневно. Багрицкий улыбнулся мягко и горестно.

– А у меня отец умер. Мать живет в Одессе.

– Она к вам часто приезжает?

– Нет. Она сюда не рвется, а я не проявляю настойчивости. Приезжать ей незачем. Общего у нас с ней ничего нет.

И лицо его потемнело.

…После смерти Эдуарда Георгиевича я стал рыться в журналах за прошлые годы (в «Красной ниве», «Прожекторе», «Молодой гвардии», «Октябре») в поисках не включенных им в сборники стихотворений – и в «Детстве» напал на такие строки:

Ведь недаром прокатилось детство
Звонким обручем по мостовой…

На светлые эти строки тотчас легла тень от пришедших мне на память скупых и невеселых слов Багрицкого о его родителях. Образ «звонкого обруча» – так же как и образ «матушки» – это радужный вымысел. Несколько лет спустя после «Детства» Багрицкий вернулся к теме своего прошлого в стихотворении «Происхождение»:

Любовь?
Но съеденные вшами косы;

Ключица, выпирающая косо;
Прыщи, обмазанный селедкой рот
И шеи лошадиный поворот.

Родители?
Но, в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

……..
Я покидаю старую кровать:
– Уйти?
Уйду.
Тем лучше.
Наплевать!

Когда читаешь «Происхождение», становится ясно, откуда у Багрицкого эта страсть к романтическому преображению мира. Чем грубее и беднее жизнь, тем упорнее желание творить из нее сладостную легенду!

В сборнике «Последняя ночь» Багрицкий выше всего ставил поэму с одноименным названием. Он считал, что из трех поэм эта, как он выражался, «самая перспективная». В чем он видел перспективность этой как раз самой бесперспективной из всех его лирических поэм, этой поэмы тупика, остается загадкой. Мне по молодости лет была доступнее «Смерть пионерки». Равным образом, по молодости лет я не прислушивался к антирелигиозному ее мотиву» Мне нравилось в ней, да нравится и сейчас, то, что не имеет непосредственного отношения к Вале и ее матери. Валя и ее мать – это «для пионеров и младших школьников». А меня подхватывало и увлекало песенное ее половодье. Мне легко дышалось грозовым воздухом ее романтики. От нее веяло прежним, моим любимым Багрицким.

Я выучил поэму наизусть, читал ее вслух и самому себе, и товарищам. Багрицкий выливал на меня ушаты холодной воды. Когда он писал поэму, она ему нравилась, а напечатал – разочаровался. В первом же разговоре о ней он дал ей свое излюбленное двухсложное общее определение, затем подставил под алгебраическую формулу значение арифметическое. Вот почему он считал ее неудачной: сам же он призывал ничего не «брать в лоб», а в «Смерти пионерки» прибегнул к приему,

которым запрещал пользоваться и себе и другим, который он применял разве лишь в стихотворениях «на случай». В итоге, вместо полноценной третьей части лирико-философской сюиты получилась, по его мнению, вырывающаяся из стиля «прямолинейная агитка».

Но вот в один из летних дней 33-го года опять у нас зашел разговор о «Смерти пионерки». Защищая ее от нападок автора, передавая ему отзывы моих товарищей о поэме, я между прочим сказал, что наиболее сильное впечатление производит на нас то, как в сознании умирающей Вали претворяется гроза, и то, как тема ее молодости перерастает в тему неугасимой молодости мира. Багрицкий в тот день чувствовал себя неважно. Я собрался уходить.

– Нет, нет, побудьте, – удержал он меня, – а я при вас полежу.

Он лег и неожиданно для меня – вполголоса, но с сильным чувством – начал читать как раз те строфы, о которых у нас только что шла речь:

В дождевом сиянье
Облачных слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой, —

читал он с легкой улыбкой, глядя в одному ему видимую даль, а потом закрыл глаза и тихо заснул. Я долго сидел не шевелясь. Выражение лица у Багрицкого было счастливое.

Это была далеко не последняя наша встреча, но теперь мне все кажется, будто в последний раз я его видел именно таким – усталым, но не сломленным, больным, но не побежденным, повторяющим стихи, сложенные им во славу грозы, во славу ветра, который всегда олицетворял для него жизнь.

Ялта, июнь 1964 – Москва 1991

Несовременник
(об авторе и его книге)

1

В конце книги уместно привести несколько фактов и соображений, способных помочь расширить временные границы первой части воспоминаний Н. Любимова, продлить время назад, в историю, и вперед, ближе к современности.

Во-первых, у меня есть возможность уточнить генеалогию рода Н. Любимова, и по отцовской и по материнской линии.

В 1988 году известный калужский краевед Г. Морозова передала моему отцу установленную ею по калужским архивам генеалогию рода Любимовых начиная с первых лет XIX века. Почти все родственники – из духовного звания. Быть может, отсюда идет его церковность, любовь к богослужению, «попам и дьяконам», сказавшаяся и в жизни» и в книге воспоминаний.

Первым в этом роду – Софрон Васильевич Любимов, отец прапрадеда Н. Любимова (1776 г. р.)» был псаломщиком, дьяконом и священником в сельских храмах. Его жена, Пелагея Петровна (1776 г. р.), – дочь сельского дьячка.

Прапрадед Н. Любимова Матвей Софронович (1798 г. р.) с 18 лет был дьячком Никольской церкви села Ближней Борщовки под Калугой.

Прадед Н. Любимова родился 24 мая 1824 Г., скончался в 1865, тоже был псаломщиком в сельских храмах, а его жена Агриппина Галактионовна (1829 г. р.) была дочерью дьякона.

Дед Н. Любимова Михаил Ермиевич родился 5 января 1847 г., скончался в 1893 г. Он окончил Калужское духовное училище. Вряд ли кому-либо из предков Н. Любимова могло прийти в голову, что их потомок будет переводить Боккаччо или Рабле…

Сведениям о предках Н. Любимова по материнской линии я обязан М. Г. Вяткину, сыну троюродной сестры Н. Любимова И. Г. Васильевой. Они более обширны и, в известном смысле» примечательны.

Прежде всего, несколько слов об упоминающейся в мемуаре Н. Любимова Анастасии Гендриковой и ее роде. В первом колене – граф Симон Тендряков (1672–1728), даты жизни и смерти почти совпадают с датами жизни и смерти Петра I. Его жена Христина Скавронская – сестра императрицы Екатерины I. В шестом колене графиня Анна Александровна Гендрикова (1830–1886) выходит замуж за Николая Аркадьевича Болдырева (1825–1909), Это – прабабушка и прадедушка Н. Любимова. А фрейлина Анастасия Гендрикова, арестованная вместе с царской семьей, разделившая ее участь и причисленная к лику святых Русской Зарубежной Церковью, – племянница Анны Александровны» дочь ее младшего

брата Василия. В свою очередь, матерью Анны Александровны Болдыревой была Прасковья Александровна Гендрикова, урожденная: Хилкова. Его прабабушка княгиня Прасковья Александровна Хилкова в 28-м колене восходит к Рюрику. Среди ее, а значит и Н. Любимова, предков – св. равноапостольная княгиня Ольга и святой равноапостольный князь Владимир (†1015), великий князь Владимир Всеволодович Мономах (†1125), основатель Москвы Юрий Долгорукий (†1157), Всеволод Большое Гнездо (†1212), его потомки князья Стародубские, Ряполовские, в 18 колене – князь Иван Федорович Хилок, – его сын боярин Дмитрий Иванович Хилков (†1564), и уже от него идут князья Хил ковы…

Таким образом, Н. Любимов – потомок калужских псаломщиков и основателей княжеской династии на Руси. Тем, кто подобно о. Павлу Флоренскому размышляет над антиномиями рода, происхождение Н. Любимова дает чрезвычайно содержательный материал, а для психологов небезразлично почти полное равнодушие Н. Любимова к броским строкам собственной генеалогии и нежелание воспользоваться ею в книге воспоминаний, о чем может судить читатель. И если это нежелание на протяжении всей его жизни может объясняться привычкой советского человека уклониться от рискованных ответов на иные пункты анкеты, то равнодушие к ним в последние годы, вплоть до кончины (22 декабря 1992 года), говорит о его постоянном отношении к проблеме собственного происхождения, а не о ее обусловленности временными обстоятельствами.

Забегая вперед, замечу, что такой же антиномией, таким же парадоксом является тот факт, что переводчик с французского, испанского, итальянского, немецкого никогда не бывал западнее бывшей Советской Прибалтики, ни разу не пересекал границ бывшей Российской Империи. И опять-таки, если в 30—50-е гг. в этом можно видеть внешние причины, то с середины 60-х только ими этот факт не объяснишь. Союз писателей был рад, что Н. Любимов совсем не рвался ни на Запад, ни на Восток. Мне кажется, что в «пространстве» он до конца дней своих остался «перемышлянином», для которого поездка в Калугу или Новинку – целое событие. А «во времени»… мне никогда не приходилось встречать человека, всем своим существом бывшего столь «несовременным», сколь Любимов, от быта до эстетики. Л. Толстой когда-то хотел издавать журнал «Несовременник», Если бы такой журнал выходил в XX веке, Н. Любимов был бы его первым подписчиком. Быть может, его восприятие Церкви интуитивно связано именно с ее сверхсовременной и

сверхпространственной сущностью, с отсутствием необходимости преодолевать в Церкви противоречия времени и свои собственные.

2

Над книгой воспоминаний Н. Любимов начал работать в шестидесятые годы, в свободное от переводов Доде и Мериме, Боккаччо и Пруста время. Он ее писал в буквальном смысле слова ни разу не подойдя к пишущей машинке. Практически всю ее, а это более 1000 страниц» в разное время переделывавшуюся, дополнявшуюся и т. д., перепечатала старшая дочь Н. Любимова Е. Любимова, без самоотверженного труда которой книга просто не могла бы обрести существование. Книга писалась при наличии внутреннего плана, но не в хронологической последовательности, что читатель ее легко заметит, обратив внимание на даты написания отдельных глав. Очень редко поводом для выбора времени написания конкретной главы мог послужить внешний факт – вспоминается лишь один, когда в Доме ученых отмечалось 90-летие Т. Л. Щепкиной-Куперник и Н. Любимова попросили выступить. Он начал готовиться к выступлению и в результате написал главу. Иногда это могло быть внутренним побуждением – так, толчком к написанию глав о духовенстве (как вошедшей в настоящее издание» так и оставшейся за ее пределами) было хрущевское гонение не Церковь в начале 60-х годов.

Книга писалась и читалась – Н. Любимов любил и умел читать вслух – сначала членам семьи, потом друзьям. Читалась поэтам (Д. Самойлову и С. Липкину), театральным деятелям (В. Шверубовичу» В. Заманскому), математику В. Успенскому, литературоведам Н. Вильмонту, И. Медведевой, Н. Томашевскому, Вяч. Вс. Иванову, театроведам А. Бартошевичу и В. Силюнасу. Читалась пожилым людям и молодежи. Кажется, последней слушательницей Н. Любимова была М. Бреева, дочь близкого Н. Любимову протоиерея Георгия Бреева, настоятеля московских храмов во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно и Рождества Богородицы в Крылатском.

Книга публиковалась – с огромными сокращениями. Так, глава о Багрицком была напечатана в журнале «Новый мир» в 1964 году, а о Щепкиной-Куперник – почему-то в «Литературной Армении». Отдельные страницы Н. Любимов включал в свои книги о переводе, в литературнокритические статьи.

За год до кончины Н. Любимова первая часть воспоминаний (в объеме настоящей книги) была набрана в издательстве «Культура», а первые главы стараниями редактора Е. Д. Шубиной напечатаны в журнале «Дружба народов» – еще при жизни автора. Казалось бы, «все сбылось», словами Б. Пастернака. Но ленивый и бездарный, хотя и либерально-прогрессивный, глава издательства

(к слову сказать, самый ненавистный Н. Любимову человеческий тип) задержал книгу на шесть лет.

Лишь отдельные главы мне удалось напечатать в журналах «Дружба народов», «Москва», «Московском журнале» – с большими сокращениями. Все же читатель должен знать, что перед ним лишь треть книги воспоминаний Н. Любимова, Вторая и третья ее части еще ждут своих издателей и читателей. Быть может, если и когда до них дойдет черед, автору этих строк удастся продолжить разговор о Н, Любимове, его отце.

16 ноября 1999 г.

notes

Примечания

1

Ср. молитву, возглашаемую на литии: «Еще молимся, о еже сохранитися граду сему, *и* всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междуусобныя брани…».

2

Тропарь, входящий в чинопоследование праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы: «Заступнице Усердная…».

З

Захарьин Г. А. (1829–1898) – выдающийся русский врач, профессор Московского университета, создатель московской терапевтической школы.

4

См. просительную ектенью: «Христианския кончины живота (жизни) нашего безболезненны, непостыдны, мирны…»

5

13 кондак акафиста Пресвятой Богородице.

6

Одно из главных действующих лиц в романе Н. С. Лескова «Соборяне».

7

См. воспоминания С, П. Кувшинниковой в кн.: Глаголь С. и Грабарь И. Исаак Ильич Левитан. М.: Кнебель, б/г. С. 53.

8

Здесь и далее Новый Завет цитирую по церковнославянскому тексту.

9

См. прославление Божьей Матери на литургии св. Иоанна Златоуста и кондак, входящий в чивопоследование праздника Успения Пресвятой Богородицы.

10

Заупокойная ектенья.

11

См. великую ектенью.

– Ах, я видела, я видела, —
Говорит *мне ласточка,*
– Ах, я видела, я видела! —
– Что же ты видела, птичка?
– Я видела, как дети
Бегают по полям,
Я видела, как все зеленеет,
Я видела, как все цветет (*франц.)*

13

Я спрашиваю мышь:
– Где твой дом? (*нем.)*

14

В «Очерках по истории русской культуры» П. Н. Милюкова (Современные записки. Париж, 1930. Т. 2. С. 269) я прочел подстрочное примечание: «Епископ Иерофей Афонин, открыто разорвавший с Сергием и увлекший за собою епархию, был <…> арестован агентами ГПУ и при сопротивлении крестьян деревни, где был захвачен, застрелен ими (недалеко от гор. Никольска Великоустюжского округа)». Уж не они ли это?.. Тот Иерофей, которого я помню, стойкий тихоновец, смотревший на всех, отколовшихся от патриарха Тихона и подчинившихся «обновленческому» Синоду, как на христопродавцев, вполне мог порвать и с патриаршьего места блюстителем (будущим патриархом) Сергием за его покорство мирской власти. Уж не он ли это – Иерофей, епископ Велико» устюжский, викарий Вологодский, расстрелянный в 1928 году?..

15

Переосмысленная цитата из ектеньи: «Еще молимся за всю братию и за вся христианы».

16

«Кто скачет так поздно…» *(нем.)* – начало баллады Гёте «Лесной царь».

«Дух языка» *(франц.)*.

Левашкевича были беженцы из Западной Белоруссии.

19

См. статью Н. С. Гумилева «Жизнь стиха, III» (вошла в его книгу «Письма о русской поэзии». Пг., 1922).

20

Помни о смерти *(латп.)*.

21

Преизбытка *(франц.)*.

22

Несостоявшиеся профессии *(франц.)*.

23

Соблюдая дистанцию *(франц.)*.

24

См.: Кантемир А. Сатира I.

25

См.: Виноградская И. Жизнь и творчество Станиславского. М., 1971, Т. 2. С. 453.

26

Евангелие от Иоанна, 1,46. Неточная цитата.

27

Цитирую по книге И. Нестьева «Звезды русской эстрады» (М., 1970. С. 161).

28

В инсценировке повести Кина, шедшей в начале 30-х годов в Художественном театре («Наша молодость» С» Карташева), это звучало еще выразительнее:»А, это о том, как один студент убил одну старушку. А разговору!..

29

См.: Бахрах А. Бунин в халате. Товарищество зарубежных писателей. 1979. С. 35.

30

Б. В. Томашевекий в переписке с Андреем Белым // Пушкинский дом Статьи. Документы. Библиография / Публ А. Лаврова. Л., 1982. С. 236.

31

О нем писал Брюсов в книге «Моя юность» (глава «Гимназия»): «Еще хуже были мои отношения с учениками. Они, перейдя из I класса, образовали тесную семью и нисколько не желали принять в нее новых членов и не нуждались в них. Прежде всего я был одинок. Первые большие рекреации» проведенные на дворе, были для меня мучением. Все играли, все бегали, я стоял в стороне, и со мной не разговаривал никто. На мое счастье, был еще один новичок, сын Вологодского губернатора Кормилицын. Он скучал подобно мне и, подойдя ко мне, сказал однажды:

– Ну, хочешь, давай играть в салки.

О, Господи! Как я был ему благодарен. И не потому только, что мне было скучно, но потому, что мне было стыдно и обидно одному не участвовать на общем пиршестве радости.

Этот Кормилицын сделался моим первым товарищем. Мы вели с ним беседы. Но насколько были мы различны!

– А что ты после думаешь делать, – спросил меня Кормилицын, – поступить на частную или на коронную службу?

Это он спрашивал меня, меня, мечтавшего о лаврах Коперника или Колумба! Мы, впрочем, скоро разошлись с Кормилицыным. Он был «живущим» и поэтому легче слился с товарищами».

32

См.: Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. М., 1958. Т. IV. Ч. 4. С. 291

Родзянко М, В. Государственная Дума и февральская 1917 года революция // Февральская революция. Мемуары. М.: Госиздат» 1925.

34

Восходит ко Второму посланию к Фессалоникийцам святого апостола Павла: «…если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (3,10).

35

«Правда» от 30 октября 1927 г. «Дискуссионный листок» № 1 к XV съезду ВКП(б).

«Правда» от 2 ноября 1927 г. «Дискуссионный листок» Кг 2.

37

Там же.

38

Там же.

39

Там же.

Так Троцкий назвал блок Сталина – Бухарина.

«Правда» от 2 ноября 1927 г. «Дискуссионный листок» № 2.

42

Там же.

«Правда» от 1 ноября 1927 г.

«Правда» от 30 октября 1927 г. «Дискуссионный листок» № 1.

«Правда» от 26 ноября 1927 г.

«Правда» от 2 ноября 1927 г. «Дискуссионный листок» № 2.

«Правда» от 2 ноября 1927 г.

48

См. доклад Сталина на XV конференции ВКП(б) «Об оппозиции и внутри партийном положении» (1 ноября 1926 г.).

«Несчастия Софи», «Примерные девочки» *(франц.)*.

50

Псалтирь, 118, 135. Неточная цитата.

51

Пасхальный канон, песнь 8.

52

Докладную записку Щусева цитирую по напечатанному в «Правде» от 13 января 1930 года фельетону «Дворец и крепость», принадлежащему перу Михайла Кольцова, который доказывал необходимость сноса не только собора, но и стен Симонова монастыря.

53

От 10 марта 1931 года.

То есть в Высшей музыкальной школе – так тогда называлась московская консерватория. Некоторое время она именовалась ВМШ имени Феликса Кона, ничтожнейшего большевичонки, никакого отношения ни к музыке, ни к искусству вообще не имевшего и тем не менее занимавшего пост начальника Главискусства, а Московскому университету было присобачено имя Покровского. На Кона кто-то сочинил апиграмму:

Искусству нужен Феликс Кон,
Как жопе – клей синдетикон.

55

Эта фраза в газете выделена жирным шрифтом.

Эти три слова также выделены жирным шрифтом.

Об этом мне рассказывали вдова Булгакова, Елена Сергеевна, и тогдашний завлитчастью МХАТа П. А. Марков.

58

Калинин имел в виду Гронского, который после Полонского стал ответственным редактором «Нового мира».

59

Я тогда же прочел фельетон Правдухина, а в мальчишескую мою память запали и фамилия Воронский, и та роль, в какой его изображает фельетонист, так что, когда я два года спустя накинулся на статьи Воронского, то это была как бы встреча с человеком, знакомство с которым – хотя бы и мимолетное – у меня уже состоялось.

Воронский А. Искусство и жизнь. М.; Пг.: Круг, 1924. С. 96.

61

Воронский А. За живой и мертвой водой. М., 1970. С. 141.

Там же. С. 209.

63

За живой и мертвой водой. С, 371.

Там же. С. 79.

65

За живой и мертвой водой. С» 269.

Подразумеваются политотделы в совхозах, колхозах и машинно-тракторных станциях (МТС), введенные для политического надзора за крестьянами.

67

Английский инженер Торнтон был незадолго до провозглашенного Васильевым тоста вместе с другими работавшими у нас английскими инженерами приговорен к тюремному заключению за «вредительство».

Об этом с моих слов пишет в своих воспоминаниях Т. Л. Щепкина-Куперник.

69

Из письма философа Семена Владимира Лурье к Маргарите Николаевне из-за границы от 2 июля 1921 года: «И. А. и В. Не видаю. Бываю у них и они бывают. Она славная, а он мальчик жестокий. Ей туго приходится»

Так в воспоминаниях М.Н. Зелениной.

71

Со знанием дела *(франц.)*.

Подвиг *(франц.)*.

73

См. его письмо к С. М. Зарудину от начала января 1940 года (Театр. 1975. Кг 2).

Способ тарлировать *(франц.)*.

75

– Милый Вася! Быть может, это наша последняя встреча! *(франц.)*

Достоевский обвинил революционеров в том же, что и Сокольников, еще до рождения Ленина: «…бездарно стремиться вперед – не зная куда – не с историей, а за теорией» (Из записной книжки 1860–1862 гг.); «Революционная партия тем дурна, что нагремит больше, чем результат стоит, нальет крови больше» чем вся полученная выгода (впрочем, кровь у них дешева…) – Вся эта кровь, которою бредят революционеры, весь этот гвалт и вся эта подземная работа ни к чему не приведут и на их же головы обрушатся» (Из записной книжки 1863–1864 гг). Или позднее: «Ограбить богатых, залить мир кровью, а там *как-нибудь само собою все вновь устроится»* (Курсив Достоевского, Дневник писателя, ноябрь 1877, гл. IIII). По мнению Достоевского, сущность политического социализма «состоит лишь в желании повсеместного грабежа, а затем “будь что будет”… (по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось…)» (Дневник писателя. 1873. Гл. XVI).

77

Вошла в книгу: Лежнев А. и Горбов Д. Литература революционного десятилетия. 1917–1927. М.: Пролетарий, 1929.

Вошла в книгу: Малый театр. 1824–1924. М.: Госиздат, 1924.

Моя жена – Маргарита Романовна.

80

Имеются в виду бывшая артистка Малого театра Надежда Александровна Смирнова и итальянистка Софья Владимировна Герье.

81

Хозяйка дома.

82

Цитирую по книге А. Лежнева «Современники» (М.; Пг.; Круг, 1927). Цитата взята из статьи «Дело о трупе». Для названия статьи Лежнев использовал заглавие рассказа Глеба Алексеева.

Издательство «Земля и фабрика».

Багрицкий Э. Стихотворения. Библиотека поэта. Малая серия. Л., 1940.

«Стихи о себе». II.

«Cyprinus Carpio» и «Весна, ветеринар и я».

«Стихи о себе». II.

«Стихи о себе». III.

Здесь – «на самому заданную тему» (франц.).

«Тиль Уленшпигель».

рухнет вся постройка (*нем.;*каламбур).

«Стихи о поэте и романтике».

93

Там же.

То есть век.

«ТВС».

Вошла в одноименную книгу (М.: Федерация, 1930).

Зощенко был поражен той глубиной вживания в творчество писателя, какую проявил Лежнев при разборе «Возвращенной молодости» и «Голубой книги», опубликованном в журнале «Октябрь» под заглавием «Мысли об искусстве», а впоследствии вошедшем в его книгу «Об искусстве».

Лежнев А. Русская литература за десять лет // Лежнев А. и Горбов Д. Литература революционного десятилетия. 1917–1927. Изд-во «Пролетарий», 1929. С. 54.

Лежнев А. Об искусстве. М.: Гослитиздат, 1936. С. 8.

Он же. По толстым журналам // Известия. 1929. 30 апреля.

Он же. Русская литература за десять лет. С. 92.

Он же. Проза Пушкина. 2-е изд. М., 1966. С. 183.

103

Вошла в его книгу «Разговор в сердцах».

См., например, Дневник Достоевского за 1881 год.

105

С чувством глубокого удовлетворения вспоминаю, что после реабилитации Лежнева я был председателем комиссии по его лит. наследству. Этот «пост» мне предложил занять В. С. Гроссман. Пробиваться сквозь чиновничью толщу оказалось делом нелегким. Мои усилия увенчались успехом благодаря поддержке Д. Д. Благого и директора издательства «Художественная литература» В. А. Косолапова, и наконец-то вернулась к жизни «Проза Пушкина». Потом по просьбе члена редколлегии «Вопросов литературы» С. И. Машинского я написал о ней статью «Новая жизнь книги». Раскупили «Прозу Пушкина» в несколько дней, хотя тогда книжного ажиотажа не было. В, А. Косолапов и главный редактор издательства «Художественная литература» А. И. Пузиков подарили мне экземпляр книги Лежнева с надписью: «Дорогой Николай Михайлович! Просим принять от издательства эту книгу, в издании которой Вы принимали активнейшее участие. Спасибо Вам!»

Селивановский А. Багрицкий // Эдуард Багрицкий. Сборник. М Советский писатель, 1936. С. 152.

Антокольский П. Поэт // Там же.

Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль, 1923.

Мирский Д. Творческий путь Эдуарда Багрицкого // Эдуард Багрицкий. Сборник. М., 1936.

110

Гораздо более ярый монархист, чем сам монарх *(франц.)*.